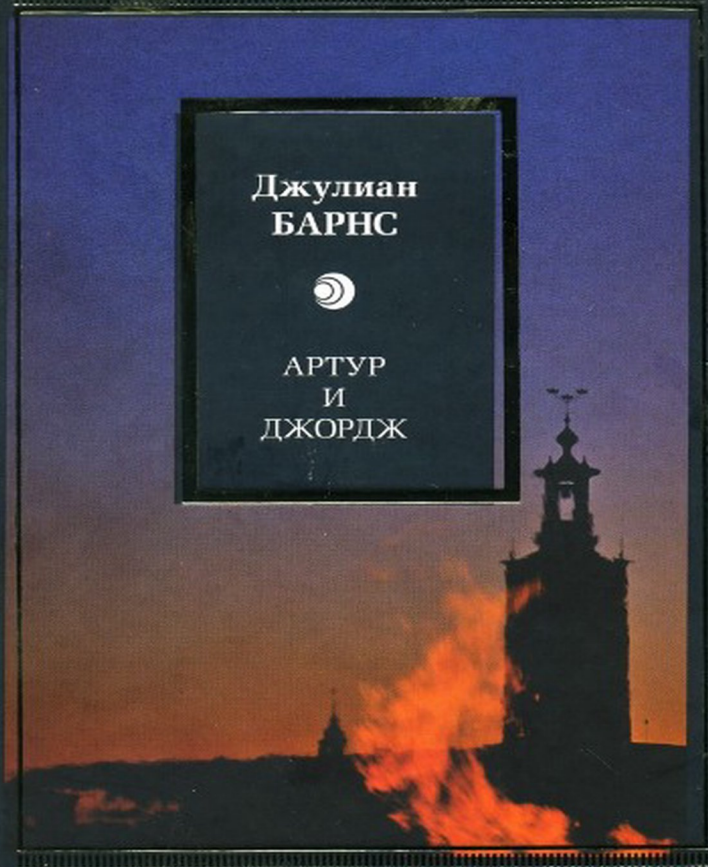


SHORTLISTED FOR THE
2005 MAN BOOKER PRIZE

Артур и Джордж
Джулиан Барнс

Аннотация
Джулиан Барнс. Артур и Джордж
Часть первая. НАЧАЛА
Артур
Джордж
Артур
Джордж
Артур
Джордж
Артур
Джордж
Артур
Джордж
Артур
Джордж
Артур
Джордж
Артур
Джордж
Артур
Джордж
Артур

Джордж
Артур
Джордж
Артур
Джордж
Часть вторая. НАЧИНАЮЩАЯСЯ КОНЦОМ
Джордж
Артур
Джордж
Артур
Джордж
Артур
Джордж и Артур
Джордж
Кэмпбелл
Джордж
Кэмпбелл
Джордж
Кэмпбелл
Джордж
Джордж
Артур
Часть третья. КОНЧАЮЩАЯСЯ НАЧАЛОМ
Артур и Джордж
Артур
Энсон

Артур
Артур и Джордж
Артур и Джордж
Джордж и Артур
Часть четвертая. КОНЦЫ
Джордж
Послесловие автора

Аннотация

Следствие ведет… сэр Артур Конан Дойль!

«Литературный отец» Шерлока Холмса решает использовать дедуктивный метод в расследовании самого скандального дела поздневикторианской Англии — дела о таинственном убийстве скота на фермах близ Бирмингема.

Его цель — доказать, что обвиняемый в этом преступлении провинциальный юрист Джордж Идалджи невиновен.

Конан Дойль и его друг и ассистент Вуд отправляются в Стаффордшир.

Так насколько же действенны методы Шерлока Холмса в реальности?

Джулиан Барнс
Артур и Джордж

Часть первая
НАЧАЛА

Артур

Ребенок хочет видеть. Так начинается всегда, началось так и на этот раз. Ребенок хотел видеть.

Он умел ходить и мог дотянуться до дверной ручки. Сделал он это без какой-либо определенной цели, инстинктивный туризм малыша и ничего кроме. Дверь была для того, чтобы толкать; он вошел, остановился, посмотрел. Там не было никого, чтобы глядеть, он повернулся и ушел, тщательно закрыв за собой дверь.

То, что он увидел там, стало его первым воспоминанием. Маленький мальчик, комната, кровать, задернутые занавески, просачивающийся дневной свет. К тому моменту, когда он описал это для других, прошло шестьдесят лет. Сколько внутренних пересказов обкатывали и сочетали простые слова, которые он наконец употребил? Без сомнения, оно выглядело все таким же ясным, как в тот день. Дверь, комната, свет, кровать и то, что лежало на кровати: «Белое и восковое нечто».

Маленький мальчик и труп: в Эдинбурге его времени такие встречи вряд ли были редкостью.

Высокая смертность и стесненные жилищные условия способствовали раннему узнаванию. Дом был католическим, а тело — бабушки Артура, некоей Катерины Пэк. Быть может, дверь нарочно не заперли. Не было ли тут желания приобщить ребенка к ужасу смерти? Или — не столь пессимистично — показать ему, что смерти бояться не надо. Душа бабушки просто улетела на небеса, оставив позади себя только сброшенную оболочку, свое тело. Мальчик хочет видеть? Так пусть мальчик увидит.

Встреча в занавешенной комнате. Маленький мальчик и труп. Внук, который, приобретя воспоминание, перестал быть «нечто», и бабушка, которая, утратив атрибуты, теперь обретаемые ребенком, вернулась в это состояние. Маленький мальчик смотрел, и более полувека спустя взрослый мужчина все еще смотрел. Чем, собственно, было это «нечто» — или, точнее, что именно произошло, когда осуществилась великая перемена, оставившая после себя лишь «нечто», — именно этому суждено было обрести для Артура всепоглощающую важность.

Джордж

У Джорджа нет первого воспоминания, а к тому времени, когда кто-то высказывает предположение, что иметь его было бы нормально, уже поздно. Он не помнит ничего конкретного, такого, что бесспорно предшествовало всему остальному, — о том, как его взяли на руки, приласкали, засмеялись или наказали. Где-то теплится ощущение, что когда-то он был единственным ребенком, и четкое осознание, что теперь есть еще и Орас, но никакого первичного воспоминания, что ему подарили братца, никакого изгнания из рая. Ни первого зрелища, ни первого запаха, то ли надушенной матери, то ли накарболенной единственной служанки.

Он — застенчивый, серьезный мальчик, очень чуткий к ожиданиям других. Иногда он чувствует, что подводит своих родителей: пай-мальчик должен бы помнить, как о нем заботились с самого начала. Однако родители никогда не упрекают его за этот недостаток. Хотя другие дети возмещают этот пробел — силой вводят любящее лицо матери или заботливую руку отца в свои воспоминания, — Джордж этого не делает. Ну,

во-первых, у него отсутствует воображение. То ли его никогда не было, то ли его развитие было подавлено каким-либо родительским поступком — это вопрос для той отрасли психологической науки, которую еще не изобрели. Джордж вполне способен воспринимать чужие придумки — истории о Ноевом Ковчеге, Давиде и Голиафе, Поклонении Волхвов, — но сам такой способностью не обладает.

Тут он себя виноватым не чувствует, поскольку его родители не считают это его недостатком. Когда они говорят, что у такого-то ребенка в деревне «слишком много воображения», — в этом, безусловно, заложено порицание. Ниже по шкале — «сочинители небылиц» и «выдумщики», но куда хуже всех ребенок «отпетый лгун» — таких нужно сторониться любой ценой. Самого Джорджа никогда не наставляют говорить правду: это ведь означало бы, что ему такие наставления требуются. Нет, все проще: что он говорит только правду, подразумевается само собой — в доме приходского священника другой альтернативы не существует.

«Я путь, истина и жизнь» — он слышит это много раз из уст своего отца. Путь, истина, жизнь. Ты идешь своим путем по жизни и говоришь

правду. Джордж знает, что Библия подразумевает не совсем это, но пока он взрослеет, слова эти звучат для него именно так.

Артур

Для Артура между домом и церковью существовало нормальное расстояние; однако оба места были полны значимостями, историями и наставлениями. В холодной каменной церкви, куда он ходил раз в неделю, чтобы вставать на колени и молиться, были Бог, и Иисус Христос, и Двенадцать Апостолов, и Десять Заповедей, и Семь Смертных Грехов. Все было очень упорядочено, непременно перечислено и пронумеровано, ну, как псалмы, и молитвы, и стихи в Библии.

Он понимал, что все, что он узнавал там, было правдой, однако его воображение предпочитало другую, параллельную версию, которой его учили дома. Истории его матери также были об очень дальних временах и также рассчитаны на то, чтобы учить его различию между добром и злом. Она стояла в кухне у плиты, размешивала овсянку и подтыкала выбившиеся пряди волос за уши, а он ждал минуты, когда она постучит ложкой-мешалкой о кастрюлю, остановится и повернет к нему свое круглое улыбающееся лицо. Затем ее серые глаза будут удерживать его, пока ее голос струится в воздухе волнами вверх и вниз,

а затем замедляется, почти обрывается, когда она приближается к той части истории, которую он еле мог вынести, той части, где тончайшие муки или радость поджидали не просто героя и героиню, но и слушающего.

«И тогда рыцаря подняли над ямой с извивающимися змеями, которые шипели и брызгали ядом, а их свивающиеся тела захлестывали белеющие кости прежних жертв…»

«И тогда черносердечный злодей с гнусным проклятием выхватил спрятанный кинжал из своего сапога и шагнул к беззащитному…»

«И тогда девица выхватила булавку из волос, и золотые кудри упали из окна вниз, вниз, вниз, лаская стены замка, пока почти не коснулись зеленой муравы, на которой он стоял…»

Артур был подвижным, упрямым мальчиком, и ему было нелегко сидеть смирно. Но стоило Мам поднять ложку-мешалку, и он застывал в безмолвной зачарованности, будто злодей из ее истории тайно подсыпал колдовское зелье в его еду. И тогда в тесной кухне появлялись рыцари и их прекрасные дамы, бросались вызовы, священные поиски волшебным образом увенчивались успехом, звенели доспехи, шелестели кольчуги, и всегда честь оставалась превыше всего.

Эти истории каким-то образом, который он сначала не понял, были связаны со старым деревянным комодом возле кровати родителей, где хранились документы о происхождении семьи. Там содержались другие истории, больше напоминавшие домашние задания, — о герцогском роде в Бретани и ирландской ветви нортумберлендских Перси и о ком-то, кто возглавил бригаду Пэка при Ватерлоо и был дядей белого воскового нечто, про которое он никогда не забывал. И со всем этим были связаны приватные уроки геральдики, которые давала ему его мать. Из кухонного буфета Мам вытаскивала большой лист картона, изрисованный и раскрашенный одним из его дядей в Лондоне. Она объясняла ему гербы, а затем наступала его очередь: «Опиши мне этот герб!» И он должен был отвечать, будто таблицу умножения: шевроны, звезды с лучами, пятиконечные звезды, пятилистники, серебряные полумесяцы и прочие сверкания.

Дома он выучил заповеди сверх тех десяти, которые узнал в церкви: «Бесстрашен с сильным, кроток со слабым» гласила одна и «Рыцарственное отношение к женщинам любого — и высокого, и низкого — положения». Он чувствовал, что эти важнее, так как они исходили прямо

от Мам; к тому же они требовали практического исполнения. Артур не заглядывал за пределы своего непосредственного существования. Квартира была маленькой, деньги небольшими, его мать переутомлена, отец непредсказуем. Очень рано он дал детскую клятву, а клятвы, он знал, оставались нерушимы: «Когда ты будешь старенькой, мамочка, у тебя будут бархатное платье и золотые очки, и ты будешь удобно сидеть у камина». Артур видел начало истории — именно там, где он находился сейчас, — и ее счастливый конец. Не хватало пока только середины.

Он искал полезные намеки у своего любимого писателя капитана Майн Рида. Он заглядывал в «Рейнджеры-стрелки или приключения офицера в Южной Мексике». Он прочел «Молодых путешественников», и «Тропу войны», и «Всадника без головы». Бизоны и краснокожие индейцы теперь перемешались в его голове с рыцарями в кольчугах и пехотинцами бригады Пэка. Больше всего у Майн Рида он любил «Охотников за скальпами или романтичные приключения в Южной Мексике». Артур еще не знал, как получить золотые очки и бархатное платье, но подозревал, что это может потребовать полного риска путешествия в Мексику.

Джордж

Раз в неделю его мать идет с ним навестить двоюродного дедушку Компсона. Он живет неподалеку за низеньким гранитным порожком, через который Джорджу не разрешается переступать. Каждую неделю они обновляют цветы в его вазе. Грейт-Уайрли был приходом дяди Компсона двадцать пять лет, а теперь его душа на Небесах, а тело остается на кладбище. Мама объясняет это, пока вынимает увядшие стебли, выплескивает плохо пахнущую воду и ставит свежие, не поникшие цветы. Иногда Джорджу дозволяется помочь ей налить в вазу чистой воды. Она говорит, что чрезмерная скорбь противна христианству, но Джордж этого не понимает.

После убытия двоюродного дедушки на Небеса отец занял его место. В одном году он женился на маме, в следующем получил приход, а еще в следующем родился Джордж. Вот история, которую ему рассказали, и она была ясной, правдивой и счастливой, как полагается быть всему. Есть мама, которая все время присутствует в его жизни, учит его азбуке, целует на сон грядущий, и отец, которого часто не бывает дома, потому что он

навещает старых и недужных или пишет свои проповеди, или читает их. Есть их дом, дом священника, и церковь, и постройка, где Мам учит воскресную школу, сад, кошка, куры, полоса травы на пути между их домом, домом священника и церковью и еще кладбище. Вот мир Джорджа, и он знает его очень хорошо.

Внутри дома священника все тихо. Есть молитвы, книги, рукоделие. Вы не кричите, вы не бегаете, вы не пачкаетесь. Огонь иногда поднимает шум, и ножи с вилками тоже, если не держать их как полагается, и поднимает шум его брат Орас — после того, как появился. Но это исключения в мире, который одновременно и тихий, и надежный. Мир вне дома священника, как кажется Джорджу, наполнен неожиданным шумом и неожиданными происшествиями. Ему четыре года, и его водят гулять по проселкам, и знакомят с коровой. Пугает его не громадность скотины и не вздутое вымя, колышущееся на уровне его глаз, но неожиданный хриплый рев, который она издает ни с того ни с сего. Значит, она очень сердита. Джордж разражается слезами, а его отец наказывает скотину палкой. Тогда скотина поворачивается боком и пачкается. Джордж столбенеет от этого извержения, от странного

шлепающего шума, когда оно падает на траву, тем, как все внезапно вышло из-под контроля. Но руки матери оттаскивают его, прежде чем он успевает задуматься об этом дальше.

Но не просто корова — или всякие друзья коровы вроде лошади, овцы или свиньи — внушает Джорджу подозрения к миру за стенами дома священника. Почти все, что он о нем слышит, вызывает у него тревогу. Мир там полон людей, которые стары, недужны или бедны, а быть всем этим нехорошо, если судить по выражению отца и его приглушенному голосу, когда он возвращается; и еще есть люди, которые называются угольные вдовы, чего Джордж не понимает. За стенами есть мальчики-выдумщики и, хуже того, — отпетые лгуны. А еще неподалеку есть что-то, которое называется Шахта, откуда берется уголь на каминной решетке. Он не уверен, что уголь ему нравится. Он пахнет, и пыльный, и шумит, если в него потыкать, и вам велят держаться от огня подальше; а еще его приносят в дом огромные свирепые мужчины в кожаных шлемах, и несут они его на спине. Когда мир снаружи стучит дверным молотком, Джордж обычно подскакивает. Учитывая все, он предпочел бы остаться здесь, внутри, с мамой, со своим братом

Орасом и новой сестрой Мод, пока ему не придет время уйти на Небеса и познакомиться с двоюродным дедушкой Компсоном. Но он подозревает, что остаться навсегда внутри ему не разрешат.

Артур

Они все время переезжали — полдесятка раз за первые десять лет жизни Артура. Квартиры, казалось, становились все меньше по мере того, как семья увеличивалась. Не считая Артура, имелись его старшая сестра Аннетт, его младшие сестры Луиза и Конни, его младший брат Иннес, а потом, позднее, его сестры Ида и Джулия, но ее чаще называли Додо. В создании детей на его отца можно было положиться — были еще двое, которые не выжили, — но не на то, чтобы их прокормить. Раннее осознание, что его отец никогда не обеспечит Мам удобствами, положенными старости, еще более укрепило решимость Артура самому их обеспечить.

Его отец — если оставить герцогов Бретани в стороне — происходил из артистической семьи. Он был наделен талантом и тонкими религиозными инстинктами, но жил на натянутых нервах и не обладал крепкой конституцией. Он приехал в Эдинбург из Лондона девятнадцатилетним; помощник землемера шотландского департамента строительных работ в слишком молодом возрасте оказался ввергнутым в общество хотя

и доброжелательное, но частенько грубоватое и крепко пьющее. Он никак не преуспел ни в департаменте работ, ни у «Джорджа Уотермена и сыновей», владельцев литографии. Он был кротким неудачником с мягким лицом, полускрытым пышной мягкой бородой; долг он воспринимал отвлеченно и утратил свой путь в жизни.

Он никогда не бывал буйным или агрессивным; он был пьяницей сентиментального типа с открытым кошельком и полным жалости к себе.

Его, пускающим слюну в бороду, приводили домой извозчики, чьи громогласные требования уплаты будили детей; наутро он слезливо и долго сетовал на свою неспособность обеспечить тех, кого он так нежно любит. Был год, когда Артура отправили жить в меблированных комнатах, лишь бы он не был свидетелем очередной фазы падения отца; однако он насмотрелся достаточно, чтобы укрепить свое восходящее понимание того, чем человек может или должен быть. В сказках его матери, в рыцарственности и в романтике не находилось подходящих ролей для пропойц-иллюстраторов.

Отец Артура писал акварели и всегда намеревался пополнить заработок продажей этих работ. Однако его щедрая натура постоянно ока-

зывалась непреодолимым препятствием — он раздавал свои картины каждому встречному или — в лучшем случае — брал за них несколько пенсов. Его образы бывали дикими, наводящими ужас, и частенько выдавали его природный юмор. Но лучше всего он рисовал — и остался в памяти — как художник фей и эльфов.

Джордж

Джордж отдан в деревенскую школу. Он носит жестко накрахмаленный воротничок и галстук, свободно завязанный бантом, чтобы скрыть запонку, жилет, застегнутый на пуговицы почти до самого банта, и жакет с высокими, почти горизонтальными лацканами. Другие мальчики выглядят не столь аккуратно: на одних грубые, домашней вязки свитера или плохо сидящие куртки, наследство от старших братьев. Кое у кого есть крахмальные воротнички, но только Гарри Чарльзуорт носит бант, как Джордж.

Мать научила его азбуке, отец — простым арифметическим действиям. Первую неделю он сидит в заднем ряду. В пятницу их проверят и рассадят по развитости: умные мальчики будут сидеть впереди, глупые мальчики — сзади. Награда за успехи — перемещение ближе к учителю, к источнику наставлений, к знанию, к правде. А это мистер Восток, и он носит твидовый жакет, шерстяной жилет и воротничок, кончики которого загнаны под его галстук золотой булавкой. Мистер Восток всегда имеет при себе коричневую фетровую шляпу и кладет ее во время урока на

свой стол, словно боясь оставить без присмотра. Когда между уроками наступает перерыв, мальчики выходят в так называемый двор, но на самом деле это площадка вытоптанной травы, откуда за лугами в отдалении виднеется Шахта. Мальчики, которые знакомы друг с другом, сразу затевают драку — просто от нечего делать. Джордж никогда прежде не видел дерущихся мальчиков. И пока он смотрит, Сид Хеншо, один из самых грубых мальчиков, подходит и становится перед ним. Хеншо строит обезьяньи рожи, растягивает мизинцами уголки рта, а большими загибает уши вперед, хлопает ими.

— Как поживаешь, меня зовут Джордж, — так он был научен сказать. Но Хеншо продолжает побулькивать и хлопать ушами.

Некоторые мальчики тут фермерские, и Джордж думает, что они пахнут коровами. Другие — сыновья шахтеров и разговаривают как-то по-другому. Джордж узнает имена своих школьных товарищей: Сид Хеншо, Артур Арам, Гарри Боум, Орас Найтон, Гарри Чарльзуорт, Уолли Остер, Джон Гарриман, Альберт Йетс…

Его отец говорит, что он обзаведется друзьями, но он не знает, как это делается. Как-то утром Уолли Остер подходит к нему сзади и шепчет на ухо:

— Ты ненашенский.

Джордж оборачивается:

— Как поживаешь, меня зовут Джордж, — повторяет он.

В конце первой недели мистер Восток проверяет их на чтение, правописание и арифметику. В понедельник утром он объявляет результаты, и они меняются местами. Джордж хорошо читал из книги перед собой, но правописание и арифметика подводят его. Ему велено остаться на задней парте. В следующую пятницу он не исправляется, и в следующую — тоже. Теперь он оказывается в окружении фермерских мальчиков и шахтерских мальчиков, которым все равно, где сидеть, и они даже считают, что чем дальше от мистера Востока, тем лучше, потому что можно плохо себя вести. Джордж чувствует, будто его медленно гонят прочь от пути, правды и жизни.

Мистер Восток разит доску кусочком мела:

— ЭТО, Джордж, плюс ЭТО (удар) равно чему? (Удар, удар.)

Все в голове у него смешивается, и Джордж отвечает наугад:

— Двенадцать, — говорит он. (Или — семь с половиной.)

Мальчики на передних партах хохочут, а затем

к ним присоединяются фермерские мальчики, едва до них доходит, что он ошибся.

Мистер Восток вздыхает и покачивает головой и спрашивает Гарри Чарльзуорта, который всегда в первом ряду и все время тянет руку вверх.

— Восемь, — говорит Гарри (или — тринадцать с четвертью) — и мистер Восток поворачивает голову в сторону Джорджа, показывая, как глуп он был.

Как-то днем, по пути назад в дом священника, Джордж пачкается. Мать раздевает его, ставит в ванну, оттирает, снова одевает и ведет к отцу. Но Джордж не способен объяснить своему отцу, почему, хотя ему уже почти семь лет, он повел себя будто беби в пеленках.

Это случается еще раз, а потом еще раз. Родители его не наказывают, но их явное разочарование в своем первенце — глупым в школе, беби по пути домой — не уступит любому наказанию.

— Ребенок унаследовал твои нервы, Шарлотта.

— В любом случае это не может иметь отношения к прорезыванию зубов.

— Мы можем исключить простуду, поскольку сейчас сентябрь.

— И что-либо вредное для пищеварения в еде, ведь на Орасе это не сказалось.

— Что остается?

— Единственная иная причина, на которую указывает книга, это страх.

— Джордж, ты чего-нибудь боишься?

Джордж смотрит на своего отца, на глянцевый клерикальный воротник, на широкое неулыбчивое лицо над воротником, на рот, который произносит с кафедры церкви Святого Марка часто непостижимые истины, и черные глаза, которые теперь требуют правды от него. Что ему сказать? Он боится Уолли Остера и Сида Хеншо и некоторых других, но это значило бы наябедничать на них. И в любом случае не их он боится больше всего. Наконец он говорит:

— Я боюсь быть глупым.

— Джордж, — отвечает его отец, — мы знаем, что ты не глуп. Твоя мать и я учили тебя азбуке и арифметике. Ты умный мальчик. Ты решаешь арифметические примеры дома, но не в школе. Ты можешь объяснить нам почему?

— Нет.

— Мистер Восток учит по-другому?

— Нет, отец.

— Ты больше не стараешься?

— Нет, отец. Я могу решать их в тетради, но не могу решать их на доске.

— Шарлотта, я думаю, нам следует свозить его в Бирмингем.

Артур

У Артура были дяди, которые наблюдали крушение своего брата и жалели его семью. Выход они нашли в том, чтобы отправить Артура в Англию в школу иезуитов. В возрасте девяти лет его посадили в поезд в Эдинбурге, и он проплакал всю дорогу до Престона. Следующие семь лет он проведет в Стонихерсте за исключением шести недель каждое лето, когда будет возвращаться к Мам и порой к своему отцу.

Иезуиты эти приехали из Голландии, привезя с собой свою учебную программу вкупе с методами дисциплинирования. Образование включало семь классов знания: основы, арифметика, начальные знания, грамматика, синтаксима, поэтика и риторика — по году на каждый. Имелась обычная рутина привилегированных школ — Евклид, алгебра и классики, чьи истины подкреплялись впечатляющими побоями. Используемое орудие — кусок резины размером и толщиной в подошву сапога — также прибыло из Голландии и носило прозвище Толли. Одного удара по ладони, нанесенного с полным иезуитским рвением, оказывалось достаточно,

чтобы она распухла и изменила цвет. Обычное наказание для мальчиков постарше состояло из девяти ударов по каждой ладони. После грешник еле мог повернуть ручку двери кабинета, где получил побои.

Толли, как объяснили Артуру, обрел свое название от латинской игры словами. *Fero* — я ношу, *ferre, tuli, latum. Tuli*[1] — я перенес, и Толли это то, что мы перенесли, верно?

Юмор был таким же грубым, как и наказания. На вопрос, каким он видит свое будущее, Артур признался, что думает стать гражданским инженером *(Civil engineer*[2]*).*

«Ну, инженером ты стать можешь, — заметил патер, — но вот вежливым, я думаю, ты никогда не станешь».

Артур развился в крупного подвижного подростка, находившего утешение в школьной библиотеке, а счастье — на крикетном поле. Раз в неделю мальчиков сажали писать письма домой, и большинство считали это дополнительным наказанием, но Артур воспринимал как награду.

---

[1] Примечания: 1

Разные, частично архаичные формы латинского глагола «носить».

[2] Примечания: 2

Civil engineer. Игра слов: *civil* — означает и «гражданский», и «вежливый».

Целый час он делился всем со своей матерью. Пусть имеются Бог, и Иисус Христос, и Библия, и иезуиты, и Толли, но авторитетом, в который он верил сильнее всего и которому подчинялся, была маленькая Мам-командир. Она была знатоком всего и вся, от нижнего белья до адского пламени. «На тело надевай фланель, — наставляла она его, — и ни в коем случае не верь в вечную кару».

Кроме того, она не совсем преднамеренно научила его способу завоевывать популярность. Очень скоро он начал рассказывать другим ученикам истории о рыцарях и влюбленных, которые сам впервые услышал из-под поднятой ложки-мешалки. В дождливые свободные вечера он забирался на стол, а его слушатели пристраивались на полу вокруг него. Вспоминая искусство Мам, он умел играть голосом, знал, как растянуть историю, как завершить на самом опасном завораживающем моменте, обещая продолжение на следующий день. Будучи крупным и голодным, он брал пышку за рассказ, но порой он решительно умолкал в самый критический момент, и вынудить его продолжать можно было только ценой яблока.

Так он обнаружил важнейшую связь между

рассказом и вознаграждением.

Джордж

Окулист не рекомендует очки для маленьких детей. Пусть лучше глаза мальчика сами приспособятся с течением лет. А пока ему в классе следует сидеть в первом ряду. Джордж оставляет фермерских мальчиков позади, его сажают рядом с Гарри Чарльзуортом, который в проверках постоянно занимает первое место. Школа теперь обретает смысл для Джорджа. Он способен видеть, где наносит удар мел мистера Востока, и больше ни разу не испачкался по дороге домой.

Сид Хеншо продолжает корчить обезьяньи рожи, но Джордж почти перестал его замечать. Сид Хеншо всего лишь глупый фермерский мальчик, который пахнет коровами и, наверное, не способен даже правильно написать хотя бы одно слово.

Однажды Хеншо набрасывается на Джорджа во дворе, толкает плечом и, когда Джордж приходит в себя, сдергивает с него бант и убегает. Джордж слышит смех. А по возвращении в класс мистер Восток спрашивает, куда делся его галстук.

И Джордж оказывается перед проблемой. Он знает, что навлекать неприятности на школь-

ного товарища нехорошо. Но он знает, что лгать еще хуже. Его отец неколебим. Стоит вам начать лгать, вы вступаете на стезю греха, и ничто вас не остановит, пока у вас на шее не затянется петля палача. Собственно, никто этого прямо не говорил, но Джордж понял это именно так. А потому он не может солгать мистеру Востоку. Он ищет другой выход, что, пожалуй, само по себе уже начало лжи, — а затем просто отвечает на вопрос:

— Сид Хеншо толкнул меня и взял его.

Мистер Восток выводит Сида Хеншо за волосы, бьет его, пока он не начинает вопить, возвращается с галстуком Джорджа и читает классу назидание, осуждающее воровство. После уроков Уолли Остер стоит на дороге Джорджа, а чуть он его обходит, Уолли говорит:

— Ты ненашенский.

Джордж вычеркивает Уолли из возможных друзей.

Он редко замечает отсутствие того, чего у него нет. Его семья не принадлежит к местному обществу, но Джордж понятия не имеет, чем это чревато, не говоря уж о том, в чем может заключаться причина их нежелания или неудачи стать своими. Сам он никогда не бывает в гостях у других мальчиков и не может судить, как все

устроено в других домах. Его жизнь самодостаточна. У него нет денег, но он не испытывает нужды в них, а уж тем более когда узнает, что любовь к ним — корень всех зол. У него нет игрушек, но он не замечает этого. Ему не хватает ловкости и остроты зрения для участия в играх. Он даже никогда не прыгал по нарисованным квадратам «классиков», а летящий мячик вызывает у него дрожь. Ему довольно братски играть с Орасом, более бережно с Мод, еще бережнее — с курами.

Он сознает, что у большинства мальчиков есть друзья — как Давид и Ионафан в Библии, и он наблюдал, как Гарри Боум и Артур Арам устроились в уголке двора и показывали друг другу всякие вещи из своих карманов — с ним никогда такого не происходит. Ему требуется что-то сделать? Или им требуется что-то сделать? В любом случае, хотя он хочет получить одобрение мистера Востока, одобрение мальчиков, сидящих позади него, его не интересует.

Когда двоюродная бабушка Стоунхем приезжает выпить чаю в первое воскресенье каждого месяца, она с шумом возит чашкой по блюдцу и морщинистым ртом спрашивает про его друзей.

— Гарри Чарльзуорт, — всегда отвечает он. — Он сидит рядом со мной.

Когда он в третий раз дает ей тот же ответ, она с шумом ставит чашку на блюдце, хмурится и спрашивает:

— А кто еще?

— Все остальные просто фермерские мальчики, и от них пахнет.

По тому, как двоюродная бабушка Стоунхем глядит на отца, он понимает, что ответил неправильно. Перед ужином его зовут в кабинет. Его отец стоит у письменного стола, а за спиной у него на полках все столпы веры.

— Джордж, сколько тебе лет?

Разговоры с отцом часто начинаются так. Оба они уже знают ответ, но Джордж все равно должен ответить.

— Семь, отец.

— Это возраст, от которого уже можно ожидать некоторого ума и рассудительности. А потому, Джордж, разреши мне спросить тебя вот о чем. Ты полагаешь, что в глазах Бога ты значишь больше, чем мальчики, которые живут на фермах?

Джордж понимает, что верным ответом будет «нет», но ему не хочется дать его сразу. Ведь, наверное, мальчик, который живет в доме священника, чей отец священник и двоюродный дедушка тоже был священником, значит для

Бога больше, чем мальчик, который никогда не ходит в церковь и глуп и к тому же злой — вроде Гарри Боума?

— Нет, — говорит он.

— А почему ты говоришь, что от них пахнет?

Каким должен быть верный ответ на этот вопрос — не совсем ясно. Джордж обдумывает положение вещей. Правильный ответ, учили его, это правдивый ответ.

— Потому что от них пахнет, отец.

Его отец вздыхает.

— Но если так, Джордж, то почему?

— Почему что, отец?

— Они пахнут.

— Потому что они не умываются.

— Нет, Джордж, если от них пахнет, то потому, что они бедны. Мы настолько благополучны, что можем позволить себе мыло и чистое белье, и иметь ванную комнату, и не жить в тесном соседстве со скотиной. Они смиренные на земле. И скажи мне, кого Бог любит больше — смиренных на земле или тех, кто исполнен грешной гордыни?

Вопрос полегче, хотя Джордж не особенно согласен с ответом.

— Смиренных на земле, отец.

— Блаженны кроткие, Джордж. Ты знаешь этот стих.

— Да, отец.

Но что-то внутри Джорджа противится такому выводу. Он не считает, что Гарри Боум и Артур Арам — кроткие. И он не может поверить, что вечный план Бога, касающийся его творения, предусматривает, что Гарри Боум и Артур Арам унаследуют землю. Это как-то не сочетается с понятием Джорджа о справедливости. В конце-то концов, они же просто фермерские мальчики, которые плохо пахнут.

Артур

Стонихерст предложил снизить Артуру плату за обучение, если он согласен готовиться к принятию сана. Мам отклонила это предложение. Артур был честолюбив, вполне способен стать лидером и уже намечался в будущего капитана крикетной команды. Однако она не представляла себе кого-нибудь из своих детей духовным наставником. Артур, со своей стороны, знал, что никак не сможет обеспечить обещанные золотые очки, и бархатное платье, и место у камина, если даст обет бедности и послушания.

Иезуиты не были плохими ребятами. Они считали человеческую натуру изначально слабой, и их недоверие казалось Артуру вполне оправданным — достаточно было взглянуть на его собственного отца. Кроме того, они понимали, что греховность зарождается рано. Мальчикам не разрешалось оставаться вместе без присмотра; на прогулках их всегда сопровождали учителя, а каждую ночь дортуары обходила бесшумная тень. Постоянный надзор мог подрывать самоуважение и самостоятельность, зато царившие в других школах безнравственность и проявления

животности тут были сведены к минимуму.

Артур в целом верил, что Бог существует, что мальчиков искушает грех и что отцы-иезуиты правы, наказывая их Толли. Но когда дело касалось конкретных догматов, он тайком спорил со своим другом Патриджем. Патридж произвел на него сильное впечатление, когда молниеносно перехватил мяч, посланный Артуром с обычной стремительностью, опустил мяч в карман с быстротой, за которой глаз был не способен уследить, а затем повернулся, делая вид, будто следит, как мяч улетает за границу поля. Патридж любил водить за нос, и не только на крикетном поле.

— А ты знаешь, что доктрина Непорочного Зачатия была включена в свод символов веры совсем недавно — в тысяча восемьсот пятьдесят четвертом году?

— Я бы сказал, поздновато, Патридж.

— Только вообрази! Церковь дискутировала этот догмат века и века, и все это время отрицать его не было ересью. И вдруг теперь это та еще ересь.

— Хм-м-м…

— Так почему Рим после стольких веков после самого события вдруг решил свести к минимуму участие телесного отца в этом деле?

— Послушай, не зарывайся.

Но Патридж уже занялся доктриной папской непогрешимости, объявленной всего пять лет назад. Почему все Папы прошлых веков беспощадно объявлены способными ошибаться, а все Папы настоящего и будущего как раз наоборот? Действительно, почему, поддержал Артур. А потому, ответил Патридж, что это более вопрос политики Церкви, чем теологического прогресса. Суть сводится к присутствию влиятельных иезуитов в высоких сферах Ватикана.

— Ты послан искушать меня, — иногда говорил Артур.

— Как раз наоборот. Я здесь, дабы укреплять твою веру. Мыслить самостоятельно внутри Церкви — вот путь истинного послушания. Чуть только Церковь чувствует, что ей угрожает опасность, как она в ответ вводит более строгую дисциплину. Это действенно на краткий срок, но не на долгий. Ну, как Толли. Тебя побили сегодня, а потому ты ничего не нарушишь завтра. Но не нарушать до конца жизни из-за воспоминаний о Толли? Это же чушь, верно?

— Нет, если это подействует.

— Но через год-другой мы покинем школу. Толли перестанет существовать. Нам необходимо

быть готовыми противиться греху и преступлениям с помощью рациональных аргументов, а не страха перед физической болью.

— Сомневаюсь, что рациональные аргументы подействуют на некоторых ребят.

— Ну, тогда безоговорочно Толли. И то же самое в широком мире. Разумеется, нужны и тюрьма, и каторга, и палач.

— Но что угрожает Церкви? Она мне кажется сильной.

— Наука. Распространение скептических учений. Утрата Папской области. Утрата политического влияния. Перспектива двадцатого века.

— Двадцатый век. — Артур задумался. — Я не могу заглядывать так далеко. Когда наступит следующее столетие, мне будет сорок.

— И ты будешь капитаном крикетной команды Англии.

— Сомневаюсь, Патридж. Но в любом случае не падре.

Артур, собственно, не сознавал, что его вера слабеет. Но думать самостоятельно внутри Церкви легко перешло в способность думать вне ее. Он обнаружил, что его рассудок и совесть не всегда принимают то, что им предлагается. В его последний учебный год в школу приехал проповедовать

отец Мерфи. С высоты кафедры яростный краснолицый патер угрожал верным и несомненным проклятием всем, кто остается вне лона Церкви. Будь тому причина греховность, самовольство или просто невежество, последствия были одинаковыми: верное и несомненное проклятие на всю вечность. Далее последовало широкое описание мук и беспросветности Ада, специально измышленных, чтобы ввергать мальчиков в дрожь. Но Артур перестал слушать. Мам объяснила ему, в чем суть, и теперь он смотрел на отца Мерфи как на сказочника, которому больше не верил.

Джордж

Мама ведет занятия воскресной школы в постройке, соседней с домом священника. Кирпичи в стенах уложены ромбовидным узором, и мама всегда говорит, что он напоминает ей «утешники».[3] Джордж не знает, что это такое, но прикидывает, не имеют ли они отношения к утешителям Иова. Он всю неделю предвкушает урок в воскресной школе. Грубые мальчики в воскресную школу не ходят, а носятся по лугам, ставят силки на кроликов, лгут и вообще следуют путем, усыпанным цветами, прямехонько на вечные муки. Мама предупредила его, что в классе она будет обходиться с ним совершенно так же, как со всеми остальными. И Джордж понимает почему: потому что она показывает им всем — одинаково — путь на Небеса.

Она рассказывает им увлекательные истории, которые Джордж воспринимает без труда: например, про Даниила в львином рву и про печь, раскаленную огнем. Но другие истории оказываются труднее. Христос учит притчами, и

---

[3] Примечания: 3
название теплых шалей с острова Файр-Айл.

Джордж обнаруживает, что притчи ему не нравятся. Возьмите притчу о пшенице и плевелах. Джордж понимает про врага, который посеял плевелы между пшеницей, и о том, что не надо выбирать плевелы, а то можно выдернуть вместе с ними пшеницу — хотя тут он не до конца уверен, потому что часто видит, как мама пропалывает огород при доме священника, а что такое прополка, как не собирание плевелов до того, как они и пшеница дозреют? Но даже если оставить эту загадку в стороне, он все равно пребывает в тупике. Он знает, что история эта совсем про другое — потому-то это и притча, — но вот что это другое, его уму непонятно.

Он рассказывает Орасу про пшеницу и плевелы, но Орас не понимает даже, что такое плевелы. Орас младше Джорджа на два года, а Мод на три года младше Ораса. Мод, потому что она девочка и самая младшая, не так сильна, как оба мальчика, и им сказано, что их долг беречь ее. Что именно это означает, оставлено без объяснений и состоит вроде бы из того, чего делать нельзя: не тыкать в нее палками, не дергать ее за волосы и не кричать ей в лицо, как нравится Орасу.

Однако Джордж и Орас, видимо, не умеют беречь Мод — начинаются визиты доктора, и его

регулярные осмотры ввергают семью в постоянную тревогу. Джордж чувствует себя виноватым всякий раз, когда приходит доктор, и старается не показываться ему на глаза — а вдруг в нем найдут причину болезни его сестры. Орас никакой вины не чувствует и бодро спрашивает, нельзя ли ему отнести чемоданчик доктора наверх.

Когда Мод исполняется четыре, становится очевидно, что она слишком хрупка и ее нельзя оставлять одну на всю ночь и что ни Джорджу, ни Орасу, ни даже комбинации из них двоих ночной присмотр за ней доверить нельзя. И теперь она будет спать в комнате их матери. Одновременно решено, что Джордж будет спать с отцом, а Орас получит детскую в свое полное распоряжение. Джорджу теперь десять, Орасу — семь; возможно, прикинуто, что надвигается возраст греховности, и двух мальчиков не следует оставлять наедине. Никакого объяснения не дается, и оно не ищется. Джордж не спрашивает, будет ли он спать в комнате отца в наказание или в награду. Таков факт, и говорить тут не о чем.

Джордж и его отец молятся вместе, преклонив бок о бок колени на выскобленных половицах. Затем Джордж забирается в постель, пока его отец запирает дверь и гасит свет. Засыпая, Джордж

иногда думает про пол, про то, как его душу надо выскабливать, как выскабливают половицы.

Отец спит некрепко и часто стонет и всхрапывает. Иногда рано утром, когда рассвет обрисовывает края занавесок, отец устраивает ему проверку.

— Джордж, где ты живешь?

— В доме священника, Грейт-Уайрли.

— А где это?

— В Стаффордшире, отец.

— А это где?

— В центре Англии.

— А что такое Англия, Джордж?

— Англия — это бьющееся сердце Империи, отец.

— Хорошо. А какова кровь, которая струится по артериям и венам Империи, достигая даже самых дальних ее пределов?

— Англиканская церковь.

— Хорошо, Джордж.

И немного погодя отец снова начинает стонать и всхрапывать. Джордж смотрит, как очертания занавесок обретают четкость. Он лежит и думает об артериях и венах — красных линиях на карте мира, соединяющих Британию со всеми местами, окрашенными в розовый цвет: Австралия, и Ин-

дия, и Канада, и разбросанные повсюду острова. Он думает о трубах, прокладываемых по дну океана для телеграфных кабелей. Он думает о крови, бурлящей по этим трубам и появляющейся на поверхности в Сиднее, Бомбее, Кейптауне. Узы крови — вот выражение, которое он где-то слышал. И под пульсирование крови в ушах он снова начинает засыпать.

Артур

Артур сдал выпускные экзамены с отличием, но так как ему было только шестнадцать, его послали еще на год к иезуитам в Австрию. В Фельдкирхе режим оказался мягче, допускающим пиво и отопляемые дортуары. Были длинные прогулки, во время которых английских учеников нарочно ставили между мальчиками, говорящими по-немецки, так что они волей-неволей упражнялись в немецком. Артур назначил себя редактором и единственным сотрудником «Фельдкирхен газет» — написанного от руки литературно-научного журнала. Кроме того, он играл в футбол на ходулях и был обучен играть на бомбардоне — медной трубе, которая дважды обвивала грудь и звучала, будто возвещая Судный день.

Вернувшись в Эдинбург, он узнал, что его отец находится в инвалидном доме, официально страдая от эпилепсии. И больше дохода не будет, и даже случайных медяков за акварели с феями или эльфами. А потому Аннетт, старшая сестра, уже уехала в Португалию гувернанткой, Лотти вскоре присоединится к ней, и они будут присылать

деньги домой. И еще Мам решила брать жильцов. Артура это и смутило, и возмутило. Кто-кто, но его мать никак не заслуживала унизительного положения квартирной хозяйки.

— Но, Артур, если бы люди не брали жильцов, твой отец никогда бы не поселился у бабушки Пэк, и я не познакомилась бы с ним.

Артур счел это еще более убедительным доводом против жильцов. Но он знал, что ему не дозволено критиковать отца ни с какой стороны, а потому промолчал. Однако нелепо притворяться, будто Мам не могла бы найти себе мужа лучше.

— А если бы этого не случилось, — продолжала она, улыбаясь ему серыми глазами, не подчиниться которым он не смог бы, — то не только не было бы Артура, но и Аннетты, и Лотти, и Конни, и Инесса, и Иды.

Неоспоримо, а также один из неразрешимых метафизических парадоксов. Он пожалел, что рядом нет Патриджа, чтобы помочь ему в рассмотрении вопроса: мог бы ты остаться самим собой или по меньшей мере достаточно самим собой, если бы у тебя был другой отец? Если нет, отсюда следовало, что и его сестры не остались бы сами собой, особенно Лотти, которую он любил

больше остальных, хотя про Конни говорили, что она красивее. С трудом, правда, он мог вообразить себя другим, но его мозг отказывался создать образ Лотти, измененный хотя бы на йоту.

Артур легче переварил бы ответ Мам на изменения их социального положения, если бы он уже не познакомился с ее первым жильцом. Брайан Чарльз Уоллер, всего на шесть лет старше Артура, но уже дипломированный врач. И еще публикующийся поэт, а его дяде была посвящена «Ярмарка тщеславия». С тем фактом, что этот субъект был начитан, и даже очень глубоко, Артур мирился, как и с тем фактом, что он был горячим атеистом; не мирился он с тем, как слишком непринужденно и обаятельно он держался в их доме. То, как он сказал «А это, значит, Артур» и с улыбкой протянул руку. То, как он давал понять, что уже опережает тебя на шаг. То, как он носил два своих лондонских костюма и разговаривал обобщенно и эпиграмматично. То, как он держался с Лотти и Конни. То, как он держался с Мам.

Непринужденно и обаятельно он держался и с Артуром, что было совсем не по вкусу крупному, неуклюжему недавнему школьнику, только-только вернувшемуся из Австрии. Уоллер вел себя так, словно хорошо понимал Артура, даже ко-

гда Артур сам себя понять не мог и стоял у своего собственного камина и ощущал себя так нелепо, будто его дважды обвил бомбардон. Ему хотелось издать рев протеста, и уж тем более, когда Уоллер делал вид, будто заглядывает ему в самую душу и — что особенно задевало — относился к тому, что находил там, серьезно и все же недостаточно серьезно, со снисходительной улыбкой, точно обнаруженная им там невнятица была нисколько не удивительной и никакой важности не имела.

Слишком уж непринужденный и обаятельный и с самой жизнью, черт бы его побрал.

Джордж

Насколько помнил Джордж, в доме священника всегда имелась служанка, кто-то на заднем фоне отскребал, обметал пыль, полировал, укладывал топливо в камины, чернил решетку и ставил котел кипеть. Примерно каждый год служанки меняются, когда одна выходит замуж, другая перебирается в Кэннок или в Уолсолл, а то даже и в Бирмингем. Джордж никакого внимания на них не обращает, а теперь, когда он учится в школе Раджли, каждый день, отправляясь туда и возвращаясь оттуда на поезде, то и вообще не замечает существования служанки.

Он рад, что вырвался из деревенской школы с ее глупыми фермерскими мальчиками и непонятно говорящими сыновьями шахтеров, самые имена которых он быстро забывает. В Раджли он среди более приличных мальчиков, а учителя там считают ум полезным свойством. Он хорошо ладит со своими товарищами, хотя близкими друзьями не обзаводится. Гарри Чарльзуорт теперь учится в школе в Уолсолле, и они только кивают друг другу при случайных встречах. Занятия Джорджа, его семья и его вера, а также

обязанности, проистекающие из преданности всему вышеперечисленному, вот что важно. Для другого время будет позже.

Как-то днем в субботу Джорджа призывают в отцовский кабинет. На письменном столе лежит открытый большой указатель к Библии и кое-какие выписки для завтрашней проповеди. Такой вид у отца бывает, когда он поднимается на кафедру. Ну, во всяком случае, Джордж догадывается, каким будет первый вопрос.

— Джордж, сколько тебе лет?

— Двенадцать, отец.

— Возраст, от которого можно ожидать некоторую степень умудренности и сдержанности.

Джордж не знает, вопрос это или нет, а потому молчит.

— Джордж, Элизабет Фостер жалуется, что ты странно глядишь на нее.

Он недоумевает. Элизабет Фостер — новая служанка, уже несколько месяцев. Она носит одежду прислуги, как и все служанки перед ней.

— Что она имеет в виду, отец?

— А как ты думаешь, что она имеет в виду?

Джордж некоторое время раздумывает.

— Она подразумевает что-то грешное?

— А если так, что именно?

— Мой единственный грех, отец, что я почти ее не замечаю, хотя и знаю, что она часть Божьего творения. Я говорил с ней не более двух раз, когда она положила вещи не на место. У меня нет причин смотреть на нее.

— Никакой причины, Джордж?

— Никакой, отец.

— Тогда я скажу ей, что она глупая и злокозненная девушка и будет уволена.

Джорджу не терпится вернуться к латинским глаголам, и он испытывает полное равнодушие к тому, что произойдет с Элизабет Фостер. И даже не взвешивает, не грех ли испытывать равнодушие к тому, что с ней произойдет.

Артур

Было решено, что Артур начнет изучать медицину в Эдинбургском университете. Он был ответственным и трудолюбивым и со временем, несомненно, обретет солидность, внушающую доверие пациентам. Артуру эта идея понравилась, хотя ее возникновение вызывало у него подозрение. В первый раз Мам упомянула медицину в одном из писем в Фельдкирх, в письме, отосланном еще до истечения месяца после появления доктора Уоллера в их доме. Простое совпадение? Артур предпочел бы, чтобы было так, ему не хочется думать, что его будущее обсуждалось между его матерью и этим наглецом, вторгающимся в чужую жизнь. Пусть он даже дипломированный врач, как ему все время тычут в нос, пусть даже «Ярмарка тщеславия» посвящена его дяде.

И, кроме того, не слишком ли чертовски удачно, что Уоллер теперь предлагает подготовить его для получения стипендии? Артур согласился с подростковой колючестью, о чем Мам поговорила с ним с глазу на глаз. Теперь он был на голову выше ее, а ее волосы, которые уже утратили свою золотистость, начали белеть там, где она

закладывала их за уши. Однако ее серые глаза, и ее спокойный голос, и нравственный авторитет, неотделимый от них, оставались такими же неотразимыми, как прежде.

Уоллер оказался прекрасным учителем. Вместе они штудировали классиков, целясь на стипендию Грирсона — год-другой она была бы большим подспорьем в хозяйстве. Когда пришло письмо, все обитатели дома объединились в поздравлениях, что это было его первое подлинное достижение, его первая отплата матери за ее жертвы на протяжении многих лет. Всеобщие рукопожатия и поцелуи, Лотти и Конни до того расчувствовались, что заплакали, словно девочки, какими они и были; и Артур в припадке великодушия решил перестать подозревать Уоллера.

Несколько дней спустя Артур отправился в университет предъявить права на свой приз. Его принял щуплый смущенный сотрудник администрации, чья официальная должность так и осталась неясной. Крайне прискорбно. Все еще непонятно, как это могло произойти. Какого-то рода канцелярская ошибка. Стипендия Грирсона предназначается только для студентов художественного факультета. Заявление Артура вообще

не должны были брать. В будущем они примут меры, ну и так далее.

Однако есть и другие стипендии и вспомоществования, указал Артур, — целый список. Предположительно ему положено что-нибудь из этого списка. Ну да — в теории, и, бесспорно, следующая стипендия в списке присуждалась и медикам. К сожалению, она уже присуждена. Как и все остальные.

— Но это же грабеж среди бела дня, — закричал Артур. — Среди бела дня!

Разумеется, случай прискорбный. Быть может, что-нибудь удастся сделать. Что и удалось на следующей неделе. Артуру были выделены утешительные семь фунтов, которые накопились в каком-то забытом фонде и которые власти предержащие великодушно сочли возможным потратить на него.

Это было его первое столкновение с вопиющей несправедливостью. Когда его карали Толли, практически всегда имелся достаточно обоснованный повод. Когда забрали отца, сердце сына исполнилось боли, но он не мог заявить, что его отец ни в чем не повинен, — да, трагедия, но не несправедливость. Но это… это! Все соглашались, что у него есть все законные основания

подать на университет в суд. Да, он предъявит иск и вернет себе стипендию. И потребовался доктор Уоллер, чтобы убедить его в неразумности судиться с учебным заведением, в котором ты собираешься получить образование. И ему ничего не оставалось, как проглотить гордость и перенести разочарование со стойкостью мужчины. Артур принял этот призыв к мужскому достоинству, которое ему еще только предстояло обрести. Однако утешительные фразы, которые он притворно находил убедительными, были не более чем дуновение ветерка ему в уши. Внутри него все воспалялось, и горело, и смердело, точно крохотное местечко в Аду, в который он больше не верил.

Джордж

Было крайне необычно, что отец Джорджа заговорил с ним после того, как молитвы были произнесены и свет погашен. Считается, что они размышляют о смысле произнесенных ими слов, пока погружаются в ниспосланный Богом сон. Джордж более склонен думать о завтрашних уроках. Он не верит, что Бог сочтет это грехом.

— Джордж, — неожиданно говорит отец, — ты не замечал кого-нибудь, бродящего вблизи нашего дома?

— Сегодня, отец?

— Нет, не сегодня. Вообще. Недавно.

— Нет, отец. Зачем бы кому-то бродить тут?

— Твоя мать и я получаем анонимные письма.

— От бродящих?

— Да. Нет. Я хочу, чтобы ты сообщал мне, Джордж, обо всем подозрительном. Если кто-то подсунет что-то под дверь. О стоящих поблизости людях.

— От кого эти письма, отец?

— Они анонимны, Джордж. — Даже в темноте он ощущает раздражение отца. — Анонимус. С греческого, затем с латыни. Без имени.

— А что в них, отец?

— Всякие дурные вещи. Обо… всех.

Джордж знает, что от него требуется озабоченность, но обнаруживает все это волнующе интересным. Ему поручено играть в сыщика, и он отдает этому столько времени, сколько возможно без ущерба для школьных занятий. Он выглядывает из-за деревьев; он прячется в чуланчике под лестницей, чтобы следить за входной дверью; он следит за поведением тех, кто входит в дом; он прикидывает, как найти средства на лупу и, может быть, подзорную трубу. Он никого и ничего не обнаруживает.

Не знает он, и кто начал писать мелом грешные слова про его родителей на амбаре мистера Гарримана и сараях мистера Арана. Едва их стирают, как слова таинственно возникают снова. Джорджу не объясняют, что они означают.

Как-то днем, выбрав кружной путь, подобно всем хорошим сыщикам, он подкрадывается к амбару мистера Гарримана, но подсмотреть ему удается только стену с подсыхающими мокрыми пятнами.

— Отец, — шепчет Джордж, когда свет был погашен. Он полагает, что это дозволенное время для разговора о подобных делах. — У меня есть

идея. Мистер Восток.

— Так что мистер Восток?

— У него очень много мелков. У него всегда много мелков.

— Это верно, Джордж. Но, я думаю, мы можем без колебаний исключить мистера Востока.

Несколько дней спустя мать Джорджа вывихивает руку и забинтовывает ее муслином. Она просит Элизабет Фостер написать вместо нее заказ для мясника, но вместо того, чтобы послать девушку с ним к мистеру Гринсиллу, она относит список отцу Джорджа. После сравнения его с содержимым запертого ящика Элизабет увольняют.

Позднее отец вынужден отправиться объяснить происшедшее мировому судье в Кэнноке. Джордж втайне надеется, что его тоже вызовут давать показания. Отец сообщает, что мерзкая девчонка заявила, будто все было глупой шуткой, и ее отпустили с назиданием впредь ничего подобного себе не позволять.

Элизабет Фостер больше в этих краях не видно, и скоро появляется новая прислуга. Джордж чувствует, что мог бы сыграть роль детектива и получше. И еще он хотел бы знать, что именно писалось на амбаре мистера Гаррисона и сараях

мистера Арана.

Артур

Ирландец по происхождению, шотландец по рождению, наставленный в римско-католической вере голландскими иезуитами, Артур становится англичанином. Английская история его вдохновляет, английская свобода внушает ему гордость. Английский крикет делает его патриотом. А величайшей эпохой в английской истории — при обширнейшем выборе — был четырнадцатый век. Время, когда английский лучник господствовал на полях брани, когда и шотландского, и французского королей держали пленниками в Лондоне.

Но, кроме того, он не забывает и рассказы, которые слушал под поднятую ложку-мешалку. Для Артура корни англичанства уходили в давно миновавший, долго хранимый в памяти, много напридуманный мир рыцарства. Не бывало рыцаря более верного, чем сэр Кей, никого столь доблестного и влюбленного, как сэр Ланселот, столь безупречного, как сэр Галахед. Не было пары влюбленных, более неразлучных, чем Тристан и Изольда, ни жены, более прекрасной и неверной, чем Гиневра. Ну и разумеется, не бы-

вало короля, более доблестного и благородного, чем Артур.

Соблюдать христианские добродетели было доступно всем — от последних простолюдинов до знатнейших из знатных. Но рыцарственность была прерогативой сильных. Рыцарь защищал свою даму, сильный помогал слабому, честь была живой сущностью, ради которой ты должен был готов умереть. К несчастью, количество святых Граалей и рыцарских миссий, доступных свежедипломированному врачу, было крайне ограниченно. В нынешнем современном мире бирмингемских фабрик и шелковых котелков понятие рыцарственности часто казалось увядшим до правил порядочности. Однако, где возможно, Артур следовал кодексу рыцарской чести. Он был человеком слова, он протягивал руку помощи неимущим, он остерегался низменных эмоций, он был почтителен с женщинами, он хранил долгосрочные планы спасения и обеспечения своей матери. Раз уж четырнадцатый век, к сожалению, кончился и он не был Уильямом Дугласом, лордом Лиддесдейлом, Цветом Рыцарства, все вышеупомянутое было лучшим, чем пока обходился Артур.

Правила рыцарственности, а не учебники

физиологии определили его первоначальный подход к прекрасному полу. Он был достаточно красив, чтобы привлекать внимание женщин, и энергично флиртовал. Как-то раз он с гордостью сообщил Мам, что чисто влюблен в пятерых женщин одновременно. Совсем другое, чем закадычная дружба со школьными товарищами, но по меньшей мере некоторые правила прилагались и тут. Например, если девушка вам нравится, вы даете ей прозвище. Скажем, Эльмор Уэлдон, хорошенькая крепышка, с которой он бешено флиртовал несколько недель. Он назвал ее Эльмой в честь огней святого Эльма, этих чудесных огней, которые появляются на мачтах и снастях кораблей во время бури. Ему нравилось воображать себя мореходом на опасных волнах жизни, пока она озаряет темные небеса над ним. Он даже чуть-чуть не стал ее нареченным, но со временем так и не стал.

Кроме того, он был тогда крайне озабочен ночными поллюциями, которые не фигурировали в «Смерти Артура». Влажные утренние простыни не слишком вязались с рыцарственными грезами, а также и с понятием о том, что такое человек или чем он может быть, если посвятит этому свой ум и силы. Артур старался дисциплинировать

свое спящее «Я», увеличивая физические нагрузки. Он уже занимался боксом и играл в крикет и футбол. Теперь он, кроме того, принялся за гольф. Где мужчины меньшего калибра обращались к непотребностям, он читал «Уиздена».[4]

Он начал предлагать рассказы в журналы. Вновь он превратился в мальчика на школьной парте, используя свои голосовые приемы: фокусирование на поднятых глазах, на причине разевания ртов от недоверчивого изумления. Он писал рассказы того рода, которые любил читать сам, — наиболее разумный подход к игре в писательство с его точки зрения. Он помещал свои приключения в дальние страны, где повсюду можно найти клады, а местное население отличается высоким процентом гнусных злодеев и спасабельных девушек. Только одного типа герой годился для выполнения рискованнейших миссий, которые он планировал. Для начала те, чьи организмы были ослаблены, а также приверженные жалости к себе — или алкоголю, решительно не подходили. Отец Артура не выполнил свой рыцарский долг в отношении Мам, теперь этот долг перешел к его сыну. Он не мог спасти ее

---

[4] Примечания: 4
Ежегодный справочник по крикету.

приемами четырнадцатого века и потому будет вынужден пользоваться теми, которые применимы в менее славном столетии. Он будет сочинить рассказы, он будет спасать ее, описывая выдуманные спасения других. Эти описания принесут ему деньги, а деньги довершат остальное.

Джордж

До Рождества две недели. Джорджу теперь шестнадцать, и он в эти дни уже не испытывает радостного волнения, как прежде. Он знает, что рождение Спасителя нашего — великая истина, ежегодно празднуемая, но он расстался с нервной экзальтацией, которую все еще испытывают Орас и Мод. Не разделяет он и тривиальные надежды, которые его старые школьные товарищи в Раджли открыто выражали, предвкушая легкомысленные подарки, каковым не место в доме священника. И еще они каждый год мечтали о снеге и даже принижали веру, молясь о нем.

Джордж равнодушен к катанию на коньках или на санках или к вылепливанию снеговиков. Он оставил Раджлийскую школу позади и теперь изучает юриспруденцию в Мейсон-колледже в Бирмингеме. Если он приложит усилия и сдаст первый экзамен, то получит диплом клерка-стажера. Через пять лет стажировок будут последние экзамены, и тогда он станет солиситором.[5] Он видит себя с письменным столом, с собранием

---

[5] Примечания: 5
юрист-консультант.

юридических книг в тяжелых переплетах и еще в костюме, а между карманами его жилета свисает часовая цепочка с брелоками, будто золотой шнурок. Он воображает себя уважаемым человеком. Он воображает себя в шляпе.

Когда он добирается до дома в угасании декабрьского дня, уже совсем стемнело. Он протягивает руку к двери и замечает на ступеньке какой-то предмет. Он наклоняется, а затем присаживается на корточки, чтобы рассмотреть его поближе. Это большой ключ, холодный при прикосновении и отяжеляющий руку. Джордж не понимает, откуда он взялся. Ключи к замкам в доме священника гораздо меньше, как и к двери воскресной школы. Ключ к церкви тоже другой. Не похож он как будто и на ключи фермеров. Однако его вес указывает на серьезное назначение.

Он приносит ключ отцу, который удивлен не меньше.

— На ступеньке, ты говоришь? — Еще один вопрос, на который отец знает ответ.

— Да, отец.

— И ты не видел, чтобы кто-то его туда положил?

— Нет.

— И по пути со станции ты не встретил никого,

кто шел бы отсюда?

— Нет, отец.

Ключ с приложением записки отсылается в хеднесфордский полицейский участок, и три дня спустя, когда Джордж возвращается из колледжа, в кухне сидит сержант Аптон. Отец все еще навещает прихожан, мама тревожно суетится в кухне. Джорджу приходит в голову, что за находку ключа назначена награда. Если история была такой, какие нравились мальчикам в Раджли, то ключ откроет сейф или сундук с сокровищами, и герой затем потребует карту с крестиком. У Джорджа не было вкуса к таким приключениям, они всегда представлялись ему слишком неправдоподобными.

Сержант Антон — краснолицый мужчина с телосложением деревенского кузнеца: черная сержантская саржевая форма стягивает его, и, возможно, в этом причина пыхтения, которое он издает. Он оглядывает Джорджа с головы до ног и кивает своим мыслям.

— Так ты тот молодчик, который нашел ключ?

Джордж вспоминает свою попытку играть в сыщика, когда Элизабет Фостер писала на стенах. А теперь — еще одна тайна, но на этот раз в ней замешаны полицейский и будущий солиситор.

Ситуация не только волнующая, но и соответствующая обстоятельствам.

— Да. Он лежал на ступеньке крыльца. — Сержант никак на это не отзывается, а продолжает кивать своим мыслям. Его как будто требуется подбодрить, и Джордж пытается ему помочь. — За него есть награда?

Сержант словно удивляется.

— А почему тебя заинтересовало, назначена ли награда? Именно тебя?

Джордж делает вывод, что награда не назначалась. Может быть, полицейский зашел, просто чтобы поздравить его с возвращением потерянной собственности?

— А вы не знаете, откуда он?

Аптон и на это не отвечает. А вынимает записную книжку и карандаш.

— Имя?

— Вы знаете мое имя.

— Имя, я сказал.

Сержант, правда, мог бы быть повежливее, думает Джордж.

— Джордж.

— Да. Дальше.

— Эрнст.

— Дальше.

— Томпсон.

— Дальше.

— Вы же знаете мою фамилию. Она такая же, как у моего отца. И у моей матери.

— Дальше, заносчивый ты замухрышка.

— Идалджи.

— А, да, — говорит сержант. — Лучше продиктуй мне по буквам.

Артур

Женитьба Артура, как и жизнь, которую он помнил, началась в смерти.

Он получил диплом врача, лечил, временно замещая местных врачей в Шеффильде, Шропшире и Бирмингеме; затем занял пост корабельного врача на паровом китобое «Надежда». Они отплыли из Питерхеда к ледяным полям Арктики, ища тюленей и любую другую добычу, чтобы погнаться за ней и убить. Обязанности Артура оказались очень легкими, а поскольку он был нормальным молодым человеком, любителем весело выпить, а в случае необходимости и подраться, то быстро завоевал доверие команды; кроме того, он так часто падал в море, что получил прозвище Великого Северного Ныряльщика. Как всякий здоровый британец, он любил хорошую охоту, и общее число его охотничьих трофеев за плавание составило пятьдесят пять тюленей.

Он лишь изредка, но зато с упоением испытывал приливы мужской состязательности, когда они выходили на бесконечный лед глушить тюленей. Но однажды они загарпунили гренландского кита. Ничего похожего на это впечатление

Артур никогда не испытывал. Вываживать лосося, возможно, и королевская игра, но когда ваша арктическая добыча весит больше пригородной виллы, никакие сравнения до нее не дотягивают. На расстоянии всего ладони Артур наблюдал, как глаз кита — к его изумлению, не больше бычьего, — медленно угасал в смерть.

Тайна этой жертвы — теперь что-то изменилось в его мышлении. Он продолжал стрелять уток в снежном небе, гордясь своей меткостью, но за этим пряталось чувство, которое он мог поймать, но не удержать. В зобу у каждой подстреленной птицы были камешки из краев, игнорируемых географическими картами.

В следующий раз он поплыл на юг, на «Майюмбе», направлявшейся из Ливерпуля на Канары и дальше вдоль западных берегов Африки. Попойка на борту продолжались, но драки ограничивались карточным столиком и доской для криббеджа. Если он и сожалел, что сменил сапоги и неформальную одежду китобоя на золоченые пуговицы и саржевый костюм пассажирского судна, имелась хотя бы одна компенсация — женское общество. Как-то вечером дамы шаловливо превратили его постель в слоеный пирог, а он вскоре мило отомстил, спрятав летучую рыбку в

ночной рубашке одной из них.

Он вернулся на сушу — к здравому смыслу и карьере. И вывесил свою латунную дощечку в Саутси. Он стал масоном, получив третью степень в ложе Феникс № 257. Он был капитаном Портсмутского крикетного клуба и считался одним из надежнейших защитников в Гемпшире. Доктор Пайк, его товарищ по боулинг-клубу в Саутси, направлял к нему пациентов. Грешемская страховая компания наняла его для проведения медицинских осмотров.

Однажды доктор Пайк пожелал узнать мнение Артура о своем юном пациенте, который совсем недавно переехал в Саутси с овдовевшей матерью и старшей сестрой. Надобность во втором мнении была чистой формальностью: Джек Хокинс заболел церебральным менингитом, против которого тогда вся медицина, не говоря уж об одном Артуре, была бессильна. Гостиницы и меблированные комнаты в городе отказывались предоставить кров несчастному, так что Артур предложил взять его к себе надомным пациентом. Хокинс был всего на месяц старше Артура. Несмотря на тысячи паллиативных чашек настоя арроута, ухудшение быстро прогрессировало, он впал в бред и разбил в своей комнате все. Через

несколько дней он умер.

Этот труп Артур рассмотрел более тщательно, чем белое восковое нечто начала своего детства. Во время студенческих занятий он обнаружил, что очень часто лица покойников выглядели многообещающими. Будто напряжение и давящая тяжесть жизни уступили место мирной безмятежности. Посмертное расслабление мышц — таково было научное объяснение, однако что-то в нем сомневалось в том, что это объяснение исчерпывающее. Мертвые люди также таили в зобу камешки из края, игнорируемого географическими картами. Пока Артур ехал из собственного дома на Хайнленд-Роудское кладбище в похоронной процессии из одной кареты, его рыцарственные чувства пробудились от присутствия одетых в черное матери и сестры, совсем одних в чужом городе, лишенных мужской поддержки. Луиза, когда ее вуаль была откинута, оказалась застенчивой круглолицей молодой женщиной с синими глазами, переходившими в морскую зелень. После приличествующего интервала Артуру было дозволено нанести ей визит.

Молодой доктор начал объяснять, что остров — ведь Саутси был островом, хотя им и не выглядел, — напоминает набор концентрических

колец: открытые пространства в его центре, затем среднее кольцо города, а затем внешнее кольцо моря. Он рассказал ей о песчаной почве и о быстром дренировании, которое она обеспечивает; и об эффективности санитарных сооружений сэра Фредерика Брэмуэлла; о здоровых условиях жизни, которыми славится местность. Последнее сведение причинило, Луизе внезапную боль, которую она замаскировала, задав вопрос о Брэмуэлле. И услышала очень много всякой всячины об этом именитом инженере.

После того, как фундамент был заложен, настало время осмотреть город в натуре. Они посетили оба пирса, где военные оркестры словно бы играли весь день напролет. Они наблюдали строевые марши на губернаторском плац-параде и мимические бои на Выгоне; в бинокли они разглядывали военный флот нации, покачивающийся на якорях в Спитхеде на среднем расстоянии от них. Они прошлись по эспланаде Кларенса, и Артур поочередно объяснил ей все трофеи и сувениры былых войн, выставленные там на всеобщее обозрение. Тут русская пушка, там японские гаубица и мортира, и повсюду таблички и обелиски в память матросов и пехотинцев, которые поумирали во всех уголках Империи и

от всевозможных причин — желтая лихорадка, кораблекрушение, коварство индийских мятежников. Она подумала, нет ли в характере доктора тяги к морбидности, но предпочла пока прийти к выводу, что его любознательное любопытство соответствует его физической неутомимости. Он даже свозил ее на конке в продовольственный склад «Ройал Кларенс» понаблюдать процесс изготовления морских сухарей — из мешка муки в тесто, затем его претворение жаром в сувенир, который посетители зажимали в зубах, покидая склад.

Мисс Луиза Хокинс не представляла себе, что ухаживание — если это было ухаживанием — настолько выматывает или настолько напоминает туризм. Затем они обратили глаза в сторону юга — на остров Уайт. С эспланады Артур указал на, как он выразился, лазурные холмы острова Вектиан. Выражение, которое показалось ей изысканно поэтичным. Они сумели разглядеть Осборн-Хаус, и он объяснил, как увеличение числа судов в проливе подсказывает, что королева сейчас там. Затем они сели на прогулочный пароходик через Солвент и вокруг острова. И ей указывалось, куда смотреть, чтобы увидеть Иглы, бухту Олум, Карисбрукский замок, Оползень,

Обрывы — пока она не была вынуждена сесть в шезлонг и попросить плед.

Как-то вечером, когда они глядели на море с пирса Южный Парад, он описывал свои подвиги в Африке и в Арктике. Однако слезы, навернувшиеся ей на глаза, когда он упомянул, зачем они спускались на ледяные поля, заставили его воздержаться и не хвастать своими охотничьими достижениями. Она, очевидно, обладала врожденной кротостью, которую он счел характерной для всех женщин, стоит узнать их поближе. Она всегда была готова улыбнуться, но не выносила острот, граничащих с жестокостью или подразумевающих превосходство остряка. У нее была открытая щедрая натура, очаровательные кудри и небольшой личный доход.

В своих прошлых отношениях с женщинами Артур разыгрывал благородный флирт. Теперь, пока они гуляли по этому концентрическому курорту, пока она привыкала опираться на его руку, пока ее имя изменялось на его языке из Луизы в Туи, пока он исподтишка смотрел на ее бедра, чуть она отворачивалась, он все яснее понимал, что хочет большего, чем флирт. И он также думал, что она сделает его лучше как мужчину, а в конце-то концов, в этом же и заключается один

из принципов брака.

В первую очередь, однако, эта юная кандидатка должна была получить одобрение Мам, и Мам приехала в Гемпшир для смотрин. Она сочла Луизу робкой, покладистой и приличного, если не знатного, происхождения. Как будто ни вульгарности, ни явных нравственных слабостей, какие могут поставить ее дорогого мальчика в неловкое положение. И как будто никакого потаенного тщеславия, которое может где-то в будущем подвергнуть сомнению первенство Артура. Мать, миссис Хокинс, казалась и приятной, и почтительной. Давая одобрение, Мам даже позволила себе предположить, что в Луизе, пожалуй, что-то — да-да, когда она вот так повернута к свету, — что-то напоминает ее собственное юное «Я». А чего еще может пожелать мать?

Джордж

Когда Джордж начал заниматься в Мейсон-колледже, у него появилась привычка вечером после возвращения из Бирмингема прогуливаться по проселкам. Не ради физической разминки — ее у него после Раджли хватало на всю жизнь, но чтобы проветрить голову перед тем, как снова сесть за книги. Очень часто это не срабатывает, и он, еще на ходу, вновь мысленно разбирается в тонкостях договорного права. В этот холодный январский вечер с полумесяцем в небе и обочинами, еще поблескивающими инеем вчерашней ночи, Джордж проборматывает аргументы для завтрашнего учебного судебного процесса (дело о зараженной муке на складе), когда на него из-за дерева выпрыгивает какая-то фигура.

— Направляешься в Уолсолл, э?

Это сержант Аптон, краснолицый и пыхтящий.

— Прошу прощения?

— Ты слышал, что я сказал! — Аптон стоит почти вплотную к нему и смотрит так, что Джорджа охватывает тревога. А что, если сержант не вполне в своем уме? В таком случае лучше всего ему подыгрывать.

— Вы спросили, направляюсь ли я в Уолсолл.

— А, так, значит, у тебя все-таки есть пара чертовых ушей. — Он пыхтит, как… как лошадь, или свинья, или кто-то еще.

— Я просто удивился, потому что это не дорога в Уолсолл. Как мы оба знаем.

— Как мы оба знаем. Как мы оба знаем. — Антон делает шаг вперед и ухватывает Джорджа за плечо. — Что мы оба знаем, что мы оба знаем, так это что ты знаешь дорогу в Уолсолл, и я знаю дорогу в Уолсолл, и ты устраивал свои штучки в Уолсолле, верно?

Сержант явно не в своем уме, к тому же причиняет ему боль. Есть ли смысл упомянуть, что он не бывал в Уолсолле с того дня, когда покупал там подарки Орасу и Мод на Рождество?

— Ты был в Уолсолле, ты забрал ключ от школы, ты принес его домой и ты положил его на собственное крыльцо, верно?

— Вы делаете мне больно.

— Ну нет. Я тебе больно не делаю. Это не называется делать тебе больно. Если ты хочешь, чтобы сержант Аптон сделал тебе больно, попроси и получишь.

Джордж теперь чувствует себя совсем как тогда, когда он смотрел на далекую классную доску и не

понимал, какой ответ правильный. Он чувствует себя будто перед тем, как запачкаться. Сам не зная почему, он говорит:

— Я буду солиситором.

Сержант разжимает пальцы, отступает и хохочет в лицо Джорджу. Потом плюет под башмаки Джорджа.

— Вот, значит, чего ты думаешь? Со-ли-си-тором? Такое большое слово для такого замухрышки-полукровки. Думаешь, ты станешь со-ли-ситором, если сержант Аптон скажет «нет»?

Джордж удерживается и не говорит, что быть ему солиситором или нет — зависит от Мейсон-колледжа, и экзаменаторов, и Юридического общества. Он думает, что ему следует как можно быстрее вернуться домой и рассказать отцу.

— Дай-ка я задам тебе вопрос. — Тон Аптона вроде бы стал мягче, и Джордж решает еще немного ему подыграть. — Что это за штуки у тебя на руках?

Джордж приподнимает руки, машинально растопыривая пальцы в перчатках.

— Эти? — спрашивает он. Нет, этот человек просто слабоумный. — Да.

— Перчатки.

— Ну, тогда, раз ты умный обезьяненыш и соби-

раешься стать со-ли-си-тором, ты должен знать, что пара перчаток означает «идти на дело», так?

Тут он снова плюет и уходит по проселку. Топоча. Джордж плачет.

К тому времени, когда он добирается домой, он себя стыдится. Ему шестнадцать, ему не дозволено плакать. Орас с восьми лет не плачет. Мод много плачет, но она не просто девочка, а еще и больная.

Отец Джорджа выслушивает его и объявляет, что напишет главному констеблю Стаффордшира. Нестерпимо, что простой полицейский хватает его сына на публичной дороге и обвиняет его в воровстве. Полицейского следует уволить со службы.

— Я думаю, он свихнутый, отец. Он два раза плюнул в меня.

— Он в тебя плевал?

Джордж снова задумывается. Он все еще испуган, но знает, что это не причина замалчивать правду.

— Я не могу говорить с уверенностью, отец. Он был примерно в ярде от меня, и он два раза сплюнул совсем рядом с моей ногой. Возможно, он просто сплевывал, как все невоспитанные люди. Но когда он это делал, казалось, был на меня зол.

— По-твоему, это достаточное доказательство намерения?

Джорджу это нравится. Вопрос к будущему солиситору.

— Возможно, что нет, отец.

— Я согласен с тобой. Отлично. Про плевки я упоминать не буду.

Три дня спустя преподобный Сапурджи Идалджи получает ответ от капитана, высокородного Джорджа О. Энсона, главного констебля Стаффордшира. Оно датировано 23-м января 1893 года и не содержит ожидаемого извинения и обещания принять меры. Вместо этого Энсон пишет:

> Будьте так любезны спросить вашего сына Джорджа, у кого был взят ключ, который был положен на вашем пороге 12 дек.? Ключ был украден, но если можно доказать, что причиной была глупая выдумка или шалость, я не буду склонен допустить в отношении нее каких-либо полицейских мер. Если, однако, лицо, замешанное в исчезновении ключа, откажется дать какие-либо объяснения касательно произошедшего, мне по необходимости придется отнестись к

случившемуся со всей серьезностью как к воровству. Могу сразу же предупредить, что не поверю никаким заявлениям вашего сына, будто он ничего не знает про этот ключ. Мои сведения о произошедшем получены не от полиции.

Священник знает, что его сын порядочный и честный мальчик. Ему следует научиться смирять свои нервы, которые он, видимо, унаследовал от своей матери, однако тут уже заметны многообещающие успехи. Настало время обращаться с ним как со взрослым. Он показывает письмо Джорджу.

Джордж читает письмо дважды и медлит, собираясь с мыслями.

— На дороге, — начинает он после паузы, — сержант Аптон обвинил меня в том, что я заходил в уолсоллскую школу и украл ключ. Главный же констебль, с другой стороны, обвиняет меня в сговоре с кем-то другим или другими. Один из них взял ключ, затем я принял от него украденный предмет и положил его на ступеньку. Может быть, они убедились, что я не бывал в Уолсолле два года, и переделали свою историю.

— Да. Отлично. Я согласен. И что еще ты ду-

маешь?

— Я думаю, что они оба свихнутые.

— Джордж, это детское слово. И в любом случае наш христианский долг — жалеть и поддерживать слабых умом.

— Извините, отец. Ну, тогда я могу думать только, что они… что они подозревают меня по какой-то причине, но я не понимаю какой.

— А что он подразумевает, по-твоему, когда пишет «Мои сведения о произошедшем получены не от полиции»?

— Наверное, это означает, что кто-то прислал ему письмо, обвиняющее меня. Разве что… разве что он пишет неправду. Он ведь может делать вид, будто знает что-то, чего на самом деле не знает. Возможно, это просто обман.

Сапурджи улыбается сыну.

— Джордж, с твоим зрением ты никогда не смог бы стать сыщиком. Но с твоим умом ты будешь прекрасным юристом.

Артур

Артур и Луиза не поженились в Саутси. Не поженились они и в Минстеруорте в Глостершире — родном приходе невесты. Не поженились они и в городе, где Артур родился.

Когда Артур покинул Эдинбург, став дипломированным врачом, он оставил там Мам, своего брата Иннеса и трех младших сестер — Конни, Иду и малютку Джулию. Оставил он там и еще одного обитателя их квартиры — доктора Брайана Уоллера. Как ни был Артур благодарен за репетиторскую помощь Уоллера, что-то продолжало его тревожить. Он так и не избавился от подозрения, что помощь не была бескорыстной, хотя в чем могла заключаться корысть, Артур выяснить не сумел.

Уезжая, Артур полагал, что Уоллер вскоре заведет в Эдинбурге собственную практику, обзаведется женой и солидной местной репутацией, а затем отойдет в изредка возникающее воспоминание. Ожидания эти не осуществились. Артур отправился в широкий мир добывать средства ради своей незащищенной семьи, а затем обнаружилось, что защиту ее взял на себя Уоллер,

которого, черт побери, это вовсе не касалось. Он стал, по выражению, которого Артур сознательно не употреблял в письмах к Мам, кукушонком в гнезде. Всякий раз, когда Артур приезжал домой, он доверчиво воображал, что семейная повесть застывала на месте до его очередного визита и продолжится с того мгновения, на котором остановилась. Но всякий раз ему приходилось убеждаться, что история — его любимая история — продолжалась без него. Он то и дело натыкался на слова, на непонятные взгляды и намеки, на воспоминания о чем-то, в чем он больше не фигурировал. Здесь без него текла и текла какая-то жизнь, и эту жизнь, казалось, одушевлял жилец.

Брайан Уоллер не обзавелся врачебной практикой, и пописывание стихов не стало профессиональной рутиной. Он унаследовал имение в Инглтоне в Уэст-Райдинге в Йоркшире и повел праздную жизнь английского помещика. Кукушонок теперь владел двадцатью четырьмя акрами собственного леса, окружавшего серое каменное гнездо, именовавшееся Мейсонгилл-Хаус. Ну что же, тем лучше. Но только не успел Артур толком переварить эту прекрасную новость, как прибыло письмо от Мам, оповещавшее его, что она, Ида и Додо также покидают Эдинбург ради

Мейсонгилла, где для них приготовляют коттедж, расположенный на земле поместья. Мам никак не оправдывала свое решение, не сослалась, скажем, на здоровый воздух и нездоровую дочку, а просто сообщила, что это произойдет. Вернее, произошло. О да, имелось и объяснение — арендная плата была очень низкой.

Артур воспринял это как похищение и одновременно предательство. Ему абсолютно не удалось убедить себя, что со стороны Уоллера это был рыцарственный поступок. Истинно куртуазный рыцарь устроил бы так, чтобы Мам и ее дочерям досталось некое таинственное наследство, а сам отправился бы в далекие края на долгие и предпочтительно гибельные поиски чего-нибудь. Истинно куртуазный рыцарь, кроме того, не нарушил бы обещания Лотти или Конни, не важно, которой из них. У Артура не имелось никаких доказательств, и, возможно, это был просто легкий флирт, пробудивший ложные надежды, но что-то ведь происходило, если некоторые намеки и женское молчание означали то, что он предполагал.

Подозрения Артура, увы, этим не исчерпались. Он был молодым человеком, которому нравилось, чтобы все было ясным и определенным, и тем не менее оказался в ситуации, в которой мало

что было ясным, а некоторые определенности были неприемлемыми. То, что Уоллер был не просто жильцом, выходило ясным, как дважды два — четыре. Его часто называли другом семьи или даже ее членом. Конечно, не Артур — он не желал никакого внезапно навязанного ему старшего брата, не говоря уж о таком, которому Мам улыбалась по-особому. Уоллер был на шесть лет старше Артура и на пятнадцать лет моложе Мам. Артур сунул бы руку в огонь, защищая честь своей матери: как требовали его принципы и его чувство семьи и долг по отношению к семье — все то, что он получил от Мам. И тем не менее он иногда прикидывал, как все это выглядело бы в полицейском суде? Какие улики могли бы быть представлены и к какому выводу пришли бы присяжные? Взвесьте, например, такой момент: его отец был слабосильным алкоголиком, время от времени помещавшимся в инвалидный дом, его мать зачала своего последнего ребенка в то время, когда Брайан Уоллер уже жил в доме как свой, и она дала дочери четыре имени.

Последние три — Мэри, Джулия и Джозефина; прозвище девочки было Додо. Но самое первое было… Брайан. Помимо всего прочего Артур не считал, что Брайан — женское имя.

Пока Артур ухаживал за Луизой, его отец умудрился раздобыть в инвалидном доме алкоголь, разбить окно в попытке сбежать и был переведен в Монтроз, королевский приют для умалишенных. А 6 августа 1885 года Артур и Туи сочетались браком в церкви Святого Освальда, Торнтон-ин-Лонсдейл в графстве Йоркшир. Жениху было двадцать шесть лет, невесте — двадцать восемь. Шафером Артура не был сочлен по саутсийскому боулинг-клубу, Портсмутскому литературно-научному обществу или ложе Феникс № 257. Все устроила Мам, и шафером Артура был Брайан Уоллер, который как будто взял на себя обязанности будущего подателя бархатных платьев, золотых очков и удобных кресел у камина.

Джордж

Когда Джордж отдергивает занавески, посреди лужайки торчит маслобойка. Он показывает на нее своему отцу. У маслобойки нет крышки, и когда Джордж заглядывает в нее, он видит на дне мертвого дрозда. Они без шума закапывают птицу позади кучки компоста. Джордж согласен, что маме можно сказать про маслобойку — они оставили ее стоять у дороги, — но не про то, что лежало в ней.

На следующий день Джордж получает открытку, изображающую надгробие в Бревудской церкви с мужчиной и его двумя женами на нем. Приписка гласит: «Почему бы не взяться за старую игру и не начать снова писать на стенах?»

Его отец получает письмо, написанное тем же корявым почерком: «Каждый день, каждый час растет моя ненависть к Джорджу Идалджи. И к твоей проклятой жене. И к твоей мерзкой девчонке. Ты думаешь, ты фарисей, что Бог отпустит тебе твои черные грехи, потому что ты поп?» Это письмо он Джорджу не показывает.

Отец и сын получают общее послание:

Ха, ха, Аптону ура!
Добрый старина Аптон!
Добрый старый Аптон!
Стоять, стоять за Аптона!
Эй! Воины креста!
Стяг поднимайте выше,
У всех свои места.

Священник и его жена тут же решают впредь вскрывать всю почту, доставляемую в дом. Любой ценой надо оберечь Джорджа, чтобы ничто не мешало его занятиям. А потому он не видит письма, которое начинается: «Клянусь Богом, я нанесу вред некоему человеку, единственное, что мне нужно в этом мире, — только месть, месть, сладкая месть, по которой я томлюсь, а тогда я буду счастлив в аду». Не видит он и того, в котором говорится: «Году не пройти, как твой сынок будет либо на кладбище, либо опозорен на всю жизнь». Однако ему показывают то, которое начинается: «Ты фарисей и лжепророк, ты обвинил Элизабет Фостер и выгнал ее, ты и твоя проклятая жена».

Письма приходят все чаще. Написаны они на дешевой линованной бумаге, вырванной из тетрадки, и отправлены из Кэннока, Уолсолла, Раджли, Уолверхемптона и даже из самого

Грейт-Уайрли. Священник не знает, как с ними поступить. Обращаться в полицию, памятуя, как повели себя сначала Аптон, а затем главный констебль, не имеет смысла. По мере того как письма накапливаются, он пытается определить их главные характерные черты. А именно: защита Элизабет Фостер, исступленные восхваления сержанта Аптона и полиции вообще, сумасшедшая ненависть к семье Идалджи и религиозная мания, возможно, притворная, но, возможно, и нет. Почерки разнятся так, кажется ему, как если бы их старательно изменяли.

Сапурджи молится о руководстве. И еще он молится о терпении, о своей семье и — из слегка неприятного чувства долга — об авторе писем.

Джордж отправляется в Мейсон-колледж до прибытия новой почты, однако, вернувшись, обычно понимает, что в этот день пришло анонимное письмо. Его мать с натужной веселостью переходит с одной темы на другую, будто молчание может, подобно притяжению, стащить их всех вниз, на землю, в грязь и смрадное болото, подстерегающее там. Его отец, менее приспособленный к светскому притворству, замыкается и сидит во главе стола точно гранитное изваяние самого себя. Своим поведением родители дей-

ствуют на нервы друг другу. Джордж пытается нащупать что-то среднее, разговаривая больше, чем отец, но меньше, чем мать. А Орас и Мод болтают без удержу, единственные, кому атакующие письма временно идут на пользу.

Следом за ключом и маслобойкой в доме священника появляются и другие предметы. Оловянный уполовник на подоконнике; садовые вилы, пригвоздившие к лужайке дохлого кролика; три разбитых яйца на крыльце. Каждое утро Джордж и его отец обыскивают все вокруг, прежде чем матери и младшим детям разрешается выйти из дома. Как-то раз они находят двадцать пенсов и полупенсов, разложенные поперек лужайки. Священник решает счесть их пожертвованием церкви. Кроме того, мертвые птицы в большинстве обычно задушенные, а однажды на самом видном месте был положен экскремент. Иногда в брезжаньи рассвета Джордж ощущает что-то менее явное, чем чье-то присутствие, тайный наблюдатель, — нет, это более похоже на внезапное отсутствие, на ощущение, что кто-то ушел секунду назад. Но никого не удается поймать. Или хотя бы увидеть.

И теперь начинаются мистификации. Как-то в воскресенье после службы мистер Бекуорт с Хен-

говерской фермы пожимает руку священнику, затем подмигивает и шепчет:

— Как вижу, завели новое дельце?

Сапурджи смотрит на него с недоумением, и Бекуорт протягивает ему вырезку из «Кэннон чейз курьер». Объявление в зубчатой рамке:

> Благородные молодые девицы благовоспитанные и с безупречными манерами готовы для брака с джентльменами с приличным состоянием и репутацией.
>
> Знакомство: обращаться к препод. С. Идалджи, Грейт-Уайрли, дом священника.
>
> Гонорар по договоренности.

Священник посещает газетные редакции и узнает, что заказаны еще три таких объявления. Но никто в глаза не видел заказчика: заказ был прислан в письме с приложением почтового перевода. Коммерческий директор исполнен сочувствия и, естественно, обещает остающиеся два не печатать. Если виновник попробует возражать или затребовать свои деньги обратно, разумеется, полиция будет извещена. Но нет, он не думает, что эта история подходит для редакционной статьи. Со всем уважением к сану,

газета должна думать о своей репутации, а ставший достоянием гласности факт, что она стала жертвой мистификации, может бросить тень на достоверность других печатаемых материалов.

Когда Сапурджи возвращается домой, там его поджидает огненно-рыжий младший священник из Норфолка, с некоторым трудом сдерживая свой христианский темперамент. Ему не терпится узнать, с какой стати его собрат во Христе вызвал его в такую даль в Стаффордшир по делу духовной неотложности, быть может, требующему экзорцизма, о котором супруга его преподобия как будто ничего не знает. Вот ваше письмо, вот ваша подпись. Сапурджи объясняет и просит извинения. Младший священник просит возместить ему расходы.

Затем служанку вызывают в Уолверхемптон для осмотра трупа ее несуществующей сестры, который якобы лежит в пивной. Внушительное количество товаров — пятьдесят льняных салфеток, двенадцать грушевых саженцев, говяжий филей, шесть ящиков шампанского, пятнадцать галлонов черной краски — доставлены и должны быть возвращены. В газетах печатаются объявления, предлагающие сдачу дома священника в аренду по столь низкой цене, что от желаю-

щих отбою нет. Предлагаются стойла, а также лошадиный навоз. От имени священника посылаются письма частным сыщикам с просьбой об их услугах.

После нескольких месяцев таких преследований Сапурджи решает контратаковать. Он составляет собственное объявление с кратким сообщением о недавних событиях и описанием анонимных писем, их почерка, стиля и содержания; он указывает даты и места их отправки. Он просит газеты не принимать объявлений от его имени читателей — сообщать о каких-либо подозрениях, у них возникших, а повинных во всем этом — обратиться к своей совести.

Два дня спустя под вечер на кухонном крыльце появляется треснутая супница с мертвым дроздом. На следующий день приходит судебный пристав наложить арест на имущество за воображаемый долг. А затем приезжает портной из Стаффорда снять мерку с Мод для ее свадебного платья. Когда Мод молча выводят к нему, он вежливо осведомляется, не готовят ли ее как невесту-девочку к какому-то индусскому обряду. В разгар этой сцены Джорджу доставляются пять клеенчатых курток.

А затем, неделю спустя, три газеты публикуют

ответ на призыв священника. Он в черной рамке и озаглавлен ИЗВИНЕНИЕ. Он гласит:

> Мы, нижеподписавшиеся, оба проживающие в приходе Грейт-Уайрли, объявляем, что мы единственные сочинители и писатели некоторых оскорбительных и анонимных писем, получавшихся различными лицами за последние двенадцать месяцев. Мы сожалеем об этих изъявлениях, а также изъявлениях насчет мистера Аптона, сержанта полиции в Кэнноке, и насчет Элизабет Фостер. Мы обратились к своей совести согласно просьбе и просим прошения у всех, кого это касается, а также и у властей, как духовных, так и криминальных.
>
> Подписано: Д. Э. Т. Идалджи и Фредерик Брукс.

Артур

Артур верил в то, чтобы смотреть — на тусклый глаз умирающего кита, на содержимое зоба подстреленной птицы, на расслабление лица трупа, которому не довелось стать его шурином. Смотреть так требовалось без предвзятости. Практическая необходимость для врача и нравственный императив для человека.

Ему нравилось рассказывать, как важности смотреть внимательно он учился в эдинбургской больнице. Один хирург там, Джозеф Белл, заинтересовался крупным, кипящим энтузиазмом молодым человеком и взял Артура помощником по приему амбулаторных пациентов. Его обязанностью было усаживать пациентов в очередь, записывать предварительные сведения, а затем провожать в кабинет доктора Белла, где хирург сидел среди своих ассистентов. Белл здоровался с каждым пациентом и, молча проницательно его изучая, старался узнать как можно больше о его жизни и склонностях. Он объявлял, что по профессии этот человек полотер, а тот — сапожник-левша, ввергая в изумление всех присутствующих и уж тем более самого пациен-

та. Артуру запомнился следующий диалог:

«Ну-с, любезный, вы служили в армии».

«Так точно, сэр».

«И уволены недавно».

«Так точно, сэр».

«В шотландском полку».

«Так точно, сэр».

«И квартировали на Барбадосе».

«Так точно, сэр».

Это был фокус, но фокус без обмана. Сначала загадочный, но простой после объяснения.

«Видите ли, джентльмены, этот человек держался почтительно, но шапку не снял. В армии они головы не обнажают, но он успел бы привыкнуть к гражданским обычаям, если бы был уволен давно. И он, несомненно, шотландец. Ну а Барбадос — так у него элефантиаз, болезнь вест-индская, а не английская».

В течение этих лет Артур получал образование в школе медицинского материализма. Всякие остатки формальной религиозности были вырваны с корнем, но к метафизике он относился почтительно. Он признавал возможность центральной мыслящей причины, хотя и не был способен определить эту причину или понять, почему ее замыслы осуществляются такими

окольными, а часто ужасными способами. Что до сознания и души, то Артур принимал научное объяснение той эпохи. Сознание — эманация мозга, как желчь — выделение печени, нечто чисто физическое по характеру; тогда как душа, в той мере, в какой можно допустить подобный термин, представляет собой общий результат всей наследственности и личностного функционирования сознания. Но, кроме того, он признавал, что знания никогда не остаются статичными и то, что сегодня достоверно, может превратиться в завтрашние суеверия. Поэтому интеллектуальный долг вести поиски никогда не исчерпывается.

В Портсмутском литературном и научном обществе, заседавшем в каждый второй четверг, Артур соприкасался с самыми взыскующими умами города. Телепатия служила предметом многих обсуждений, и как-то днем Артур оказался в занавешенной с вынесенными зеркалами комнате в компании Стэнли Болла, местного архитектора. Они сидели спиной друг к другу на расстоянии нескольких ярдов; Артур, с альбомом на колене, нарисовал фигуру и попытался сильнейшей концентрацией сознания передать этот образ Боллу. И архитектор нарисовал фигуру, которую словно бы подсказало его собственное сознание. Затем

они изменили процедуру; архитектор взял роль посылателя фигуры, а доктор — получателя. Результаты, к их изумлению, показали совпадения выше статистически случайных. Они повторили этот эксперимент достаточное число раз, чтобы вывести научное заключение, а именно: при наличии естественной симпатии между посылающим и получающим передача мыслей на расстоянии действительно может иметь место.

Что это могло означать? Если мысль может передаваться на расстояние без видимых средств передачи, значит, чистый материализм наставников Артура по меньшей мере излишне ригористичен. Конгруэнтность нарисованных фигур, которой он достиг с Боллом, не допускала возвращения ангелов с огненными мечами. Но тем не менее она порождала вопрос, и при этом крайне упрямый. Многие другие одновременно таранили бронированные стены материалистической вселенной. Профессор-месмерист де Мейер, который славился — согласно портсмутским газетам — во всех пределах Европы, прибыл в Портсмут и принуждал разных здоровых молодых людей исполнять его приказания. Одни стояли разинув рты и не могли их закрыть, несмотря на хохот зрителей, другие падали на колени и не могли

подняться без разрешения профессора. Артур встал в очередь к сцене, но приемы Мейера его не месмеризировали и не впечатлили. Все это больше смахивало на водевиль, чем на научную демонстрацию.

Они с Туи начали посещать сеансы. На них часто присутствовали Стэнли Болл и генерал Дрейсон, астроном из Саутси. Инструкции, как создать круг, они нашли в «Свете», еженедельном спиритуалистическом журнале. Процедура начиналась с чтения первой главы Иезекииля: «Куда дух хотел идти, туда шли и они; куда бы ни пошел дух». Видение пророка — и бурный ветер, и великое облако, и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, и четыре херувима, каждый с четырьмя лицами, и у каждого четыре крыла, — подготовляло участников к восприятию. Затем мерцающие свечи, бархатная полумгла, сосредоточение сознания, опустошение своего «Я» и объединенное ожидание. Один раз дух, отозвавшийся на имя двоюродного деда Артура, появился позади него; в другой раз — чернокожий с копьем. Через несколько месяцев иногда огни духов становились видимы даже ему.

Артур не был уверен, насколько доказательными можно считать эти круги объединенного

сотрудничества. Сильнее его убедил пожилой медиум, с которым он встретился у генерала Дрейсона. После разнообразных приготовлений (в основном актерской жестикуляции) старик впал в пыхтящий транс и начал одарять свою маленькую притихшую аудиторию то советами, то сообщениями духов. Артур пришел полностью вооруженный скепсисом — пока затуманенные глаза не обратились прямо на него и дальний дребезжащий голос не произнес слова:

— Не читай книгу Ли Ханта.

Это было более чем поразительно. Уже несколько дней Артур про себя прикидывал, читать или не читать «Комических драматургов Реставрации». Он не обсуждал этого ни с кем, и такой дилеммой вряд ли стоило затруднять Туи. И вот получить столь точный ответ на свой не произнесенный вслух вопрос… Это не мог быть трюк фокусника. Произойти такое могло только благодаря способности одного человека проникнуть пока еще не объясненным способом в сознание другого человека.

Артур был под таким впечатлением, что написал об этом случае в «Свет». Еще одно доказательство существования телепатии, но пока — ничего больше. Вот то, что до этих пор он видел

сам. Какой минимум, не максимум, можно из этого вывести дедуктивно? Хотя, если надежные данные будут накапливаться, тогда можно будет взвесить более чем минимум. Что, если все его прошлые определенности станут менее определенными? И чем, если уж на то пошло, может обернуться максимум?

Туи относилась к увлечению своего мужа телепатией и миром духов с тем же сочувственным и настороженным интересом, как и к его спортивному энтузиазму. Законы парапсихических феноменов представлялись ей такой же магией, как законы крикета, но она ощущала, что и там, и там желательны определенные результаты, и благодушно предполагала, что Артур сообщит ей, когда такой результат будет достигнут. Кроме того, теперь она была поглощена их дочерью, Мэри Луизой, чье существование стало явью благодаря магическому и наименее телепатическому закону из всех известных человечеству.

Джордж

«Извинение» Джорджа в газете открывает перед священником новый путь расследования. Он навещает Уильяма Брукса, местного торговца скобяными товарами, отца Фредерика Брукса, якобы соподписанца Джорджа. Торговец, низенький толстячок в зеленом фартуке, уводит Сапурджи в кладовую, увешанную швабрами, ведрами и оцинкованными лоханями. Он снимает фартук, выдвигает ящик и протягивает полдесятка обличительных писем, полученных его семьей. Написаны они на знакомых линованных листках, вырванных из тетради, но вот почерк варьируется больше.

Верхнее письмо угрожает детскими неуверенными каракулями: «Если не убежишь от черномазого я убью тебя и миссис брукс я знаю ваши имена и скажу что писал ты». Остальные написаны почерком, который, пусть измененный, выглядит более агрессивным. «Твой щенок и щенок Уинна плевали в лицо старухе на станции в Уолсолле». Пишущий требует, чтобы в компенсацию были посланы деньги в Уолсолл на почту. Следующее пришпиленное к этому письмо

угрожает судебным иском, если требования не будут исполнены.

— Я полагаю, денег вы не послали.

— Само собой.

— Но полиции вы письмо показали?

— Полиции? Чего зря тратить время их и мое. Молодые ребята забавляются, верно? А как говорится в Библии: камни и дубины нам ломают спины, а от слова вреда нет никакого.

Священник не поправляет мистера Брукса касательно источника его ссылки. Кроме того, он ощущает у него полное отсутствие интереса к их разговору.

— Но вы же не просто убрали письма в ящик?

— Ну, я поспрашивал кое-где. И спросил Фреда, не знает ли он чего.

— А кто такой этот мистер Уинн?

Уинн оказывается суконщиком, который живет дальше по железной дороге в Блоксуиче. У него есть сын, который учится в уолсоллской школе вместе с сыном Брукса. Каждое утро они встречаются в поезде и обычно возвращаются вместе. Некоторое время назад — Брукс не уточняет, когда именно, — сын Уинна и Фред разбили окно в вагоне. Оба поклялись, что разбил его мальчик по фамилии Спек, а потом железнодорожное

начальство решило не подавать в суд. Случилось это за несколько недель до того, как пришло первое письмо. Быть может, тут была какая-то связь. Быть может, нет.

Теперь священник понимает отсутствие у Брукса всякого интереса к делу. Нет, торговец скобяным товаром не знает, кто такой Спек. Нет, мистер Уинн никаких писем не получал. Нет, сын Уинна и сын Брукса с Джорджем не дружат. В последнем вряд ли есть что-то неожиданное.

Сапурджи перед ужином рассказывает Джорджу про этот разговор и добавляет, что это его подбодрило.

— Почему это вас подбодрило, отец?

— Чем больше людей оказывается замешано, тем вероятнее, что негодяй будет обличен. Чем больше людей он преследует, тем вероятнее, что он допустит ошибку. Ты что-нибудь знаешь про этого мальчика? Про Спека?

— Спек? Нет, я его не знаю. — Джордж качает головой.

— И преследование Бруксов подбодрило меня еще в одном отношении. Оно доказывает, что тут не просто расовое предубеждение.

— Разве это хорошо, отец? Если вас ненавидят не по единственной причине?

Сапурджи улыбается про себя. Эти вспышки интеллекта у кроткого мальчика, который так часто замыкается в себе, всегда его радуют.

— Я повторю еще раз, из тебя выйдет прекрасный юрист, Джордж! — Но еще произнося эти слова, он вспоминает строчку из письма, которое не показывал сыну. «Году не пройдет, как твой сынок будет либо на кладбище, либо опозорен на всю жизнь».

— Джордж, — говорит он, — есть дата, которую я хотел бы, чтобы ты запомнил. Шестое июля тысяча восемьсот девяносто второго года. Всего два года назад. В этот день мистер Дадабхой Наороджи был избран в Парламент от лондонского округа Финсбери-Центральный.

— Да, отец.

— Мистер Наороджи много лет был профессором гуджаратского языка в Лондонском университете. Я недолго с ним переписывался и с гордостью скажу, что он с похвалой отозвался о моей «Грамматике гуджаратского языка».

— Да, отец. — Джордж не раз видел, как письмо профессора извлекалось на свет.

— Его избрание было достойнейшим завершением недостойнейшего инцидента. Премьер-министр лорд Солсбери сказал, что чернокожие не

должны и не будут избираться в Парламент. За это ему сделала выговор сама королева. И тогда избиратели Финсбери всего два года назад решили, что согласны с королевой Викторией, а не с лордом Солсбери.

— Но я не парс, отец. — В голове Джорджа вновь возникают слова: центр Англии, бьющееся сердце Империи, струящаяся кровь — англиканская церковь. Он англичанин, он изучает в колледже законы Англии, и в один прекрасный день, даст Бог, он вступит в брак согласно ритуалам и обрядам англиканской церкви. Вот чему родители учили его с самого начала.

— Джордж, это правда. Ты англичанин. Но другие могут не всегда полностью с этим соглашаться. Тут, где мы живем…

— В центре Англии, — отзывается Джордж, совсем как тогда в спальне.

— В центре Англии, да, где мы находимся и где я священствую почти двадцать лет, но этот центр Англии — несмотря на то, что все Божьи творения равно благословлены, — все еще несколько отсталый, Джордж. И более того, Джордж, тебе выпадет встречать отсталых людей там, где ты меньше всего будешь ожидать встречи с ними. Они существуют и в слоях общества, от которых

можно было бы ожидать лучшего. Но если мистер Наороджи смог стать университетским профессором и членом Парламента, значит, Джордж, ты можешь стать и станешь юристом и уважаемым членом общества. А если случатся несправедливости, если случится что-то дурное, тогда тебе следует вспомнить дату — шестое июля тысяча восемьсот девяносто второго года.

Джордж некоторое время обдумывает это, а затем повторяет негромко, но твердо:

— Но я не парс, отец. Это то, чему вы и мама научили меня.

— Помни дату, Джордж, помни дату.

Артур

Артур начал писать более профессионально. По мере того как он наращивал литературную мускулатуру, его рассказы вырастали в романы, и действие лучших из них, естественно, помещалось в героическом четырнадцатом веке. Каждая страница очередного опуса, разумеется, прочитывалась Туи вслух после ужина, а завершенный текст отсылался Мам для редакторских замечаний. Артур, кроме того, обзавелся секретарем и чтецом: Альфред Вуд, учитель портсмутской школы, компетентный, тактично сдержанный человек с честным лицом фармацевта, а к тому же спортсмен в чем угодно и с весьма недурным ударом в крикете.

Однако средства к жизни Артуру все еще пока давала медицина. А если он хотел преуспеть в своей профессии, настало время для специализации. Он во всех аспектах своей жизни всегда гордился тщательным анализом вариантов, а потому не потребовалось голоса духа или подпрыгнувшего в воздух столика, чтобы указать его будущую специальность — офтальмолог. Не в его натуре было ходить вокруг да около или отступать, и он

сразу определил, где лучше всего стажироваться.

— Вена? — повторила Туи с недоумением, потому что она никогда еще не покидала Англии. Был ноябрь, приближалась зима; малютка Мэри начинала ходить, если ее держали за пояс. — Когда мы уедем?

— Немедленно, — ответил Артур.

И Туи — умница! — просто отложила рукоделие.

— Значит, мне надо поторопиться.

Они продали практику, оставили Мэри с миссис Хокинс и отбыли в Вену на шесть месяцев. Артур записался на курс глазных лекций в Кракенхаузе, но быстро обнаружил, что немецкий, выученный во время прогулок между двумя австрийскими школьниками, чья фразеология чаще была плебейской, не слишком годится для стремительных наставлений, уснащенных специальной терминологией. Впрочем, австрийская зима обеспечивала прекрасное катание на коньках, а Вена — превосходные пирожные; Артур даже состряпал короткий роман «Проделки Раффлса Хоу», который оплатил их венские расходы. Однако два месяца спустя он высказал мнение, что специализироваться ему, пожалуй, лучше в Лондоне. Туи откликнулась на это изменение

в планах с обычной своей покладистостью и энергией. Они вернулись через Париж, где Артур умудрился несколько дней постажироваться у Лендолта.

Таким образом, получив возможность указывать, что он прошел стажировку в двух странах, Артур открыл приемную на Девоншир-плейс, был принят в члены Офтальмологического общества и начал ждать пациентов. Он также надеялся получать работу от светил профессии, которые часто были слишком заняты, чтобы самим заниматься определением рефракций. Некоторые считали это неблагодарной тратой времени, однако Артур полагал себя компетентным в этой области и твердо рассчитывал на наплыв работы в самом ближайшем будущем.

Приемная на Девоншир-плейс состояла из комнаты для ожидания и консультационного кабинета. Однако несколько недель спустя он уже начал пошучивать, что это просто две комнаты для ожидания и что ожиданием занимается он, Артур. Не терпя безделия, он садился за стол и писал. Теперь он поднаторел в литературной игре и обратился к одному из нынешних ее прельщений — журнальной беллетристике. Артур любил решать задачи, а задача была следующей: журналы

печатали два рода прозы: либо произведения с продолжениями, которые приковывали интерес читателей из недели в неделю, из месяца в месяц, либо самостоятельные одномерные рассказы. Беда рассказов заключалась в том, что чаще они не предлагали вам материала, чтобы хорошенько вгрызться. Беда продолжений заключалась в том, что стоило пропустить номер, и вы теряли нить интриги. Приложив свой практичный ум к решению этой задачи, Артур представил себе объединение достоинств этих двух жанров: серию рассказов, каждый законченный, однако со сквозными персонажами, уже завоевавшими читательские симпатии или неодобрение.

Следовательно, ему необходим центральный персонаж, которому постоянно выпадают разнообразные приключения. Совершенно очевидно, тут подходят мало какие профессии. Размышляя над этой задачей на Девоншир-плейс, он начал прикидывать, а не сочинил ли он уже подходящего кандидата. Пара его не имевших успеха романов включала сыщика-консультанта, протагонистом которому послужил Джозеф Белл, хирург эдинбургской больницы: проницательнейшая наблюдательность, за которой следуют острейшие дедуктивные выводы, — вот

ключ не только к медицинским диагнозам, но и криминалистическим. Своему сыщику Артур первоначально дал имя Шеридан Хоуп. Но имя это казалось не слишком подходящим, и в процессе сочинения рассказов Шеридан Хоуп изменился сначала в Шеррингфорда Холмса, а затем — неизбежно, как это представлялось впоследствии, — в Шерлока Холмса.

Джордж

Письма и мистификации продолжались: воззвание Сапурджи к совести преступников, казалось, только подстрекнуло их. Газеты теперь извещали, что дом священника — меблированные комнаты, предлагающие самые низкие цены; что это скотобойня; что оттуда по заказу можно получить бесплатные образчики дамских корсетов. Джордж якобы заделался окулистом; он, кроме того, предлагает бесплатные юридические советы и имеет лицензию заказывать билеты и гостиницы для путешественников по Индии и Дальнему Востоку. Доставляемого угля хватило бы и на броненосец; доставляются энциклопедии вместе с живыми гусями.

Невозможно вечно оставаться в подобном нервном напряжении, и мало-помалу обитатели дома начинают ощущать преследования как привычную рутину. С рассветом участок осматривается, доставки отсылаются обратно, разочарованным искателям мифических услуг даются объяснения, а Шарлотта даже достигла совершенства в умиротворении священников, вызванных из дальних графств отчаянными просьбами о неза-

медлительной помощи.

Джордж окончил Мейсон-колледж и теперь принят стажером в бирмингемскую юридическую фирму. Каждое утро, садясь в поезд, он чувствует себя виноватым, оставляя своих близких на произвол судьбы, однако вечер не приносит облегчения, а всего лишь другую тревогу. К тому же, с точки зрения Джорджа, его отец реагирует на кризис очень странно — читает ему короткие лекции о том, что парсы всегда выделялись британцами. В результате Джордж узнает, что самым первым индийским путешественником в Англии был парс; что первым индийцем, изучавшим христианское богословие в британском университете, был парс, как и первый индийский студент в Оксфорде, а позднее и первая студентка. Как и первый индиец, представленный ко двору, а позднее и первая индийская женщина. Первый индиец, принятый на индийскую государственную службу, был парс. Сапурджи рассказывает Джорджу о врачах и адвокатах, получавших образование в Британии; о парсийской благотворительности во время ирландского голода, а позже — помощи страдающим фабричным рабочим Ланкашира. Он даже рассказывает Джорджу про первую индийскую крикетную команду,

игравшую в городах Англии, — все до единого ее члены были парсами. Но крикет ни в малейшей степени не интересует Джорджа, и стратегия отца не столько поддерживает его, сколько приводит в отчаяние. Когда семье предлагается выпить тост за второго парсийского члена Парламента, Мунчерджи Бхоунаги, от избирательного округа Норт-Ист Бентнал-Грин, Джордж ловит себя на чуть не произнесенном вслух постыдном сарказме: почему бы не написать новоизбранному члену Парламента и не попросить, чтобы он помог воспрепятствовать доставкам угля, энциклопедий и живых гусей?

Сапурджи больше заботят письма, чем доставки. Все больше они выглядят излияниями религиозного маньяка. Подписаны они Богом, Вельзевулом, Дьяволом: пишущий утверждает, что он навеки погибает в Аду или же истово желает оказаться там. Когда мания начинает обретать агрессивный характер, священника охватывает страх за свою семью. «Клянусь Богом, что скоро я убью Джорджа Идалджи». «Да поразит меня Господь смертью, если резня и кровопролитие замедлятся». «Я сойду в Ад, осыпая проклятиями вас всех, и встречу вас там в Божий срок». «Близится конец вашего времени на этой Земле, и я

— избранное Богом таковое орудие».

После двух с лишним лет этого преследования Сапурджи решает вновь обратиться к главному констеблю. Он излагает в письме все происходящее, прилагает образчики писем, почтительно указывает на то, что теперь прямо выражается намерение убивать, и просит полицию защитить невинную семью от этих угроз. В ответе капитана Энсона просьба игнорируется. Вместо того он пишет:

> Я не говорю, что мне известно имя нарушителя, хотя у меня есть особые подозрения. Я предпочту держать эти подозрения при себе, пока не получу возможности доказать их, и надеюсь обеспечить нарушителю дозу тюремного заключения; хотя, видимо, прилагалось большое старание по возможности избегать всего, что могло бы составить серьезное нарушение закона, пишущий письма раза три все-таки зашел слишком далеко и сделал себя повинным для более серьезной кары. Я не сомневаюсь, что нарушитель будет опознан.

Сапурджи дает сыну прочесть это письмо и

спрашивает его мнение.

— С одной стороны, — говорит Джордж, — главный констебль утверждает, что автор писем и мистификаций ловко использует свои знания законов, чтобы избегать реального их нарушения. С другой стороны, он как будто считает, что явные проступки, караемые тюремным заключением, уже совершены. И, значит, нарушитель вовсе не так ловок и умен. — Он умолкает и смотрит на отца. — Разумеется, он подразумевает меня. Он верил, что я взял ключ, а теперь он верит, что эти письма пишу я. Он знает, что я изучаю законы, намек совершенно ясен. Я думаю, если сказать честно, отец, главный констебль может быть куда опаснее для меня, чем автор писем.

Сапурджи не так уверен. Один угрожает тюремным заключением, другой — смертью. Он обнаруживает, что ему трудно не допустить в свои мысли горечи против главного констебля. Он все еще не показал Джорджу худшие из писем. Неужто Энсон вправду верит, будто их написал Джордж? Если так, хотел бы он знать, где тут преступление — написать самому себе анонимное письмо с угрозой убить себя. Днем и ночью он тревожится за своего первенца. Он плохо спит и часто вскакивает с постели, судорожно и совер-

шенно излишне проверяя, заперта ли входная дверь.

В декабре 1895 года в блэкпулской газете появляется объявление о распродаже всей обстановки их дома с публичного аукциона. Низшие цены ни на один лот заявлены не будут, так как священник и его супруга торопятся распродать свое имущество до своего неотложного отъезда в Бомбей.

Блэкпул находится минимум в ста милях по прямой. Сапурджи чудится, как эти преследования охватывают всю страну. Блэкпул, возможно, только начало, а дальше последуют Эдинбург, Ньюкасл, Лондон. А далее — Париж, Москва, Тимбукту, почему бы и нет?

А затем, столько же внезапно, как и начались, преследования прекращаются. Ни писем, ни доставок ненужных товаров, ни фальшивых объявлений, ни рассерженных братьев во Христе у дверей. День, затем неделя, затем месяц, затем два месяца. Все прекращается. Все прекратилось.

Часть вторая
НАЧИНАЮЩАЯСЯ КОНЦОМ

Джордж

Месяц, в котором преследования прекратились, отмечен двадцатой годовщиной назначения Сапурджи Идалджи священником прихода Грейт-Уайрли: далее следует двадцатое… нет, двадцать первое Рождество, празднуемое в доме священника. Мод получает вышитую книжную закладку, Орас — собственный экземпляр «Лекций о послании святого Павла к Галатам», изданных его отцом; Джордж — эстамп сепией «Светоч Мира» мистера Холмана Ханта с пожеланием повесить его на стене у себя в кабинете. Джордж благодарит родителей, но легко представляет себе, что подумают старшие партнеры: сотрудник с двумя годами стажа, которому практически доверяется лишь снимать четким почерком копии с документов, едва ли может брать на себя украшение конторы; ну а клиенты ищут руководства особого рода и, увидев предлагаемое мистером Хантом, могут счесть его малоуместным.

По мере того как минуют первые месяцы нового года, занавески каждое утро отдергиваются со все большей уверенностью, что на лужайке не появилось ничего, кроме сверкающей Божьей

росы, а приход почтальона больше не вызывает тревоги. Священник все чаще повторяет, что они прошли испытание огнем, и их вера в Господа помогла им выдержать эту проверку. Мод, хрупкая и благочестивая, держалась в неведении насколько возможно, Орас, теперь крепкий и прямолинейный шестнадцатилетний паренек, знает больше и в конфиденциальном разговоре с Джорджем признается, что, по его мнению, старый метод ока за око не имеет равных в правосудной справедливости, и если он застигнет тех, кто попробует бросать дохлых дроздов через их изгородь, он самолично свернет им шеи.

У Джорджа вопреки уверенности его родителей нет своего кабинета в конторе Сангстера, Викери и Спейта. У него есть табурет и высокая конторка в углу, куда ковер не дотягивается, а солнечные лучи достают только по милости высокого светового люка. У него еще нет часовой цепочки с брелоками, не говоря уж о собственном собрании законов. Зато у него есть чинный котелок, приобретенный за три шиллинга шесть пенсов у Фентона на Грейндж-стрит. И хотя его кровать по-прежнему остается всего в трех ярдах от отцовской, он ощущает в себе шевеление независимой жизни. Он даже свел знакомство с двумя млад-

шими сотрудниками соседних контор. Гринуэй и Стентсон, чуть старше него, как-то в обеденный перерыв повели его в пивную, где он несколько минут притворялся, будто с наслаждением пьет отвратительное кислое пиво, за которое заплатил он.

На протяжении года в Мейсон-колледже Джордж почти не замечал великого города, в котором оказался. Он ощущал его только как барьер шума и толчеи, отделяющий вокзал от его книг; сказать правду, город его пугал. Но теперь он начал с ним осваиваться и испытывать к нему больше любопытства. Если мощь и энергия города его не сокрушили, то, быть может, в один прекрасный день он станет его частью.

Он начинает читать про этот город. Поначалу — скучная тяжеловесность: торговцы ножевыми изделиями, и кузнецы, и плавильщики металла; затем — Гражданская война и Чума, паровые машины и Лунное общество, чартистские беспорядки. Но вот каких-то десять с небольшим лет назад Бирмингем начинает развивать в себе современную городскую жизнь, и внезапно Джордж ощущает, что читает теперь о реальностях, о том, что имеет прямое отношение к нему. Он мучается от мысли, что мог бы присут-

ствовать при одном из величайших моментов в существовании Бирмингема — в тот день 1887 года, когда ее величество заложила краеугольный камень судебного здания ее имени. И затем город впал в лихорадку строительства новых зданий и открытия новых учреждений: Центральная больница, Арбитражная палата, мясной рынок. В настоящий момент изыскиваются деньги для открытия университета, планируется постройка Зала трезвости и идут серьезные разговоры о том, что Бирмингем может стать центром самостоятельной епархии, а не подчиняться епископу Вустерскому.

В день приезда королевы Виктории приветствовать ее вышли 500 тысяч людей, и как ни огромны были толпы, никаких беспорядков или несчастных случаев не произошло. Джорджа это впечатляет, но не удивляет. Считается, что большие города — это гнезда насилия, слишком перенаселенные, тогда как сельские местности отличает безмятежность и мирность. Его собственный опыт утверждает обратное: деревня беспокойна и первобытна, а вот в городе жизнь становится упорядоченной и современной. Разумеется, Бирмингем не свободен от преступлений, и порока, и неурядиц — иначе солиситор там

ничего не зарабатывал бы, однако Джорджу кажется, что человеческое поведение здесь более рационально, более подчинено закону — более цивилизованно.

Из своих ежедневных поездок в город Джордж черпает и что-то серьезное, и что-то подкрепляющее. Есть путешествие, есть его цель: именно так его научили понимать жизнь. Дома цель — Царствие Небесное; в конторе цель — справедливость, то есть успешный результат для вашего клиента; но оба путешествия осложнены развилками пути и западнями, расставленными противником. Железная дорога указывает, как этому следует быть, как это могло бы быть, — спокойная поездка до конечной станции по двум строго параллельным рельсам, согласно точно согласованному расписанию, с пассажирами, размещенными по вагонам первого, второго и третьего классов.

Быть может, поэтому Джордж преисполняется тихой яростью, когда кто-то намеренно причиняет вред железной дороге. Есть молодые люди — возможно, и взрослые мужчины, — которые кромсают ножами и бритвами кожаные петли для опускания окон, которые бессмысленно набрасываются на рамы картин над сиденья-

ми, которые околачиваются на пешеходных мостиках и пытаются сбрасывать кирпичи в паровозную трубу. Для Джорджа подобное непостижимо. Быть может, положить монетку на рельс, чтобы поглядеть, как ее расплющит, и выглядит безобидной проделкой, но Джордж считает ее скользким скатом, завершающимся крушением поезда.

Такие действия, естественно, предусмотрены уголовным правом. Джордж все чаще ловит себя на все большей поглощенности правовой связью между пассажирами и железнодорожной компанией. Пассажир покупает билет, и в эту секунду вручения и принятия оплаты возникает контракт. Но спросите у этого пассажира, какого рода контракт заключил он (или она), какие обязательства возлагаются на ту и другую стороны, какая компенсация может быть затребована от железнодорожной компании в случае опоздания, поломки или несчастного случая, и ответом будет «никакая». Возможно, вины пассажира тут нет: билет подразумевает контракт, но конкретные его условия доступны для обозрения лишь на некоторых вокзалах главной линии и в кабинетах правления железнодорожной компании — а у какого занятого человека найдется

время задержаться и ознакомиться с ними? И все-таки Джордж не перестает удивляться тому, как британцы, давшие миру железные дороги, видят в них только удобный вид транспорта, а не сложное сплетение многочисленных прав и обязательств.

Он решает назначить Ораса и Мод Мужчиной и Женщиной в Клапамском Омнибусе — или, в данном случае, Мужчиной и Женщиной в Вагоне Поезда Уолсолл, Кэннок и Раджли. Ему разрешено пользоваться классной комнатой как залом суда. Он сажает брата и сестру за парты и излагает им дело, на которое недавно наткнулся в иностранных судебных отчетах.

— Жил да был, — начинает он, прохаживаясь взад-вперед, как того словно бы требует история, — очень толстый француз, фамилия которого была Пейэль, и весил он триста пятьдесят фунтов.

Орас принимается хихикать. Джордж сдвигает брови на брата и сжимает лацканы, как адвокат.

— Прекратить смех в зале, — требует он. И продолжает: — Мсье Пейэль купил билет третьего класса на французский поезд.

— А куда он ехал? — спрашивает Мод.

— Куда он ехал, никакого значения не имеет.

— Почему он такой толстый? — требует Орас. Эти *ad hoc*[6] присяжные, видимо, убеждены, что могут задавать вопросы, когда им вздумается.

— Не знаю. Возможно, он был обжорой почище тебя. И действительно, он был таким обжорой, что, когда поезд подошел к перрону, он обнаружил, что не может пролезть в дверь вагона третьего класса. — Орас снова хихикает. — Тогда он попробовал войти в дверь вагона второго класса, но и в нее пролезть не смог. Тут он попробовал дверь вагона первого класса…

— Но был таким толстым, что не пролез и в нее! — вопит Орас, словно доканчивая анекдот.

— Нет, господа присяжные, он убедился, что эта дверь была достаточно широкой. Так что он занял сиденье, и поезд отправился в… туда, куда отправился. Некоторое время спустя входит контролер, берет его билет и требует уплатить разницу в цене билета первого и третьего класса. Мсье Пейэль отказался уплатить. Железнодорожная компания предъявила Пейэлю иск. Теперь вам понятно, в чем заключается проблема?

— Проблема в том, что он был таким толстым, — говорит Орас и снова хихикает.

---

[6] Примечания: 6
Здесь: импровизированные *(лат.)*.

— У него не было денег, чтобы заплатить, — говорит Мод. — Бедненький!

— Нет, проблема ни в том, ни в другом. Денег, чтобы уплатить, у него было достаточно, но он отказался это сделать. Разрешите мне пояснить. Адвокат Пейэля аргументировал, что его клиент выполнил требования закона, купив билет, и вина компании в том, что двери всех вагонов, кроме вагонов первого класса, были настолько узки, что он не смог в них войти. Компания же утверждала, что, раз он был слишком толст, чтобы войти в вагон того или иного класса, ему следовало купить билет в вагон, в который он мог бы войти. А что думаете вы?

Орас категоричен.

— Раз он вошел в вагон первого класса, значит, он должен платить за первый класс. А как же иначе? Не надо ему было налегать на пироги. Не вина компании, если он так растолстел.

Мод склоняется на сторону слабого и решает, что толстый француз относится к следующей категории.

— Он не виноват, что стал таким толстым, — начинает она. — Может, это такая болезнь. Или, может, его мать умерла, и он с горя ел слишком много. Или… ну, там, еще что-нибудь. Он ведь

никого не заставил уступить ему место и пойти вместо него в третий класс.

— Суд не был поставлен в известность о причинах его толщины.

— Значит, закон — задница, — говорит Орас, недавно освоивший это словечко.

— А прежде он такое делал? — спрашивает Мод.

— Превосходный аргумент, — говорит Джордж, кивая, как судья. — Он касается вопроса о намерении. Либо он по прежнему опыту знал, что слишком толст и не сможет войти в вагон третьего класса, но купил билет вопреки этому, либо он купил билет в честной уверенности, что сумеет войти в дверь.

— Ну так он знал или не знал? — нетерпеливо спрашивает Орас.

— Не знаю. В отчете об этом не сказано.

— Так какой ответ?

— Ну, здесь ответ упирается в то, что мнения присяжных разделились: в пользу одной стороны и другой. Вам придется обсудить это между собой.

— Ничего с Мод я обсуждать не буду, — говорит Орас. — Она девчонка. А настоящий ответ каким был?

— Ну, апелляционный суд в Лилле вынес решение в пользу железнодорожной компании. Пейэль должен был возместить им убытки.

— Я выиграл! — вопит Орас. — Мод все напутала.

— Никто ничего не напутал, — отвечает Джордж. — Дело могло быть решено и так, и эдак. Потому-то люди и обращаются в суд.

— А я все равно выиграл, — говорит Орас.

Джордж доволен. Он завоевал интерес своих юных присяжных, и днем в следующую субботу он предлагает им новые дела и проблемы. Имеют ли право пассажиры в полном купе запирать дверь, не впуская стоящих на платформе? Есть ли правовое различие между находкой чужого бумажника на сиденье и находкой монеты, провалившейся между подушками? Что произойдет, если вы сядете в последний поезд, а он не остановится на вашей станции, и вам придется прошагать назад пять миль под дождем?

Когда Джордж замечает, что внимание его присяжных угасает, он развлекает их любопытными фактами и примечательными казусами. Он, например, рассказывает им про собак в Бельгии. В Англии правила требуют, чтобы на собаку надевали намордник и сдавали ее в багажный ва-

гон, тогда как в Бельгии собака может получить статус пассажира при условии, что у нее есть билет. Он рассказывает про дело, когда охотник, взявший своего ретривера с собой на поезд, подал в суд, потому что пса согнали с сиденья в пользу человека. Суд — к восторгу Ораса и огорчению Мод — вынес решение в пользу истца, а решение это означало, что с этих пор в Бельгии, если пять человек и пять их собак займут десятиместное купе и все десятеро могут предъявить билеты, купе по закону будет считаться полным.

Джордж удивляет Ораса и Мод. В классной комнате в нем чувствуется не только новая авторитетность, но и какая-то веселость, будто он вот-вот расскажет анекдот, чего, насколько им известно, он еще никогда не делал. Джордж, в свою очередь, обнаруживает, что его присяжные очень ему полезны. Орас быстро приходит к категорическому выводу, чаще в пользу железнодорожной компании, — и сдвинуть его с этой позиции невозможно. Мод принимает решение не сразу, задает уместные вопросы и сочувствует всем неудобствам, какие могут выпасть на долю пассажира. Хотя его младшие брат и сестра вряд ли могут считаться срезом железнодорожных пассажиров, они, думает Джордж, типичны в

полной неосведомленности о своих правах.

Артур

Он осовременил детективизм. Он избавил его от туго мыслящих представителей старой школы, этих заурядных смертных, снискивавших рукоплескания, истолковывая бьющие в нос улики, которыми устилался их путь. На их место он поместил хладнокровного, проницательного субъекта, способного увидеть ключ к убийству в клубке шерсти и неумолимый приговор — в блюдечке с молоком.

Холмс обеспечил Артура внезапной славой и тем, чего капитанство английской крикетной командой никогда бы не принесло, — деньгами. Он купил приличных размеров дом в Саут-Норвуде — высоко обнесенный стеной сад, при нем обеспечил место и для теннисного корта. В прихожей он поставил бюст своего деда, а свои арктические трофеи расположил на верху книжного шкафа. Он отвел кабинет для Вуда, который словно бы утвердил себя в качестве перманентного секретаря. Лотти вернулась из Португалии, оставив место гувернантки. А Конни, при всей своей декоративности, оказалась бесценной помощницей с пишущей машинкой. Машинку он купил еще

в Саутси, но так никогда и не научился успешно управляться с ней. Более удачно он справлялся с двойным велосипедом, на котором крутил педали вместе с Туи. Когда она опять забеременела, он обменял тандем на трицикл, движимый исключительно одной мужской силой. В погожие дни он катал ее в тридцатимильных прогулках по суррейским холмам.

Он освоился с успехом, с тем, что его узнают и разглядывают, а также с приятностями и накладками газетных интервью.

— Тут говорится, что ты «счастливый, благодушный, непритязательной внешности». — Туи улыбалась журналу. — «Высокий, широкоплечий и с рукой, сердечно пожимающей вашу с такой искренней приветливостью, что даже больно».

— Кто это?

— «Стрэнд мэгезин».

— А! Мистер Хау, насколько помню. Не страдает природной спортивной порядочностью. Лапа пуделя. А что он пишет о тебе, дорогая?

— Он говорит… нет, я не могу это прочесть.

— Я требую. Ты знаешь, как я люблю, когда ты розовеешь.

— Он пишет… что я «самая очаровательная женщина». — Она заливается требуемым румянцем

и торопливо меняет тему: — Мистер Хау говорит, что «доктор Дойль всегда задумывает развязку очередного рассказа, а остальное пишет, исходя из нее». Ты мне этого никогда не говорил, Артур.

— Разве? Ну, наверное, потому, что это само собой разумеется. Как ты можешь построить начало, если не знаешь конца? Только логично, если ты об этом подумаешь. А что еще наш друг нашел сказать?

— Что твои идеи осеняют тебя в любое время — когда ты гуляешь, играешь в крикет, катаешься на трицикле или играешь в теннис. Это правда, Артур? И ты поэтому иногда становишься рассеянным на корте?

— Возможно, я слегка поводил его за нос.

— И посмотри-ка, малютка Мэри стоит на этом самом стуле.

Артур наклонился через стол.

— Скопировано с одной из моих фотографий. Вот видишь? Я позаботился, чтобы они снизу поместили мою фамилию.

Артур стал фигурой в литературных кругах. Джером и Барри числились в его друзьях; он познакомился с Мередитом и Уэльсом. Он обедал с Оскаром Уайльдом и нашел его безупречно любезным, чему весьма поспособствовало, что

тот прочел «Михея Кларка» и пришел в восхищение. Артур теперь прикинул, что будет возиться с Холмсом еще не больше двух — от силы трех — лет перед тем, как убьет его. А тогда сосредоточится на исторических романах, ведь они, как он всегда знал, получались у него особенно хорошо.

Он гордился тем, чего ему уже удалось достичь. И не мог решить, гордился ли бы он больше, если бы во исполнение пророчества Патриджа все-таки стал капитаном английской крикетной команды. Теперь уже было совершенно ясно, что этому не сбыться никогда. Он прилично подавал правой и умел придавать слабо отбитым мячам траектории, ставившие многих в тупик. Он мог бы стать универсальным хорошим крикетистом, но теперь его главная честолюбивая цель была более скромной: увидеть свою фамилию упомянутой на страницах «Уиздена».

Туи подарила ему сына, Оллейна Кингсли. Он всегда мечтал наполнить свой дом всей своей семьей. Но бедняжка Аннетт умерла в Португалии, а Мам, все такая же упрямая, предпочитала оставаться в коттедже, в поместье этого субъекта.

Тем не менее с ним были сестры, дети, жена, а его брат Иннес находился неподалеку в Вулвиче, готовясь к армейской жизни. Артур был кор-

мильцем и отцом семьи, с наслаждением оделяя щедротами и чеками без проставленных сумм. Раз в году он делал это официально, облаченный в костюм Санта Клауса.

Он знал, что в положенном порядке следовать должны: жена, дети, сестры. Как давно они женаты? Семь… восемь лет? Туи была всем, чего только возможно желать от жены. Бесспорно, самой очаровательной женщиной, как отметил «Стрэнд мэгезин». Она была безмятежной и обрела компетентность; она подарила ему сына и дочь. Она верила в то, что и как он писал до последнего прилагательного, и поддерживала все, чего бы он ни затевал. Его манила Норвегия, они ехали в Норвегию, его манило устраивать званые обеды, и она организовывала их именно так, как ему нравилось. Он вступил с ней в брак на радость и на горе, на богатство и на бедность. До сих пор не случалось ни горя, ни бедности.

И тем не менее, и тем не менее… Теперь все стало другим, если быть честным с собой. Когда они только познакомились, он был молодым, неуклюжим и неизвестным, она любила его и никогда не жаловалась. Теперь он все еще был молодой, но преуспевающий и знаменитый; он был способен в течение часа завораживать целый

стол остроумцев в Савиле.[7] Он обрел почву под ногами и — отчасти благодаря браку — свой мозг. Его успех был заслуженным результатом упорного труда, но те, кому самим успех был не знаком, воображали, будто на этом история кончалась. Артур еще не был готов для конца собственной истории. Если жизнь — рыцарские поиски, то он спас прекрасную Туи, он завоевал город и был вознагражден золотом. Но впереди предстояли годы и годы, прежде чем он приготовится принять роль мудрого старейшины племени. Что делал странствующий рыцарь, когда возвращался домой к жене и двум детям в Саут-Норвуде?

Ну, возможно, вопрос не был таким уж трудным. Он оберегал их, вел себя благородно и учил своих детей требованиям надлежащего кодекса жизни. Он мог отправиться в новые поиски, хотя, разумеется, не в те, которые подразумевали спасение других прекрасных девиц. Предстоят еще вызовы в литературном творчестве, общественной деятельности, путешествиях, политике. Кто знает, куда его увлекут внезапные вспышки энергии? Он всегда будет обеспечивать Туи все внимание и комфорт, в которых она будет

---

[7] Примечания: 7
Лондонский писательский клуб.

нуждаться; он никогда не даст ей и секунды почувствовать себя несчастливой.

И тем не менее. И тем не менее…

Джордж

Гринуэй и Стентсон склонны держаться друг друга, но Джорджа это не тревожит. В обеденный перерыв его не влекут пивные, он предпочитает сидеть под деревом в Сент-Филипс-плейс и есть бутерброды, которые приготовила ему мать. Ему нравится, когда они просят его объяснить тот или иной аспект в транспортировке, но часто недоумевает, когда они обмениваются таинственными фразами о лошадях, букмекерских конторах, девушках и дансинг-холлах. К тому же в данный момент они слегка помешались на Бечуаналенде, вожди которого прибыли в Бирмингем с официальным визитом.

К тому же, когда он общается с ними, они любят расспрашивать и дразнить.

— Джордж, откуда ты взялся?

— Из Грейт-Уайрли.

— Нет, откуда ты действительно взялся?

Джордж прикидывает.

— Из тамошнего дома священника, — отвечает он, и они смеются.

— А у тебя есть девушка, Джордж?

— Прошу прощения?

— Ты не понял какого-нибудь юридического определения в вопросе?

— Ну, я считаю, что про свое болтать не следует.

— Фу-ты, ну-ты, Джордж.

За эту тему Гринуэй и Стентсон держатся с упорством и хохотом.

— А она конфетка, Джордж?

— А она похожа на Мари Ллойд?

Если Джордж не отвечает, они сближают головы, сдвигают шляпы под углом и поют в его честь:

— Тот-кого-люблю-я-сидит-вверху-на-галерее.

— Ну, давай же, Джордж, скажи нам, как ее зовут.

После нескольких таких недель у Джорджа не хватает сил терпеть. Если им требуется, так пусть получат.

— Ее зовут Дора Чарльзуорт, — внезапно говорит он.

— Дора Чарльзуорт, — повторяют они, — Дора Чарльзуорт, Дора Чарльзуорт?

И звучит это крайне неправдоподобно.

— Она сестра Гарри Чарльзуорта. Он мой друг.

Он думал, что это заставит их замолчать, но они словно только еще больше раззадорились.

— Какого цвета у нее волосы?

— А ты ее целовал, Джордж?

— Откуда она?

— Нет. Откуда она по-настоящему?

— А ты готовишь ей валентинку?

Нет. Эта тема им никогда не приедается.

— Послушай, Джордж, нам надо задать тебе о Доре один вопрос. Она черная?

— Она англичанка, так же, как и я.

— Так же, как ты, Джордж? Совсем как ты?

— Когда мы с ней познакомимся?

— Спорю, она бечуанка.

— Не послать ли нам частного сыщика навести справки? Как насчет того типа, которого нанимают фирмы, занимающиеся разводами? Заходит в гостиную и засекает мужа с горничной. А ты бы не хотел, чтобы тебя так засекли, а, Джордж?

Джордж решает, что, сделав то, что он сделал, а вернее, просто допустил, он, в сущности, не солгал, но просто позволил им верить в то, чему они хотели верить, а это совсем другое. К счастью, они живут в противоположной от Бирмингема стороне, так что всякий раз, когда поезд Джорджа отходит от Нью-стрит, он оставляет эту историю позади себя.

Утром 13 февраля Гринуэй и Стентсон пребы-

вают в особо игривом настроении, хотя причину Джордж так никогда и не узнает. А они только что отправили валентинку, адресованную мисс Доре Чарльзуорт, Грейт-Уайрли, Стаффордшир. Открытка приводит почтальона в крайнее недоумение, и даже в еще более крайнее — Гарри Чарльзуорта, который всегда мечтал иметь сестру.

Джордж сидит в поезде с развернутой газетой на коленях. Его портфель лежит на более высокой и широкой из двух сетчатых полок над его головой, а его котелок — на нижней, поуже, предназначенной для головных уборов, тростей и небольших пакетов. Он думает о путешествии, которое каждый волей-неволей совершает по жизни. Путешествие его отца, например, началось в далеком Бомбее, в дальнем конце одного из бурлящих кровеносных сосудов Империи. Там он вырос и был обращен в христианство. Там он написал грамматику гаджаратского языка, которая оплатила ему проезд до Англии. Он учился в Кентербери в колледже Святого Августина, был рукоположен епископом Макарнессом, а затем служил младшим священником в Ливерпуле до того, как обрел свой приход в Уайрли. Это великолепное путешествие, с какой стороны ни

посмотреть, а его собственное, думает Джордж, без сомнения, не окажется таким протяженным. Вероятно, оно будет больше походить на мамино: из Шотландии, где она родилась, в Шропшир, где ее отец тридцать девять лет был приходским священником в Кетли, а затем в соседний Стаффордшир, где ее муж с изволения Господа может продолжать свое служение столь же долго. Окажется ли Бирмингем конечным пунктом назначения Джорджа или только началом пути? Он пока еще не знает.

Джордж начинает думать о себе уже не как о сельском жителе с сезонным билетом, но более как о будущем гражданине Бирмингема. В знак этого нового статуса он решает отрастить усы. Это занимает гораздо больше времени, чем он предполагал, позволяя Гринуэю и Стентсону без конца спрашивать, не хочет ли он, чтобы они скинулись и купили ему флакон средства для ращения волос. Когда волосы наконец покрывают всю ширину поверхности над его верхней губой, они начинают называть его маньчжуром.

Когда эта шутка им приедается, они придумывают новую.

— Послушай, Стентсон, а ты знаешь, кого мне напоминает Джордж?

— Без подсказки не обойдусь.

— Ну так где он учился в школе?

— Джордж, где ты учился в школе?

— Ты прекрасно знаешь, Стентсон.

— А ты все-таки скажи, Джордж.

Джордж отрывается от Закона о передаче земли 1897 года и от его последствий для завещаний о недвижимости.

— В Раджли.

— А ну-ка подумай, Стентсон.

— Раджли… Ага! Погоди-ка… А это не Уильям Палмер…

— Раджлийский отравитель! Вот именно.

— Где он ходил в школу, Джордж?

— Вы сами прекрасно знаете, ребята.

— А там всем давали уроки отравлений? Или только умным мальчикам?

Палмер убил жену и брата, предварительно застраховав их на большие суммы; а затем и букмекера, которому много задолжал. Возможно, имелись и другие жертвы, но полиция удовлетворилась эксгумацией только членов семьи. Улик было достаточно, чтобы обеспечить Отравителю публичную казнь в Стаффорде перед пятидесятитысячной толпой.

— У него были такие же усы, как у Джорджа?

— Абсолютно такие же, как у Джорджа.

— Ты ничего про него не знаешь, Гринуэй.

— Я знаю, что он учился в твоей школе. Он висел на доске почета? Знаменитый выпускник и все такое прочее.

Джордж делает вид, будто затыкает уши большими пальцами.

— Самое главное в Отравителе, Стентсон, что он был дьявольски умен. Обвинению так и не удалось установить, каким ядом он пользовался.

— Дьявольски умен. Как ты думаешь, а не был ли он восточным джентльменом, этот Палмер?

— Из Бечуаналенда? Вполне возможно. По фамилии не всегда узнаешь, правда, Джордж?

— А ты знаешь, что потом Риджли послал делегацию к лорду Пальмерстону на Даунинг-стрит? Они хотели изменить название своего городишки из-за позора, который навлек на него Отравитель. Премьер подумал-подумал и спросил: «А какое название вы предлагаете — Палмерстаун?»

После некоторого молчания.

— Я что-то не понял.

— Да нет, не Пальмерстон, а Палмерс-таун.

— А-а! Это крайне забавно, Гринуэй.

— Даже наш маньчжурский друг смеется. Скрытно, под усами.

Против обыкновения Джордж не выдерживает.

— Засучи рукав, Гринуэй.

— Зачем? — спрашивает Гринуэй с усмешечкой. — Хочешь обжечь меня по-китайски?

— Засучи рукав.

Джордж засучивает свой и протягивает руку рядом с рукой Гринуэя, который только что вернулся, позагорав две недели на пляже Аберистуита. Кожа у них абсолютно одинакового оттенка. Гринуэй и бровью не ведет и ждет слов Джорджа. Однако Джордж чувствует, что доказал свое, и начинает вставлять запонку назад в манжету.

— В чем, собственно, дело? — спрашивает Стентсон.

— По-моему, Джордж пытается доказать, что я тоже отравитель.

Артур

Они взяли Конни в поездку по Европе. Она была крепкой и здоровой девушкой и во время пути в Норвегию оказалась единственной пассажиркой, не поддавшейся морской болезни. Такая невосприимчивость вызывала раздражение у страдалиц. Возможно, их раздражала и ее могучая красота: Джером сказал, что Конни могла бы позировать для Брунгильды. В этой поездке Артур обнаружил, что легкая танцующая походка его сестры и каштановые волосы, заплетенные на спине в подобие корабельного каната, привлекают к ней самых неподходящих мужчин: донжуанов, шулеров, маслянистых соломенных вдовцов. Артуру иногда приходилось чуть ли не пускать в ход трость против некоторых из них.

Вернувшись домой, она наконец-то как будто остановила взгляд на вполне презентабельном молодом человеке: двадцатишестилетний Эрнест Уильям Хорнанг был высок, щеголеват, астматичен, прилично отбивал, а иногда умел и прилично закрутить мяч; а сверх того он был благовоспитан, хотя и склонен говорить без умолку, если ему предоставляли такую возможность.

Артур понимал, что ему нелегко одобрить любого ухажера и Лотти, и Конни, но в любом случае его долг как главы семьи требовал расспросить сестру.

— Хорнанг. Что он, собственно, такое, этот Хорнанг? Полумонгол-полуславянин, если его послушать. Не могла ты найти себе британца?

— Он родился в Миддлсборо, Артур. Его отец — солиситор. Он учился в Аппингеме.

— В нем есть что-то странное, я это чую.

— Он три года прожил в Австралии. Из-за астмы. И, возможно, ты чуешь запах эвкалиптов.

Артур подавил смех. Из всех его сестер именно Конни умела ему противостоять. Лотти он любил больше, но Конни нравилось удивлять его, преподносить ему сюрпризы. Слава Богу, она не вышла за Уиллера. И *fortiori*[8] это относилось к Лотти.

— И чем он занимается, этот субъект из Миддлсборо?

— Он писатель. Как и ты, Артур.

— Никогда о нем не слышал.

— Он написал десяток романов.

— Десяток! Но он же еще совсем юный щенок.

---

[8] Примечания: 8
в еще большей мере *(лат.).*

(Во всяком случае, трудолюбивый щенок!)

— Если хочешь судить о нем в этом смысле, могу дать тебе почитать хотя бы один. У меня есть «Под двумя небесами» и «Хозяин Тарумбы». Действие многих происходит в Австралии, и я нахожу их талантливыми.

— Неужели, Конни?

— Но он понимает, что зарабатывать на жизнь романами трудно, а потому он еще и журналист.

— Ну, фамилия запоминающаяся, — проворчал Артур. И дал Конни разрешение привести молодчика в дом. Пока он не станет делать выводов и не заглянет ни в один его роман.

Весна в этом году настала рано, и к концу апреля теннисные корты были расчерчены заново. В кабинет к Артуру доносились дальние хлопки ракеток по мячу и привычные раздражающие женские вскрики после неловкого промаха. Позднее он выходил из дома, и вот, пожалуйста, Конни в широкой колышущейся юбке и Уилли Хорнанг в канотье и белом теннисном костюме с сужающимися книзу брючинами. Он заметил, как Хорнанг не поддается ей, но в то же время умеряет силу удара. Он одобрил: именно так мужчина должен играть с девушкой.

Туи сидела в шезлонге сбоку от корта, согре-

ваемая не столько слабым солнцем приближающегося лета, сколько жаром юной любви. Их смеющиеся реплики через сетку и их застенчивость друг с другом после игры, казалось, чаровали ее, и потому Артур решил, что будет завоеван. Правду сказать, ему нравилась роль придирчивого главы семьи. А Хорнанг временами казался остроумцем. Пожалуй, излишне остроумным, но это можно было списать на молодость. Его первая шутка? А, да! Артур читал спортивные страницы и задержался на заметке о бегуне, который якобы преодолел сто ярдов за десять секунд.

— Что вы на это скажете, мистер Хорнанг?

И Хорнанг ответил с быстротой молнии:

— Видимо, ему помогла опечатка.

В августе Артура пригласили прочесть лекцию в Швейцарии. Туи все еще не оправилась после рождения Кингсли, но, естественно, поехала с ним. Они посетили Рейхенбахский водопад, великолепный, но наводящий ужас и вполне достойный стать гробницей Холмсу. Этот субъект стремительно превращался в удавку у него на шее. Ну, теперь с помощью архизлодея он избавится от этой обузы.

В конце сентября Артур вел Конни к алтарю по

центральному проходу церкви, и она тянула его руку назад, так как он шагал по-военному быстро. Когда он символически передал ее у алтаря жениху, он знал, что ему положено испытывать гордость за нее, радоваться ее счастью. Но среди всех этих померанцевых, поздравительных похлопываний по спине и шуточек о покорении девичьих сердец он ощущал, что его мечте о семье, разрастающейся вокруг него, наносится удар.

Десять дней спустя он узнал, что его отец умер в приюте для умалишенных в Ламфризе. Причиной была названа эпилепсия. Артур много лет не навещал его и на похороны не поехал; как и все остальные члены семьи. Чарльз Дойль предал Мам и обрек своих детей на благопристойную нищету. Он был слаб, лишен мужественности, не способен одержать победу в своем бою с алкоголем. Бою? Да он и перчаток толком не поднимал против демона. Иногда ему находили извинения, но Артур не считал ссылки на артистический темперамент убедительными. Просто потакание своим слабостям и самооправдание. Ведь можно быть артистической натурой, но при этом сильным и ответственным.

У Туи развился хронический осенний кашель,

и она жаловалась на боли в боку. Артур счел эти симптомы малозначительными, но в конце концов пригласил Дальтона, местного врача. Было странно превратиться из доктора всего лишь в мужа пациентки; странно ждать внизу, когда у него над головой решалась его судьба. Дверь спальни оставалась затворенной долгое время, а когда Дальтон вышел, выражение его лица было столь же скорбным, сколь и знакомым, — Артур сам много раз выглядел именно так.

— Ее легкие серьезно затронуты. Все признаки скоротечной чахотки. При ее состоянии и семейной истории… — Продолжать доктору Дальтону было незачем, и он только добавил: — Разумеется, вам потребуется второе мнение.

Не просто второе, но самое лучшее. В следующую субботу в Саут-Норвуд приехал Дуглас Пауэлл, консультант Бромптонской туберкулезной больницы, специалист по грудным болезням. Бледный, аскетического вида, бритый и корректный Пауэлл с сожалением подтвердил диагноз.

— Вы, насколько мне известно, врач, мистер Дойль?

— Я горько упрекаю себя за мою невнимательность.

— Ваша специальность ведь не болезни лег-

ких?

— Глазные.

— Тогда вам не в чем себя упрекать.

— Тем более. У меня есть глаза, но я не увидел. Я не заметил проклятого микроба. Я не уделял ей достаточно внимания. Я был слишком занят моим собственным… успехом.

— Но вы же специалист по глазам.

— Три года назад я ездил в Берлин, чтобы ознакомиться с открытиями — предполагаемыми открытиями — Коха касательно этой самой болезни. Я написал о них для Стэда в «Ревью оф ревьюз».

— Так-так.

— И все же я не распознал скоротечную чахотку у моей собственной жены. Хуже того: я разрешал ей разделять со мной активную сторону моей жизни, что не могло не привести к ухудшению. Мы катались на трицикле в любую погоду, мы путешествовали в холодных странах, она вместе со мной смотрела спортивные состязания под открытым небом…

— С другой стороны, — сказал Пауэлл, и эти слова на мгновение подбодрили Артура, — по моему мнению, фиброз вокруг очагов — признак благоприятный. К тому же второе легкое увеличено, и

это в какой-то мере компенсирует функцию. Но ничего более утешительного я сказать не могу.

— Я этого не принимаю! — Артур прошептал свое возражение, так как не мог прокричать его во всю мощь своего голоса.

Пауэлл не оскорбился. Он привык произносить самые мягкие, самые обходительные смертные приговоры и хорошо знал, как они действуют на тех, кого касаются.

— Но, конечно, если хотите, я могу назвать…

— Нет-нет. Я принимаю то, что вы сказали мне. Но я не принимаю того, чего вы не сказали. Вы дали бы ей несколько месяцев.

— Вы не хуже меня знаете, доктор Дойль, насколько невозможно предсказать…

— Я не хуже вас знаю, доктор Пауэлл, те слова, которыми мы поддерживаем наших пациентов и их близких. И еще я знаю слова, которые мы слышим про себя, когда стараемся поддержать их надежды. Примерно три месяца.

— Да, по моему мнению.

— И я снова повторю: я этого не принимаю. Когда я вижу Дьявола, я вступаю с ним в борьбу. Куда бы нам ни пришлось поехать, сколько бы мне ни пришлось потратить, он ее не получит.

— Желаю вам всяческого успеха, — сказал

Пауэлл. — И остаюсь к вашим услугам. Однако я обязан сказать две вещи. Возможно, они не нужны, но этого требует мой долг. Надеюсь, вы не обидитесь.

Артур выпрямил спину. Солдат, готовый получить приказания.

— Если не ошибаюсь, у вас есть дети?

— Двое. Мальчик и девочка. Ему год, ей четыре.

— Вы должны понять, что ни в коем случае…

— Я понимаю.

— Я говорю не о ее способности к зачатию.

— Мистер Пауэлл, я не глупец. И я не животное.

— Тут требуется предельная ясность, вы понимаете? Второй момент, возможно, не столь очевиден. Воздействие — вероятное воздействие — на пациентку, на миссис Дойль.

— И?..

— Согласно нашему опыту, туберкулез отличается от других обессиливающих болезней. Некоторое время больной почти не испытывает боли. Часто болезнь причиняет меньше неудобств, чем флюс или несварение желудка. Но главное тут — ее воздействие на умственные процессы. Больные часто оптимистичны.

— То есть галлюцинируют? Бредят?

— Нет, именно оптимистичны. Спокойны и бодры, сказал бы я.

— Благодаря прописываемым лекарствам?

— Отнюдь. Такова природа болезни. И то, насколько пациентка осведомлена о серьезности своего положения, тут роли не играет.

— Ну, для меня это великое облегчение.

— Да, вначале, мистер Дойль.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду, что, если пациентка не страдает, не жалуется, а остается бодрой перед лицом неизлечимой болезни, страдать и жаловаться начинают другие.

— Вы меня не знаете, сэр.

— Это правда. Тем не менее я желаю вам всего необходимого мужества.

В радости и в горе, в богатстве и в бедности. Он забыл про «в болезни и в здравии».

Из дома для умалишенных Артуру прислали альбомы его отца. Последние годы Чарльза Дойля, пока он томился, никем не навещаемый, в своем последнем земном приюте, были печальными. Но он не умер сумасшедшим. Это было ясно. Он продолжал писать акварели и рисовать, а также вести дневник. Теперь Артур внезапно понял, что

его отец был незаурядным художником, недооцененным собратьями по искусству и вполне достойным посмертной выставки в Эдинбурге, а то и в Лондоне. Артур не мог не задуматься о контрасте их судеб: пока сын наслаждался объятиями славы и общества, его брошенный отец знал лишь объятия смирительной рубашки. Никакой вины Артур не ощущал, но лишь зарождение сыновнего сострадания. А в дневнике его отца нашлась фраза, которая не могла не поразить сердце любого сына. «Я полагаю, — написал он, — что я заклеймен сумасшедшим только из-за Шотландского Извращенного Понимания Шуток».

В декабре этого же года Холмса постигла смерть в объятиях Мориарти, когда их обоих столкнула в пропасть нетерпеливая авторская рука. В лондонских газетах не появились некрологи Чарльзу Дойлю, но их страницы запестрели протестами и горестью из-за смерти несуществующего сыщика-консультанта, чья популярность начала вызывать неловкость и даже отвращение у его творца. Артуру казалось, что мир помешался: его отец едва сошел в могилу, его жена приговорена к смерти, но молодые люди в Сити, оказывается, обвязывают шляпы крепом в знак траура по ми-

стеру Шерлоку Холмсу.

В конце этого угрюмого года произошло еще одно событие. Через месяц после смерти отца Артур подал заявление о вступлении в Общество спиритических изысканий.

Джордж

Заключительные экзамены приносят Джорджу диплом с отличием второй степени, а Бирмингемское юридическое общество награждает его бронзовой медалью. Он открывает контору в доме № 14 по Ньюхолл-стрит, получив предварительное обещание избыточной работы от Сангстера, Викери и Спрейта. Ему двадцать три года, и мир для него изменяется.

Вопреки детству в доме священника, вопреки годам и годам сыновнего выслушивания проповедей с кафедры Святого Марка Джордж часто ловил себя на том, что не понимает Библию. Не всю ее и не всегда — вернее, недостаточно всю и слишком часто. Непременно приходилось проделывать прыжок от факта к вере, от знания к пониманию, на которое он оказывался не способен. И он чувствует себя притворщиком. Догматы англиканской Церкви все больше становятся чем-то заданным вдалеке. Он не ощущает их близкими истинами, не видит, чтобы они действовали изо дня в день, из минуты в минуту. Естественно, родителям он про это не говорит.

В школе ему предлагались другие истины, дру-

гие объяснения жизни. Вот так говорит наука; вот так говорит история; вот так говорит литература… Джордж навострился отвечать на вопросы по этим предметам, даже если в его сознании они не обладали реальной жизненностью. Но теперь он открыл юриспруденцию, и мир наконец-то начинает обретать смысл. Связи, до этих пор невидимые, между людьми, между предметами, между идеями и принципами — мало-помалу раскрываются ему.

Например, он едет в поезде между Блокуичем и Берчиллсом и глядит из окна на живые изгороди. Он видит не то, что видят его соседи, то есть через маленькие интервалы взъерошенные ветром кусты, приют для птичек, вьющих в них гнезда, но официальную границу между владельцами земли, разделение, установленное долголетним пользованием, иногда порождающим дружбу, а иногда споры. Дома он глядит на служанку, оттирающую пол на кухне, и вместо грубой и неуклюжей девки, возможно, перепутавшей его книги, видит контракт найма, обязанность производить уборку, сложно и тонко сочетающиеся друг с другом, подкрепленные веками прецедентного права, и совершенно неизвестные заинтересованным сторонам.

С законами он чувствует себя уверенным и счастливым. Столько толкований, объяснений, каким образом одно слово может означать и означает совершенно разные вещи, и существует почти столько же книг, комментирующих законы, сколько комментирующих Библию. Однако в конце необходимость дальнейшего прыжка отсутствует, вместо него вы получаете соглашение, решение, которому необходимо подчиняться, понимание скрытого смысла. Это путешествие из хаоса к ясности. Пьяный моряк пишет завещание на страусином яйце; моряк тонет, яйцо уцелело, после чего закон обеспечивает обоснованность и правомерность его словам, обмытым морем.

Другие молодые люди делят жизнь между работой и удовольствиями; более того: во время первой предаются мечтам о вторых. Джордж убеждается, что закон обеспечивает его и тем, и другим. У него нет ни нужды, ни желания заниматься спортом, кататься на яхтах, ходить в театр; ни алкоголь, ни гурманство его не прельщают, как и лошади, старающиеся обгонять друг друга; не влекут его и путешествия. У него есть его практика, а для удовольствия — железнодорожные законы. Поразительно, что десятки тысяч людей, ежедневно ездящих на поездах,

не имеют полезного карманного справочника, чтобы помочь им выяснить свои права в отношениях с железнодорожной компанией. Он написал господам Эффингему и Уилсону, издателям серии «Подручных юридических справочников Уилсона», и на основании главы-образчика они приняли его предложение.

Джорджу привили веру в усердный труд, честность, бережливость, добрые дела и любовь к семье. Далее он как старший должен был подавать пример Орасу и Мод. Джордж все больше осознает, что (хотя его родители равно любят своих трех детей) на него возлагаются особые ожидания. Мод скорее всего будет источником озабоченности; Орас, пусть во всех отношениях и достойный юноша, совсем не создан быть ученым-мыслителем. Он уже покинул дом и с помощью маминого родственника умудрился поступить на государственную службу клерком самого низшего разряда.

Все же выпадают моменты, когда Джордж ловит себя на зависти к Орасу, который теперь живет в квартире в Манчестере и иногда присылает бодрые открытки с какого-нибудь приморского курорта. А выпадают и моменты, когда он предпочел бы, чтобы Дора Чарльзуорт действительно

существовала. Но у него нет знакомых девушек. Ни одна к ним в дом не заходит; у Мод нет подруг, на которых он мог бы попрактиковаться. Гринуэй и Стентсон любили бахвалиться опытностью в таких делах, но Джордж частенько сомневался в правдивости их притязаний и рад, что оставил их в прошлом. Когда он сидит на своей скамье в Сент-Филлипс-плейс и поедает свои бутерброды, он с восхищением поглядывает на проходящих мимо молодых женщин; иногда он запоминает лицо, грезит о нем ночью, пока его отец всхрапывает и фырчит в нескольких футах от него. Джорджу известны грехи плоти, как они перечислены в послании к Галатам, глава пятая. И начинаются они так: Прелюбодеяние, Блуд, Нечистота, Непотребство. Но он не верит, что его собственное тихое томление подпадает под последние два наименования.

Придет день, и он вступит в брак. И приобретет не только часы при цепочке с брелоками, но и младшего партнера, а быть может, и клерка, а после всего этого — жену, маленьких детей и дом, в покупку которого вложит всю свою осведомленность о тонкостях передачи собственности. Он уже воображает, как обсуждает в обеденный перерыв Закон о продаже товаров 1893 года со

старшими партнерами других бирмингемских юридических фирм. Они с уважением выслушивают его резюме толкований этого законна и восклицают: «Молодец, старина Джордж!», когда он протягивает руку за счетом. Он не совсем уверен, как именно попадают отсюда туда — сначала ли вы обретаете жену, а дом потом, или же сначала дом, а жену потом. Но он рисует в воображении, как обретает все это путем пока еще неясного процесса. Разумеется, и то, и другое обретение потребует расставания с Уайрли. Он не спрашивает про это у отца. И не спрашивает, почему тот все еще запирает дверь спальни на ночь.

Когда Орас покинул дом, Джордж надеялся занять опустевшую комнату. Маленькой конторки, втиснутой для него в кабинет отца, когда он поступил в Мейсон-колледж, ему теперь явно недостаточно. Он рисует в воображении комнату Ораса с его собственной кроватью, его конторкой; он воображает свой собственный уголок. Но когда он изложил свою просьбу маме, она мягко объяснила, что Мод теперь настолько окрепла, что может спать одна, и Джордж, конечно, не захочет лишить ее такой возможности, ведь правда? Он понимает, что уже поздно ссылаться на храп

отца, заметно усилившийся настолько, что иногда не дает ему уснуть. А потому он продолжает работать и спать в пределах соприкосновений с отцом. Однако он вознагражден поставленным у конторки столиком, чтобы класть на него книги.

Он все еще сохраняет привычку, превратившуюся теперь в необходимость, прогуливаться по проселкам около часа после возвращения из конторы. Этой деталью своей жизни он не поступится ни для кого. У черного хода он хранит пару старых сапог, и в дождь, и в вёдро, под градом или снегом Джордж совершает свою прогулку. Он не замечает ландшафта, который его не интересует, как и грубых ревущих животных, ландшафт населяющих. Что до людей, ему порой кажется, что он узнает кого-нибудь из деревенской школы в дни мистера Востока, но всякий раз он не уверен. Несомненно, фермерские мальчики теперь выросли в фермерских работников, а сыновья шахтеров и сами теперь под землей в шахте. Иногда Джордж полуздоровается со всеми встречными, слегка приподнимая голову боковым движением, или же не здоровается ни с кем, даже если помнит, что накануне узнавал их.

Как-то вечером его прогулку задерживает небольшой пакет на кухонном столе. По вели-

чине, весу и лондонскому штемпелю он сразу же догадывается о содержимом пакета. Ему хочется растянуть это мгновение елико возможно дольше. Он развязывает бечевку и аккуратно наматывает ее на пальцы. Он развертывает вощеную оберточную бумагу и разглаживает для нового употребления. Мод теперь уже изнывает от волнения, и даже мама выказывает легкое нетерпение. Он раскрывает книгу на титульной странице:



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ПРАВО

для

«ЧЕЛОВЕКА В ПОЕЗДЕ»

главным образом предназначено как руководство для публики, пользующейся поездами, касательно всех недоразумений, могущих возникнуть с железной дорогой.

Автор
ДЖОРДЖ Э.Т. ИДАЛДЖИ
Солиситор
Диплом с отличием второй степени на заключительных экзаменах, ноябрь 1898 г.
Бронзовый медалист Бирмингемского юридического общества, 1898 г.

ЛОНДОН
ЭФФИНГЕМ УИЛСОН
Королевская биржа
1901
(зарегистрирован в Стейшенерс-Холле)

Он переходит к оглавлению. Постановления компаний и их законность. Сезонные билеты. Нарушения расписания поездов и т. п. Багаж.

Классы вагонов. Несчастные случаи. Некоторые дополнительные сведения. Он показывает Мод дела, которые она с Орасом рассматривала в классной комнате. Вот дело толстого мсье Пейэла, а вот про бельгийцев и их собак.

Это, вдруг осознает он, счастливейший день его жизни, а за ужином становится ясно, что его родители допускают, что некоторая доля гордости может быть оправданной и христианской. Он трудолюбиво занимался и сдал экзамены. Он открыл собственную контору, а теперь показал себя авторитетом в той области закона, которая может оказаться практически полезной многим людям. Он в пути: путешествие по жизни начинается по-настоящему.

Он посещает «Хорнимена и К°», чтобы напечатать афишки. Он обсуждает расположение строк и шрифты с самим мистером Хорнименом как один профессионал с другим. Неделю спустя он уже владелец четырехсот объявленьиц, рекомендующих его книгу. Триста он оставляет в своей конторе, не желая показаться самоупоенным, а сотню увозит домой. Бланк заказа приглашает заинтересованных покупателей отправить почтовый перевод в два шиллинга три пенса (три пенса в уплату почтового расхода) по ад-

ресу д. 54, Ньюхолл-стрит, Бирмингем. Он дает пачку афишек своим родителям, поясняя, что их следует вручать потенциальным Мужчинам и Женщинам «В Поезде». На следующее утро он вручает три начальнику станции Грейт-Уайрли и Чёрчбридж. А остальные раздает пассажирам респектабельной внешности.

Артур

Они поместили мебель на хранение и оставили детей у миссис Хокинс. Из туманов и сырости Лондона в чистую сухую прохладу Давоса, где Туи была устроена в отеле «Курхауз» под несколькими одеялами. Как и предсказал доктор Пауэлл, болезнь принесла с собой странный оптимизм, и вкупе с мирным характером Туи он не только обеспечил ее стоицизмом, но и придал ей активную бодрость. Да, конечно, за несколько недель из жены и спутницы жизни она преобразовалась в беспомощную больную, но она не сетовала на свое состояние, уж тем более не предавалась гневу, как на ее месте было бы с Артуром. А он испытывал бешеный гнев за них двоих, в молчании, наедине с собой. И прятал самые черные свои чувства. Каждый припадок стоически переносимого кашля пронизывал болью не ее, но его; она выкашливала чуточку крови, на него обрушивались водопады вины.

В чем бы ни заключалась его ошибка, каким бы ни был его недосмотр, то, что произошло, — произошло, и была только одна возможность: яростная атака на проклятого микроба, который

намеревался пожрать ее изнутри. А когда его присутствие не требовалось, была только одна возможность отвлечения: неистовые физические упражнения. Он привез в Давос свои норвежские лыжи и брал уроки у двух братьев по фамилии Брангер. Когда сноровка их ученика сравнялась с его бешеной решимостью, они поднялись с ним на Якобсхорн; на вершине он обернулся и увидел, как далеко внизу приспускаются городские флаги в знак приветствия. Позднее этой зимой Брангеры провели его через перевал Фурка на высоте 9000 футов. Они отправились в четыре утра и добрались до Аросы к полудню. Вот так Артур стал первым англичанином, преодолевшим альпийский перевал на лыжах. В их отеле в Аросе Тобиас Брангер зарегистрировал всех троих. За фамилией Артура в графе «профессия» он написал *Sportsmann*.[9]

Благодаря альпийскому воздуху, лучшим докторам и деньгам, благодаря заботливому уходу Лотти и упорству Артура в борьбе с Дьяволом состояние Туи стабилизировалось, а затем начало улучшаться. На исходе весны ее признали достаточно окрепшей для возвращения в Англию, что

---

[9] Примечания: 9
Спортсмен *(нем.)*.

позволило Артуру отправиться в американское издательское турне. На следующую зиму они вернулись в Давос. Первоначальный приговор к трехмесячному сроку был опровергнут. Все доктора соглашались, что здоровье пациентки в какой-то мере окрепло. Следующую зиму они провели в пустыне под Каиром в отеле «Мена-Хаус» — низком белом здании, за которым маячили пирамиды. Артура раздражал ломкий воздух, но успокаивали бильярд, теннис и гольф. Он предвидел жизнь ежегодных зимних изгнаний, каждое чуть продолжительнее другого, пока… Нет, он не должен допускать мыслей далее весны, далее лета. Во всяком случае, он все еще умудрялся писать и в этом дробном существовании между отелями, пароходами и поездами. А когда он не мог писать, то уходил в пустыню и ударом посылал клюшкой мяч так далеко, как он мог пролететь. Поле для гольфа, по сути, было одной огромной ямой с песком; куда бы ни падал мяч, вы оставались в ней. Именно такой, казалось, стала его жизнь.

Однако, вернувшись в Англию, он столкнулся с Грантом Алленом: писателем, как Артур, и как Туи — чахоточным. Аллен заверил его, что болезни можно противостоять и без изгнаний, сославшись на себя как на живой тому пример.

Спасение заключалось в его адресе: Хайнхед, Суррей. Селение на портсмутской дороге, почти на полпути между Саутси и Лондоном. Но, главное, это место обладает собственным климатом. Расположенное высоко, укрытое от ветров, сухое, окруженное множеством сосен и с песчаной почвой. Его называют суррейской Малой Швейцарией.

Артур сразу же поверил. Он обретал силу в действии, в приведении в исполнение неотложного плана; он не терпел ожидания и боялся пассивности изгнания. Хайнхед явился ответом. Предстояло купить земельный участок, заняться планом будущего дома. Он нашел участок в четыре акра, лесистый, уединенный, где земля изгибалась в небольшую долину. Холм Висельника и Пуншевая Чаша Дьявола были совсем рядом, до поля для гольфа в Хенкли — пять миль. Идеи нахлынули на него волной. Обязательно бильярдная, и теннисные корты, и конюшня; комнаты для Лотти, и, может быть, для миссис Хокинс, и, разумеется, для Вуди, который теперь обрел перманентность! Дом должен быть внушительным, но приветливым — дом знаменитого писателя, но и семейный дом, и дом для хронически больной. Он должен быть полон света, а комната Туи

должна выходить на наиболее великолепную панораму. Каждая дверь будет открываться туда и сюда, поскольку Артур когда-то подсчитал, какое количество времени человечество теряет впустую на открывание обычных дверей. Будет практичнее обеспечить дом собственным электрогенератором; а учитывая, что он теперь обрел некоторую именитость, вполне уместен будет витраж с его фамильным гербом.

Артур набросал общий план и передал работу над ним архитектору. И не просто какому-то архитектору, но Стэнли Боллу, своему старому телепатическому другу в Саутси. Их давние эксперименты теперь представились ему предварительной подготовкой. Он снова увезет Туи в Давос, а с Боллом будет общаться письмами и, в случае необходимости, телеграммами. Но кто знает, какие архитектурные замыслы смогут симпатически разделяться их мозгами, пока их тела будут разделены сотнями миль?

Его окно-витраж полностью использует высоту двухсветного холла. Вверху роза Англии и чертополох Шотландии будут обрамлять вензель АКД. Ниже будут три ряда геральдических щитов. Первый ряд: Пурселл из Фулкс-Рат, Пэк из Килкенни, Маон из Чеверни. Второй ряд: Перси

Нортумберлендский, Батлер Ормондский, Колкло Тинтернский. И на уровне глаз: Конан Бретонский (на серебряно-алом поле вздыбленный лев), Хокинсы Девонширские (для Туи), а затем герб Дойлов — три оленьи головы и красная рука Олстера. Подлинная надпись на гербе Дойлов гласила: «Fortitudine Vincit»;[10] но здесь под щитом он поместил вариант: «Patientia Vincit».[11] Вот о чем дом будет объявлять всему миру и микробу: терпением он побеждает.

Стэнли Болл и его строители видели практически только нетерпение. Артур, сделав своей штаб-квартирой ближайший отель, совершал постоянные наезды и изводил их. Но в конце концов дом обрел более или менее четкую форму: длинное сараеобразное строение — красный кирпич, черепица, щипцовая крыша, — пересекающее начало долины. Артур встал на своей только что завершенной террасе и взыскательным взглядом обозрел широкий газон, недавно вскопанный и засеянный. Дальше склон круто уходил вниз все более сужающимся «V» туда, где начинался лес. В этой панораме было нечто неприрученное

---

[10] Примечания: 10
«Отвага побеждает» *(лат.).*

[11] Примечания: 11
«Терпение побеждает» *(лат.).*

и волшебное: с первой же минуты она навела Артура на мысль о какой-то немецкой народной сказке. Он подумал, что посадит рододендроны.

В тот день, когда витраж был водворен на свое место, он взял с собой Туи для его торжественного открытия. Она стояла перед витражом, ее взгляд скользил по ярким краскам и именам, а потом остановился на девизе дома.

— Мам будет довольна, — заметил он. Только легкая пауза перед ее ответной улыбкой подсказала ему, что что-то, возможно, не так.

— Ты права, — сказал он немедленно, хотя она не произнесла ни слова. Как он мог быть таким болваном? Отдать дань собственному великолепному происхождению и забыть семью собственной матери? Он чуть было не приказал рабочим убрать это чертово окно. Позднее, после виноватых размышлений, он заказал еще витраж поскромнее для окна над поворотом лестницы. Стекло в центре будет представлять забытый по недосмотру герб и имя: «Фоли Вустерские».

Он решил назвать дом «Под сенью» — в честь обрамляющей его сзади рощи. Название придаст современному зданию прекрасный старинный англосакский резонанс. Здесь жизнь сможет продолжаться, как прежде, пусть осторожно и в

разумных пределах.

Жизнь. Как легко все, включая и его, произносят это слово. Жизнь должна продолжаться, по инерции соглашаются все. И как ничтожно число тех, кто спрашивает, что она такое, и почему она есть, и единственная ли это жизнь или всего лишь преддверие к чему-то совсем иному. Артура часто ставило в тупик тихое самодовольство, с каким люди продолжали вести то… то, что они с безразличной беззаботностью называли своей жизнью, будто и слово, и она сама были им абсолютно ясны.

Его старый друг в Саутси генерал Дрейсон уверовал в спиритические аргументы после того, как во время сеанса с ним заговорил его покойный брат. С того момента астроном утверждал, что продолжение жизни после смерти не просто предположение, но доказуемый факт. В то время Артур вежливо воздержался, и все же его список «книг, которые нужно прочесть» в этом году включил семьдесят четыре на тему спиритизма. Он разделался с ними всеми, помечая фразы и максимы, произведшие на него впечатление. Вроде этой из Гелленбаха: «Есть скептицизм, который идиотством превосходит тупость дремучей деревенщины».

До того, как болезнь Туи дала о себе знать, он обладал всем, что, по мнению света, необходимо, чтобы человек был доволен. И тем не менее он никак не мог избавиться от ощущения, что все им достигнутое не более чем пошлое и напускное начало, что он был создан для чего-то иного. Но чем могло быть это иное? Он вернулся к изучению мировых религий, но натянуть какую-нибудь на себя мог не более, чем костюмчик маленького мальчика. Он вступил в Ассоциацию рационалистов и обнаружил, что их деятельность необходима, но по своей сути разрушительна, а потому бесплодна. Древние веры подлежали разрушению, необходимому для развития человека, но теперь, когда эти старые здания сровнены с землей, где человеку обрести кров на оставшемся выжженном пустыре? Как может кто-то беспардонно решить, будто история того, что род человеческий на протяжении тысячелетий соглашался именовать душой, теперь завершена? Развитие людей будет продолжаться, и, значит, должно развиваться и то, что внутри них. Даже дремучий скептик не может этого не увидеть.

Под Каиром, пока Туи глубоко вдыхала воздух пустыни, Артур прочитывал историю египетской цивилизации и посещал гробницы фараонов. Он

пришел к выводу, что древние египтяне, бесспорно, подняли искусства и науку на новый уровень, однако их логическое мышление не стоило ничего. Особенно их отношение к смерти. Идея, будто мертвое тело, изношенное пальто, которое на краткий срок окутывало душу, необходимо сохранять любой ценой, была не просто смехотворна, но, сверх того, еще и последним словом материализма. Ну а эти корзины с провизией, помещаемые в гробницы, чтобы кормить душу в ее пути, — как мог народ, достигший таких высот, быть настолько оскопленным в своем мышлении? Вера, подкрепляемая материализмом, — двойное проклятие. И то же проклятие поражало все последовавшие нации и цивилизации, попадавшие под власть служителей культа.

Тогда в Саутси он не счел аргументы генерала Дрейсона убедительными. Однако теперь спиритические явления подтверждались именитыми учеными безукоризненной принципиальности, такими как Уильям Крукс, Оливер Лодж и Альфред Рассел Уоллес. Эти имена означали, что люди, лучше всех остальных постигающие мир природы — великие физики, естествоиспытатели, — стали нашими проводниками и в мире сверхъестественного.

Взять хотя бы Уоллеса. Сооткрывателя современной теории эволюции, человека, который встал рядом с Дарвином, когда они вместе провозгласили идею естественного отбора в Линнеевском обществе. Трусливые люди и люди без воображения пришли к выводу, что Уоллес и Дарвин ввергли нас в безбожную, механистическую вселенную, бросили нас одних на темной равнине. Но взвесьте то, во что верил сам Уоллес. Этот величайший из современных ученых утверждал, что естественный отбор объясняет всего лишь развитие человеческого тела и что процесс эволюции в какой-то момент сопроводился сверхъестественным вмешательством, когда пламя духа было вложено в плотски развивающееся животное. Кто теперь посмеет утверждать, будто наука — враг души?

Джордж и Артур

Была холодная февральская ночь с полумесяцем и бездной звезд в небе. В отдалении на их фоне слабо рисовалось надшахтное строение Уайрлийской шахты. Поблизости была ферма Джозефа Холмса — амбар, службы, — и нигде ни огонька. Люди спали, а птицы еще не проснулись.

Но лошадь не спала, когда через пролом в живой изгороди в дальнем конце луга проскользнул человек. Через руку у него была перекинута торба. Едва он понял, что лошадь его заметила, как сразу остановился и заговорил очень тихо. Слова были бессмысленными, важен был тон — успокаивающий, ласковый. Несколько минут спустя человек медленно пошел вперед. Едва он сделал несколько шагов, как лошадь махнула головой, и ее грива превратилась в туманное облачко. Человек снова остановился.

Однако он продолжал бормотать бессвязную чепуху и смотреть на лошадь прямо и пристально. Земля под его ногами затвердела от ночных заморозков, и его сапоги не оставляли на ней отпечатков. Он приближался медленно — на

несколько ярдов за один раз — и останавливался, стоило лошади проявить беспокойство. И все это время он подчеркивал свое присутствие, старательно вытягиваясь во весь рост. Перекинутая через руку торба никакой особой важности не имела. Важной была упорная настойчивость тихого голоса, неколебимость приближения, прямота взгляда, ласковость полного господства.

На то, чтобы пересечь луг подобным образом, у него ушло двадцать минут. Теперь он стоял всего в нескольких шагах лицом к лошади. И все-таки не допустил внезапного движения, а продолжал по-прежнему бормотать, смотреть, выжидать, все так же выпрямившись. Затем произошло то, на что он и рассчитывал: лошадь сначала нехотя, но затем бесповоротно опустила голову.

Однако человек и сейчас внезапно руки не протянул. Он дал пройти минуте-другой, а затем пересек оставшееся расстояние и бережно повесил торбу на шею лошади. Лошадь продолжала держать голову опущенной, и когда человек начал ее поглаживать, не переставая бормотать. Он гладил ее гриву, ее бок, ее спину, а иногда просто прижимал ладонь к теплой шкуре, следя, чтобы соприкосновение между ними ни на секунду не прерывалось.

Все еще поглаживая и бормоча, человек сдернул торбу с шеи лошади и закинул себе за плечо. Все еще поглаживая и бормоча, человек затем пошарил у себя под курткой. Все еще поглаживая и бормоча, закинул одну руку на спину лошади и наклонился к ней под брюхо.

Лошадь почти не вздрогнула. Человек наконец перестал бормотать чепуху и в новоявленной тишине размеренным шагом направился назад к пролому в изгороди.

Джордж

Каждое утро Джордж садится в первый поезд в Бирмингем. Расписание он знает наизусть — любовно. Уайрли и Чёрчбаридж — 7:39. Блоксуич — 7:48. Берчиллс — 7:53. Уолсолл — 7:58. Бирмингем Нью-стрит — 8:35. Он больше не испытывает потребности прятаться за газетой; более того: довольно часто он подозревает, что некоторые его попутчики знают, что он — автор «Железнодорожного права для „Человека в поезде“» (продано 237 экземпляров). Он здоровается с контролерами и начальниками станций, и они отвечают ему тем же. У него есть респектабельные усы, портфель, скромная часовая цепочка с брелоками, а его котелок получил в подкрепление канотье на летние месяцы. И еще у него есть зонтик. Он несколько гордится этим последним приобретением и часто захватывает его с собой барометру вопреки.

В поезде он читает газету и старается выработать точку зрения на события в мире. В прошлом месяце в новой бирмингемской ратуше мистер Чемберлен произнес важную речь о колониях и преференциальных таможенных тарифах.

Позиция Джорджа — хотя пока еще никто не спрашивал его мнения — осторожное одобрение. В следующем месяце лорд Робертс Кандагарский должен стать почетным гражданином города — почесть, против которой не будет возражать ни один разумный человек.

Его газета рассказывает ему о других новостях, более тривиальных: еще одно животное было изуродовано в окрестностях Уайрли. Джордж на мгновение прикидывает, какая часть уголовного кодекса касается такого рода поступков: уничтожение собственности, подпадающее под Закон о воровстве, или же существует специальная статья, касающаяся конкретных видов животных, подвергшихся уничтожению? Он рад, что подвизается в Бирмингеме, и вообще поселится там, это лишь вопрос времени. Он знает, что должен принять это решение, выдержать нахмуренность отца и слезы матери и безмолвное, но тем более действенное отчаяние Мод. Каждое утро, когда за окном вагона луга с пасущимся скотом уступают место чинным предместьям, Джордж испытывает ощутимый подъем духа. Отец много лет назад объяснил ему, что фермерские мальчики и батраки — это те нищие духом, кого возлюбил Господь, кто наследует землю. Ну, лишь некото-

рые, думает он, и не в согласии с известными ему правилами испытательных сроков.

В этом поезде часто едут школьники, по крайней мере до Уолсолла, где они сходят, направляясь в свою школу. Их присутствие и школьная форма иногда напоминают Джорджу об ужасном времени, когда его обвинили в краже школьного ключа. Но это было много лет назад, а в большинстве мальчики выглядят вполне респектабельно. Одна их компания довольно часто оказывается в его вагоне, и он из разговоров узнал их фамилии: Пейдж, Гаррисон, Грейторекс, Стэнли, Ферридей, Куибелл. После трех-четырех лет они даже обмениваются с ним кивками.

Большая часть его дней в № 54 по Ньюхолл-стрит заняты передачей права собственности — область права, которую, как он читал, видный юридический эксперт назвал «абсолютно лишенной места для воображения и свободной игры ума». Такая пренебрежительность Джорджа нисколько не трогает: для него это точная, ответственная и необходимая работа. Кроме того, он составил несколько завещаний, а в последнее время начал обзаводиться клиентами благодаря своему «Железнодорожному праву». Дела, связанные с потерей багажа или опозданиями поездов

без уважительных причин; и одно, когда дама поскользнулась и вывихнула кисть на станции Сноу-Хилл из-за того, что железнодорожный служащий по небрежности разлил масло вблизи от локомотива. Вел он несколько дел о наездах. Оказалось, что шансы жителей Бирмингема прийти в столкновение с велосипедом, мотором, конкой или даже поездом значительно выше, чем он был способен предвидеть. Быть может, Джордж Идалджи, солиситор, приобретет известность как человек, к которому следует обращаться, когда человеческое тело получает шок из-за бесшабашного управления транспортным средством.

Поезд, которым Джордж отправляется домой с Нью-стрит, отходит в 5:25. На обратном пути школьники в вагоне появляются редко. Вместо них иногда сиденья занимают более объемистые и олухообразные типы, на которых Джордж смотрит с брезгливостью. Порой раздаются замечания по его адресу; абсолютно излишние: об отбеливателях и о том, что его мать забыла про карболку, а также вопросы, не спускался ли он в шахту сегодня. Чаще он игнорирует подобное острословие, хотя, если молодой хулиган начинает вести себя особенно оскорбительно, Джордж может счесть себя обязанным указать ему, с кем он имеет дело.

Он не обладает физической храбростью, однако в такие моменты его охватывает поразительное хладнокровие. Он знает законы Англии и знает, что может рассчитывать на их поддержку.

Бирмингем Нью-стрит — 5:25. Уолсолл — 5:55. Этот поезд в Берчхиллсе не останавливается по причине, которую выяснить Джорджу так и не удалось. Затем Блоксуич — 6:02. Уайрли и Чёрчбридж — 6:09. В 6:10 он кивает мистеру Мерримену, начальнику станции — мгновение, напоминающее ему о решении, которое вынес его честь судья Бэкон в 1899 году в суде графства Блумсбери касательно противозаконного сохранения сезонных билетов, срок которых истек, — и вешает свой зонтик на левое запястье для пешего возвращения в дом священника.

Кэмпбелл

После назначения в полицию Стаффордшира два года назад инспектор Кэмпбелл несколько раз встречался с капитаном Энсоном, но еще ни разу не был вызван в Грин-Холл. Дом главного констебля находился на самой окраине города среди заливных лугов на противоположном берегу реки Соу и, по слухам, был самым большим между Стаффордом и Шагборо. Шагая по гравию подъездной дороги, ответвлявшейся от Личфилд-роуд, Кэмпбелл глядел на постепенно открывающийся взгляду Грин-Холл и прикидывал, насколько же большим должен быть дом в Шагборо. Та резиденция принадлежала старшему брату капитана Энсона. Старший констебль как второй сын вынужден был довольствоваться этим скромным выкрашенным белой краской домом высотой в три этажа, с семью-восемью окнами по фасаду, с внушающим трепет портиком, поддерживаемым четырьмя колоннами. Справа была терраса, а сбоку от нее утопленный розарий, а за розарием — беседка и теннисные корты.

Кэмпбелл воспринял все это, не замедляя шага. Когда горничная открыла ему дверь, он попы-

тался отключить природно-профессиональные привычки: определять на взгляд наиболее вероятные доходы владельца и его честность, а также запоминать предметы, способные соблазнить вора — или, возможно, уже соблазнившие. Но и подавив любопытство, он тем не менее воспринял полированное красное дерево, белые панели стен, впечатляющую подставку для тростей и зонтов, а также справа от себя — лестницу с необычно изогнутыми балясинами.

Его проводили в комнату слева от входной двери, кабинет Энсона, судя по ее виду: два высоких кожаных кресла по сторонам камина, а над ним торчащая голова лося… или оленя, в любом случае кого-то рогатого. Кэмпбелл не охотился, да никогда и не хотел. Он был бирмингемцем и с большим нежеланием попросил о переводе, когда его жене приелся большой город и она затосковала о неторопливости и просторе своего детства. Всего пятнадцать миль, но Кэмпбелл оказался словно изгнанным в чужую страну. Местная знать тебя игнорирует, фермеры держатся особняком, шахтеры и плавильщики — грубый сброд даже по трущобным меркам. Смутные представления о романтичности сельской глуши стремительно угасли. А полицию здешние люди

не терпели словно бы даже больше, чем горожане. Он потерял счет случаям, когда его заставляли чувствовать себя лишним. Преступление могло быть совершено, и о нем даже сообщили, но пострадавшие умели дать вам понять, что предпочитают собственное понятие о правосудии тому, которое может обеспечить инспектор, чей костюм-тройка и шляпа-котелок все еще разят Бирмингемом.

В кабинет бодро влетел Энсон, пожал руку своему посетителю и усадил его. Маленький, плотный, лет сорока пяти, в двубортном костюме и с аккуратнейшими усами, какие только доводилось видеть Кэмпбеллу: их стороны выглядели прямым продолжением его носа, и вместе они заполняли треугольность его верхней губы с такой точностью, будто были куплены по каталогу после тщательнейших измерений. Его галстук удерживала на месте золотая булавка в форме стаффордского узла, который провозглашал и так известное всем: капитан высокородный Джордж Огестес Энсон, главный констебль с 1888 года, заместитель лорда-лейтенанта графства с 1900 года, был стаффордширцем до мозга костей. Кэмпбелл, принадлежавший к более новой породе профессиональных полицейских, не по-

нимал, почему главному констеблю графства положено быть единственным непрофессионалом в полицейских силах графства. Впрочем, очень многое в функционировании общества представлялось ему абсолютно произвольным, основанным более на старинных предрассудках, нежели на современном здравом смысле. Тем не менее работавшие с Энсоном его подчиненные относились к нему с уважением: он был известен как человек, который всегда поддерживает своих инспекторов.

— Кэмпбелл, вы, конечно, уже догадались, почему я попросил вас приехать.

— Предполагаю, располосовывания, сэр.

— Вот именно. Сколько их уже?

Кэмпбелл заранее отрепетировал эту часть разговора, но все равно открыл записную книжку.

— Февраля второго, ценная лошадь, собственность мистера Джозефа Холмса. Апреля второго, жеребчик, собственность мистера Томаса, располосован точно таким же образом. Май четвертого, корова миссис Бангей, точно так же. Две недели спустя, мая восемнадцатого, лошадь мистера Бэджера страшно изуродована, и еще пять овец в ту же ночь. И затем на прошлой неделе, июня шестого, две коровы, принадлежащие мистеру

Локьеру.

— Все по ночам?

— Все по ночам.

— Какая-нибудь система во всех этих происшествиях?

— Все в радиусе трех миль от Уайрли. И… не знаю, система ли это, но все они случались в первую неделю месяца. За исключением от мая восемнадцатого. — Кэмпбелл ощущал на себе взгляд Энсона и поторопился. — Прием располосовывания, однако, примерно одинаков от случая к случаю.

— Одинаково омерзителен, надо полагать.

Кэмпбелл посмотрел на главного констебля в неуверенности, желает ли тот знать подробности или нет. И счел молчание неохотным согласием.

— Они были располосованы по брюху. Наискось и обычно одним ударом. Коровы… у каждой коровы, кроме того, изуродовано вымя. И нанесены раны на их… на их половые органы, сэр.

— Невозможно поверить, не так ли, Кэмпбелл? Столь бессмысленная жестокость по отношению к беспомощным животным?

Кэмпбелл тщательно проигнорировал, что сидят они под стеклянным взглядом отрубленной головы лося или оленя.

— Да, сэр.

— Итак, мы разыскиваем помешанного с ножом.

— Предположительно не с ножом, сэр. Я говорил с ветеринаром, который осмотрел жертву последнего располосовывания — лошадь мистера Холмса в тот момент сочли изолированным случаем, — и он недоумевал, какой инструмент был использован. Несомненно, очень острый, но, с другой стороны, он рассек только кожу и первый слой мышц, не проникнув глубже.

— Так почему не нож?

— Потому что нож, например, мясницкий, погрузился бы глубже, во всяком случае, местами. Нож задел бы кишки. Ни одно из животных не было убито в процессе нападения. Они либо истекли кровью, либо, когда были найдены, находились в таком состоянии, что их пришлось умертвить.

— Но если не нож, то?..

— Что-то режущее с легкостью, однако не глубоко. Вроде бритвы. Но с большей силой, чем бритва. Возможно, инструмент кожевника. Или какой-нибудь сельскохозяйственный инструмент. Предполагаю, что этот человек умеет обращаться с животными.

— Человек или люди. Гнусный мерзавец

или шайка гнусных мерзавцев. И гнуснейшее преступление. Вы с чем-либо подобным сталкивались?

— В Бирмингеме — нет, сэр.

— Да, разумеется. — Энсон скорбно улыбнулся и на секунду умолк. Кэмпбелл позволил себе подумать о полицейских лошадях в конюшнях Стаффорда: таких чутких и сообразительных; таких теплых, пахучих и почти пушистых в своей шерстистости; как они дергают ушами и наклоняют к тебе голову, как они выдувают воздух из ноздрей с особым звуком, который напоминал ему закипающий чайник. Каким должен быть человек, способный причинить зло подобным существам?

— Суперинтендант Баррет помнит случай несколько лет назад, когда негодяй, запутавшийся в долгах, убил своего жеребца ради страховочной суммы. Но разгул кровожадности, подобный этому… он выглядит таким чужеземным. В Ирландии, разумеется, полуночные подрезания сухожилий у скотины землевладельца практически входят в социальные порядки. Ну да фению было бы трудно меня чем-либо удивить.

— Да, сэр.

— Дело необходимо довести до быстрого конца.

Эти возмутительные преступления чернят репутацию всего графства.

— Да, газеты…

— Газеты меня не волнуют, Кэмпбелл. Меня заботит честь Стаффордшира. Я не хочу, чтобы графство прослыло логовом дикарей.

— Да, сэр. — Но инспектор подумал, что главный констебль не может не знать про некоторые недавние редакционные статьи — ни единой похвальной, а кое-какие и с личностями.

— Я посоветовал бы вам ознакомиться с историей преступлений в Грейт-Уайрли и его окрестностях за последние годы. Некоторое время происходили… всякие странности. И я посоветовал бы вам поработать с теми, кто хорошо знает эти места. Скажем, очень здравый сержант, не помню фамилию. Крупный, краснолицый…

— Аптон, сэр?

— Аптон, вот-вот. Он из тех, мимо кого и муха не пролетит.

— Будет сделано, сэр.

— А я, кроме того, привлеку двадцать специальных констеблей. Явятся под начало сержанта Парсонса.

— Двадцать!

— Двадцать, и к черту расходы. Пусть из моего

кармана, если потребуется. Мне нужен констебль под каждой изгородью и за каждым кустом, пока этот негодяй не будет пойман.

Кэмпбелла расходы не заботили. Он прикидывал, как замаскировать присутствие двадцати специальных констеблей в местности, где любой слушок обгоняет любую телеграмму. Двадцать специальных, в большинстве не знакомых с территорией констеблей против местного жителя, который возьмет да и останется дома, смеясь над ними. И в любом случае скольких животных смогут защитить двадцать констеблей? Сорок, шестьдесят, восемьдесят? А сколько там в окрестностях животных? Сотни, если не тысячи.

— Еще вопросы?

— Нет, сэр. Только… могу ли я задать непрофессиональный вопрос?

— Задавайте.

— Портик снаружи. С колоннами. У них есть название? То есть я имею в виду стиль?

Энсон поглядел на него так, будто столь необычного вопроса ему никто из подчиненных никогда еще не задавал.

— Колонны? Понятия не имею. Это по части моей жены.

Следующие несколько дней Кэмпбелл знако-

мился с историей преступлений в Грейт-Уайрли и его непосредственных окрестностях. Она оказалась такой, какую он себе и представлял. Воровство, главным образом всякой живности; различные случаи драк; бродяжничество и появление в пьяном виде в общественных местах; одна попытка самоубийства; девушка, приговоренная за писание ругательств на фермерских сараях и амбарах; пять поджогов; письма с угрозами и незаказанные товары, доставлявшиеся в дом приходского священника в Уайрли; одно непристойное посягательство и два непристойных поведения. Никаких нападений на животных он за последние десять лет не обнаружил.

И сержант Аптон, который поддерживал закон там в течение вдвое большего срока, ничего подобного припомнить не мог. Однако вопрос привел ему на ум фермера, ныне отошедшего в лучший мир — если только, сэр, не в худший, — которого подозревали в том, что он слишком уж любил свою гусыню, если вы понимаете, о чем я. Кэмпбелл оборвал этот насос приходских сплетен. Он скоро определил Аптона как пережитка тех времен, когда полицейские управления были счастливы вербовать на службу кого угодно, кроме слишком уж явных заик, хромых и поло-

умных. У Аптона можно было наводить справки о местных слухах и сварах, но его положенной на Библию руке доверять никак не следовало.

— Значит, вы разобрались, что да как, сэр? — пропыхтел на него сержант.

— Вы можете сказать мне что-то определенное, Аптон?

— Ну, не совсем так. Чтоб такого распознать, нужен такой же. Подтолкнуть такого изловить такого. Да, конечно, вы под конец доберетесь, инспектор. Вы же инспектор из Бирмингема. Да уж, под конец вы доберетесь.

Аптон произвел на него впечатление хитрого угодничества и смутной обструкции. Некоторые работники с ферм были точно такими же. Кэмпбеллу было куда легче с бирмингемскими ворами, которые хотя бы врут тебе прямо в глаза.

Утром 27 июня инспектора вызвали на Квинтонскую шахту, где две лошади, ценная собственность компании, были ночью зарезаны. Одна издохла от потери крови, а вторую, кобылу, которую дополнительно изуродовали, как раз пристрелили. Ветеринар подтвердил, что использовался тот же инструмент — или по крайней мере действующий абсолютно так же, — как и в прошлых случаях.

Два дня спустя сержант Парсонс принес Кэмпбеллу письмо, адресованное «Сержанту, полицейский участок, Хеднесфорд, Стаффордшир». Отправлено оно было из Уолсолла и подписано неким Уильямом Грейторексом.

> У меня лицо сорвиголовы, и я хорошо бегаю, и когда они сколотили эту шайку в Уайрли, они заставили меня вступить. Я про лошадей и скотину знал все и о том, как их лучше ловить. Они сказали, что прикончат меня, если я струшу, вот я и пошел и поймал их лежащих в три без десяти минут, и они проснулись, и тогда я порезал каждую по брюху, но крови потекло мало, и одна убежала, но другая упала. Теперь я скажу вам, кто в шайке, только вам без меня этого не доказать. Один по имени Шиптон из Уайрли, и носильщик, которого звать Ли, и он не явился, и Идалджи, законник. Только я не сказал вам, кто стоит за ними всеми, и не скажу, если только вы не пообещаете ничего мне не сделать. Неправда, будто мы всегда это делаем в новую луну, и одну Идалджи убил 11 апреля в полную луну.

Меня никогда еще не сажали, и думается, всех других тоже, кроме Капитана, а потому, думается, они легко отделаются.

Кэмпбелл перечитал письмо. «Я порезал каждую по брюху, но крови потекло мало, и одна убежала, но другая упала». Все это как будто указывало на сведения из первых рук, но ведь мертвых животных могло осмотреть большое число людей. В последних двух случаях полиции пришлось поставить охрану и отгонять зевак, пока ветеринар не кончил осмотр. Тем не менее «три без десяти минут»… в этом чудилась странная точность.

— Нам известен этот Грейторекс?

— Думаю, это сын мистера Грейторекса, хозяина фермы Литл-уорт.

— Что-то прежнее? Какая-то причина, чтобы писать сержанту Робинсону в Хеднесфорд?

— Никакой.

— Ну а что означают упоминания про луну?

Сержант Парсонс, коренастый брюнет, имел привычку шевелить губами, пока думал.

— А про это шли разговоры. Новая луна, языческие обряды и все такое прочее, уж не знаю. Зато знаю, что одиннадцатого апреля ни одно

животное убито не было. И в неделю с этой датой, если не ошибаюсь.

— Вы не ошибаетесь.

Парсонс был инспектору много симпатичнее, чем Аптон. Он принадлежал к следующему поколению, был лучше обучен, не схватывал все на лету, зато умел думать.

Уильям Грейторекс оказался четырнадцатилетним школьником, чей почерк не имел ни малейшего сходства с письмом. Ни про Шиптона, ни про Ли он никогда не слышал, но признался, что знает Идалджи, с которым по утрам иногда ездил в одном вагоне. Он никогда не был в полицейском участке в Хеднесфорде и не знал фамилии тамошнего сержанта.

Парсонс и пять специальных констеблей обыскали ферму Литл-уорт и все службы при ней, но не нашли ничего сверхъестественно острого или в пятнах крови, или недавно отчищенного. Когда они ушли, Кэмпбелл спросил у сержанта, что ему известно про Джорджа Идалджи.

— Ну, сэр, он индус, так ведь? То есть наполовину индус. Странноватый на вид. Юрист, живет дома, каждый день ездит в Бирмингем. В местной жизни не участвует, вы меня понимаете?

— И, значит, ни с какой шайкой не разгули-

вает?

— Вот уж нет.

— Друзья?

— За ним не замечались. Они живут замкнутой семьей. Что-то неладное с сестрой, мне кажется. Не то калека, не то слабоумная, ну, что-то такое. И говорят, он каждый вечер гуляет по проселкам. И не то что у него есть собака или причина вроде. Несколько лет назад их семья подвергалась преследованиям.

— Я прочитал в журнале записей. И по какой причине?

— Кто знает? Была некоторая… враждебность, когда священник только получил приход. Люди говорили, что не желают, чтобы чернокожий указывал им с кафедры, какие они грешники, ну и тому подобное. Но это было давным-давно. Я-то сам не англиканского толка. Мы, по моему мнению, более терпимы.

— А этот… ну, сын, по-вашему, он выглядит способным на уродование лошадей?

Парсонс пожевал губы, прежде чем ответить.

— Инспектор, я вот так скажу. Послужите здесь с мое и увидите, что никто не выглядит как что-то там. Или, если на то пошло, так вообще как не что-то там, если вы меня понимаете.

Джордж

Почтальон показывает Джорджу официальный штамп на конверте: НЕ ОПЛАЧЕНО. Письмо пришло из Уолсолла, его фамилия и адрес конторы написаны четким, приличным почерком, и Джордж решает выкупить послание. Это обходится ему в два пенса, вдвое дороже забытой марки. Он обрадован, обнаружив заказ на «Железнодорожное право». Однако в конверте нет ни чека, ни почтового перевода. Заказчик указал 300 экземпляров и подписался «Вельзевул».

Три дня спустя вновь начались письма. Точно того же рода: клеветнические, богохульственные, сумасшедшие. Они приходят к нему в контору, и он ощущает это как наглое вторжение: сюда, где он в полной безопасности и уважаем, где жизнь упорядочена. Инстинктивно он выбрасывает первое, затем следующие складывает в нижний ящик как возможные улики. Джордж уже не пугливый подросток времен первых преследований; он теперь солидный человек, солиситор уже четыре года. Он вполне способен игнорировать подобное, если сочтет нужным, или принять положенные меры. А бирмингемская полиция,

без сомнения, более компетентна и современна, чем стаффордширские деревенские констебли.

Как-то вечером, сразу после шести сорока, Джордж возвращает свой сезонный билет в карман и вешает зонтик на локоть, но тут осознает, что кто-то зашагал в ногу с ним.

— Хорошо поживаем, а, молодой сэр?

Это Аптон, более толстый и более краснолицый, чем все эти годы назад, и, вероятно, еще более глупый. Джордж не сбавляет шагу.

— Добрый вечер, — отвечает он коротко.

— Радуемся жизни, а? И спим хорошо?

Было время, когда Джордж мог бы встревожиться или остановиться и подождать, чтобы Аптон перешел к делу. Но он уже не таков.

— Во всяком случае, во сне не гуляем.

Джордж сознательно ускорил шаг, так что сержант теперь вынужден пыхтеть и сипеть, чтобы не отстать от него.

— Только видишь ли, мы наводнили край специалистами. Наводнили его. Так что даже для со-ли-си-тора гулять во сне, да-да, было бы плохой задумкой.

Не убавляя шагу, Джордж бросает презрительный взгляд в направлении пустопорожнего разглагольствующего дурака.

— Ну да, со-ли-ситор. Надеюсь, вам это будет полезно, молодой сэр. Предупрежден — значит вооружен, как говорят, если только не прямо наоборот.

Джордж не рассказывает родителям про этот разговор. Для тревоги есть более веское основание: с дневной почтой пришло письмо из Кэннока, написанное знакомым почерком. Оно адресовано Джорджу и подписано «Любящий справедливость».

> Я с вами не знаком, но иногда вижу вас на железной дороге и не жду, что, будь я с вами знаком, вы бы мне понравились, так как я туземцев не люблю. Но я считаю, что всякий заслуживает справедливости, и вот почему я пишу вам, потому что не думаю, что вы имеете какое-то отношение к жутким преступлениям, про которые все говорят. Все люди утверждают, что это должны быть вы, ведь они не думают, что вы нашенский и только рады прикончить их. Так что полиция начала за вами наблюдать, но ничего они увидеть не смогли и теперь наблюдают за кем-то еще… Если убьют еще одну, они скажут,

что это вы, а потому уезжайте отдохнуть, чтобы вас тут не было, когда опять случится. Полиция говорит, что случится это в конце месяца, как последнее. Уезжайте раньше.

Джордж абсолютно спокоен.

— Клевета, — говорит он. — Даже *prima facie*[12] я бы определил это как криминальную клевету.

— Опять начинается, — говорит его мать, и он понимает, что она еле сдерживает слезы. — Опять начинается. Они не перестанут, пока не выживут нас отсюда.

— Шарлотта, — твердо говорит Сапурджи, — об этом вопроса не встает. Мы покинем этот дом не прежде, чем упокоимся рядом с дядей Компсоном. Если воля Господа, чтобы мы страдали на нашем пути туда, не нам вопрошать Его.

Теперь бывают минуты, когда Джордж ловит себя на том, что готов вопрошать Господа. Например: почему его мать, сама добродетель, все время помогающая бедным и убогим прихода, должна вот так страдать? И если, как утверждает его отец, все в воле Господа, значит, воля Госпо-

---

[12] Примечания: 12
на первый взгляд *(лат.)*.

да, чтобы стаффордширская полиция со всей ее предельной некомпетентностью была именно такой. Но сказать этого вслух Джордж не может, и все больше возникает такого, на что он не может даже намекнуть.

Кроме того, он начинает осознавать, что понимает мир чуть лучше своих родителей. Пусть ему только двадцать семь лет, но профессиональная деятельность бирмингемского солиситора позволяет заглянуть в глубины человеческой натуры, возможно, недоступные взгляду деревенского приходского священника. И потому, когда его отец предлагает снова обратиться с жалобой к главному констеблю, Джордж возражает. В прошлый раз Энсон был против них. Обратиться следует к инспектору, которому поручено расследование.

— Я напишу ему, — говорил Сапурджи.

— Нет, отец, я думаю, это моя обязанность. И я отправлюсь поговорить с ним лично. Если явимся мы оба, он может счесть это делегацией.

Священник поражен, но обрадован. Ему нравятся такие утверждения мужественности в его сыне, и он позволяет ему поступить, как тот считает нужным.

Джордж посылает письмо с просьбой о встре-

че — желательно не в доме священника, а в полицейском участке по выбору инспектора. Кэмпбелл находит это несколько странным и просит сержанта Парсонса присутствовать.

— Спасибо, что вы со мной встретились, инспектор. Я благодарен, что вы уделили мне свое время. У меня три пункта. Но прежде я хотел бы, чтобы вы приняли вот это.

Кэмпбелл, морковно-рыжий, верблюжеголовый мужчина лет сорока с вытянутым торсом, сидя выглядит даже выше, чем стоя. Он протягивает руку через стол и рассматривает полученный подарок. Это экземпляр «Железнодорожного права для „Человека в поезде“». Он медленно пролистывает несколько страниц.

— Двести тридцать восьмой экземпляр, — говорит Джордж. Это звучит тщеславнее, чем он намеревался.

— Очень любезно с вашей стороны, сэр, но, боюсь, полицейские правила возбраняют принятие подарков от посторонних лиц. — Кэмпбелл толчком посылает книгу скользить по столу к Джорджу.

— Ну, это вряд ли взятка, инспектор, — говорит Джордж шутливо. — Не могли бы вы счесть это… пополнением библиотеки.

— Библиотеки? У нас есть библиотека, сержант?

— Ну, мы всегда можем ее завести, сэр.

— Ну, в таком случае, мистер Идалджи, примите мою благодарность.

Джорджу начинает казаться, что они смеются над ним.

— Произносится Эйдалджи, не Идалджи.

— Эйдалджи. — Инспектор примеривается и строит гримасу. — С вашего разрешения я буду называть вас «сэр».

Джордж прокашливается:

— Вот первый пункт. — Он достает письмо от «Любящего справедливость». — Пришло еще пять, адресованных на мою контору.

Кэмпбелл прочитывает письмо, передает сержанту, забирает у него, перечитывает еще раз. Он прикидывает, обличение ли это или поддержка. Или первому придан вид второй. Но если это обличение, тогда зачем нести его в полицию? А если поддержка, то зачем нести ее, если только вас уже не обвиняли прежде? Кэмпбелл находит побуждения Джорджа не менее интересными, чем само письмо.

— Какие-нибудь предположения, от кого оно?

— Оно не подписано.

— Я это вижу, сэр. Могу ли я спросить, намерены ли вы последовать совету этого субъекта? «Уехать отдохнуть»?

— Право, инспектор, это подход не с того конца. Разве вы не считаете письмо криминальной клеветой?

— Честно говоря, не знаю, сэр. Это юристы вроде вас определяют, что закон, а что нет. С точки зрения полиции я бы сказал, что кто-то забавляется на ваш счет.

— Забавляется? А вы не думаете, что, стань содержание письма широкоизвестным, поклепы, которым он якобы не верит, подвергнут меня опасности со стороны работников с ферм и шахтеров?

— Не знаю, сэр. Могу только сказать, что в течение того времени, как я здесь, не припомню случая, чтобы анонимное письмо стало поводом к насилиям. А вы, Парсонс? — Сержант качает головой. — А как вы толкуете эту фразу ближе к середине… «они не думают, что вы нашенский»?

— А как вы сами ее толкуете?

— Ну, видите ли, мне никогда ничего подобного не говорили.

— Прекрасно, инспектор, «толкую» я ее так, что это почти безусловно указание на тот факт, что

мой отец по происхождению парс.

— Да, я полагаю, намек может быть и на это. — Кэмпбелл снова наклоняет морковную голову над письмом, словно выискивая в нем еще что-то. Он пытается составить мнение об этом человеке и его жалобе: то ли он действительно просто жалобщик, то ли тут кроется что-то более сложное.

— Может? Может? Но на что другое?

— Ну, что вы не вписываетесь.

— Вы хотите сказать, что я не играю в крикетной команде Грейт-Уайрли?

— А вы в ней не играете, сэр?

Джордж чувствует, как растет его раздражение.

— И я не сижу в пивных.

— Нет, сэр?

— И раз так, то я и табака не курю.

— Нет, сэр? Ну, нам придется подождать и спросить автора письма, что именно он тут подразумевал. Если и когда мы его поймаем. Вы говорили, что у вас есть что-то еще?

Второй пункт Джорджа — подать жалобу на сержанта Аптона и за его тон, и за его инсинуации. Но только, повторенные инспектором, они каким-то образом перестают выглядеть инсинуациями. Кэмпбелл превращает их в тугодумные

фразы не очень умного члена деревенской полиции по адресу несколько чванного и излишне обидчивого жалобщика.

Джордж теперь в некоторой растерянности. Он пришел, ожидая благодарности за книгу, возмущения письмом, интереса к его трудностям. Инспектор корректен, но медлителен; его нарочитая вежливость внезапно кажется Джорджу своего рода грубостью. Ну, тем не менее он должен представить свой третий пункт.

— У меня есть предложение. Касательно вашего расследования. — Джордж делает паузу, как придумал заранее, чтобы возбудить их внимание. — Ищейки.

— Прошу прощения?

— Ищейки. Они, как, полагаю, вам известно, обладают превосходным чутьем. Если вы приобретете пару обученных ищеек, они, несомненно, приведут вас с места будущей бойни прямо к преступнику. Они способны идти по следу с поразительной точностью, а в этой местности нет ни больших ручьев, ни речки, в которые преступник мог бы войти, чтобы запутать их.

Стаффордская полиция, видимо, не привыкла к практическим советам со стороны.

— Ищейки, — повторяет Кэмпбелл. — И даже

пара их. Это словно бы взято из приключенческой книжки ценой в шиллинг. «Мистер Холмс, это были отпечатки лап гигантской собаки!»

Тут Парсонс начинает хихикать, и Кэмпбелл его не одергивает. Все обернулось жуткой неудачей, особенно последний пункт, который Джордж придумал сам и даже не обсудил с отцом. Он совсем пал духом. Когда он покидает участок, оба полицейских стоят на крыльце и смотрят ему вслед. Он слышит, как сержант говорит далеко разносящимся голосом:

— А не держать ли нам ищеек в библиотеке?

Слова эти сопровождают его всю дорогу назад домой, где он излагает родителям сокращенную версию этой встречи. Он решает, что раз полиция отклоняет его предложения, то он все равно ей поможет. И помещает в «Личфилд меркюри» и другие газеты объявление, излагающее новую кампанию анонимных писем и предлагающее 25 фунтов вознаграждения после приговора преступнику. Он помнит, что объявление его отца все эти годы назад только пуще разожгло преследования, однако надеется, что на этот раз предложение денежной награды может принести результаты. Он сообщает, что он — практикующий солиситор.

Кэмпбелл

Пять дней спустя инспектор вновь был вызван в Грин-Холл. На этот раз он менее стеснялся поглядывать по сторонам. И заметил высокие напольные часы, показывающие фазы Луны, гравюру меццо-тинто на библейский сюжет, выцветающий турецкий ковер и камин, набитый поленьями в ожидании осени. В кабинете его менее смутил стеклянноглазый лось, так что он заметил переплетенные в кожу подшивки журналов «Филд» и «Панч». На серванте стояли чучело большой рыбы в стеклянном ящике и подставка с тремя графинами, запирающаяся на ключ.

Капитан Энсон указал Кэмпбеллу на кресло, а сам остался стоять — обычный прием низенького мужчины в присутствии более высоких, как прекрасно знал инспектор. Но у него не было времени размышлять о стратагемах власть имущих. Атмосфера на этот раз не полнилась благодушием.

— Наш человек начинает насмехаться над нами. Эти письма Грейторекса. Сколько их мы уже получили?

— Пять, сэр.

— А вот это пришло мистеру Роули в бриджтаунский участок вчера вечером. — Энсон вздел очки на нос и начал читать:

> Сэр, личность, об инициалах которой вы догадаетесь, привезет домой новый крючок на поезде из Уолсолла вечером в среду, и он будет у него в специальном кармане под пальто, и если вы или ваши приятели сумеете расстегнуть его пальто, вы его увидите, так как он на полтора дюйма длиннее того, который он забросил подальше, когда услышал, что кто-то шагает к нему по косогору в это утро. Он выйдет по этому делу в пять или шесть, или если не вернется домой завтра, так наверняка в четверг, и вы сделали ошибку, что не оставили у себя под рукой всех этих переодетых констеблей. Отослали их слишком рано. Нет, только подумать, он же сделал свое дело совсем рядом с местом, где засели их двое, и нескольких дней не прошло. Но, сэр, глаз у него соколиный, а уши острее бритвы, а на ногу он легок почище лисицы и такой же бесшумный, и он подползает на четвереньках к

бедным животинам, ласкает их немножко, а потом ловко чиркает поперек их своим крючком, и кишки у них вылетают вон, прежде чем они понимают, что их резанули. Вам нужна тысяча сыщиков, чтоб изловить его на месте, потому что он такой быстрый и знает там все углы и закоулки. Вы знаете, кто он, и я могу это доказать, но пока не будет объявлена награда в 100 фунтов за поимку, я больше ничего сообщать не буду.

Энсон поглядел на Кэмпбелла, приглашая его высказаться.

— Никто из моих людей, сэр, не видел, чтобы что-то выбрасывалось. И ничего похожего на крючок найдено не было. Он может распарывать животных таким способом или другим, но кишки вон не вылетают, как нам известно. Вы хотите, чтобы я взял под наблюдение уолсоллские поезда?

— Не думаю, что после этого письма вдруг появится какой-нибудь субъект в длинном пальто в разгар лета, напрашиваясь, чтобы его обыскали.

— Да, сэр. Вы полагаете, что требование награды в сто фунтов — это отклик на награду,

предложенную юристом?

— Возможно. Такая неслыханная наглость. — Энсон помолчал и взял со стола еще один исписанный лист. — Но другое письмо — сержанту Робинсону в Хеднесфорде — еще хуже. Судите сами. — Энсон протянул ему письмо.

> В ноябре в Уайрли начнутся веселенькие денечки, когда они примутся за маленьких девочек, потому что они разделают двадцать девок будто лошадей до конца следующего марта. Не думаю, что вы изловите их, когда они режут скотину, слишком уж они тихие и лежат, не двигаясь, часами, пока ваши люди не уйдут… Мистер Идалджи, которого, говорят, заперли, в воскресенье ночью направится в Брам повидать Капитана вблизи Нортфилда, о том, как дальше действовать, когда вокруг столько сыщиков. И, думается, они собираются разделать несколько коров днем, а не ночью… Я думаю, они теперь собираются убивать скотину поближе, и я знаю, ферма Кросс-Киз и ферма Вест-Кэннок стоят в списке первыми… Ты, разжиревший подлюга, я пристрелю

тебя из ружья твоего папаши сквозь твою тупую башку, только встань мне на дороге или подберись к моим товарищам.

— Скверно, сэр. Очень скверно. Этому лучше не давать огласки. Не то в каждой деревне вспыхнет паника. Двадцать девочек… Людям хватает тревог и с их скотиной.

— У вас есть дети, Кэмпбелл?

— Мальчик, сэр. И маленькая девочка.

— Да-да. Единственное, что хорошо в письме, так это угроза застрелить сержанта Робинсона.

— Это хорошо, сэр?

— Ну, может быть, не для самого сержанта Робинсона. Но это означает, что наш человек зарвался. Угрожает убить сержанта полиции. Вставьте это в статьи обвинения, и пожизненная каторга ему обеспечена.

Если мы сумеем найти автора письма, подумал Кэмпбелл.

— Нортфилд, Хеднесфорд, Уолсолл — он пытается разослать нас во все стороны.

— Без сомнения. Инспектор, позвольте я резюмирую, а вы скажете мне свои возражения, если не согласитесь с ходом моих мыслей.

— Да, сэр.

— Итак, вы отличный полицейский… нет-нет, пока не возражайте! — Энсон выбрал самую легчайшую улыбку в своем репертуаре. — Вы отличнейший полицейский. Однако расследование это длится уже три с половиной месяца, включая три недели, когда в вашем распоряжении были дополнительные силы. И никому не предъявлены обвинения, никто даже серьезно не заподозрен и не рассмотрен. А располосовывания продолжались. Вы согласны?

— Согласен, сэр.

— Поддержка местных жителей, хотя мне известно, что, по вашему мнению, она уступает той, какую вы находили в Бирмингеме, большом городе, тем не менее намного превосходила обычную. Желание помогать полицейским силам заметно превышает обычные пределы. Однако наилучшие данные, которыми мы располагаем, поступали от анонимных осведомителей. Этот таинственный Капитан, к примеру, который столь неудобно проживает по ту сторону Бирмингема. Следует ли нам клюнуть на него? Полагаю, что нет. Что за интерес может быть у какого-то капитана в милях и милях отсюда резать животных, принадлежащих людям, которых он никогда в жизни не видел? Хотя не посетить Нортфилд

было бы детективной промашкой.

— Согласен.

— Следовательно, искать следует среди местных жителей, как мы всегда и считали. Я склоняюсь к мысли, что их несколько. Трое или четверо, быть может. Так логичнее. Я бы сказал, один пишет письма, другой развозит отправлять их в разные городки, один умеет обращаться с животными и один организатор, руководящий остальными. Иными словами, шайка. И ее члены не любят полицию. Напротив, извлекают удовольствие из того, чтобы сбивать нас с толку. И мастера хвастать.

Они называют имена, чтобы запутывать нас. Да, конечно. И все-таки одно имя повторяется вновь и вновь. Идалджи. Идалджи, который едет встретиться с Капитаном; Идалджи, которого, говорят они, заперли. Идалджи, юрист, состоит в этой шайке. У меня всегда были подозрения, но до сих пор я чувствовал, что их не следует разглашать. Я сказал, чтобы вы просмотрели прошлые дела. Уже была такая кампания писем, главным образом против его отца. Проказы, мистификации, мелкое воровство. Мы чуть было тогда его не поймали. В конце концов я сделал отцу, священнику, строгое предупреждение, указал,

что нам известно, чьи это проделки, и вскоре все прекратилось. QED,[13] могли бы вы сказать, но, к сожалению, недостаточно для обвинения. Тем не менее, хотя он и не признался, я положил этому конец. На… сколько?., на семь-восемь лет.

И вот это вновь началось, и в том же месте. И фамилия Идалджи все время всплывает. В первом письме Грейторекса упоминаются три имени, но единственное, которое паренек знает сам, это Идалджи. Следовательно, Идалджи знает Грейторекса. И он поступил так и в тот раз — включил себя в обличения. Только теперь он стал старше, и ему уже мало ловить дроздов и скручивать им шеи. Теперь ему требуется что-то покрупнее, в буквальном смысле слова. Коровы, лошади. А так как сам он не слишком силен, то вербует себе в помощники других. Теперь он поднял ставки и угрожает нам двадцатью девочками. Двадцать девочек, Кэмпбелл.

— Да, сэр. Вы разрешите мне задать один-два вопроса?

— Разрешаю.

— Для начала: почему он доносит на себя?

— Чтобы сбить нас со следа. Он нарочно вклю-

---

[13] Примечания: 13
Латинская аббревиатура «Что и требовалось доказать».

чает свое имя в список людей, которые, как мы знаем, никакого отношения к делу иметь не могут.

— И он предложил награду за собственную поимку?

— Он же знает, что никто ее востребовать не сможет, кроме него самого. — Энсон испустил сухой смешок, но Кэмпбелл, видимо, шутки не уловил. — И, разумеется, дополнительная провокация по отношению к полиции. Смотрите, как стаффордширская полиция бродит в потемках, а несчастный честный гражданин вынужден предлагать собственную наличность для раскрытия преступления. Если подумать, это объявление следует рассматривать как клевету на силы охраны порядка…

— Но, извините, сэр, для чего бирмингемскому солиситору сколачивать шайку местных хулиганов, чтобы резать животных?

— Вы же встречались с ним, Кэмпбелл. И каким он вам показался?

Инспектор взвешивает свои впечатления.

— Умен. Нервен. Сначала хочет понравиться, затем чуть слишком быстро обижается. Он предложил нам кое-какой совет, а мы его словно бы не слишком приветствовали. Рекомендовал нам

испробовать ищеек.

— Ищеек? А вы уверены, что не туземных следопытов?

— Нет, сэр, ищеек. Странно одно: слушая его голос, голос образованного человека, юриста, я вдруг поймал себя на мысли, что стоит закрыть глаза, и примешь его за англичанина.

— А если их не закрывать, вы вряд ли приняли бы его за лейб-гвардейца.

— Можно и так выразиться, сэр.

— Да. Похоже, что, по вашему впечатлению — с открытыми или закрытыми глазами, — перед вами был кто-то, кто считает себя превосходящим других. Как бы это выразить. Кто-то, кто считает себя принадлежащим к высшей касте?

— Возможно. Но почему подобному человеку захочется резать животы лошадям? Вместо того чтобы доказать свой ум и превосходство, например, растратив крупную сумму?

— Кто говорит, что он и этим не занялся? Откровенно говоря, Кэмпбелл, «почему» интересует меня куда меньше, чем «как», «когда» и «где».

— Да, сэр. Но если вы просите меня арестовать этого субъекта, то полезно было бы найти ключ к его мотиву.

Энсон не терпел такого рода вопросов; они, по

его мнению, чересчур часто примешивались к полицейской работе. Какая-то страсть рыться в побуждениях преступника. От вас требуется поймать его, арестовать, предъявить ему обвинение и упечь его на несколько лет — чем больше, тем веселее. Что за интерес зондировать мыслительные процессы преступника, когда он разряжает в вас свой пистолет или разбивает ваше окно. Главный констебль собирался высказать все это вслух, но тут Кэмпбелл просуфлировал ему:

— В конце концов, мы можем исключить материальную наживу как мотив. Ведь он же не уничтожал свою собственность с целью получения страховых денег.

— Человек, поджигающий овин соседа, поступает так не ради наживы. Он поступает так по злобе. Он поступает так ради удовольствия увидеть огонь в небе и страх на лицах людей. В случае Идалджи возможна глубокая ненависть к животным. Вы, несомненно, займетесь этим. Или же, если время нападений следует какой-то системе, если чаще они приходятся на начало месяца, не исключена связь с ритуальными жертвоприношениями. Быть может, таинственный инструмент, который мы ищем, это ритуальный нож индийского происхождения. Кукри или как

там они называются. Отец Идалджи — парс, насколько мне известно. А ведь они поклоняются огню?

Кэмпбелл признал, что профессиональные приемы пока не дали ничего, но у него не было желания смотреть, как они подменяются такого рода рыхлыми догадками. А если парсы поклоняются огню, казалось бы, подозреваемый должен был бы устраивать поджоги?

— Кстати, я не прошу вас арестовать этого юриста.

— Нет, сэр?

— Нет. Я прошу… приказываю вам сосредоточить ваши усилия на нем. Днем ведите незаметное наблюдение за домом священника, пусть за ним следят на пути к станции, отрядите человека в Бирмингем — на случай, если он перекусит с этим Капитаном, а после темноты обеспечьте полную слежку за домом. Позаботьтесь, чтобы он не мог выйти с черного хода с намерением резать и не натолкнулся бы на констебля. А он что-то сделает. Я знаю, он что-то сделает.

Джордж

Джордж пытается вести свою жизнь нормально: в конце-то концов, это его право как свободнорожденного англичанина. Но это очень трудно, когда ты чувствуешь, что за тобой шпионят; когда темные фигуры вторгаются в пределы земли, принадлежащей дому священника; когда приходится многое скрывать от Мод и даже от матери. Молитвы возносятся отцом с обычной истовостью и повторяются женщинами столь же тревожно. Джордж чувствует, что все больше теряет веру в защиту Господа. На протяжении суток в безопасности он ощущает себя только в тот момент, когда отец запирает дверь спальни. По временам ему хочется отдернуть занавески, распахнуть окно и обрушить сарказмы на прячущихся там наблюдателей. Какое нелепое транжирство денег налогоплательщиков, думает он. К своему удивлению, он обнаруживает, что становится обладателем темперамента. К его дальнейшему удивлению, это помогает ему ощущать себя взрослым. Как-то вечером, когда он, по обыкновению, гуляет по проселкам, а за ним в отдалении следует констебль, Джордж внезапно

оборачивается и встает перед своим преследователем, субъектом с лисьим лицом, в твидовом костюме и с общим выражением, наводящим на мысль, что он чувствовал бы себя особенно как дома в пивной самого низкого пошиба.

— Не могу ли я помочь вам найти дорогу? — спрашивает Джордж, с трудом сохраняя вежливый тон.

— Я сам могу о себе позаботиться, спасибо.

— Вы ведь не здешний?

— Из Уолсолла, если хотите знать.

— Но это не дорога в Уолсолл. Почему вы ходите по проселкам Грейт-Уайрли в такое время?

— Я тоже могу задать вам такой же вопрос.

Каков наглец, думает Джордж.

— Вы ходите за мной по указанию инспектора Кэмпбелла. Это совершенно очевидно. Или вы принимаете меня за идиота? Интересно одно: приказал ли вам Кэмпбелл все время быть на виду, в каковом случае ваше поведение равносильно созданию помех на общественных дорогах, или же он инструктировал вас укрываться, в каковом случае вы абсолютно не компетентный констебль в штатском.

Тот лишь ухмыляется.

— А это касается только его и меня, верно?

— Я вот что скажу, любезный. — И гнев теперь могуч, как грех. — Вы и вам подобные обременяете бюджет общества непроизводительными расходами. Вы уже недели и недели шарите по деревне, и вам нечего предъявить, абсолютно нечего.

Констебль только снова ухмыляется.

— Потише, потише, — говорит он.

В этот вечер за ужином священник предлагает Джорджу свозить Мод отдохнуть денек в Аберистуите. Говорит он тоном приказа, но Джордж отказывается наотрез: у него слишком много работы и нет никакого желания отдыхать. И он не сдается, пока к просьбе не присоединяется Мод, а тогда неохотно уступает. Во вторник они уезжают на заре с тем, чтобы вернуться поздно ночью. Солнце сияет; поездка в поезде — все 124 мили от Грейт-Уайрли — проходит приятно и без сучка без задоринки; брат и сестра испытывают непривычное ощущение свободы. Они прогуливаются по набережной, осматривают фасад колледжа и доходят до самого конца мола (за вход 2 пенса). Прекрасный августовский день с легким ветром, но они абсолютно согласны, что не хотят прокатиться по бухте на прогулочном пароходике; не присоединяются они и к согну-

тым искателям камешков на пляже. Вместо этого они отправляются на трамвае от северного конца променада вверх к Садам На Обрыве, венчающим Холм Конституции. Когда трамвай едет вверх, а потом спускается, перед ними в ретроспективе открывается панорама города и бухты Кардиган. Все, с кем они говорят на этом курорте, очень вежливы, включая полицейского в форме, который рекомендует перекусить в отеле «Бель-Вью» или «Ватерлоо», если они строго соблюдают трезвость. За жареной курицей и яблочным пирогом они разговаривают на безопасные темы — об Орасе, двоюродной бабушке Стоунхем и людях за соседними столиками. Потом они взбираются к замку, который Джордж шутливо называет нарушением Закона о продаже недвижимости, потому что замок состоит только из нескольких разрушенных башен и обломков стен. Прохожий указывает — вон там, прямо слева от Холма Конституции, вершина Сноудона. Мод в восторге, но Джорджу никак не удается различить вершину в такой дали. Мод обещает, что в один прекрасный день купит ему бинокль. В поезде на обратном пути он спрашивает, не управляют ли аберистуитским трамваем те же законы, что и железными дорогами; затем Мод упрашивает

Джорджа предложить ей вынести вердикт, как когда-то в классной комнате. Он старается как может, потому что любит сестру, которая против обыкновения выглядит почти жизнерадостно, но его сердце к этому не лежит.

На следующий день на Ньюхолл-стрит приходит открытка. Она полна гнусных выпадов, обвиняющих его в тайных отношениях с какой-то женщиной в Кэнноке: «Сэр. Вы считаете подобающим для человека в вашем положении иметь связь с сестрой —— —— каждую ночь, а она ведь собирается замуж за Фрэнка Смита, социалиста». Надо ли говорить, что он ни о ней, ни об этом Фрэнке никогда не слышал. Он глядит на штемпель: Вулвергемптон 12 ч. 30 мин. авг. 4. 1903 года. Эта отвратительная клевета сочинялась, как раз когда они с Мод садились за столик отеля «Бель-Вью».

Открытка пробуждает в нем зависть к Орасу, теперь беззаботной канцелярской крысе в манчестерском налоговом управлении. Орас словно бы скользит по жизни, не терпя от нее никаких ударов; он живет сегодняшним днем, его честолюбие исчерпывается медленным карабканьем вверх по служебной лестнице; удовлетворение он получает от женского общества, касательно

которого не скупится на откровенные намеки. А главное, Орас спасся из Грейт-Уайрли. Джордж, как никогда прежде, чувствует, каким проклятием оборачивается первородство и как тяжка ноша возлагаемых на него ожиданий; и еще — какое проклятие иметь больше ума и меньше самоуверенности, чем его брат. У Ораса есть все основания сомневаться в себе, а он не сомневается. Джордж, несмотря на академические успехи и профессиональную квалификацию, страдает от застенчивости. Сидя за своим столом и объясняя тонкости закона, он умеет быть ясным и даже безапелляционным. Но он лишен способности непринужденно болтать ни о чем; он не умеет находить общий язык с людьми и знает, что, по мнению некоторых, выглядит он странно.

В понедельник 17 августа 1903 года Джордж нормально садится в поезд 7:39 до Нью-стрит, он нормально возвращается поездом 5:25 и приходит домой незадолго до половины седьмого. Некоторое время он работает, потом надевает пальто и идет повидать сапожника, мистера Джона Хэндса. Он возвращается домой чуть раньше 9 ч. 30 мин., съедает ужин и удаляется в комнату, где спит с отцом. Двери дома заперты на ключ, засовы задвинуты, дверь спальни заперта,

и Джордж спит столь же прерывисто, как и все последние недели. Утром он просыпается в 6:00, дверь спальни отпирается в 6:40, и он садится на поезд 7:39 до Нью-стрит.

Он не знает, что это последние нормальные двадцать четыре часа в его жизни.

Кэмпбелл

Ночью 17-го шел сильный дождь со шквалистым ветром. Но к заре развиднелось, и когда шахтеры ранней смены отправились к шахте Грейт-Уайрли, в воздухе веяло свежестью, приносимой летними ливнями. Подручный паренек с шахты по имени Генри Гаррет шел через луг, направляясь на работу, когда увидел пони с шахты, которому словно было плохо. Подойдя ближе, он обнаружил, что пони еле держится на ногах, и из него льет кровь.

На крики паренька группа шахтеров прохлюпала через луг и оглядела длинный разрез поперек брюха пони и взбитую, окропленную алостью грязь под ним. Менее чем через час прибыл Кэмпбелл с десятком специальных констеблей, и было послано за мистером Льюисом, ветеринаром. Кэмпбелл спросил, кто патрулировал этот сектор ночью. Констебль Купер ответил, что проходил по лугу примерно в одиннадцать часов, и с животным все было как будто в порядке. Но ночь была темной, а близко к пони он не подходил.

Восьмой случай за шесть месяцев и шестнадцатое зарезанное животное. Кэмпбелл мимоходом

подумал о пони, о нежности, которую даже самые грубые шахтеры часто проявляли к лошадям; еще он подумал о капитане Энсоне и про его озабоченность честью Стаффордшира; но пока он смотрел на кровоточащий разрез и пошатывающегося пони, его мысли были заняты письмом, которое показал ему главный констебль. «В ноябре в Уайрли начнутся веселенькие денечки», — вспомнил он. И потом: «Они разделают двадцать девок, будто лошадей, до конца следующего марта». И два других слова: «маленькие девочки».

Кэмпбелл был отличным полицейским, как и сказал Энсон, скрупулезно исполнявшим свои обязанности, рассудительным. У него не было предвзятых представлений о криминальных типах, не водилось за ним ни поспешного теоретизирования, ни самодовольной интуиции. И все же! Луг, где было совершено возмутительное преступление, находился точно между шахтой и Уайрли. Если провести прямую линию от луга к деревне, она уткнулась бы прямо в дом священника. Простейшая логика, как и главный констебль, указывали, что там следует побывать.

— Кто-нибудь следил за домом священника вчера вечером?

Отозвался констебль Джадд и довольно много

распространялся о чертовой погоде, о дожде, заливавшем ему глаза, из чего, возможно, следовало, что половину ночи он прятался под деревом. Кэмпбелл не строил иллюзий, будто полицейские лишены человеческих слабостей. Но в любом случае Джадд не видел никого, кто бы приходил, и никого, кто бы уходил; свет был погашен в половине одиннадцатого, как всегда. Только ночь-то была жуткая, инспектор.

Кэмпбелл взглянул на часы: 7 ч. 15 мин. Он отправил Маркью, который знал солиситора в лицо, задержать того на станции. Он приказал Куперу и Джадду дождаться ветеринара и отгонять зевак, затем с Парсонсом и остальными специальными констеблями направился кратчайшим путем к дому священника. Пришлось протиснуться сквозь пару живых изгородей и пройти по туннелю под железной дорогой, но они без труда проделали путь за пятнадцать минут. Еще задолго до восьми Кэмпбелл поставил по констеблю у каждого угла дома, а сам с Парсонсом заставил дверной молоток загреметь. И ведь тут не только двадцать девок, но и угроза выстрелить Робинсону в голову из чьего-то ружья.

Служанка проводила двух полицейских на кухню, где жена и дочь священника кончали

завтракать. На взгляд Парсонса мать выглядела перепуганной, а ее полукровка-дочь — нездоровой.

— Я хотел бы поговорить с вашим сыном Джорджем.

Жена священника была худой, щуплого сложения, ее волосы наполовину побелели. Говорила она негромко, с заметным шотландским акцентом:

— Он уже отправился к себе в контору, он ездит поездом семь тридцать девять. Он солиситор в Бирмингеме.

— Мне это известно, сударыня. В таком случае я должен попросить вас показать мне его одежду. Всю его одежду без исключений.

— Мод, сходи приведи своего отца.

Парсонс спросил легким наклоном головы, надо ли ему сопровождать девушку, но Кэмпбел взглядом показал, что не надо. Минуту спустя появился священник: невысокий, сильного сложения, светлокожий субъект без всяких странностей в отличие от своего сына. Совершенно седой, но красивый на индусский лад, подумал Кэмпбелл.

Инспектор повторил свою просьбу.

— Я должен спросить вас, что вы расследуете и есть ли у вас ордер на обыск.

— Пони с шахты был найден… — Кэмпбелл чуть поколебался: при женщинах… — На соседнем лугу… кто-то его поранил.

— И вы подозреваете, что виновник — мой сын Джордж?

Мать обняла дочь за плечи.

— Скажем, возможность исключить его из расследования очень помогла бы.

Опять эта избитая ложь, подумал Кэмпбелл, почти стыдясь, что вновь к ней прибегнул.

— Но ордера на обыск у вас нет?

— В данный момент он не при мне, сэр.

— Ну хорошо. Шарлотта, покажи ему одежду Джорджа.

— Благодарю вас. И, насколько я понял, вы не станете возражать, если мои констебли обыщут дом и все вокруг?

— Нет, если это поможет исключить моего сына из вашего расследования.

Пока все хорошо, подумал Кэмпбелл. В трущобах Бирмингема отец набросился бы на него с кочергой, мать причитала бы, а дочка старалась бы выцарапать ему глаза. Хотя в некоторых отношениях это было бы легче, как почти прямое признание вины.

Кэмпбелл велел своим подчиненным искать

ножи или бритвы, сельскохозяйственные или садовые инструменты, которые могли быть использованы для нападения на пони, а сам с Парсонсом поднялся на второй этаж. Одежда юриста была разложена на постели, включая, как он попросил, рубашки и нижнее белье. Все выглядело чистым, а на ощупь было сухим.

— Это вся его одежда?

Мать ответила не сразу.

— Да, — сказала она затем, а через секунду добавила: — Кроме той, что на нем.

Само собой, подумал Парсонс. Не отправился же он в Бирмингем голым. Странное пояснение. Вслух он сказал небрежно:

— Мне надо осмотреть его нож.

— Нож? — Она недоуменно посмотрела на него. — Вам нужен нож, которым он пользуется за столом?

— Нет, его нож. У каждого молодого человека есть нож.

— Мой сын — солиситор, — сказал священник довольно резко. — Он ведет дела в конторе, а не строгает палки от ничегонеделания.

— Не знаю, сколько раз мне говорилось, что ваш сын — солиситор. Я прекрасно это знаю. Как и то, что у каждого молодого человека есть нож.

После некоторого перешептывания дочь вышла, а затем вернулась с коротким грушевидным предметом, который вручила инспектору с некоторым вызовом.

— Его ботанический совок, — сказала она.

Кэмпбелл с первого взгляда увидел, что это орудие никак не могло оставить порез, который он недавно осматривал. Тем не менее он изобразил значительный интерес, отошел с совком к окну и повернул его к свету.

— Вот что мы нашли, сэр. — Констебль протянул ему футляр с четырьмя бритвами. Одна из них выглядела влажной. У другой на обратной стороне были красные крапины.

— Это мои бритвы, — быстро сказал священник.

— Одна из них влажная.

— Конечно, я ведь брился ею менее часа назад.

— А ваш сын? Чем бреется он?

После паузы:

— Одной из этих.

— А! Так что, строго говоря, они не совсем ваши, сэр?

— Напротив. С самого начала это был мой набор бритв. Я пользуюсь ими лет двадцать, если не больше, и когда моему сыну пришло время брить-

ся, я разрешил ему пользоваться одной из них.

— Что он и делает?

— Да.

— Вы не доверяете ему завести собственные бритвы?

— Ему не нужны собственные бритвы.

— Так почему же ему не разрешается иметь собственные бритвы? — небрежно полувопросительным тоном произнес Кэмпбелл. А не скажет ли он чего-нибудь? Нет, вряд ли. В этой семье было что-то странное, но ему не удавалось определить, что именно. Они не отказывались сотрудничать, и одновременно он чувствовал, что они что-то утаивают.

— Он вчера поздно выходил? Ваш сын?

— Да.

— И надолго?

— Не могу сказать. На час. Может быть, и дольше. Шарлотта?

И опять жена потратила неправомерное время, чтобы обдумать простой вопрос.

— Полтора часа, час и три четверти, — наконец прошептала она. Времени более чем достаточно, чтобы побывать на лугу и вновь вернуться, как Кэмпбелл сам только что убедился.

— И когда это было?

— Между восемью и половиной десятого, — ответил священник, хотя вопрос был задан его жене.

— Он ходил к сапожнику.

— Нет, я имел в виду после этого.

— После этого? Нет.

— Но я же спросил, выходил ли он поздно, то есть ночью, и вы сказали, что да, выходил.

— Нет, инспектор, вы спросили, выходил ли он поздно, то есть вечером.

Кэмпбелл кивнул. Нет, он не дурак, этот служитель церкви.

— Ну, мне хотелось бы осмотреть его сапоги.

— Его сапоги?

— Да, сапоги, в которых он уходил. И покажите мне, в каких именно брюках он выходил.

Брюки были сухими, но теперь, когда Кэмпбелл вновь их осмотрел, он заметил черную грязь по низу брючин. Предъявленные сапоги также были облеплены грязью и еще мокрыми.

— Я нашел еще вот что, сэр, — сказал сержант, принесший сапоги. — По-моему, сырое. — Он протянул голубое саржевое полупальто.

— Где вы его нашли? — Инспектор провел по нему ладонью. — Да, оно сыровато.

— Висело у задней двери рядом с сапогами.

— Дайте мне пощупать, — сказал священник, провел ладонью по рукаву и сказал: — Оно сухое.

— Оно сыровато, — повторил Кэмпбелл, думая: а сверх того, я полицейский. — Так чье оно?

— Джорджа.

— Джорджа? Я же просил показать мне всю его одежду. Без исключения.

— Мы и показали. — На этот раз мать. — Тут все, что я считаю его одеждой. А это просто старая домашняя куртка, которую он никогда не носит.

— Никогда?

— Никогда.

— А кто-нибудь другой ее носит?

— Нет.

— Как таинственно! Куртку никто не носит, а она удобно висит у задней двери. Разрешите, я начну снова. Это куртка вашего сына. Когда он в последний раз ее надевал?

Родители переглянулись. Потом мать сказала:

— Понятия не имею. Она слишком затрапезная, чтобы выходить в ней, а носить ее дома ему ни к чему. Может, он надевал ее, когда работал в саду.

— Дайте-ка мне посмотреть, — сказал Кэмпбелл, поднося куртку кокну. — Да, вот волосок. И… еще один. И… да, еще один. Парсонс?

Сержант поглядел и кивнул.

— Дайте мне посмотреть, инспектор.

Священнику дозволяется осмотреть куртку.

— Это не волосок. Я не вижу никаких волосков.

Теперь к нему присоединяются мать и дочь, дергают голубую саржу, будто на базаре. Он делает им жест отойти и кладет куртку на стол.

— Вот! — Он указал на наиболее очевидный волосок.

— Это же ровница, — сказала дочь. — Это не волосок, а ровница.

— Что такое ровница?

— Нитка, нитка из края. Это все увидят. Все, кому приходилось шить.

Кэмпбелл в жизни никогда ничего не шил, но вот панику в голосе девушки он распознает без всякого труда.

— И поглядите на эти пятна, сержант.

На правом рукаве два отдельных пятна, одно беловатое, другое темноватое. Они с Парсонсом молчат, но думают одно и то же: беловатое — слюна пони, темноватое — кровь пони.

— Я же сказал вам, что это просто его старая домашняя куртка. И он никогда не надевает ее, выходя. И уж не для того, чтобы идти к сапожнику.

— Тогда почему она влажная?

— Она не влажная.

Дочь предлагает другое объяснение. В пользу своего брата.

— Наверное, она кажется вам сырой, потому что висела у задней двери.

На Кэмпбелла это ни малейшего впечатления не произвело, и он собрал куртку, сапоги, брюки и остальную одежду, надевавшуюся, как было установлено, накануне вечером; кроме того, он захватил бритвы. Семья получает распоряжение не вступать в какой-либо контакте Джорджем до разрешения полиции. Одного констебля Кэмпбелл ставит перед домом, приказывает остальным поделить участок между собой на четыре части. Потом вместе с Парсонсом он возвращается на луг, где мистер Льюис завершил осмотр и попросил разрешения убить пони. Заключение ветеринара Кэмпбелл получит на следующий день. Инспектор попросил его срезать лоскут кожи с мертвого животного. Констеблю Куперу поручено отвезти лоскут вместе с одеждой доктору Баттеру в Кэннок.

На станции Уайрли Маркью доложил, что солиситор категорически отказался подождать. Поэтому Кэмпбелл и Парсонс сели в первый же поезд — 9:53 до Бирмингема.

— Странная семья, — сказал инспектор, когда они проезжали мост через канал между Блоксуичем и Уолсоллом.

— Очень странная. — Сержант пожевал губу. — С вашего позволения, сэр, сами по себе они выглядели довольно честными.

— Я понимаю, что вы имеете в виду. Именно этому не помешало бы поучиться преступным сословиям.

— Чему, сэр?

— Лгать не больше, чем требуется.

— Да уж! — Парсонс засмеялся. — Все-таки по-своему их жалко. Случилось в такой вот семье. Черная овца, если вы извините такое выражение.

— Более чем.

Вскоре после 11 часов они явились в д. 54 по Ньюхолл-стрит. Контора оказалась маленькой, двухкомнатной, с женщиной-секретаршей, охраняющей дверь солиситора. Джордж Идалджи сидел, поникнув, за письменным столом. Выглядел он очень скверно.

Кэмпбелл, готовый к любому его внезапному движению, сказал:

— Мы не хотим обыскивать вас здесь, но вы должны отдать мне свой пистолет.

Идалджи недоумевающе посмотрел на него.

— У меня нет пистолета.

— А это что в таком случае? — Инспектор кивнул на длинный блестящий предмет перед ним.

Солиситор ответил бесконечно усталым голосом.

— Это, инспектор, ключ от двери железнодорожного вагона.

— Просто шутка, — сказал Кэмпбелл, думая: ключи! Ключ уолсоллской школы столько лет назад, а теперь еще один. Нет, с этим типчиком что-то очень неладно.

— Мне он служит пресс-папье, — объяснил юрист. — Как, возможно, у вас есть причина помнить, я специалист по железнодорожному праву.

Кэмпбелл кивнул. Затем он произнес необходимую формулу и арестовал его. В кебе на пути в арестантскую Идалджи сказал полицейским:

— Я не удивлен. Я уже некоторое время ждал этого.

Кэмпбелл взглянул на Парсонса, и тот занес эти слова в свою записную книжку.

Джордж

На Ньютон-стрит они забрали его деньги, часы и маленький перочинный ножик. Они хотели забрать и его носовой платок на случай, если он попытается себя задушить. Джордж настоял, что платок абсолютно для такой цели не подходит, и ему было разрешено оставить платок при себе.

Его поместили в светлую чистую камеру на час, потом поездом 12:40 отвезли с Нью-стрит в Кэннок. В 1:08 он отходит из Уолсолла, думал Джордж, Берчиллс — 1:12, Блоксуич — 1:16, Уайрли и Чёрчбридж — 1:24, Кэннок — 1:29. Полицейские сказали, что повезут его без наручников, и за это Джордж был им благодарен. Тем не менее, когда поезд остановился в Уайрли, он опустил голову и поднес ладонь к щеке на случай, если мистер Мерримен или носильщик заметят мундир сержанта и поспешат распространить новость.

В Кэнноке его в двуколке отвезли в полицейский участок. Там измерили его рост и записали его приметы. Одежду проверили на предмет кровавых пятен. Полицейский попросил его отогнуть обшлаги и осмотрел запястья. Он сказал:

— Вы были в этой рубашке вчера ночью на лу-

гу? Очевидно, вы ее сменили. На ней нет крови.

Джордж не ответил. Он не видел в этом смысла. Если бы он ответил «нет», полицейский возразил бы: «Значит, вы сознаетесь, что были на лугу вчера ночью. Так в какой же рубашке?» Джордж чувствовал, что до сих пор во всем шел им навстречу; но с этой минуты он будет исчерпывающе отвечать только на необходимые вопросы, а не провокационные.

Его поместили в крохотную камеру, где света было мало, а воздуха еще меньше, и где стоял запах общественного места пользования. Не было даже воды для умывания. Часы у него отобрали, но, полагал он, было что-то около половины третьего. Две недели назад, подумал он, всего две недели назад мы с Мод доели жареную курицу и яблочный пирог в «Бель-Вью» и шли по Морской набережной к замку, где я в шутку упомянул Закон о продаже недвижимости, а прохожий попытался указать на Сноудон. А теперь он сидел на низкой кровати, стараясь дышать как можно реже и ожидая того, что произойдет дальше. Часа через два его отвели в комнату для допросов, где его встретили Кэмпбелл и Парсонс.

— Итак, мистер Идалджи, вы знаете, зачем мы здесь.

— Я знаю, зачем вы здесь. И это Эйдалджи, а не И-дал-джи.

Кэмпбелл пропустил поправку мимо ушей. И подумал: я буду называть тебя как захочу, мистер солиситор. Вслух он сказал:

— И вам известны ваши юридические права?

— Мне кажется, что да, инспектор. Мне известны правила полицейских процедур, и мне известны законы об уликах, право обвиняемого хранить молчание. Мне известно, какое возмещение положено в случаях неоправданного ареста и незаконного заключения в тюрьму. Кстати, мне известны и законы о дефамации. И еще мне известно, как скоро вы обязаны предъявить мне обвинение и как скоро после этого доставить меня в суд.

Кэмпбелл ожидал бурного протеста, хотя и необычного, который часто требовал вмешательства сержанта и нескольких констеблей, чтобы положить ему конец.

— Ну, нам это тоже облегчает положение. Без сомнения, вы предупредите нас, если мы что-нибудь нарушим. Итак, вам известно, почему вы здесь.

— Инспектор, я не намерен отвечать на беспочвенные вопросы, к помощи которых вы,

надо полагать, прибегаете, чтобы сбить с толку обычных преступников. Кроме того, я не намерен отвечать, если вы прибегнете к способу, который наше законодательство отвергает как выуживание показаний. Я буду отвечать со всей возможной правдивостью на любые конкретные вопросы, имеющие прямое отношение к делу, которые вы сочтете нужным задать.

— Очень любезно с вашей стороны. В таком случае расскажите мне про Капитана.

— Какого капитана?

— А это уж вы должны мне сказать.

— Я не знаю никого, кто именовался бы капитаном. Если только вы не подразумеваете капитана Энсона.

— Наглость вам со мной не поможет, Джордж. Нам известно, что вы навещаете Капитана в Нортфилде.

— На моей памяти я ни разу в Нортфилде не бывал. Так в какие именно числа я предположительно навещал кого-то в Нортфилде?

— Расскажите мне про шайку Грейт-Уайрли.

— Шайку Грейт-Уайрли? Теперь вы говорите на манер сыщика из дешевой книжонки. Я ни разу не слышал никаких упоминаний об этой шайке.

— Когда вы встречались с Шиптоном?

— Я не знаю никого по фамилии Шиптон.

— Когда вы встречались с Ли, носильщиком?

— Носильщиком? Вы имеете в виду станционного носильщика?

— Давайте называть его станционным носильщиком, как вы утверждаете.

— Я не знаю носильщика по фамилии Ли. Хотя, насколько мне известно, я здоровался и с носильщиками, фамилий которых не знал, так что кто-нибудь среди них и мог зваться Ли. Фамилия носильщика в Грейт-Уайрли и Чёрчбридже — Джейнс.

— Когда вы встречались с Уильямом Грейторексом?

— Я не знаю никого… Грейторекс? Мальчик в поезде? Тот, который учится в уолсоллской школе? При чем тут он?

— Это вы мне объясните.

Молчание.

— Для вас важно превосходить интеллектом других людей?

Молчание.

— Значит, Шиптон и Ли состоят в шайке Грейт-Уайрли?

— Инспектор, мой ответ на это полностью заключен в моих предыдущих ответах. Прошу вас,

не оскорбляйте мой интеллект.

— Ваш интеллект для вас важен, мистер Идалджи, не так ли?

Молчание.

— Для вас важно превосходить интеллектом других людей, не так ли?

Молчание.

— Как и демонстрировать это превосходство.

Молчание.

— Капитан — это вы?

Молчание.

— Расскажите мне точно, где и когда вы были вчера?

— Вчера, как обычно, я поехал в контору на Ньюхолл-стрит и провел там весь день, не считая времени, когда я ел сандвичи в Сент-Филлипс-плейс. Я вернулся, как обычно, около шести тридцати. И занялся одним делом.

— Каким делом?

— Юридическим, которое захватил из конторы. Касательно передачи небольшой собственности.

— А потом?

— Потом я ушел из дома и пошел повидать мистера Хэндса, сапожника.

— Зачем?

— Затем, что он шьет мне сапоги.

— Хэндс тоже в этом участвует?

Молчание.

— И?..

— И я поговорил с ним, пока он мне их примерял. Затем я некоторое время погулял. Потом вернулся домой к ужину где-то перед девятью часами.

— Где вы гуляли?

— Туда-сюда по проселкам. Я гуляю так каждый день и не обращаю внимания, где именно.

— Значит, вы пошли по направлению к шахте?

— Нет, не думаю.

— Послушайте, Джордж, так не годится. Вы сказали, что гуляли по проселкам туда-сюда, но не помните, в каком направлении. Одно из направлений из Уайрли ведет к шахте. Так почему вы исключаете это направление?

— Погодите секунду. — Джордж прижал пальцы ко лбу. — Теперь я вспомнил. Я гулял по дороге в Чёрчбридж. Потом я повернул в сторону Уотлинг-стрит-роуд, а затем к Уолк-Милли и дальше по дороге до фермы Грина.

Кэмпбелл подумал, что все это очень даже внушительно для человека, утверждающего, будто он не запоминает, где гуляет.

— И с кем вы встретились на ферме Грина?

— Ни с кем. Я туда не заходил. Я с этими людьми не знаком.

— А с кем вы встретились во время вашей прогулки?

— С мистером Хэндсом.

— Нет. С мистером Хэндсом вы встретились перед прогулкой.

— Я не уверен. Разве вы не приставили следить за мной одного из ваших констеблей? Вам достаточно обратиться к нему, чтобы получить полное представление о моих передвижениях.

— Я так и сделаю. Непременно. И обращусь не только к нему. Итак, вы поужинали, а потом вновь ушли.

— Нет. После ужина я лег спать.

— А позднее встали и вышли.

— Нет. Я же сказал вам, когда выходил.

— Как вы были одеты?

— Как я был одет? В сапогах, брюках, пиджаке, пальто.

— В каком пальто?

— Из синей саржи.

— То, которое висит у кухонной двери, где вы оставляете свои сапоги?

Джордж сдвинул брови.

— Нет, это старая домашняя куртка. На мне

было то, которое я оставляю на вешалке в прихожей.

— Тогда почему ваша куртка у задней двери была влажной?

— Понятия не имею. Я к ней не прикасался уже несколько недель, если не месяцев.

— Она была на вас вчера вечером. Мы можем это доказать.

— Ну, это вопрос явно для суда.

— На одежде, которую вы носили вчера ночью, есть волоски животных.

— Это невозможно.

— Вы называете свою мать лгуньей?

Молчание.

— Мы попросили вашу мать показать нам одежду, которая была на вас в ту ночь. И она это сделала. На некоторых вещах были волоски животных. Как вы это объясните?

— Ну, я ведь живу в деревне, инспектор. За мои грехи.

— За ваши грехи? Но вы ведь не доите коров и не подковываете лошадей.

— Само собой разумеется. Возможно, я облокотился о калитку, ведущую на луг, где пасутся коровы.

— Вчера ночью шел дождь, а сегодня утром

ваши сапоги были мокрыми.

Молчание.

— Это вопрос, мистер Идалджи.

— Нет, инспектор, это провокационное утверждение. Если они и были мокрыми, это меня не удивляет. Проселки в это время года редко бывают сухими.

— Однако луга мокрее, а вчера вечером шел дождь.

Молчание.

— Значит, вы отрицаете, что выходили излома между девятью часами тридцатью минутами вечера и до зари.

— Заметно после зари. Я выхожу из дома в семь двадцать.

— Но доказать вы этого никак не можете.

— Напротив. Мы с отцом спим в одной комнате. На ночь он всегда запирает дверь.

Инспектор остолбенел. Он поглядел на Парсонса, который как раз записывал последние слова. Сметанные на живую нитку алиби давно перестали его удивлять, но тем не менее…

— Извините, но не могли бы вы повторить ваши последние слова?

— Мы с отцом спим в одной комнате. На ночь он всегда запирает дверь.

— И как давно продолжается… этот распорядок?

— С тех пор, как мне исполнилось десять лет.

— А теперь вам?

— Двадцать семь.

— Понимаю. — Кэмпбелл ничего не понимал. — И ваш отец… когда он запирает дверь, вы знаете, куда он кладет ключ?

— Он его никуда не кладет, а оставляет в замке.

— Так что вам совсем не трудно уйти из комнаты?

— Мне незачем уходить из комнаты.

— Естественная потребность?

— У меня под кроватью стоит ночной горшок, но я никогда им не пользуюсь.

— Никогда?

— Никогда.

— Ну хорошо. Ключ всегда в замке. Так что вам не пришлось бы его искать?

— Мой отец спит очень чутко, а сейчас страдает от прострела. И легко просыпается. А ключ при повороте очень громко скрипит.

Кэмпбелл только-только не рассмеялся ему в лицо. Да за кого он их принимает?

— Все это выглядит поразительно удобным, сэр,

если вы разрешите мне так сказать. Вам никогда не приходило в голову смазать замок?

Молчание.

— Сколько у вас бритв?

— Сколько бритв? У меня нет ни одной бритвы.

— Но вы же бреетесь, я полагаю.

— Бреюсь одной из бритв моего отца.

— Почему вам не доверяют иметь собственную бритву?

Молчание.

— Сколько вам лет, мистер Идалджи?

— Сегодня я уже три раза ответил на этот вопрос. Может быть, вы заглянете в свои заметки?

— Двадцатисемилетний мужчина, которому не разрешается иметь собственную бритву, которого каждую ночь запирает в спальне отец, спящий очень чутко. Вы понимаете, насколько вы редкий индивид?

Молчание.

— Исключительно редкий, сказал бы я. И… расскажите мне про животных.

— Это не вопрос, это забрасывание невода. — Джордж осознал абсурдность своего ответа и не удержался от улыбки.

— Мои извинения. — Инспектор все больше

закипал раздражением. До сих пор он был мягок с этим субъектом. Ну, потребуется не так уж много, чтобы превратить самодовольного юриста в хлюпающего носом школьника. — Тогда вопрос: как вы относитесь к животным? Они вам нравятся?

— Как я отношусь к животным? Нравятся ли они мне? Нет, в общем, они мне не нравятся.

— Я мог бы догадаться.

— Нет, инспектор, разрешите мне пояснить. — Джордж ощущал нарастающую ожесточенность Кэмпбелла и подумал, что правильной тактикой будет немного поступиться ригористичностью своей позиции. — Когда мне было четыре года, меня повели посмотреть корову. Она запачкалась. Это почти первое мое воспоминание.

— О корове, которая запачкалась?

— Да. По-моему, с того дня я животным не доверяю.

— Не доверяете?

— Да. Тому, что они могут натворить. Они непредсказуемы.

— Так-так. И вы говорите, что это первое ваше воспоминание?

— Да.

— И с тех пор вы животным не доверяете. Всем животным?

— Ну, не кошке, которая живет у нас дома. Или собаке тетушки Стоунхем. Их я очень люблю.

— Так-так… Но крупным животным. Вроде коров.

— Да.

— Лошадям?

— Лошади не надежны. Да.

— Овцам?

— Овцы просто глупы.

— Дроздам? — спрашивает сержант Парсонс. Первое слово, им произнесенное.

— Дрозды — не животные.

— Обезьянам?

— В Стаффордшире обезьян нет.

— Вы очень в этом уверены, э?

Джордж чувствует, как в нем разгорается гнев. Он сознательно выжидает, прежде чем ответить.

— Инспектор, могу ли я заметить, что тактика вашего сержанта строится на неверной основе?

— Я не думаю, что это тактика, мистер Идалджи. Сержант Парсонс — добрый друг сержанта Робинсона в Хеднесфорде. Кто-то пригрозил пристрелить сержанту Робинсону голову.

Молчание.

— Кто-то пригрозил, кроме того, зарезать двадцать девушек в деревне, где вы живете.

Молчание.

— Ну, его как будто не потрясли эти угрозы, сержант. Надо полагать, неожиданными для него они не были.

Молчание.

Джордж подумал, что было ошибкой дать инспектору какую-то зацепку. Все, что не является прямым ответом на прямой вопрос, дает ему зацепку. А потому — воздерживайся.

Инспектор заглянул в лежащую перед ним записную книжку.

— Когда мы вас арестовали, вы сказали: «Я не удивлен. Я уже некоторое время ждал этого». Что вы подразумевали?

— Я подразумевал то, что сказал.

— Ну так разрешите мне сказать, как я понял то, что вы сказали, и как понял бы это пассажир клэпемского омнибуса. Что наконец-то вас поймали и вы скорее испытываете облегчение, что вас поймали.

Молчание.

— Так почему, по-вашему, вы находитесь здесь?

Молчание.

— Быть может, вы думаете, это потому, что ваш отец индус?

— На самом деле мой отец — парс.

— На ваши сапоги налипла грязь.

Молчание.

— На вашей бритве — кровь.

Молчание.

— На вашем пиджаке — лошадиные волоски.

Молчание.

— Вас не удивил ваш арест.

Молчание.

— Не думаю, что все это имеет хоть какое-то отношение к тому, индус ли ваш отец, парс или готтентот.

Молчание.

— Ну, он, видимо, израсходовал все свои слова, сержант. Наверное, припасает их для кэннокских судей.

Джорджа отвели назад в ту же камеру, где его ожидала тарелка холодного месива. Он к ней не прикоснулся. Каждые двадцать минут он слышал скрип у дверного глазка; каждый час (по его прикидке) дверь отпиралась, и его оглядывал констебль.

Во время второго посещения полицейский, видимо, по шпаргалке, сказал:

— Ну, мистер Идалджи, жалею, что вижу вас тут, но как вы умудрились проскользнуть мимо

всех наших ребят? В котором часу вы обработали лошадку?

Джордж видел этого констебля впервые, а потому сочувственный тон никакого впечатления на него не произвел и не спровоцировал ответа.

Час спустя полицейский сказал:

— Мой совет, сэр, от души: лучше изложите все как есть. А не то это сделает кто-нибудь другой.

При четвертом его появлении Джордж спросил, будут ли эти проверки продолжаться всю ночь.

— Приказ — это приказ.

— И вам приказано не давать мне спать?

— Ну нет, сэр. Нам приказано сохранять вас живым. Если вы причините себе вред, я головой отвечу.

Джордж понял, что никакие его протесты не прекратят ежечасных вторжений, а констебль продолжал:

— Конечно, для всех было бы лучше, включая и вас, если бы вы легли сами.

— Сам лег? Куда?

Констебль помялся.

— В безопасное место.

— А, понимаю! — сказал Джордж, и в нем внезапно вспыхнул гнев. — Вы хотите, чтобы я сказал, что я свихнутый. — Это слово он употре-

бил сознательно, прекрасно помня неодобрение отца.

— Так ведь куда легче для семьи. Подумайте об этом, сэр. Подумайте, каково будет вашим родителям. Как я понимаю, они уже люди в годах.

Дверь камеры закрылась. Джордж лежал на кровати, но был слишком измучен и слишком разгневан, чтобы заснуть. Его мысли мчались к дому священника: стук в дверь, комнаты, запруженные полицейскими. Его отец, его мать, Мод. Его контора на Нью-холл-стрит, теперь запертая и пустая; его секретарша, теперь отправленная восвояси до дальнейшего оповещения. Его брат Орас, развертывающий утром газету. Его коллеги-солиситоры в Бирмингеме, звонящие по телефону друг другу, обмениваясь новостью.

Но под измученностью, гневом и страхом Джордж обнаруживает еще одно чувство — облегчение. Наконец-то дошло до этого, ну и тем лучше. Он ничего не мог сделать против устроителей мистификаций, и преследователей, и авторов анонимных потоков грязи; и немногим больше, пока полиция тупо бродила в потемках, — только предложить несколько разумных советов, которые они презрительно отвергли. Но эти мучители и эти тупицы доставили его в самое

безопасное место, в его второй дом — под сень законов Англии. Он знал, где находится теперь. Хотя его занятия не так уж часто приводили его в зал суда, он осознавал суд как часть своей естественной территории. Он не раз присутствовал при разборе дел и наблюдал, как составляющие общество люди с пересохшим от паники ртом едва были способны давать показания, оказавшись лицом к лицу с торжественным великолепием закона. Он видел, как полицейские, поначалу сплошные медные пуговицы и самоуверенность, ощипывались в лгущих дураков более или менее компетентным адвокатом. И он наблюдал — нет, не просто наблюдал, но чувствовал, почти ощущал на ощупь, — эти невидимые, нервущиеся нити, которые соединяли всех, чьим делом был занят закон. Судей всех рангов, адвокатов, солиситоров, нотариусов, клерков, судебных приставов: это было их царство, где они говорили на своем языке, который все остальные понимали лишь с трудом.

Разумеется, до судей, председательствующих на процессах, и адвокатов дело не дойдет. У полиции против него нет никаких улик, а он располагает таким неопровержимым алиби, надежнее которого и вообразить нельзя. Священник англи-

канской церкви поклянется на Святом Писании, что его сын, когда совершалось преступление, крепко спал в запертой спальне. И тогда полицейские и судьи переглянутся и даже не потрудятся удалиться в совещательную комнату. Инспектору Кэмпбеллу предстоит выслушать резкое порицание, вот и все. Естественно, ему надо будет заручиться услугами солиситора, и он полагал, что мистер Литчфилд Мийк подойдет для этого как нельзя лучше. Дело закрыто, компенсация присуждена, он оправдан без пятнышка на репутации, полиция подвергнута суровой критике.

Нет, он слишком поддался игре воображения. И кроме того, забежал слишком вперед, опережая события, будто какой-нибудь наивный обыватель. Он всегда должен мыслить только как солиситор. Он должен предвосхитить возможные обвинения полиции и то, что будет необходимо узнать его солиситору, и то, что суд примет к рассмотрению. Он должен с абсолютной уверенностью вспомнить, где он был, что делал и говорил и кто что говорил ему на протяжении всего времени совершения вменяемого ему преступления.

Он систематически перебрал в уме последние два дня, готовясь, вне всяких сомнений, доказать

нечто самое простое и наименее поддающееся иным толкованиям. Он составил список свидетелей, которые могут ему понадобиться: его секретарша, мистер Хэндс, сапожник, мистер Мерримен, начальник станции. Всех, кто видел, как он что-то делал. Например, Маркью. Если Мерримен не сможет подтвердить тот факт, что он уехал в Бермингем на поезде 7:39, то он будет знать, кого вызвать для подтверждения. Джордж стоял на платформе, когда к нему подошел Джозеф Маркью и предложил уехать более поздним поездом, так как с ним хочет поговорить инспектор Кэмпбелл. Маркью в прошлом был констеблем, а теперь содержал гостиницу; вполне возможно, что его временно призвали в качестве специального констебля, но он-то этого не сказал. Джордж спросил, что нужно Кэмпбеллу, но Маркью ответил, что не знает. Джордж решал, что ему делать, и прикидывал, как остальные пассажиры воспринимают этот обмен репликами, и тут Маркью принял развязный тон и сказал что-то вроде… нет, не вроде. Джордж вспомнил точные его слова. Маркью сказал: «Да послушайте, мистер Идалджи, неужто вы не можете устроить себе денек отдыха?» И Джордж даже подумал: любезный, я устроил себе

день отдыха две недели назад: точно в этот день недели я съездил в Аберистуит с моей сестрой, но если речь идет о дне отдыха, тогда я положусь на собственное мнение или мнение моего отца, но не на мнение стаффордширской полиции, чье поведение последние недели отнюдь не отличалось вежливостью. А потом он объяснил, что на Ньюхолл-стрит его ждет неотложное дело, и когда подошел поезд 7:39, он оставил Маркью на перроне.

Джордж перебрал другие встречи и разговоры, даже самые тривиальные, с такой же скрупулезностью. В конце концов он уснул, а вернее, стал меньше воспринимать скрип у глазка и вторжение констебля. Утром ему принесли ведро воды, кусок грязноватого мыла и тряпицу в качестве полотенца.

Ему разрешили увидеться с отцом, который приехал с завтраком для него. Ему также разрешили написать два коротких письма клиентам с объяснением, почему возникнет временная проволочка с их делами.

Примерно час спустя явились два констебля, чтобы сопроводить его в полицейский суд. Перед тем, как забрать его, они не обращали на него ни малейшего внимания и через его голову пере-

говаривались о деле, видимо, интересовавшем их несравненно больше, чем инкриминируемое ему. Оно касалось таинственного исчезновения в Лондоне дамы-хирурга.

— Пять футов десять дюймов росту, вот так.

— Заметить нетрудно, а?

— Вроде бы.

Они провели его сто пятьдесят ярдов от полицейского участка через толпу, настроение которой, казалось, сводилось к любопытству. С одного края какая-то старуха выкрикивала бессвязную ругань, но ее тут же увели. В суде его ожидал мистер Литчфилд Мийк, солиситор старой школы, худощавый, седовласый, известный равно своей обходительностью и своим неколебимым упрямством. В отличие от Джорджа он не ожидал, что дело будет немедленно закрыто.

Появились судьи: мистер Д. Уильямсон, мистер Д. Т. Харрон и полковник Р. С. Уильямсон. Джорджу Эрнсту Томпсону Идалджи было предъявлено обвинение в противозаконном и умышленном нанесении раны лошади, собственности угольной компании «Грейт-Уайрли», 17 августа. Его заявление «не виновен» было занесено в протокол, затем был приглашен инспектор Кэмпбелл для предъявления полицейских улик. Он из-

ложил, как был вызван на луг вблизи шахты угольной компании примерно в 7 часов утра и обнаружил тяжело раненного пони, которого позже пришлось пристрелить. Он направился через луг к дому обвиняемого, где нашел пиджак с пятнами крови на обшлагах рукавов и беловатые пятна слюны на самих рукавах, а также волоски на рукавах и груди. Карман пиджака содержал платок с меткой СИ и коричневатым пятном в одном углу, которое могло быть кровью. Затем он с сержантом Парсонсом отправился в контору арестованного в Бирмингеме, арестовал его и доставил в Кэннок для допроса. Арестованный отрицал, что описанная одежда была на нем в предыдущую ночь, но, услышав, что его мать подтвердила этот факт, признал его. Затем он был спрошен о волосках на его одежде. Сперва он отрицал их наличие, но затем предположил, что они могли прилипнуть, когда он облокотился на калитку в изгороди.

Джордж посмотрел на мистера Мийка: это никак не соответствовало тону его вчерашнего разговора с инспектором. Но мистер Мийк не был заинтересован в том, чтобы перехватывать взгляд своего клиента. Вместо того он встал и задал Кэмпбеллу несколько вопросов, которые

показались Джорджу совсем безобидными, если не просто дружескими.

Затем мистер Мийк вызвал преподобного Сапурджи Идалджи, назвав его «рукоположенным служителем». Джордж следил, как его отец точно, но с довольно долгими паузами объяснял, кто где спит в их доме; как он всегда запирает на ключ дверь спальни; как ключ туго входит в замок и скрипит, если его поворачивают; как он вообще спит чутко, а в последние месяцы его замучил прострел, и он, безусловно, проснулся бы, если бы ключ повернули; и как в любом случае после пяти утра он вообще не спал.

Суперинтендент Баррет, толстяк с короткой седой бородой, держа фуражку прижатой к выпуклости живота, сообщил суду, что главный констебль проинструктировал его выступить против освобождения под залог. После краткого совещания судьи постановили, что арестованный останется под стражей до понедельника и будет приведен в суд в понедельник, когда будет выслушано ходатайство о залоге. Пока же он будет препровожден в стаффордскую тюрьму. Вот так. Мистер Мийк обещал навестить Джорджа завтра же, вероятно, во второй половине дня. Джордж попросил его привезти ему какую-нибудь бир-

мингемскую газету. Ему требовалось понять, что узнают его коллеги с газетных страниц. Он предпочитает «Газетт», но сойдет и «Пост».

В стаффордской тюрьме его спросили, какую религию он исповедует, а также умеет ли он читать и писать. Затем ему было сказано раздеться донага и принять унизительную позу. Его отвели к начальнику тюрьмы капитану Синджу, который сказал ему, что его поместят в больничное крыло, пока не освободится камера. Затем ему были объявлены его привилегии как задержанного: ему разрешается носить собственную одежду, совершать прогулки, писать письма, получать газеты и журналы. Ему будут разрешены разговоры с глазу на глаз с его солиситором, за которыми надзиратель будет следить сквозь стеклянную дверь. Все остальные свидания будут происходить в присутствии надзирателя.

Джорджа арестовали в легком летнем костюме и в соломенной шляпе, его единственном летнем головном уборе. Он попросил разрешения послать за сменой одежды. Это, сказали ему, против правил. Привилегия задержанного — сохранить собственную одежду, но отсюда не следует, что у него есть право создать в камере собственный гардероб.

«ПОТРЯСАЮЩАЯ СЕНСАЦИЯ В ГРЕЙТ-УАЙРЛИ» — прочел Джордж во второй половине следующего дня. «СЫН ПРИХОДСКОГО СВЯЩЕННИКА В СУДЕ». «Сенсацию, которую этот арест вызвал в округе Кэннок-Чейз, доказывали большие толпы, которые вчера заполняли дороги, ведущие к дому священника в Грейт-Уайрли, где проживает обвиняемый, а также собирались перед полицейским судом и полицейским участком в Кэнноке». Джорджа сокрушила мысль, что их дом подвергся осаде. «Полиции было разрешено произвести обыск без ордера. Насколько удалось выяснить к настоящему моменту, обыск обнаружил некоторое количество предметов окровавленной одежды, некоторое количество бритв и пару сапог, причем сапоги были найдены на лугу поблизости от места последнего нанесения увечья животному».

— Найдены на лугу, — повторяет он мистеру Мийку. — Найдены на лугу? Кто-то подбросил мои сапоги на луг? Некоторое количество запятнанной кровью одежды. КОЛИЧЕСТВО?

Мийка все это словно бы оставило поразительно спокойным. Нет, он не намерен задавать полиции вопрос о предполагаемой находке пары сапог на лугу. Нет, он не намерен потребовать от

бирмингемской «Дейли газетт» опубликования поправки относительно количества окровавленной одежды.

— Если я могу кое-что посоветовать, мистер Идалджи?..

— Разумеется.

— У меня, как вы понимаете, перебывало много клиентов в вашем положении, и они чаще всего настаивают на том, чтобы читать газетные отчеты о своем деле. Иногда это их несколько разгорячает. В таких случаях я всегда рекомендую им прочесть соседний столбец. И как будто это часто помогает.

— Соседний столбец? — Джордж переводит взгляд на два дюйма влево. «ПРОПАВШАЯ ДАМА-ХИРУРГ» — гласил заголовок. И ниже: «НИКАКИХ ИЗВЕСТИЙ О МИСС ХИКМЕН».

— Прочтите вслух, — сказал мистер Мийк.

— «Никаких известий касательно исчезновения мисс Софи Фрэнсис Хикман, хирурга Королевской бесплатной больницы, еще не поступало…»

Мийк заставил Джорджа дочесть ему всю заметку до конца. И слушал внимательно, вздыхая, покачивая головой и даже иногда затаивая дыхание.

— Но, мистер Мийк, — сказал Джордж за-

тем, — как я могу узнать, сколько здесь правды, учитывая, что они пишут обо мне?

— Вот именно.

— Но даже так… — Взгляд Джорджа как магнит притянул его собственный столбец. — Даже так. «Обвиняемый, как указывает его фамилия, человек восточного происхождения». Звучит будто я китаец.

— Обещаю вам, мистер Идалджи, если они хоть раз скажут, что вы китаец, я побеседую с редактором.

В следующий понедельник Джорджа забрали из Стаффорда назад в Кэннок. На этот раз толпа на пути в суд выглядела еще более буйной. Мужчины бежали по сторонам кеба, подпрыгивали, заглядывая внутрь; некоторые стучали по дверцам и размахивали в воздухе палками. Джордж встревожился, но сопровождавшие его констебли вели себя так, будто ничего особенного не происходило.

На этот раз в суде присутствовал капитан Энсон. Джордж сразу же заметил подтянутую властную фигуру, свирепо глядящую на него. Судьи объявили, что ввиду серьезности обвинения требуются три отдельных поручительства; отец Джорджа не был уверен, что сумеет обеспечить столько.

Поэтому судьи назначили следующее рассмотрение на тот же день в Пенкридже неделю спустя.

В Пенкридже судьи уточнили условия залога. Поручительства требовались следующие: 200 фунтов от Джорджа, по 100 фунтов от его отца и матери и еще 100 фунтов от третьего лица. Но это были уже четыре поручительства, а не три, которые они назвали в Кэнноке. Джордж счел это темной загадкой. Не дожидаясь совета мистера Мийка, он встал сам.

— Я не хочу залога, — сказал он. — У меня есть несколько предложений, но я предпочту не вносить залога.

Тогда процедура вынесения обвинения была назначена на следующий четверг, 3 сентября, в Кэнноке. Во вторник его посетил мистер Мийк с плохой новостью:

— Добавлено еще одно обвинение — угроза убить сержанта Робинсона в Хеднесфорде, застрелив его.

— Они нашли ружье рядом с моими сапогами на лугу? — недоверчиво спросил Джордж. — Застрелив его? Застрелив сержанта Робинсона? Я никогда в жизни не прикасался ни к какому ружью. Никогда, насколько мне известно, не видел сержанта Робинсона. Мистер Мийк, они

посходили с ума? Что, ну, что это означает?

— Что это означает? — повторил мистер Мийк, словно вспышка его клиента была спокойным взвешенным вопросом. — Это означает, что судьи готовы начать процесс. Как ни слабы улики, они теперь вряд ли закроют дело.

Позднее Джордж сидел на своей кровати в больничном крыле. Недоумение все еще грызло его точно болезнь. Как могли они так поступить с ним? Как могли они подумать такое? Как могли они начать верить в такое? Ощущение гнева было Джорджу настолько внове, что он не знал, на кого обратить этот гнев — на Кэмпбелла, Парсонса, Энсона, полицейского солиситора, судей? Ну, для начала сойдут судьи. Мийк сказал, что они готовы начать процесс — так, будто у них нет умственных способностей, так, словно они куклы-бибабо или заводные автоматы. Но, с другой стороны, полицейские судьи — что они, собственно, такое? Их вряд ли даже можно признать полноправными членами юридической профессии. Почти все они — просто самодовольные дилетанты, облеченные маленькой кратковременной властью.

Он ощутил радостное возбуждение от этих слов, но тут же и стыд за собственную вспышку. Вот почему гнев — грех: он ведет к неправде.

Полицейские судьи в Кэнноке, несомненно, не лучше и не хуже других полицейских судей повсюду; и ему не приходило на память ни единое их слово, которое он мог бы честно отвергнуть. И чем больше он думал о них, тем больше к нему возвращалось его собственное профессиональное «Я». Недоумение ослабело в колющее разочарование, а затем перешло в смирившуюся практичность. Безусловно, куда лучше, что его дело передано в более высокий суд. Адвокаты и более внушительная обстановка необходимы для вынесения справедливого оправдания и справедливых порицаний. Полицейский суд Кэннока совершенно для этого не подходил. Ну, во-первых, он был лишь немногим больше их классной комнаты дома. Даже нормальной скамьи для подсудимых нет. Задержанный вынужден сидеть на стуле посреди судебного помещения.

Вот на этот стул его и усадили утром 3 сентября; он чувствовал, как за ним наблюдают со всех четырех сторон, и не знал, придает ли ему такая позиция вид прилежного ученика в классе или выставленного напоказ отпетого тупицы. Инспектор Кэмпбелл давал показания довольно долго, но практически не отклонялся от того, что говорил раньше. Первое из новых поли-

цейских обвинений произнес констебль Купер, который описал, как в часы после обнаружения искалеченного животного он получил сапог обвиняемого с по-особому стоптанным каблуком. Он сравнил его с отпечатками следов на лугу, где был обнаружен пони, а также со следами вблизи от деревянного пешеходного мостика по соседству с домом священника. Он вжал каблук сапога мистера Идалджи в сырую землю и, подняв сапог, увидел, что отпечатки совпадают.

Затем сержант Парсонс подтвердил, что был поставлен во главе двадцати специальных констеблей, призванных для преследования шайки, калечащей животных. Он рассказал, как при обыске спальни мистера Идалджи обнаружил футляр с четырьмя бритвами. Одна из них была влажной, с бурыми пятнами и двумя-тремя волосками, прилипшими к лезвию. Сержант указал на это отцу мистера Идалджи, который начал большим пальцем вытирать лезвие.

— Это неправда! — закричал священник, вскакивая на ноги.

— Вы не должны перебивать, — сказал инспектор Кэмпбелл прежде, чем полицейские судьи успели отозваться.

Сержант Парсонс продолжал свои показа-

ния и описал момент, когда арестованный был помещен в арестантскую на Ньютон-стрит в Бирмингеме. Мистер Идалджи повернулся к нему и сказал: «Полагаю, тут не обошлось без мистера Локстона. Ну, я с ним поквитаюсь».

На следующее утро бирмингемская «Дейли газетт» напечатала о Джордже:

> Ему 28 лет, но выглядит он моложе. На нем был помятый костюм в черно-белую клетку, и трудно найти сходство с типичным солиситором в его смуглом лице с выпуклыми темными глазами, выпяченным ртом и маленьким округлым подбородком. Его внешность сугубо восточная в полной невозмутимости — никакого выражения чувств не вырвалось у него, если не считать легкой улыбочки, пока развертывалась поразительная история обвинения. Его престарелый индус-отец и седая англичанка-мать присутствовали в суде и следили за процедурой с вызывающим жалость напряжением.

— Мне двадцать восемь лет, но выгляжу я моложе, — заметил он мистеру Мийку. — Возможно, это объясняется тем, что мне двадцать семь. Моя

мать не англичанка, она шотландка. Мой отец не индус.

— Я предостерегал вас против чтения газет.

— Но он не индус.

— Для «Газетт» это особой разницы не составляет.

— Но, мистер Мийк, что, если бы я назвал вас уэльсцем?

— Я бы не счел вас неточным, так как в моей матери течет уэльская кровь.

— Ну а ирландцем?

Мистер Мийк улыбнулся ему, нисколько не обиженно, и даже, пожалуй, приобрел легкое сходство с ирландцем.

— Ну а французом?

— А вот тут, сэр, вы заходите слишком далеко. Тут вы меня провоцируете.

— И я невозмутим, — продолжал Джордж, снова глядя на «Газетт». — Но ведь это же хорошо? Разве типичному солиситору не положено быть невозмутимым? И тем не менее я не типичный солиситор. Я типично восточен, что бы это ни означало. Каков бы я ни был, я типичен, верно? Если я легко возбудим, то все равно буду типично восточным, верно?

— Невозмутимый — это хорошо, мистер Идал-

джи. И во всяком случае, они не назвали вас непроницаемым или коварным.

— А это что означало бы?

— О, полным дьявольской подлой хитрости. Мы предпочитаем избегать «дьявольских» и «дьяволоподобных». Невозмутимость защита примет.

Джордж улыбнулся своему солиситору.

— Приношу мои извинения, мистер Мийк. И благодарю вас за ваш здравый смысл. Боюсь, мне его потребуется очень много.

На второй день разбирательства показания давал Уильям Грейторекс, четырнадцатилетний ученик уолсоллской школы. В суде были зачитаны многочисленные письма с его подписью. Он отрицал свое авторство и то, что хоть что-то вообще о них знал, и даже доказал, что находился на острове Мэн, когда были отправлены два из них. Он сказал, что обычно садится на этот поезд из Хеднесфорда в Уолсолл, где учится. Другие мальчики, которые часто ездят с ним, это Вествуд Стэнли, сын известного агента шахтеров; Куибелл, сын хеднесфордского приходского священника; Пейдж, Гаррисон и Фарридей. Имена всех этих мальчиков упоминались в только что прочитанных письмах.

Грейторекс показал, что знает мистера Идал-

джи в лицо три-четыре года.

— Он часто ездил до Уолсолла в том же купе, что и мы, мальчики, не меньше десятка раз, я думаю.

Его спросили, когда в последний раз арестованный ездил с ним.

— В то утро, когда были убиты две лошади мистера Блуитта. Тридцатого июня, кажется. Нам были видны лошади на лугу, когда мы проезжали мимо.

Свидетеля спросили, сказал ли ему что-нибудь мистер Идалджи в то утро.

— Да, он спросил меня, принадлежали ли убитые лошади мистеру Блуитту. Потом он посмотрел в окно.

Свидетеля спросили, были ли у него когда-нибудь прежде разговоры с арестованным о калечении животных.

— Нет, никогда, — ответил он.

Томас Генри Геррин подтвердил, что он эксперт по почеркам с многолетним стажем. Он изложил свое заключение о письмах, зачитанных в суде. В измененном почерке он выявил ряд ярко выраженных особенностей. Точно те же особенности он выявил в письмах мистера Идалджи, которые были вручены ему для сравнения.

Доктор Баттер, полицейский хирург, исследовавший пятна на одежде Идалджи, показал, что провел анализы, выявившие кровь млекопитающих. На пиджаке и жилете он нашел двадцать девять коротких коричневых волосков. Их он сравнил с волосками на коже пони угольной компании, покалеченного вечером накануне ареста мистера Идалджи. Под микроскопом было установлено, что они подобны.

Мистер Гриптон, который проводил время в обществе своей молодой знакомой вблизи лесной дороги в Грейт-Уайрли в рассматриваемый вечер, показал, что видел мистера Идалджи и прошел мимо него примерно в девять часов. Указать это место точно мистер Гриптон не мог.

— Ну, в таком случае, — попросил полицейский солиситор, — назовите публичное заведение, ближайшее к месту, где вы его видели.

— Старый полицейский участок, — весело ответил мистер Гриптон.

Полицейские сурово оборвали смех, приветствовавший этот ответ.

Мисс Билл, пожелавшая разъяснить, что она помолвлена с мистером Гриптоном, также видела мистера Идалджи, как и еще многие другие свидетели.

Были заслушаны подробности искалечения: рана, нанесенная пони угольной компании, имела в длину, как было установлено, пятнадцать дюймов.

Отец арестованного, индусский приходской священник Грейт-Уайрли, также дал показания. Арестованный заявил:

— Я абсолютно не виновен в том, что мне вменяется, и сохраняю за собой право на защиту.

В пятницу 4 сентября дело Джорджа Идалджи было передано в Стаффордский суд квартальных сессий по двум обвинениям. На следующее утро он прочел в бирмингемской «Дейли газетт»:

> Идалджи выглядел свежим и бодрым и, сидя в своем кресле в центре судебного зала, деловито беседовал со своим солиситором, проницательно взвешивая показания благодаря своей юридической подготовке. По большей части, однако, он сидел, сложив руки на груди и скрестив ноги, следя за свидетелями с невозмутимым интересом, задрав один башмак и подставляя открыто любопытствующим стоптанность каблука, которая является одним из самых крепких звеньев в цепи

косвенных улик против него.

Джордж был рад, что все еще считается невозмутимым, и прикинул, не сумеет ли он сменить обувь перед заседанием суда квартальных сессий.

А в другой газете он заметил описание Уильяма Грейторекса как «крепкого английского мальчика с открытым загорелым лицом и приятной манерой держаться».

Мистер Литчфилд Мийк был уверен в конечном оправдании.

Мисс Софи Фрэнсис Хикмен, дама-хирург, все еще не нашлась.

Джордж

Шесть недель между процедурой передачи дела и первым заседанием суда квартальных сессий Джордж провел в больничном крыле стаффордской тюрьмы. Он не был расстроен, он считал, что отказаться от залога было правильным решением. Едва ли бы он сумел продолжать свою практику, пока над ним висят такие обвинения, и хотя ему не хватало близости родных, он полагал, что для них для всех лучше, если он останется в безопасности под замком. Сообщение о толпах, осаждающих дом священника, напугало его, и он помнил кулаки, молотившие в дверь кеба, когда его везли в Кэннок. Он не мог бы чувствовать себя в безопасности, если бы такие горячие головы устраивали на него охоту по проселкам Грейт-Уайрли.

Но была и еще одна причина, почему он предпочитал находиться в тюрьме. Все знают, где он; каждую минуту дня за ним подглядывают, его проверяют. Следовательно, если произойдет еще одно возмутительное преступление, то станет неопровержимо ясно, что вся цепь событий не имела к нему никакого отношения. А если первое

обвинение против него будет признано несостоятельным, тогда и второе — это нелепейшее утверждение, будто он угрожал убить человека, которого вообще не знает, — также придется снять. Странно было обнаружить, в какой мере он, дипломированный солиситор, действительно надеется, что будет располосовано еще одно животное, однако новое преступление казалось ему быстрейшим способом выйти на свободу.

Тем не менее, даже если дело дойдет до суда, сомнений в исходе быть не могло. Он вновь обрел и спокойствие духа, и оптимизм, и ему не приходилось притворяться ни перед мистером Мийком, ни перед родителями. Он в воображении уже видел заголовки: «ОБВИНЯЕМЫЙ ИЗ ГРЕЙТ-УАЙРЛИ ОПРАВДАН». «ПОЗОРНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ МЕСТНОГО СОЛИСИТОРА». «СВИДЕТЕЛИ ПОЛИЦИИ ОБЪЯВЛЕНЫ НЕКОМПЕТЕНТНЫМИ». И может быть даже: «ГЛАВНЫЙ КОНСТЕБЛЬ ПОДАЕТ В ОТСТАВКУ».

Мистер Мийк более или менее внушил ему, что то, как его расписывают газеты, значения не имеет. И словно бы это вообще утратило значение 21 сентября, когда лошадь на ферме, принадлежавшей мистеру Грину, была найдена располосованной и выпотрошенной. Джордж

встретил это известие со своего рода опасливым энтузиазмом. Он уже слышал, как в замках поворачиваются ключи, обонял утренний воздух и пудру матери, когда обнимал ее.

— Ну, это доказывает, что я невиновен, мистер Мийк.

— Не вполне, мистер Идалджи. Не думаю, что нам следует заходить так далеко.

— Но я же здесь, в тюрьме.

— С точки зрения суда это доказывает, что вы, бесспорно, должны быть невиновны в покалечении лошади мистера Грина.

— Нет, это доказывает, что в ходе событий до и после пони с шахты была система, и теперь ясно, что ко мне она никакого отношения не имеет.

— Я это знаю, мистер Идалджи. — Солиситор оперся подбородком о кулак.

— Но?

— Но в подобные моменты я всегда нахожу полезным вообразить, что именно в таких обстоятельствах может заявить обвинение.

— Что же они могут заявить?

— Ну, в ночь семнадцатого августа, насколько я помню, когда обвиняемый возвращался от сапожника, он дошел до фермы мистера Грина.

— Да, так и было.

— Мистер Грин — сосед обвиняемого.

— Это правда.

— Так что может быть полезнее обвиняемому в нынешних его обстоятельствах, чем располосование лошади даже еще ближе к его дому, чем во всех предыдущих случаях?

Литчфилд Мийк следил, как Джордж это переваривает.

— Вы хотите сказать, что, подстроив свой арест с помощью анонимных писем, обличающих меня в преступлениях, мною не совершавшихся, я затем подстрекнул кого-то совершить новое преступление, чтобы выгородить меня?

— Не более и не менее, мистер Идалджи.

— Но это же полная нелепость. И я даже не знаком с Грином.

— Я просто объяснил вам, как может обвинение представить происшедшее, если сочтет нужным.

— Сочтет, безусловно. Но полиция по меньшей мере должна разыскивать преступника, разве не так? Газеты открыто намекают, что это ставит под сомнение позицию обвинения. Если они найдут его и он признается в совершении этой цепи преступлений, отсюда следует, что я буду свободен.

— Если произойдет именно это, мистер Идал-

джи, то да, я согласен.

— Ах так!

— И есть еще одна новость. Фамилия Дарби вам что-нибудь говорит? Капитан Дарби?

— Дарби. Дарби. По-моему, нет. Инспектор Кэмпбелл спрашивал меня о ком-то, называя его «капитаном». Возможно, о нем. А что?

— Были разосланы еще письма. Направо и налево. Одно даже министру внутренних дел. Все подписаны «Дарби, Капитан уайрлийской шайки». С заявлением, что калечения будут продолжаться. — Мистер Мийк заметил выражение глаз Джорджа. — Но нет, мистер Идалджи, это означает лишь, что обвинению придется согласиться, что вы почти наверное их не писали.

— Вы сегодня словно бы решили лишить меня всякой уверенности, мистер Мийк.

— Ничего подобного в мои намерения не входило. Но вы должны смириться с тем, что нас ждет судебный процесс. И, памятуя об этом, мы заручились услугами мистера Вачелла.

— Чудесная новость.

— Он, думаю, нас не подведет. А рядом с ним будет мистер Годи.

— А со стороны обвинения?

— Боюсь, что мистер Дистернал. И мистер Гар-

рисон.

— Дистернал — это для нас плохо?

— Честно говоря, я предпочел бы кого-нибудь другого.

— Мистер Мийк, теперь мой черед вас подбодрить. Обвинитель, даже самый компетентный, не способен лепить кирпичи без соломы.

Литчфилд Мийк улыбнулся Джорджу многоопытной улыбкой.

— За годы, проведенные мною в судах, мистер Идалджи, я видел, как кирпичи лепились из самых разных материалов. О существовании некоторых вы даже не подозреваете. Отсутствие соломы никакой помехи мистеру Дистерналу не составит.

Вопреки этой надвигающейся угрозе оставшиеся недели в стаффордской тюрьме Джордж провел в спокойном состоянии духа. С ним обходились уважительно, и его дни обрели порядок. Он получал газеты и письма; с мистером Мийком он готовился к процессу; он ожидал развития в деле Грина, и ему были разрешены книги. Отец принес ему Библию, мать — однотомник Шекспира и однотомник Теннисона. Он прочел два последних, затем от скуки — несколько криминальных книжек, которые предложил ему надзиратель. И

еще тот дал ему почитать потрепанное дешевое издание «Собаки Баскервилей». Джордж счел повесть превосходной.

Каждое утро он открывал газету со все меньшей опаской, так как его фамилия пока исчезла с ее страниц. Зато он с интересом узнал, что в Лондоне сформирован новый кабинет; что на бирмингемском музыкальном фестивале была исполнена последняя оратория доктора Элгара, что Буффало Билл совершает турне по Англии.

За неделю до начала процесса Джордж встретился с мистером Вачеллом, бодрым и корпулентным адвокатом с двадцатилетним стажем в Мидлендском судебном округе.

— Как вы оцениваете мое дело, мистер Вачелл?

— Наилучшим образом, мистер Идалджи, самым наилучшим. Иными словами, я считаю обвинения скандальными и по большей части не стоящими ни гроша. Разумеется, я этого не скажу. Я просто сосредоточусь на моментах в вашем деле, наиболее вопиющих, на мой взгляд.

— И каковы они на ваш взгляд?

— Я сформулирую их так, мистер Идалджи. — Адвокат улыбнулся ему улыбкой, которая граничила с ухмылкой. — Нет никаких улик, что вы совершили это преступление. Нет никакой при-

чины, чтобы вы совершили это преступление. И у вас не было удобного случая совершить это преступление. Конечно, для судьи и присяжных все это я подкреплю фактами. Но такой будет суть моей защиты.

— Пожалуй, жаль, — вставил мистер Мийк, — что наше дело передано в суд Б. — Его тон осадил Джорджа, совсем было воспрянувшего духом.

— Почему жаль?

— В суде А председательствует лорд Хэзертон. Он по крайней мере получил юридическое образование.

— То есть меня будет судить судья, не знающий законов?

— Не пугайте его, мистер Мийк, — вмешался мистер Вачелл. — Я выступал в обоих судах. А кого мы получим в суде Б?

— Сэра Реджинальда Харди.

Мистер Вачелл и глазом не моргнул.

— И очень хорошо. В некоторых отношениях я считаю удачей, что на нас не будет давить педант, помышляющий о кресле в Высоком суде. Можно будет позволить себе чуточку лишнего. И не ждать, что тебя будут все время одергивать, чтобы продемонстрировать осведомленность в тонкостях процедуры. В целом преимущество для

защиты, я бы сказал.

Джордж почувствовал, что мистер Мийк не согласен; но мистер Вачелл произвел на него впечатление, был ли он полностью искренен или не совсем.

— Джентльмены, у меня есть одна просьба. — Мистер Мийк и мистер Вачелл обменялись быстрыми взглядами. — Касательно моей фамилии. Она произносится Эйдалджи. Эйдалджи. Мистер Мийк произносит ее более или менее верно, но мне следует пораньше упомянуть про это вам, мистер Вачелл. Полицейские, мне кажется, все время нарочито игнорировали мои поправки. Могу ли я попросить, чтобы мистер Вачелл в самом начале разбирательства указал, как произносится моя фамилия. Сообщил бы суду, что она не И-дал-джи, но Эйдалджи.

Адвокат поощряюще кивнул солиситору, и мистер Мийк объяснил:

— Джордж, как бы мне получше это выразить? Разумеется, это ваша фамилия и, разумеется, мистер Вачелл и я попытаемся произносить ее верно. Но в суде… в суде… я полагаю, довод тут: со своим уставом… Если мы сделаем подобное заявление, то сразу восстановим против себя сэра Реджинальда Харди. Мы вряд ли преуспеем, давая

уроки произношения провинциальной полиции. А что до мистера Дистернала, думается, он извлечет большое удовольствие из этой путаницы.

Джордж посмотрел на них.

— Я не совсем понимаю…

— Я говорю о том, Джордж, что нам следует признать за судом право решать, как произносится фамилия подсудимого. Это нигде не записано, но суть именно в том. То, что вы называете неверным произношением, я бы назвал… приданием вам большей английскости…

Джордж глубоко вздохнул.

— И меньшей восточности?

— Меньшей восточности, да, Джордж.

— В таком случае прошу вас обоих произносить мою фамилию только неправильно, чтобы я привык.

Начало процесса было назначено на 20 октября. А 19-го четверо мальчиков, игравших вблизи Сидмутской посадки в Ричмонд-парке, наткнулись на труп, уже сильно разложившийся. Оказалось, что труп принадлежал мисс Софи Фрэнсис Хикман, даме-хирургу Королевской бесплатной больницы. Как и Джорджу, ей было под тридцать. И, подумал он, она была всего в одной колонке от него.

Утром 10 октября 1903 года Джорджа из стаффордской тюрьмы доставили в здание суда графства. Его отвели в подвал и показали ему тесную камеру, куда обычно помещали арестованных. В качестве привилегии ему разрешат занять комнату побольше с низким потолком, со столом из сосновых досок и очагом. Тут под присмотром констебля Даббса он сможет совещаться с мистером Мийком. Он просидел за столом двадцать минут, в течение которых Даббс, мускулистый полицейский с полоской бороды под подбородком и угрюмым лицом, старательно избегал его взгляда. Затем по сигналу Джорджа сопроводили по темному петляющему коридору мимо тусклых газовых светильников к двери у нижней площадки узкой лестницы. Даббс легонько его подтолкнул, и он начал подниматься навстречу свету и шуму. Едва он вошел в зал суда Б, как шум превратился в тишину. Джордж растерянно стоял у скамьи подсудимых — актер, которого против его воли вытолкнули на сцену из люка.

Затем перед председательствующим сэром Реджинальдом Харди, двумя судьями, справа и слева, капитаном Энсоном, надлежаще присягнувшими английскими присяжными,

представителями прессы, представителями публики и тремя членами его семьи было зачитано обвинение. Джордж Эрнст Томпсон Идалджи обвинялся в нанесении раны лошади, собственности угольной компании Грейт-Уайрли 17 или 18 сентября; а также в отправке письма 11 июля или примерно тогда же сержанту Робинсону в Кэннок с угрозой убить его.

Мистер Дистернал отличался высокой обтекаемой фигурой и быстротой. После краткой вступительной речи он вызвал инспектора Кэмпбелла, и вся история началась заново: обнаружение располосованного пони, обыск в доме священника, окровавленная одежда, волоски на пиджаке, анонимные письма, арест подсудимого и последующие показания. Джордж знал, что это всего лишь история, состряпанная из обрывков, совпадений и гипотез; и еще он знал, что невиновен; однако что-то в повторении этой истории облеченной властью фигурой в парике и мантии придавало ей добавочную правдоподобность.

Джордж решил, что показания Кэмпбелла завершились, и тут мистер Дистернал преподнес свой первый сюрприз.

— Инспектор Кэмпбелл, прежде чем мы закончим, мне кажется, вы можете просветить нас

относительно случая, вызвавшего большую общественную тревогу. Двадцать первого сентября, насколько мне известно, на ферме некоего мистера Грина была найдена изувеченная лошадь.

— Совершенно верно, сэр.

— Ферма мистера Грина расположена очень близко от дома приходского священника Грейт-Уайрли?

— Да.

— И полиция расследовала этот возмутительный случай?

— Конечно, как важнейшее первоочередное дело.

— И расследование принесло результаты?

— Да, сэр.

Мистеру Дистерналу, собственно, не требовалась точно рассчитанная пауза, к которой он тут прибегнул: весь зал суда напрягся в ожидании, как разинувший рот ребенок.

— Не сообщите ли вы суду результат вашего расследования?

— Джон Генри Грин, сын фермера, на земле которого произошел этот возмутительный случай, а также конник-доброволец девятнадцати лет, признался в совершении этого действия в отношении его собственной лошади. И подписал

свое письменное признание.

— Он взял на себя полную и единственную ответственность?

— Да, сэр.

— И вы допросили его о какой-либо возможной связи между этим возмутительным случаем и предыдущими в округе?

— Да, сэр. Очень подробно, сэр.

— И что он показал?

— Что случай этот с остальными никак не связан.

— И ваши расследования подтвердили, что возмутительный случай на ферме Грина не имеет ни малейшей связи с каким-либо другим в этой округе?

— Полностью подтвердили.

— Совсем ни малейшей?

— Совсем ни малейшей, сэр.

— И Джон Генри Грин находится сегодня в суде?

— Да, сэр.

Джордж, как и все остальные в переполненном зале суда, принялся искать взглядом девятнадцатилетнего конника-добровольца, который признался в располосовании собственной лошади, видимо, не указав полиции на сколько-нибудь

внятную причину своего поступка. Но в эту минуту сэр Реджинальд Харди решил, что настало время его второго завтрака.

В первую очередь мистер Мийк должен был исполнить свои обязанности по отношению к мистеру Вачеллу, и только тогда он все-таки спустился в помещение, куда Джорджа отводили на время перерывов. Вид у него был самый мрачный.

— Мистер Мийк, вы предупреждали нас относительно Дистернала. Мы знали, что следовало ожидать чего-либо подобного. И мы хотя бы можем взяться сегодня за Грина.

Солиситор мрачно качнул головой.

— Никаких шансов.

— Почему?

— Потому что он их свидетель. Если они его не вызовут, мы не сможем устроить перекрестный допрос. И мы не можем пойти на риск самим его вызвать, так как нам неизвестно, что он может сказать. Не исключено, что нечто сокрушающее. Однако они его предъявили суду, из чего следует, что они ничего ни от кого не прячут. Очень умный ход. Типичный для Дистернала. Мне следовало бы его предвидеть, но я ничего не знал про данное признание. Это очень плохо.

Джордж почувствовал, что долг требует подбодрить его солиситора.

— Я понимаю, насколько это обескураживающе, мистер Мийк, но какой тут действительный вред? Грин сказал — и полиция говорит, — что его поступок не имеет никакого отношения ни к одному из других случаев располосования.

— В том-то и суть. Важно не что они говорят, а как это выглядит. Почему человек выпотрошил лошадь, свою собственную лошадь, без всякой видимой причины? Ответ: чтобы помочь другу и соседу, обвиненному в сходном преступлении.

— Но он же не мой друг! Не уверен, что я вообще знаю его в лицо.

— Да, конечно. И когда мы пойдем на значительный риск и поместим вас на скамью свидетелей, вы так и скажете мистеру Вачеллу. Но это создаст впечатление, будто вы отрицаете что-то, о чем, собственно, речи не было. Очень умный ход. Мистер Вачелл сегодня днем возьмется за инспектора, но не думаю, что у нас есть основания для оптимизма.

— Мистер Мийк, я не мог не заметить, что в своих показаниях Кэмпбелл сказал, что мою одежду он нашел — куртку, которую я не надевал многие недели, — мокрой. А в Кэнноке он назвал ее всего

лишь влажной.

Мистер Мийк мягко улыбнулся.

— Работать с вами, мистер Идалджи, одно удовольствие. Именно такие детали мы замечаем, но склонны не указывать клиенту, на случай если это его расстроит. Полиция прибегнет еще ко многим таким поправкам, я не сомневаюсь.

Во второй половине дня мистер Вачелл мало чего добился от инспектора, который на скамье свидетелей чувствовал себя как дома. Во время их первой встречи в хеднесфордском полицейском участке Кэмпбелл показался Джорджу тугодумом и неуловимо наглым. На Ньюхолл-стрит и в Кэнноке он был более сообразительным и открыто враждебным, если не всегда логично мыслящим. Теперь он говорил размеренно, серьезно, а его рост и мундир словно бы снабжали его логикой сверх представительности. Джорджу пришло в голову, что не только его история незаметно изменяется вокруг него. Но изменяются и некоторые действующие лица.

Мистер Вачелл добился большего успеха с констеблем Купером, который, как и в полицейском суде, описал сопоставление каблука Джорджа со следами в грязи.

— Констебль Купер, — начал мистер Вачелл, —

могу ли я узнать, от кого вы получили распоряжение заняться тем, чем занялись?

— Я не вполне уверен, сэр. Думаю, это был инспектор, но возможно, что и сержант Парсонс.

— И где точно вам было сказано проверить?

— На всем пути, который виновник мог пройти от луга до дома священника.

— Предполагая, что виновник пришел из этого дома? И вернулся туда?

— Да, сэр.

— На всем пути?

— На всем пути, сэр. — На взгляд Джорджа, Куперу было лет двадцать, не больше: красноухий юный увалень, пытающийся подражать уверенности своих начальников.

— Так-так, констебль. И, значит, вы смотрели только на прямом пути и нигде больше?

— Нет, сэр.

— И как долго продолжались ваши поиски?

— Час, а то и больше, на прикидку.

— И в котором часу это происходило?

— Думается, начал я в половине десятого, чуть раньше или позже.

— А пони нашли примерно в шесть тридцать?

— Да, сэр.

— На три часа раньше. На протяжении каково-

го времени этим путем мог пройти кто угодно. Шахтеры по дороге к шахте, зеваки, узнавшие о случившемся. Да и полицейские тоже!

— Возможно, сэр.

— А кто вас сопровождал, констебль?

— Я был один, сэр.

— Так-так. И вы нашли несколько отпечатков каблука, которые, по вашему мнению, соответствовали каблуку сапога в вашей руке?

— Да, сэр.

— А тогда вы вернулись в участок и доложили о своей находке.

— Да, сэр.

— А что произошло потом?

— О чем вы, сэр?

Джордж с удовольствием заметил легкую перемену в тоне Купера, словно он понял, что его куда-то ведут, но еще не мог сообразить, куда именно.

— Я, констебль, о том, что произошло после того, как вы доложили о своей находке.

— Меня отправили обыскать участок дома священника.

— Так-так. Но в какой-то момент, констебль, вы вернулись и показали кому-то выше чином найденные вами следы.

— Да, сэр.

— И когда это было?

— В середине дня.

— В середине дня. Вы подразумеваете под этим три часа дня, четыре?

— Примерно тогда, сэр.

— Так-так. — Мистер Вачелл нахмурился и несколько театрально, по мнению Джорджа, поразмыслил. — Шесть часов спустя, иными словами.

— Да, сэр.

— И на протяжении этого срока территория охранялась и была огорожена, чтобы помешать затаптыванию?

— Не совсем.

— Не совсем. Это означает «да» или «нет», констебль?

— Нет, сэр.

— Насколько мне известно, в подобных случаях принято снимать гипсовые слепки с указанных отпечатков каблуков. Не могли бы вы сказать мне, было ли это сделано?

— Нет, сэр, не было.

— Насколько мне известно, имеется еще один метод — сфотографировать такие следы. Это было сделано?

— Нет, сэр.

— Насколько мне известно, есть еще метод, когда дерн со следом вырезается и доставляется для анализа. Это было сделано?

— Нет, сэр. Земля совсем размокла.

— Давно ли вы служите констеблем, мистер Купер?

— Пятнадцать месяцев.

— Пятнадцать месяцев. Благодарю вас.

Джордж только что не зааплодировал. Он посмотрел на мистера Вачелла, как и в тот раз, но не сумел поймать его взгляда. Возможно, таков был этикет в зале суда, а может быть, мистер Вачелл уже думал о следующем свидетеле.

Дальше день прошел как будто удачно. Был зачитан ряд анонимных писем, и Джордж не сомневался, что никто в здравом уме не способен поверить, будто их писал он. Например, то, которое он отдал Кэмпбеллу, от «Любящего справедливость». «Джордж Идалджи, я с вами не знаком, но иногда вижу вас на железной дороге и не жду, что, будь я с вами знаком, вы бы мне понравились, так как я туземцев не люблю». Ну, как он мог бы написать такое? Затем последовало еще более гротескное приписываемое ему авторство. Было зачитано письмо с описанием

поведения так называемой шайки Грейт-Уайрли, которое могло быть почерпнуто из самой дешевой книжонки: «Они все приносят страшную клятву хранить тайну и повторяют следом за Капитаном, и каждый говорит: „Да пусть я упаду мертвым, если сболтну“». Джордж подумал, что присяжные непременно сообразят, что солиситоры никогда так не выражаются.

Мистер Ходсон, торговец, показал, что видел Джорджа на пути к мистеру Хэндсу в Бриджтаун и что на солиситоре была его старая домашняя куртка. Однако затем сам мистер Хэндс, проведший с Джорджем полчаса или около того, показал, что на его клиенте указанной куртки не было. Двое других свидетелей сообщили, что видели его, но не смогли вспомнить, во что он был одет.

— Я чувствую, что они меняют свою позицию, — сказал мистер Мийк, когда судебное заседание на этот день завершилось. — Я чую, что они что-то затевают.

— В каком смысле что-то? — спросил Джордж.

— В Кэнноке они строили свои обвинения на том, что вы заходили на луг во время вашей прогулки перед ужином. Вот почему они вызвали столько свидетелей, которые видели вас там и

тут. Помните ту влюбленную парочку? На этот раз их не вызвали, причем не только их. Второе: в предварительном обвинении упоминалась только одна дата — семнадцатое. Теперь указывается «семнадцатое или восемнадцатое». То есть они рассредоточивают свои ставки. Я чувствую, что они подготавливают ночной вариант. Возможно, они располагают чем-то нам неизвестным.

— Мистер Мийк, не важно, к чему они клонят и почему они к этому клонят. Если им нужен вечер, то у них нет ни единого свидетеля, который видел бы меня вблизи луга. А если им нужна ночь, то им придется опровергать показания моего отца.

Мистер Мийк пропустил мимо ушей слова своего клиента и продолжал рассуждать вслух:

— Конечно, им не обязательно доказывать то или другое. Достаточно указать присяжным на такие возможности. На этот раз они более положились на отпечатки следов. А отпечатки следов играют роль, только если они выбрали второй вариант, потому что в ту ночь шел дождь. И если ваша куртка из влажной превратилась в мокрую, это также подтверждает мое предположение.

— Тем лучше, — сказал Джордж. — От констебля Купера не осталось ничего после того, как мистер Вачелл покончил с ним днем. А если ми-

стер Дистернал намерен продолжать эту линию, ему придется заявить, что священник англиканской церкви говорит неправду.

— Мистер Идалджи, если позволите… Вам не следует считать, будто это все само собой разумеется.

— Но это же разумеется само собой.

— По-вашему, ваш отец достаточно крепок? В смысле душевного здоровья, имею я в виду.

— Человека более крепкого в этом смысле я не знаю. А почему вы спрашиваете?

— Боюсь, оно ему потребуется.

— Вы даже не представляете, насколько крепок духом может быть индус.

— А ваша мать? А ваша сестра?

Утро второго дня началось с показаний Джозефа Маркью, содержателя гостиницы и бывшего констебля. Он рассказал, как был послан инспектором Кэмпбеллом на железнодорожную станцию Грейт-Уайрли и Чёрчбридж и как подсудимый отклонил его просьбу уехать более поздним поездом.

— Он объяснил вам, — спросил мистер Дистернал, — какое дело было настолько важным, что оно потребовало проигнорировать настоятельную просьбу полицейского инспектора?

— Нет, сэр.

— Вы повторили свою просьбу?

— Да, сэр. Я сказал, что он мог бы позволить себе свободный день. Но он стоял на своем.

— Так-так. Мистер Маркью, не произошло ли чего-то в этот момент?

— Да, сэр. Какой-то человек на перроне подошел и сказал, что слышал, будто ночью порезали еще одну лошадь.

— А когда он это сказал, куда вы смотрели?

— Я смотрел прямо в лицо обвиняемому.

— Не опишете ли вы суду его реакцию?

— Он улыбнулся, сэр.

— Он улыбнулся. Он улыбнулся, услышав, что выпотрошена еще одна лошадь. Вы в этом уверены, мистер Маркью?

— О да, сэр. Абсолютно уверен. Он улыбнулся.

Джордж подумал: но это же неправда! Я знаю, что это неправда. Мистер Вачелл должен доказать, что это неправда.

Мистер Вачелл был слишком опытен, чтобы прямо накинуться на это утверждение. Вместо этого он сосредоточился на личности человека, якобы подошедшего к Маркью и Джорджу. Откуда он пришел, каким выглядел, куда ушел? (Что подразумевало: почему он не в суде?) Мистер Вачелл

умудрился выразить намеками, паузами и под конец прямым заявлением, насколько он удивлен, что трактирщик и бывший полицейский, располагающий широчайшим кругом знакомых в тех местах, не способен идентифицировать столь полезного и все же таинственного незнакомца, который мог бы подтвердить правдивость его надуманного и пристрастного утверждения. Но больше ничего с Маркью защита сделать не смогла.

Мистер Дистернал затем предложил сержанту Парсонсу повторить слова обвиняемого о том, что он ожидал ареста, и приписываемое ему заявление в бирмингемской арестантской о том, что он еще поквитается с мистером Локстоном. Никто не попробовал объяснить, кто такой указанный Локстон. Еще один член шайки Грейт-Уайрли? Полицейский, которого Джордж тоже пригрозил застрелить? Фамилия осталась подвешенной, чтобы присяжные сами смогли вывести свои заключения. Некий констебль Мередит — ни его лица, ни фамилии Джордж не вспомнил — процитировал какую-то безобидную фразу Джорджа о залоге, но сумел придать ей криминальный оттенок. Затем Уильям Грейторекс, крепкий английский мальчик с приятной манерой дер-

жаться, повторил свой рассказ о том, как Джордж выглядывал в окно вагона и проявлял необъяснимый интерес к убитым лошадям мистера Блуитта.

Мистер Льюис, ветеринар, описал состояние пони угольной компании, то, как он истекал кровью, длину и природу раны и тяжкую необходимость застрелить бедное животное. Мистер Дистернал задал ему вопрос, какое заключение он мог бы вывести касательно времени расположования. Мистер Льюис заявил, что, по его профессиональному мнению, рана была нанесена в пределах шести часов до его осмотра раненого пони. Другими словами, не раньше двух тридцати утра восемнадцатого числа.

Джордж воспринял это как первую хорошую новость в этот день. Спор о том, какая на нем была одежда, когда он посетил сапожника, теперь утрачивал смысл. Обвинение только что положило конец этому своему заходу, завело себя в тупик.

Но если это было так, мистер Дистернал ни в чем своей манеры не изменил. Она ясно выражала, что какая-то неясность в деле теперь полностью разъяснилась благодаря усердию полиции и обвинения. Мы более не утвержда-

ем, что в какой-то момент в течение указанных двенадцати часов… мы теперь получили возможность утверждать, что было очень близко к двум тридцати, когда… И каким-то образом мистер Дистернал сумел превратить эти уточнения во все усугубляющуюся несомненность, что обвиняемый на скамье подсудимых сидит там по причинам, названным в обвинении.

Остальную часть дня предоставили Томасу Генри Геррину, который согласился с тем, что является орфографическим экспертом с девятнадцатилетним стажем идентификации подделанных и анонимных почерков. Он подтвердил, что министерство внутренних дел часто прибегает к его услугам и что последнее его профессиональное выступление было в качестве свидетеля на суде по делу об убийстве на мясной ферме. Джордж не знал, каким он мог бы представить себе орфографического эксперта. Пожалуй, сухим педантом с голосом как скрипучее перо. Мистер Геррин с его румяным лицом и широкими бакенбардами мог приходиться родным братом мистеру Гринхиллу, мяснику в Уайрли.

Независимо от внешности, мистер Геррин тут же завладел всеобщим вниманием. Образчики почерка Джорджа были предъявлены на увели-

ченных фотографиях. Оригиналы были после соответствующего описания переданы присяжным, и те, как казалось Джорджу, рассматривали их бесконечно долго, постоянно отрываясь от них и подолгу глядя на обвиняемого. Некоторые характерные петли, закорючки и пересечения мистер Геррин обводил деревянной указкой, и каким-то образом объяснения перешли в заключения, затем в теоретическую вероятность, а затем в абсолютную уверенность. И, наконец, взвешенное профессиональное мнение мистера Геррина как эксперта свелось к тому, что обвиняемый был автором анонимных писем, как и заведомо написанных его рукой и с его подписью.

— Все эти письма? — спросил мистер Дистернал, широким жестом обводя зал суда, который, казалось, преобразился в скрипторий.

— Нет, сэр, не все.

— Некоторые, по вашему мнению, не были написаны подсудимым?

— Да, сэр.

— И сколько же?

— Одно, сэр.

И мистер Геррин указал на единственное письмо, авторство которого не приписывал Джорджу.

Исключение, которое, понял Джордж, в результате воздействовало как подтверждение выводов Геррина. Коварная хитрость, замаскированная под объективность.

Мистер Вачелл затем потратил некоторое время на установление различия между личным мнением и научными доказательствами, между «полагать что-то» и «знать это». Однако мистер Геррин показал себя несокрушимым свидетелем. Он уже много раз оказывался в подобном положении. Мистер Вачелл был не первым защитником, указывавшим, что его методы были столь же рыхлыми, как у гадальщика, чтеца мыслей на расстоянии или медиума.

После мистер Мийк заверил Джорджа, что второй день часто оказывается наихудшим для защиты, но вот третий, когда они представят собственные доказательства, будет наилучшим. Джордж был бы рад надеяться, но он боролся с ощущением, что медленно, но необратимо его история у него отнимается. Он опасался, что к тому времени, когда защита изложит свои данные, будет уже поздно. Люди — а главное, присяжные — отреагируют так: да нет, нам же уже сказали, что произошло. С какой стати нам теперь менять свое мнение?

На следующее утро он послушно прибегнул к патентованной панацее мистера Мийка, представив свое дело в перспективе. УБИЙСТВО В ПОЛНОЧЬ. ТРАГЕДИЯ НА КАНАЛЕ В БИРМИНГЕМЕ. ДВА ЛОДОЧНИКА АРЕСТОВАНЫ. Против обыкновения этот прием не подействовал. Он перешел к ЛЮБОВНОЙ ТРАГЕДИИ В ТИПТОНЕ про какого-то бедолагу, который из-за любви к нехорошей женщине кончил тем, что утопился в канале. Но сами заметки его вниманием не завладевали, и его взгляд вновь возвращался к заголовкам. Он поймал себя на нарастающем раздражении: пьяное убийство на канале было ТРАГЕДИЕЙ и жалкое самоубийство также было ТРАГЕДИЕЙ. А его собственное дело с самого начала оставалось ВОЗМУТИТЕЛЬНЫМ СЛУЧАЕМ.

И тут почти с облегчением он наткнулся на СМЕРТЬ ДАМЫ-ХИРУРГА. Он чувствовал, что прямо-таки моральный долг требует, чтобы он держался вровень с мисс Хикман, чей разложившийся труп все еще хранил свои секреты. Она была его товарищем по несчастью с момента его ареста. Накануне, как сообщал «Пост», вблизи Сидмутских посадок в Ричмонд-парке был найден медицинский нож или ланцет. Газета предположила, что он выпал из кармана убитой,

когда ее труп перетаскивали. Джордж прикинул, насколько эта версия правдоподобна. Вы находите труп исчезнувшей женщины-хирурга, и, пока вы его перетаскиваете, из карманов одежды на нем высыпаются предметы, а вы их не замечаете? Джордж подумал, что вряд ли поверил бы такому, будь он присяжным в следственном суде.

Далее «Пост» предположил, что нож или ланцет принадлежал покойной и мог быть использован для перерезания артерии, так что она умерла от потери крови. Иными словами, самоубийство и еще одна ТРАГЕДИЯ. Ну, подумал Джордж, это одно из возможных объяснений. Хотя, если бы уайрлийский дом священника находился в Суррее, а не в Стаффордшире, полиция состряпала бы более убедительную теорию: что сын священника выбрался из запертой спальни, приобрел ланцет, инструмент, какого он в жизни не видел, следовал за бедной женщиной, пока она не вошла в посадки, а там без малейшего сколько-либо вообразимого мотива зарезал ее.

Этот глоток горечи оживил его. И его фантастическое участие в деле Хикман напомнило ему о заверении мистера Вачелла при их первой встрече. На чем я построю свою защиту, мистер Идалджи? Всего лишь на отсутствии каких-либо

улик, что это преступление совершили вы, каких-либо причин у вас совершить его и какого-либо удобного случая. Конечно, для судьи и присяжных все это я подкреплю фактами, но такой будет суть моей защиты.

Сначала однако требовалось разобраться с показаниями доктора Баттера. Доктор Баттер не был похож на мистера Геррина, который показался Джорджу шарлатаном, выдающим себя за специалиста. Полицейский врач был седовласым джентльменом, явившимся из мира пробирок и микроскопов, имеющим дело только с конкретностями. Он объяснил мистеру Дистерналу, как именно он исследовал бритвы, пиджак, жилет, сапоги, брюки, домашнюю куртку. Он описал разные пятна, найденные на разных предметах одежды, и определил, какие могут быть классифицированы как кровь млекопитающих. Он сосчитал волоски, собранные с рукава и левого лацкана пиджака: всего двадцать девять, все короткие и рыжие. Он сравнил их с волосками на лоскуте кожи, срезанном с мертвого пони угольной компании. Те также были короткими и рыжими. Он исследовал их под микроскопом и определил их как «подобные по длине, цвету и структуре».

Мистер Вачелл приступил к доктору Баттеру, воздав должное уважение его компетенции и знаниям, а потом попытался обернуть их на пользу защиты. Он привлек внимание к беловатым пятнам на пиджаке, которые, по заключению полиции, оставили слюна и пена изо рта раненого животного. Подтвердил ли это научный анализ доктора Баттера?

— Нет.

— Из чего, по вашему мнению, состоят эти пятна?

— Из крахмала.

— И каким образом, по вашему опыту, они могли оказаться на одежде?

— Наиболее вероятно, сказал бы я, что их оставили хлеб и молоко за завтраком.

И тут Джордж услышал звук, про существование которого почти забыл: смех. В зале суда раздался смех при упоминании хлеба с молоком. Ему он представился звуком здравого смысла. Он посмотрел на присяжных, пока веселье в зале продолжалось. Двое-трое улыбались, но большинство хранили серьезность. Джордж счел все это ободряющими признаками.

Теперь мистер Вачелл перешел к пятнам крови на рукаве пиджака своего подзащитного.

— Вы говорите, что это пятна крови млекопитающего?

— Да.

— И никаких сомнений в этом быть не может, доктор Баттер?

— Ни малейших.

— Так-так. А теперь, доктор Баттер, лошадь — млекопитающее?

— Абсолютно.

— А также и свинья, и овца, и собака, и корова?

— Безусловно.

— Собственно, в царстве животных млекопитающие все, кто не принадлежит к рыбам, птицам или рептилиям?

— Да.

— Вы и я — млекопитающие, как и все присяжные тут?

— Конечно.

— Таким образом, доктор Баттер, говоря, что это кровь млекопитающего, вы всего лишь говорите, что она может принадлежать любому из вышеупомянутых видов?

— Это правда.

— Вы ни на секунду не утверждали, что вы демонстрируете или можете продемонстрировать,

что это пятнышко крови на пиджаке оставила лошадь или пони?

— Подобное утверждение невозможно, нет.

— А возможно ли установить, исследуя пятно крови, как давно оно появилось? Могли бы вы сказать, например, что пятно это появилось сегодня, а это — вчера, а это — неделю назад, а это — несколько месяцев назад?

— Ну, будь оно еще влажным…

— Было ли одно из пятнышек крови на пиджаке Джорджа Идалджи влажным, когда вы исследовали их?

— Нет.

— Они были сухими?

— Да.

— Так что, согласно вашим собственным показаниям, они могли находиться там дни, недели, даже месяцы?

— Именно так.

— А возможно ли установить по пятну крови, была ли это кровь живого или мертвого животного?

— Нет.

— Или вообще от куска говядины?

— Тоже нет.

— Таким образом, доктор Баттер, исследуя пят-

на крови, вы не способны отличить полученные человеком, калечащим лошадь, и теми, которые могли появиться на его одежде несколькими месяцами раньше, когда он разрезал воскресный бифштекс… или даже ел его?

— Должен согласиться с вами.

— А можете ли вы напомнить суду, сколько пятен крови вы нашли на обшлаге пиджака мистера Идалджи?

— Два.

— И, если не ошибаюсь, вы сказали, что каждое пятно было величиной с трехпенсовую монету?

— Да.

— Доктор Баттер, если бы вы располосовали брюхо лошади так сильно, что она издыхала бы от кровотечения и ее пришлось застрелить, как, по-вашему, удалось бы вам сделать это и уйти, забрызгавшись не больше, чем если бы вы небрежно разрезали бифштекс?

— Я не хочу строить предположения.

— И, разумеется, я не стану настаивать, чтобы вы их строили, доктор Баттер. Разумеется, не стану.

Вдохновленный этим допросом мистер Вачелл начал защиту кратким вступительным словом, а затем вызвал Джорджа Эрнста Томпсона Идал-

джи.

«Он энергично сошел со скамьи подсудимых и с полной невозмутимостью повернулся лицом к переполненному залу суда», — вот что Джордж прочел на следующий день в бирмингемской «Дейли пост». И эта фраза продолжала всегда преисполнять его гордостью. Какая бы ни произносилась ложь, какая бы ни пускалась в ход клевета, очернение его корней, сознательное искажение правды полицией и другими свидетелями, он знал, что будет смотреть в лицо своим обвинителям с полной невозмутимостью. И смотрел.

Мистер Вачелл начал с того, что взял со своего клиента точные показания обо всем, что он делал вечером семнадцатого числа. Оба они знали, что строгой необходимости в этом не было, учитывая показания мистера Льюиса об известной хронологии событий. Однако мистер Вачелл хотел, чтобы присяжные свыклись с голосом Джорджа и правдивостью его показаний. С тех пор, как подсудимым было разрешено выступать свидетелями на собственных процессах, не прошло и шести лет, и ставить своего клиента в подобное положение все еще считалось рискованной новинкой.

А потому вновь повторилось описание посещения мистера Хэндса, сапожника, и для присяжных был прослежен его путь, хотя, следуя более раннему намеку мистера Вачелла, Джордж не упомянул, что практически дошел до фермы Грина. Затем он описал семейный ужин, объяснил, где спал, упомянул запертую дверь, то, как утром он встал, позавтракал и отправился на станцию.

— Вы помните, как на станции разговаривали с мистером Джозефом Маркью?

— Да, конечно. Я стоял на платформе, дожидаясь моего обычного поезда семь тридцать, когда он заговорил со мной.

— Вы помните, что он сказал?

— Да, он сказал, что у него поручение ко мне от инспектора Кэмпбелла. Мне предлагалось не садиться в мой поезд, а ждать на станции, пока он не сможет поговорить со мной. Но мне особенно запомнился тон мистера Маркью.

— И как бы вы описали этот тон?

— Ну, он был очень грубым. Словно он отдавал мне приказание или передавал его без всякого намека на вежливость. Я спросил, для чего я понадобился инспектору, и Маркью ответил, что не знает, а знал бы, так мне не сказал бы.

— Он указал, что он специальный констебль?

— Нет.

— Так что вы не увидели причину отложить свои дела?

— Вот именно. В конторе меня ждало неотложное дело, как я ему и сказал. Тут его манера держаться изменилась, он стал вкрадчиво-любезным и высказал предположение, что раз в жизни я мог бы устроить себе денек отдыха.

— И как вы к этому отнеслись?

— Я подумал, что он совершенно не представляет себе обязанностей солиситора и какова его профессиональная ответственность. Это трактирщик может устроить себе денек отдыха, поручив наливать пиво кому-нибудь еще.

— Действительно. И в этот момент к вам подошел человек с новостью, что в округе порезали еще одну лошадь?

— Какой человек?

— Я имею в виду показание мистера Маркью о том, что к вам с ним подошел какой-то человек и сообщил, что лошадь порезали.

— Это неправда. К нам никто не подходил.

— И тут вы сели в ваш поезд?

— Не было указано никакой причины, почему я не должен был этого делать.

— Следовательно, не встает никакого вопроса о том, что вы улыбнулись, услышав, что была изувечена лошадь?

— Никакого. К нам никто не подходил. И я навряд ли улыбнулся бы, услышав подобное. Единственный раз, когда я мог бы улыбнуться, то только когда Маркью предположил, что мне следует отдохнуть денек. В деревне он известен своей ленью, а потому такой совет в его устах был очень убедителен.

— Так-так. А теперь перейдем к той части утра, когда инспектор Кэмпбэлл и сержант Парсонс явились в вашу контору и арестовали вас. Они утверждают, что на пути в арестантскую вы сказали: «Я не удивлен. Я уже некоторое время ждал этого». Вы произнесли эти слова?

— Да.

— Вы не объясните, что они подразумевали?

— Конечно. Некоторое время против меня распускались всяческие слухи. Я получал анонимные письма, которые показал в полиции. Было совершенно очевидно, что кто-то следит за мной и наблюдает за домом моего отца. Из ответов полицейского на мою жалобу мне стало ясно, что полиция настроена против меня. А за неделю-две до этого даже ходили слухи, будто

меня арестовали. Полиция, казалось, была твердо намерена что-то приписать мне. Так что нет, я не был удивлен.

Мистер Вачелл потом напомнил о его предположительных словах касательно таинственного мистера Локстона. Джордж отрицал, что говорил нечто подобное или что вообще знает какого-либо Локстона.

— Обратимся к другой вменяемой вам фразе. В полицейском суде Кэннока вам предложили освобождение под залог, но вы отказались. Не объясните ли вы суду, по какой причине?

— Конечно. Условия были крайне тяжелыми и ложились не только на меня, но и на всю нашу семью. Кроме того, в тот момент я находился в тюремной больнице, где со мной обходились хорошо. И я готов был остаться там до суда надо мной.

— Так-так. Констебль Мередит показал, что вы, находясь под арестом, сказали ему: «Я не выйду под залог, и когда распологосуют следующую лошадь, это буду не я». Вы говорили эти слова?

— Да.

— И что вы подразумевали?

— Только то, что сказал. На животных нападали в течение многих недель и месяцев до моего

ареста, а так как я к этому никакого отношения не имел, то полагал, что они продолжатся. И в таком случае это явилось бы доказательством моей непричастности.

— Как видите, мистер Идалджи, было высказано предположение, и, несомненно, оно будет повторено, что за вашим отказом от залога скрывалась зловещая причина. Оно сводится к тому, что шайка Грейт-Уайрли, которая постоянно упоминается, хотя ее существование отнюдь не доказано, придет к вам на выручку, нарочито располосовав еще одно животное, чтобы продемонстрировать вашу невиновность.

— Я могу ответить только, что, будь я настолько умен, чтобы придумать подобный план, у меня в таком случае достало бы ума не признаваться в нем заранее полицейскому констеблю.

— Справедливо, мистер Идалджи, справедливо.

Мистер Дистернал, как и ожидал Джордж, был саркастичен и невежлив при перекрестном допросе. Он просил Джорджа объяснить многое из того, что он уже объяснял, лишь бы разыгрывать мелодраматичное недоверие. Его тактика подразумевала, что подсудимый крайне хитер и лжив и тем не менее подтверждает свою виновность.

Джордж знал, что должен предоставить мистеру Вачеллу указать на это. Он не должен дать себя спровоцировать, он должен не торопиться с ответом, он должен быть невозмутим.

Разумеется, мистер Дистернал не упустил факта, что вечером семнадцатого Джордж дошел до фермы мистера Грина, и позволил себе поразмышлять вслух, почему это выпало из памяти Джорджа, пока он давал показания. Обвинитель показал себя беспощадным и когда неизбежно встал вопрос о волосках на одежде Джорджа.

— Мистер Идалджи, вы сказали под присягой, что волоски на вашей одежде появились, поскольку вы оперлись на калитку загона, в котором паслись коровы.

— Я сказал, что они, возможно, могли появиться подобным образом.

— Однако доктор Баттер собрал с вашей одежды двадцать девять волосков, которые затем исследовал под микроскопом и установил их идентичность по длине, цвету и структуре волоскам на лоскуте кожи, срезанном с застреленного пони.

— Он не сказал «идентичны», он сказал «подобны».

— Разве? — Мистер Дистернал слегка опешил и

притворился, будто сверяется со своими записями. — Действительно, «подобны по длине, цвету и структуре». Как вы объясните это подобие, мистер Идалджи?

— Объяснить его я не смогу. Я не специалист по волосам животных. Я только способен предположить, как такие волоски могли появиться на моей одежде.

— Длина, цвет и структура, мистер Идалджи. Или вы серьезно просите суд поверить, будто волоски на вашем пиджаке принадлежали корове в загоне, хотя они имеют длину, цвет и структуру волосков пони, располосованного не более чем в миле от вашего дома в ночь семнадцатого?

Джордж не нашел ответа.

Мистер Вачелл вновь вызвал мистера Льюиса на скамью свидетелей. Полицейский ветеринар повторил свое утверждение, что пони, по его мнению, не мог быть ранен до 2:30 утра. Затем он был спрошен, какого рода инструментом могла быть нанесена эта рана. Изогнутым инструментом с вогнутыми сторонами. Считает ли мистер Льюис, что рана могла быть нанесена туалетной бритвой? Нет. Мистер Льюис не считает, что рана могла быть нанесена бритвой.

Затем мистер Вачелл вызвал Сапурджи Идал-

джи, рукоположенного священнослужителя, который повторил свои показания про то, как они делят спальню, про дверь, про ключ, про свой прострел и время, когда он просыпается. Джордж подумал, что впервые его отец начинает выглядеть стариком. Его голос казался не таким властно-убедительным, его утверждения — не столь неопровержимыми.

Джордж встревожился, когда мистер Дистернал встал для перекрестного допроса священника прихода Грейт-Уайрли. Обвинитель источал любезность, заверил свидетеля, что долго его не задержит. Это обещание, однако, оказалось грубейшим обманом. Мистер Дистернал по очереди брал каждую крохотную подробность алиби Джорджа и рассматривал ее перед присяжными, будто в первый раз стараясь сравнить ее весомость и значимость.

— Вы запираете на ночь дверь спальни?

Отец Джорджа, видимо, удивился, что ему вновь задают вопрос, на который он уже ответил. И помедлил дольше, чем могло показаться естественным. Затем он сказал:

— Да.

— И отпираете ее утром?

Вновь неестественная пауза.

— Да.

— И куда вы кладете ключ?

— Ключ остается в замке.

— Вы его не прячете?

Священник посмотрел на мистера Дистернала так, будто он был нахальным школьником.

— С какой стати мне его прятать?

— Вы никогда его не прячете? И никогда не прятали?

Отец Джорджа посмотрел на мистера Дистернала в полном недоумении.

— Я не понимаю, почему вы меня спрашиваете об этом.

— Я просто пытаюсь установить, всегда ли ключ остается в замке.

— Но я уже это сказал.

— Всегда остается на полном виду? Никогда не прячется?

— Но я уже это сказал.

Когда отец Джорджа давал показания в Кэнноке, вопросы были прямолинейными, и скамья свидетелей вполне могла сойти за церковную кафедру, с которой священник свидетельствует о существовании Бога. Теперь под пыточным допросом мистера Дистернала он — а с ним и весь мир — начинал казаться менее непоколебимым.

— Вы сказали, что ключ скрипит, когда его поворачивают в замке.

— Да.

— Это недавнее изменение?

— Какое недавнее изменение?

— Что ключ скрипит в замке. — Тон обвинителя был тоном человека, помогающего старику перебраться через перелаз. — Он всегда скрипел?

— Насколько я помню.

Мистер Дистернал улыбнулся священнику. Джорджу эта улыбка не понравилась.

— И за все это время, насколько вы помните, никому не пришло в голову смазать замок?

— Нет.

— Могу ли я спросить вас, сэр, и вопрос может показаться вам незначащим, но почему никому ни разу не пришло в голову смазать замок?

— Полагаю, это не казалось важным.

— Не из-за недостатка масла?

Священник неблагоразумно не сдержал раздражения.

— О наших запасах масла вам лучше спросить мою жену.

— Возможно, я так и поступлю, сэр. А этот скрип — как бы вы его описали?

— О чем вы говорите? Скрип как скрип.

— Это громкий скрип или негромкий скрип? Можно ли его, например, сравнить с писком мыши или поскрипыванием амбарной двери?

Сапурджи Идалджи выглядел так, будто провалился в подвал бессмыслиц.

— Полагаю, я могу его охарактеризовать как громкий скрип.

— Тем более удивительно, что замок не смазали. Но пусть так. Ключ скрипит громко один раз вечером, один раз утром. А в других случаях?

— Я вас не понимаю.

— Я имею в виду, сэр, случаи, когда вы или ваш сын покидаете спальню ночью.

— Ни он, ни я ночью из нее никогда не выходим.

— Ни он, ни вы никогда из нее ночью не выходите. Насколько я понимаю, вы… спите таким образом уже шестнадцать-семнадцать лет. И вы говорите, что за все это время ни он, ни вы ночью из спальни не выходили?

— Нет.

— Вы совершенно в этом уверены?

И опять длинная пауза, словно священник пробегал в уме все эти годы ночь за ночью.

— Настолько уверен, насколько возможно.

— И вы помните каждую ночь?

— Я не вижу смысла в этом вопросе.

— Сэр, я не прошу вас увидеть его смысл. Я просто прошу, чтобы вы на него ответили. Вы помните каждую ночь?

Священник обвел глазами зал, будто ожидая, что кто-то спасет его от этих идиотических расспросов.

— Не больше, чем кто-либо другой.

— Именно так. Вы дали показание, что спите чутко.

— Да, очень. Я легко пробуждаюсь.

— И, сэр, вы показали, что поворот ключа в замке вас разбудил бы?

— Да.

— Вы не замечаете противоречия в этом утверждении?

— Нет, не замечаю.

Джордж видел, что его отец начинает теряться. Он не привык, чтобы его слова ставились под сомнение, пусть даже со всей любезностью. Он выглядел старым и раздраженным и отнюдь не хозяином положения.

— В таком случае разрешите я поясню. За семнадцать лет никто ночью из этой комнаты не выходил. То есть — согласно вашему утверждению — никто ни разу не повернул ключа, пока

вы спали. Так как же вы можете утверждать, что поворот ключа вас разбудил бы?

— Сколько ангелов танцует на острие иглы. Я имею в виду, что меня будит малейший шум. — Но прозвучало это скорее ворчливо, чем категорично.

— Вас ни разу не будил поворот ключа?

— Нет.

— Так что вы не можете поклясться, что этот звук разбудил бы вас.

— Я могу только повторить то, что уже говорил. Меня будит малейший шум.

— Но если вас ни разу не будил звук повернутого в скважине ключа, это не исключает, что ключ был повернут, а вы не проснулись?

— Как я сказал, этого никогда не случалось.

Джордж наблюдал за своим отцом как любящий тревожащийся сын, но еще и как практикующий солиситор, и как растерянный подсудимый. Его отец держался плохо. Мастер Дистернал подкапывался под него то с одной, то с другой стороны.

— Мистер Идалджи, в своих показаниях вы указали, что проснулись в пять часов и больше не засыпали, пока вы и ваш сын не встали в шесть тридцать?

— Вы сомневаетесь в моем слове?

Мистер Дистернал не проявил удовольствия при этих словах, но Джордж знал, что он его ощутил.

— Нет, я просто прошу подтверждения тому, что вы говорили прежде.

— В таком случае я подтверждаю это.

— А не может быть, что вы снова заснули между пятью и шестью тридцатью и проснулись позднее?

— Я уже говорил, что нет.

— Вам когда-нибудь снится, что вы проснулись?

— Я вас не понял.

— Вы видите сны, когда спите?

— Да, иногда.

— И иногда вам снится, будто вы проснулись?

— Не знаю. Не помню.

— Но вы согласны, что людям иногда снится, будто они проснулись?

— Я никогда об этом не думал. Мне не представлялось важным то, что снится другим людям.

— Но вы положитесь на мое слово, что другим людям действительно снятся такие сны?

Священник теперь выглядел точно отшельник в пустыне, подвергающийся соблазну, суть которого он не может понять.

— Ну, если вы так говорите.

Джорджа тактика мистера Дистернала также поставила в полный тупик, но цель обвинителя почти сразу же прояснилась.

— Таким образом, вы, насколько это возможно, совершенно уверены, что вы не спали между пятью и шестью тридцатью?

— Да.

— И вы равно уверены, что спали между одиннадцатью часами ночи и пятью утра?

— Да.

— Вы не помните, что просыпались на протяжении этого времени?

Отец Джорджа опять выглядел так, будто его слова вновь были взяты под сомнение.

— Нет.

Мистер Дистернал кивнул.

— Таким образом, вы, например, спали в час тридцать. В… — он словно бы поймал это время из воздуха… — два тридцать, например. В три тридцать, например. Да, благодарю вас. Теперь, переходя к другому обстоятельству…

И это все продолжалось и продолжалось, и отец Джорджа на глазах суда превращался в маразматика, столь же неуверенного в себе, сколько, без сомнения, и правдивого; в человека, чьи

наивные усилия обезопасить свой дом без труда могли быть обойдены его умным сыном, который совсем недавно дышал такой самоуверенностью на скамье подсудимых. А возможно, и хуже того: отцом, который подозревал, что его сын был каким-то образом причастен к возмутительной резне, и теперь, давая свои показания, беспомощно старался подправлять их.

Затем пришла очередь матери Джорджа, еще больше разнервничавшейся, наблюдая беспрецедентные запинки мужа. После того, как мистер Вачелл взял с нее показания, мистер Дистернал со снисходительной любезностью вновь протащил ее через них же. Ее ответы интересовали его, казалось, лишь слегка, он был уже не беспощадным обвинителем, а скорее новым соседом, заглянувшим выпить чашечку чая.

— Вы всегда гордились вашим сыном, миссис Идалджи?

— О да, очень.

— И он всегда был умным мальчиком и умным молодым человеком?

— О да, очень умным.

Мистер Дистернал маслено изобразил глубокую симпатию к горести, в которую миссис Идалджи не может не ввергать положение, в

котором сейчас оказались она и ее сын.

Это не был вопрос, но мать Джорджа механически восприняла его фразу именно так и начала расхваливать сына:

— Он всегда был прилежным учеником и заслужил в школе много наград. Он учился в Мейсон-колледже в Бирмингеме и был медалистом Юридического общества. Его книга о железнодорожном праве получила лестные отзывы многих газет и юридических журналов. Она, знаете ли, была опубликована как один из «Юридических справочников Уилсона».

Мистер Дистернал поощрял эти излияния материнской гордости. Он спросил, не хочет ли она сказать что-нибудь еще.

— Да! — Миссис Идалджи посмотрела на сына и скамью подсудимых. — Он всегда был добрым и заботливым с нами и с самого детства был добр ко всем бессловесным тварям. Даже если бы мы не знали, что из дома он не выходил, он никак не мог покалечить или поранить любое животное.

Вы бы подумали, слушая, как мистер Дистернал ее благодарит, что он сам был ее сыном, то есть сыном глубоко снисходительным к слепой доброте и простодушию своей старенькой белоголовой матери.

Затем была вызвана Мод дать показания о состоянии одежды Джорджа.

Голос у нее был ровным, утверждения ясными и логичными; и все-таки Джордж окаменел, когда мистер Дистернал встал, кивая каким-то своим мыслям.

— Ваши показания, мисс Идалджи, полностью, вплоть до мельчайших подробностей совпадают с тем, что говорили ваши родители.

Мод невозмутимо смотрела на него, выжидая, был ли это вопрос или прелюдия к какому-то смертоносному подвоху. И тут мистер Дистернал со вздохом снова сел.

Позднее за сосновым столом в подвале Шайр-Холла Джордж чувствовал себя совсем измученным и павшим духом.

— Мистер Мийк, боюсь, мои родители не были хорошими свидетелями.

— Я бы так не сказал, мистер Идалджи. Тут скорее случай, когда самые лучшие люди не обязательно оказываются самыми лучшими свидетелями. Чем они скрупулезнее, чем честнее, чем больше они останавливаются на каждом слове вопроса и из скромности сомневаются в себе, тем легче играть с ними обвинителю вроде мистера Дистернала. Подобное случается не

впервые, могу вас заверить. Как бы это выразить? Чистый вопрос веры. Во что мы верим, почему мы в это верим. С юридической точки зрения наилучшие свидетели — это те, кому больше верят присяжные.

— Иначе говоря, они были плохими свидетелями.

С самого начала процесса Джордж не просто надеялся, но был неколебимо уверен, что показания его отца тут же приведут его к полному оправданию. Атака обвинителя разобьется о скалу неколебимой честности его отца, и мистер Дистернал поникнет, как недостойный прихожанин, получивший реприманд за беспричинную клевету. Но атака так и не состоялась, во всяком случае, в той форме, которую ожидал Джордж, и его отец обманул его надежды, не показал себя олимпийским божеством, чье произнесенное под присягой слово неопровержимо. Он выглядел только педантичным, раздражительным, а иногда и сбитым с толку. Джордж хотел бы объяснить суду, что, соверши он мальчиком малейшее нарушение закона, отец тут же отвел бы его в полицейский участок и потребовал бы для него примерного наказания: чем выше долг, тем больше грех. А вместо этого сложилось об-

ратное впечатление — что его родители были глупо снисходительными и их ничего не стоило обвести вокруг пальца.

— Они были плохими свидетелями, — повторил он уныло.

— Они говорили правду, — возразил мистер Мийк. — И нам не следовало ждать, что они поступят иначе или в манере им не свойственной. Остается надеяться, что присяжные сумели это увидеть. Мистер Вачелл уверен в завтрашнем дне, как должно и нам.

И на следующее утро, когда Джорджа в последний раз везли из стаффордской тюрьмы в Шайр-Холл, когда он готовился выслушать свою историю в ее окончательном и все более далеком варианте, он вновь преисполнился уверенности. Была пятница 23 октября. Завтра он будет снова дома. В воскресенье он будет снова молиться под вздыбленным килем Святого Марка. А в понедельник поезд 7:39 повезет его назад к Ньюхолл-стрит, к его письменному столу, к его книгам. И свою свободу он отпразднует, подписавшись на «Законы Англии» Холсбери.

Когда по узкой лестнице он поднялся к скамье подсудимых, зал суда представился ему переполненным даже еще более, чем в прежние дни.

Возбуждение казалось физически ощутимым и, к тревоге Джорджа, не походило на торжественное ожидание восстановления справедливости, а больше смахивало на вульгарное предвкушение театрального зрелища. Мистер Вачелл посмотрел на него и улыбнулся ему. Джордж не знал, ответить ли на его приветствие таким же образом, и удовольствовался легким наклоном головы. Он посмотрел на присяжных, двенадцать достойных и верных стаффордширских мужчин, чья внешность с самого начала, казалось ему, говорила о порядочности и солидности. Он заметил присутствие капитана Энсона и инспектора Кэмпбелла, двух его близнецов-обвинителей. Но не его подлинных обвинителей — те, быть может, на Кэннок-Чейз упиваются тем, что натворили, и даже сейчас натачивают то, что, по мнению мистера Льюиса, было изогнутым инструментом с вогнутыми сторонами.

По приглашению мистера Реджинальда Харди мистер Вачелл начал свою заключительную речь. Он обратился к присяжным с просьбой отвлечься от сенсационных аспектов этого дела — газетных заголовков, общественной истерии, слухов и голословных утверждений — и сосредоточить внимание на чистых фактах. Нет ни

малейших улик, что Джордж Идалджи вышел из дома своего отца (здания, находившегося под неусыпным наблюдением стаффордширских констеблей уже много суток) в ночь семнадцатого-восемнадцатого августа. Нет ни малейших улик, связывающих его с преступлением, в котором он обвиняется: обнаруженные крохотные пятнышки крови могли быть оставлены чем угодно и никак не соответствуют расположованию, которому подвергся пони угольной компании; а что до волосков, якобы найденных на его одежде, показания о них крайне противоречивы, и даже существуй эти волоски, есть альтернативные объяснения их присутствия. Затем — анонимные письма, обличающие Джорджа Идалджи, которые, по утверждению обвинения, подсудимый написал сам. Нелепейшее предположение, никак не отвечающее ни логике, ни преступному складу ума; что до показаний мистера Геррина, то это не более чем личное мнение, которое присяжные могут, да и должны, не принимать во внимание.

Затем мистер Вачелл рассмотрел различные инсинуации по адресу своего клиента. Его отказ от залога был продиктован вполне разумным, если не сказать достойным восхищения чувством — желанием любящего сына облегчить бремя,

легшее на слабые плечи родителей в годах. Затем следовало коснуться мутной истории Джона Генри Грина. Обвинение пыталось очернить Джорджа Идалджи по ассоциации, однако не было установлено ни малейшей связи между подсудимым и мистером Грином, чье отсутствие на скамье свидетелей говорит само за себя. В этом отношении, как и в других, обвинительное заключение представляет собой не более чем набор обрывков и лоскутков, намеков, инсинуаций и беспочвенных выводов, никак между собой не согласующихся.

— И с чем же мы остаемся, — риторически вопросил защитник, — с чем же мы остаемся после четырех дней, проведенных в этом зале, если не считать рассыпающихся, рухнувших и разнесенных вдребезги теорий, выдвинутых полицией?

Джордж испытывал удовлетворение, когда мистер Вачелл вернулся на свое место. Речь была ясной, хорошо аргументированной, без фальшивых эмоциональных воззваний того рода, какие пускают в ход некоторые адвокаты, и безупречно профессиональной. Иными словами, Джордж отметил про себя места, где мистер Вачелл позволил себе больше свободы с фразировкой и скрытыми намеками, чем разрешил бы ему в

суде А лорд Хэзертон.

Мистер Дистернал не торопился, он стоял и ждал, словно позволяя рассеяться впечатлению от последних слов мистера Вачелла. Затем начал подбирать обрывки и лоскутики, упомянутые его противником, и снова терпеливо сшивать их в плащ, чтобы закутать в него плечи Джорджа. Он попросил присяжных сначала взвесить поведение подсудимого и подумать над тем, поведение ли это невиновного человека. Отказ дождаться инспектора Кэмпбелла и улыбка на железнодорожной станции; отсутствие удивления при аресте; вопрос о погибших лошадях Блуитта; угроза по адресу таинственного Локстона; отказ от залога и уверенное предсказание, что шайка Грейт-Уайрли нанесет новый удар, обеспечив его освобождение. Было ли это поведением невиновного человека, спросил мистер Дистернал, воссоединяя все эти звенья в сознании присяжных.

Кровавые пятна, почерк и снова одежда. Одежда подсудимого была мокрой, а особенно — домашняя куртка и сапоги. Полиция установила это и описала под присягой. Каждый полицейский, который осматривал его домашнюю куртку, показал, что она была мокрой. А если так, если

полиция не полностью ошибается — а как это может быть? — есть только одно допустимое объяснение. Джордж Идалджи, как утверждало обвинение, украдкой покинул дом священника в бурную ночь с 17-го на 18 августа.

И все-таки, несмотря на неопровержимые улики глубокой замешанности в этом преступлении, совершил ли он его единолично или в сговоре с другими, имеется, признал мистер Дистернал, еще один вопрос, требующий ответа. Какой мотив руководил им? Поднять этот вопрос присяжные имеют полное право. А мистер Дистернал находится здесь, чтобы помочь с ответом.

— Если вы спросите себя, как многие в этом зале в течение нескольких дней спрашивали себя: но каким был мотив подсудимого? Почему внешне респектабельный молодой человек совершает такой гнусный поступок? Самые разные объяснения могут прийти на ум рассудительного наблюдателя. Двигала ли подсудимым какая-то конкретная злоба, мстительность? Это возможно, хотя, пожалуй, маловероятно, учитывая слишком большое количество жертв возмутительной резни в Грейт-Уайрли и кампанию анонимных клеветнических писем, ее сопровождавшую. Мог ли он действовать под влиянием безумия? Вы

можете прийти к такому выводу перед лицом неописуемого варварства его поступков. И тем не менее это не может служить объяснением. Слишком уж хорошо было спланировано преступление и слишком ловко для кого-то, лишенного рассудка. Нет, мы должны, полагаю я, искать побуждение в мозгу, не пораженном болезнью, но скорее сформированном по-иному, чем у нормальных мужчин и женщин. Мотивом было не корыстолюбие или месть кому-то конкретному, а скорее желание получить известность, желание смаковать скрытую от мира собственную важность, желание брать верх над полицией на каждом шагу, желание посмеяться в лицо обществу, желание доказать свое превосходство. Подобно вам, члены жюри, во время процесса, как ни был я убежден — и как будете убеждены вы — в виновности подсудимого, я в некоторые моменты ловил себя на вопросе: но почему, почему? И вот как я отвечу на этот вопрос. Все указывает на индивида, который совершал эти зверства под воздействием некоего дьявольского коварства в уголке его мозга.

Джордж, слушавший, наклонив голову, чтобы сосредоточиться на словах мистера Дистернала, понял, что речь подошла к заключению. Он

поднял глаза и обнаружил, что обвинитель театрально глядит на него, будто только теперь он наконец увидел подсудимого в полном озарении истины. Присяжные, получив таким образом ободрение мистера Дистернала, также в открытую разглядывали его, как и сэр Реджинальд Харди, как весь зал, за исключением его близких. Быть может, констебль Доббс и второй констебль, стоящий у него за спиной, даже теперь рассматривали его пиджак на предмет кровяных пятен.

Председательствующий начал свое суммирование без четверти час, называя Возмутительную Резню «пятном на имени графства». Джордж слушал, непрерывно ощущая, что его сейчас оценивают двенадцать достойных и верных мужчин, высматривая признаки дьявольского коварства. Сделать он ничего не мог, только выглядеть все более невозмутимо. Вот каким должен он казаться в последние несколько минут перед тем, как решится его судьба. Будь невозмутим, сказал он себе, будь невозмутим.

В два часа сэр Реджинальд отослал присяжных совещаться, и Джорджа увели в подвал. Констебль Доббс стоял на страже, как и все прежние четыре дня, с чуточку смущенным видом человека, понимающего, что Джордж вряд ли

принадлежит к тем, кто пускается в бега. Он обходился со своим подопечным уважительно и ни разу грубо к нему не прикоснулся. Поскольку теперь полностью исключалась всякая возможность, что его слова будут истолкованы неверно, Джордж завязал с ним разговор.

— Констебль, по вашему опыту, хороший или дурной признак, если присяжным требуется долгое время, чтобы принять решение?

Доббс поразмышлял.

— По моему опыту, сэр, я бы сказал, что это либо хороший признак, либо дурной. Либо то, либо это. Как сложится.

— Так-так, — сказал Джордж. У него не было привычки говорить «так-так», и он понял, что подхватил это выражение у обвинителя и защитника. — Ну а если присяжные придут к решению быстро, какой это признак, по вашему опыту?

— А, сэр, это может быть либо хороший признак, либо дурной. Все, собственно, зависит от обстоятельств.

Джордж позволил себе улыбнуться: пусть Доббс или кто угодно еще толкует его улыбку как хочет. Ему казалось, что быстрое возвращение присяжных, принимая во внимание серьезность дела и необходимость, чтобы все двенадцать

пришли к полному согласию, должно быть для него благоприятным. Но и длительная задержка тоже скорее в его пользу: чем дольше они будут рассматривать дело, тем больше факты будут подниматься на поверхность, и яростные передергивания мистера Дистернала превратятся именно в передергивания.

Констебль Доббс удивился словно бы не меньше Джорджа, когда их вызвали через какие-то сорок минут. Они совершили свой последний совместный проход по темному коридору и восхождение по лестнице к скамье подсудимых. Без четверти три секретарь суда произнес в адрес старшины присяжных слова, знакомые Джорджу давным-давно:

— Господа присяжные, вынесли ли вы вердикт, с которым согласны вы все?

— Да, сэр.

— Нашли ли вы подсудимого Джорджа Эрнста Томпсона Идалджи виновным или невиновным в покалечении лошади, собственности угольной компании Грейт-Уайрли?

— Виновным, сэр.

Нет, это неверно, подумал Джордж. Он смотрел на старшину — седого, учительски благообразного человека, говорившего с легким стаффорд-

ширским акцентом. Вы только что произнесли неверное слово. Поправьтесь. Вы хотели сказать «Невиновен». Вот верный ответ на этот вопрос. Все это вихрем проносилось в мозгу Джорджа. Но тут он осознал, что старшина все еще стоит в намерении продолжать. Да, конечно, он собирается исправить свою оговорку.

— Присяжные, согласные в этом вердикте, рекомендуют снисхождение.

— На каком основании? — спросил сэр Реджинальд, прищурившись на старшину.

— Его положения.

— Его личного положения?

— Да.

Председательствующий с двумя другими судьями удалились для обдумывания приговора. Джордж едва мог поднять глаза на своих близких. Его мать прижимала к лицу носовой платок, его отец тупо смотрел перед собой. Мод удивила его, не разрыдавшись, как он предполагал. Она всем телом подалась в его сторону — доверительно, любяще. Если он сумеет сохранить это ее выражение в памяти, подумалось ему, тогда и самое худшее, быть может, окажется терпимым.

Но прежде чем Джордж успел продолжить эту мысль, к нему уже обратился председатель-

ствующий, которому на принятие решения не понадобилось и десяти минут.

— Джордж Идалджи, присяжные вынесли правильный вердикт. Они рекомендовали проявить к вам снисхождение, учитывая положение, которое вы занимаете. Мы должны определить кару. Мы должны учесть ваше личное положение и чем любая кара явится для вас. С другой стороны, мы должны учитывать состояние графства Стаффордшир и округа Грейт-Уайрли, а также позор, которым его покрыло подобное состояние вещей. Вы приговариваетесь к семи годам тюремного заключения.

По залу прокатился своего рода полушепот, горловые и ничего не выражающие звуки. Джордж подумал: нет, не семь лет, я не выживу семь лет, даже взгляд Мод не сможет поддерживать меня так долго. Мистер Вачелл должен объяснить, он должен выразить какой-нибудь протест.

Однако встал мистер Дистернал. Теперь, когда осуждение осуществилось, настал момент для великодушия. Обвинение в части отправки угрожающего письма сержанту Робинсону рассматриваться не будет.

— Уведите его.

И на его локоть легла рука констебля Доббса,

и прежде чем он успел обменяться последним взглядом со своей семьей, бросить последний взгляд на ярко освещенный зал суда, где он с такой уверенностью ожидал торжества справедливости, его стащили в люк, вниз, в мигающий газовый свет сумеречного подвала. Доббс вежливо объяснил, что после вынесения приговора он обязан поместить заключенного в камеру до перевозки его в тюрьму. Джордж сидел там, поникнув, мыслями все еще в зале суда, и медленно перебирал в уме все происходившее за последние четыре дня: выдвигаемые улики, ответы на перекрестных допросах, процессуальную тактику. У него не было претензий к стараниям его солиситора или компетентности его адвоката. Что до обвинителя… Мистер Дистернал выдвигал свои обвинения умно и антагонистично, но этого и следовало ожидать. И да, мистер Мийк не преувеличил сноровку этого субъекта лепить кирпичи и при отсутствии соломы.

Тут его способность к хладнокровному профессиональному анализу иссякла. Он чувствовал неимоверную усталость и одновременно — перевозбуждение. Теперь его мысли утратили ровный ход; они спотыкались, они вырывались вперед, они подчинялись магнетизму эмоций.

Внезапно он осознал, что еще совсем недавно, всего несколько минут назад, лишь немногие люди — в основном полицейские и, пожалуй, глупые невежды из тех, кто стучит в двери проезжающего кеба, — действительно считали его виновным. Но теперь — и при этой мысли его захлестнул стыд, — теперь почти все будут считать его виновным. Те, кто читает газеты, его коллеги-солиситоры в Бирмингеме, пассажиры утреннего поезда, которым он раздавал афишки «Железнодорожного права». Затем он начал рисовать себе конкретных людей, которые будут считать его виновным: например, мистер Мерриман, начальник станции, и мистер Восток, школьный учитель, и мистер Гринсилл, мясник, который с этих пор всегда будет напоминать ему о Геррине, эксперте по почеркам, который счел его способным писать кощунства и всякую грязь. И не только Геррин — теперь мистер Мерримен, и мистер Восток, и мистер Гринсилл будут верить, что Джордж не только располосовывал животы лошадей и коров, но, кроме того, был автором кощунств и всякой грязи. Как и служанка в доме его отца, и церковный староста, а также и Гарри Чарльзуорт, дружбу с которым он придумал. Даже Дора, сестра Гарри, существуй она, прониклась

бы к нему омерзением.

Он воображал, как все эти люди смотрят на него — и теперь к ним присоединился мистер Хэндс, сапожник. Мистер Хэндс будет думать, что Джордж после экспертной примерки новых сапог хладнокровно вернулся домой, съел свой ужин, притворно лег спать, а затем прокрался наружу, прошел через луга и искалечил пони. И когда Джордж вообразил всех этих свидетелей и обвинителей, его захлестнула такая обида за себя, за то, к чему свели его жизнь, что он предпочел навсегда остаться в этой подземной мгле. Но прежде чем он сумел удержаться хотя бы на этом уровне горя, на него обрушилась новая мысль: ведь, конечно же, все эти обитатели Уайрли не будут смотреть на него обвиняюще — во всяком случае, не в течение многих лет. Нет, они будут смотреть на его родителей — на его отца на церковной кафедре, на его мать, когда она будет обходить бедняков прихода; они будут смотреть на Мод, когда она войдет в лавку, на Ораса, когда он приедет домой из Манчестера — если он вообще будет приезжать домой после такого падения своего брата. На них будут смотреть, тыкать в них пальцами и говорить: их сын, их брат творил Возмутительную Уайрлийскую Резню. И он навлек

это публичное непреходящее унижение на своих близких, которые были для него всем.

Они знали, что он невиновен, но это только удваивало его чувство вины перед ними.

Они знали, что он невиновен? И тут отчаяние ввергло его еще глубже в пучину. Они знали, что он невиновен, но как они смогут не возвращаться постоянно к мыслям о том, что они видели и слышали эти последние четыре дня? Что, если их вера в него поколеблется? Когда они сказали, что знают, что он невиновен, что, собственно, они имели в виду? Чтобы знать, что он невиновен, они должны были просидеть без сна всю ночь и наблюдать, как он спит, или нести дозор на лугу угольной компании, когда какой-то сумасшедший работник с фермы явился туда с гнусным инструментом в кармане. Только таким образом могли бы они знать наверное. Нет, они только верят, искренне верят. А что, если со временем какие-то слова мистера Дистернала, какие-то утверждения доктора Баттера или какое-нибудь тайное, давнее сомнение в Джордже начнут подрывать их веру в него?

И это будет еще одним горем, которое он им причинит. Он отправит их в горькое путешествие самоанализа. Сегодня: мы знаем Джорджа,

и мы знаем, что он невиновен. А через год: мы осознаем, что мы не знали Джорджа, и все же считаем его невиновным. Можно ли кого-нибудь упрекнуть за такое отступление?

Приговорен не только он; приговорены и его близкие. Если он виновен, то некоторые придут к выводу, что его родители лгали под присягой. И когда священник будет проповедовать о различии между хорошим и дурным, не будут ли его прихожане видеть в нем лицемера или простака? Когда его мать будет посещать обездоленных, не скажут ли они ей, чтобы она приберегла свое сочувствие для своего преступника-сына в его далекой тюрьме? Вот что он еще натворил: приговорил собственных родителей. Неужели нет конца этой мучительной игре воображения, этому безжалостному моральному засасывающему водовороту? Он ожидал, что его засосет еще глубже, утащит беспощадное течение, утопит… Но тут он снова подумал о Мод. Он сидел на жестком табурете за решеткой, а в сумраке констебль Доббс фальшиво насвистывал для собственного развлечения, и он подумал о Мод. Она — источник его надежды, она удержит его от падения в пропасть. Он верил в Мод, он знал, что она не дрогнет, потому что видел взгляд, которым она

смотрела на него в суде. Этот взгляд не нуждался в истолковании, его не могли покоробить ни время, ни злоба, это был взгляд любви, и доверия, и неколебимой уверенности.

Когда толпы вокруг суда рассеялись, Джорджа отвезли назад в стаффордскую тюрьму. Там он столкнулся с еще одной переделкой его мира. Находясь в тюрьме с момента ареста, Джордж, естественно, привык считать себя заключенным. Но ведь его поместили в лучшую больничную камеру, он получал каждое утро газету, еду из дома и имел разрешение писать деловые письма. Не задумываясь, он воспринимал обстоятельства, в которых находился, временными, сопутствующими, кратким пребыванием в чистилище.

А теперь он стал действительно заключенным, и в доказательство у него забрали его одежду. В самом этом факте крылась странная ирония, поскольку неделю за неделей он страдал и мучился из-за своего неуместного летнего костюма и бессмысленной соломенной шляпы. Не выглядел ли он в суде легкомысленным из-за костюма, и это ему повредило? Он не знал. Но в любом случае костюм и шляпу у него забрали и заменили тяжелой весомостью и шершавостью тюремного наряда. Куртка оказалась широка, брюки пузы-

рились на коленях и лодыжках, но ему было все равно. Кроме того, ему выдали жилет, фуражку и пару «пинков жене пониже спины».

— Вам поначалу придется туговато, — сказал надзиратель, складывая летний костюм. — Но почти все свыкаются. Даже люди вроде вас, не примите за обиду.

Джордж кивнул. Он с благодарностью заметил, что тюремщик говорит с ним в том же тоне и с той же вежливостью, как и в предыдущие восемь недель. Это явилось сюрпризом. Он почему-то ожидал, что по возвращении в тюрьму будет оплевываться и подвергаться поношениям — невинный человек, теперь публично объявленный виновным. Но, возможно, эта жуткая перемена существовала только в его воображении. Обращение тюремщиков оставалось прежним по самой простой и гнетущей причине: они с самого начала считали его виновным, и вердикт присяжных только подтвердил их уверенность.

На следующее утро ему как одолжение принесли газету, чтобы он в последний раз мог увидеть свою жизнь, превращенную в газетные шапки, свою историю, более не двойственную, но сведенную воедино юридическим фактом, свою

репутацию, творимую теперь не им самим, а определяемую другими.

СЕМЬ ЛЕТ ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

УАЙРЛИЙСКИЙ
УБИЙЦА СКОТА ПРИГОВОРЕН

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ НЕВОЗМУТИМ

Тупо, но машинально Джордж просмотрел остальную страницу. История мисс Хикман, дамы-хирурга, тоже, казалось, достигла конца, сведясь к молчанию и тайне. Джордж заметил, что Буффало Билл после лондонского сезона и провинциальных гастролей, длившихся 194 дня, завершил свое турне в Бертоне-на-Тренте и вернулся в Соединенные Штаты. И столь же важным для «Газетт», как приговор «Уайрлийскому Убийце Скота», было следующее сообщение:

ЙОРКШИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
КАТАСТРОФА

Два поезда столкнулись в туннеле.

Один погибший, 23 раненых

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ДУХ ИСПЫТАНИЯ
БИРМИНГЕМА

Его продержали в Стаффорде еще двенадцать дней, в течение которых ему разрешались ежедневные свидания с родителями. Для него было бы менее мучительно, если бы его немедленно водворили в фургон и отвезли в самый дальний край страны. На протяжении этого долгого прощания и отец, и мать вели себя так, будто положение Джорджа объясняется какой-то бюрократической ошибкой, которую вскоре исправит обращение к надлежащему официальному лицу. Священник получил много писем в поддержку и уже с энтузиазмом говорил об общественной кампании, которую развернет. Джорджу эта ревностность показалась сродни истерии, порожденной ощущением вины. Джордж не воспринимал свое положение как временное, и планы отца не принесли ему никакого утешения. Они больше всего походили на излияние религиозной веры. И только.

Двенадцать дней спустя Джорджа отвезли в Льюис. Там он получил новую униформу из грубого светло-коричневого холста. Спереди и сзади тянулись две вертикальные широкие полосы, а также расплывчатые, скверно отпечатанные стрелы. Ему выдали пару неуклюже сидящих брюк, черные чулки и сапоги. Тюремный чи-

новник объяснил, что он — звездный, а потому первые три месяца своего срока — или дольше, но никак не меньше, — будет отбывать отдельно. «Отдельно» означало в одиночке. Так начинают все звездные. Джордж поначалу не понял и решил, что звездным его называют потому, что дело его приобрело такую широкую известность; быть может, виновных в особо тяжких преступлениях держат отдельно от других заключенных, которые могут излить свой гнев на потрошителя лошадей. Но нет. Звездными называли тех, кто оказывался в тюрьме впервые. Если попадете вторично, сообщили ему, то окажетесь в категории промежуточных; а если ваши возвращения станут частыми, то попадете в категорию обычных, или профессионалов. Джордж сказал, что у него нет намерения попадать сюда снова.

Его отвели к начальнику тюрьмы, военному ветерану, который удивил его: уставился на фамилию в документе перед собой и вежливо спросил, как она произносится.

— Эйдалджи, сэр.

— Эй-дал-джи, — повторил начальник. — Хотя тут вы по большей части будете номером.

— Да, сэр.

— Англиканская Церковь, сказано тут.

— Да. Мой отец — приходской священник.

— Вот как. Ваша мать… — Начальник словно не нашелся, как задать вопрос.

— Моя мать — шотландка.

— А!

— По рождению мой отец — парс.

— Тут я с вами. В восьмидесятых я был в Бомбее. Прекрасный город. Вы его хорошо знаете, Эй-дал-джи?

— Боюсь, я никогда из Англии не уезжал, сэр. Хотя побывал в Уэльсе.

— Уэльс, — произнес начальник задумчиво, — тут вы меня обошли. Солиситор, сказано тут.

— Да, сэр.

— У нас сейчас в солиситорах нехватка.

— Прошу прощения?

— Солиситоры… У нас сейчас в них нехватка. Обычно имеются один-два. А выпал год, так, насколько помнится, набралось с полдюжины. Но от нашего последнего солиситора мы избавились несколько месяцев тому назад. Не то чтобы вы могли много с ним разговаривать. Вы убедитесь, что правила тут строгие и соблюдаются неукоснительно, мистер Эй-дал-джи.

— Да, сэр.

— Однако у нас имеется парочка биржевых

маклеров и банкир в придачу. Я говорю людям: если хотите увидеть подлинный срез общества, так посетите Льюисскую тюрьму. — Он привык повторять эту фразу и сделал паузу для обычного впечатления. — Не то чтобы у нас имелись члены аристократии, спешу я добавить. Или (взгляд на дело Джорджа) в настоящее время священники англиканской церкви. Хотя и они случаются. Непристойное поведение и все такое.

— Да, сэр.

— Ну, я не собираюсь вас спрашивать, что вы совершили, и почему совершили, и совершили ли. И есть ли у любого прошения, которое вы можете направить министру внутренних дел, больше шансов, чем у мыши в лапах мангуста. По моему опыту, это пустой перевод времени. Вы в тюрьме. Отбывайте свой срок, подчиняйтесь правилам, и никаких новых неприятностей у вас не будет.

— Как юрист, сэр, я привык к правилам.

Джордж ничего под этим не подразумевал, однако начальник тюрьмы посмотрел на него так, будто услышал дерзость. Но ограничился тем, что сказал:

— Да-да.

Правил действительно оказалось порядочно. Джордж обнаружил, что тюремные надзиратели

— люди вполне приличные, но скованы по рукам и ногам бюрократическими требованиями. С другими заключенными не разговаривать. Не закладывать ногу за ногу в часовне и не скрещивать руки на груди. Баня раз в две недели и личный обыск заключенного, как и его вещей, при любой необходимости.

На второй день в камеру Джорджа вошел надзиратель и спросил, есть ли у него постельный плед.

Джордж подумал, что это излишний вопрос. Ведь наглядно же ясно, что на постели у него имеется многоцветный и разумно плотный плед, которого надзиратель не мог не увидеть.

— Да, есть, благодарю вас.

— То есть как «благодарю вас»? — спросил надзиратель с более чем очевидной воинственностью.

Джордж вспомнил полицейские допросы. Возможно, его тон прозвучал слишком развязно.

— Я хотел сказать, что есть.

— В таком случае он подлежит уничтожению.

Джордж окончательно запутался. Об этом правиле его не поставили в известность. Он тщательно выбрал ответ и особенно тон:

— Прошу прощения, но я здесь еще недолго. По-

чему вы должны уничтожить мой плед, который и удобен, а в более суровые месяцы, вероятно, и необходим?

Надзиратель уставился на него и медленно разразился хохотом. Он так хохотал, что в камеру заскочил его сослуживец.

— Не постельный плед, номер двести сорок седьмой, постельный клоп.

Джордж полуулыбнулся в ответ. Разрешают ли тюремные правила заключенным улыбаться в подобных обстоятельствах? Возможно, только получив дозволение. В любом случае этот анекдот вошел в тюремный фольклор и преследовал его все последующие месяцы. Индусы, дескать, ведут такую особо замкнутую жизнь, и он даже не знал, что такое клоп.

Взамен он обнаружил другие некомфортности. Отсутствие надлежащих удобств, а также уединенности, когда в них возникала неотложная необходимость. Мыло было сквернейшего качества. И еще идиотическое правило: бритье и стрижка должны обязательно производиться под открытым небом, в результате чего многие заключенные — и Джордж в том числе — схватывали простуду.

Он быстро свыкся с изменившимся ритмом

своей жизни. 5:45 — подъем. 6:15 — двери отпираются, ведра забираются, простыни развешиваются для проветривания. 6:30 — раздача инструментов, затем работа. 7:30 — завтрак. 8:15 — складывание постельных принадлежностей. 8:35 — часовня. 9:05 — возвращение. 9:20 — прогулка. 10:30 — возвращение. Обход начальника тюрьмы и другие бюрократические формальности. 12:00 — обед. 1:30 — сбор обеденных мисок. 5:30 — ужин, затем собираются инструменты до завтрашнего дня. 8:00 — сон.

Жизнь была более суровой, холодной и одинокой, чем когда-либо прежде, но ему помогал этот железный распорядок дня. Он всегда жил по строгому расписанию и под тяжелой рабочей нагрузкой — и школьником, и солиситором. Дней отдыха в его жизни было мало (поездка с Мод явилась редким исключением), а какой-либо роскоши еще меньше, не считая радостей ума и духа.

— Чего звездным особенно не хватает, — сказал капеллан во время первого своего еженедельного визита, — так это пива. Ну, да не только звездным, а и промежуточным, и обычным.

— К счастью, я не пью.

— А затем — сигарет.

— Опять-таки мне повезло и в этом отношении.

— И, в-третьих, газет.

Джордж кивнул.

— Признаюсь, это тяжелое лишение. У меня была привычка прочитывать за день три газеты.

— Если бы я мог чем-нибудь помочь… — сказал капеллан. — Но правила…

— Пожалуй, лучше обходиться вовсе без чего-то, чем надеяться иногда это получать.

— Если бы и другие смотрели на положение так! Я видывал, как люди буквально сходили с ума при мысли о сигарете или глотке пива. А некоторые страшно тоскуют по своим девушкам. Некоторые тоскуют по своей одежде, а некоторые так и по вещам, которых в свое время даже не замечали. Например, по запахам ночи с черного крыльца. Всем чего-то не хватает.

— Я вовсе не спокоен, — ответил Джордж. — Просто о газетах я могу думать практически. В других отношениях, полагаю, я такой же, как остальные.

— И чего же вам не хватает больше всего?

— О, — сказал Джордж, — мне не хватает моей жизни.

Капеллан как будто считал, что Джордж как сын

священника будет находить опору и утешение в религии. Джордж не вывел его из заблуждения, и часовню он посещал с большей охотой, чем большинство. Однако колени он преклонял, и пел, и молился всего лишь так, как выставлял свое ведро, и складывал постельные принадлежности, и работал — относясь к этому как к чему-то такому, что помогало ему прожить день. Большинство заключенных отправлялись работать в сараях, где плели циновки и корзины, звездный же в течение трех месяцев изоляции должен был работать у себя в камере. Джорджу выдавалась доска и связки грубой пряжи. Ему показали, как плести пряжу, пользуясь доской, точно шаблоном. Медленно и с большим трудом он сплетал плотные прямоугольники заданной величины. Когда он заканчивал шесть, их у него забирали. Тогда он начинал следующую партию, затем следующую.

Недели через две он спросил у надзирателя, для чего предназначаются эти прямоугольники.

— Ну, уж ты-то должен знать, двести сорок седьмой, уж ты-то должен знать.

Джордж попытался вспомнить, где он прежде мог видеть что-либо подобное. Когда стало ясно, что он действительно не понимает, надзиратель

взял два законченных прямоугольника, приподнял их к подбородку и начал открывать и закрывать рот, чавкая и хлюпая.

Джордж окончательно встал в тупик.

— Боюсь, я не знаю.

— Ну давай же! Сейчас дойдет! — И он начал чавкать все громче и громче.

— Не догадываюсь.

— Торбы для лошадей, двести сорок седьмой, торбы для лошадей. В самый раз, ведь ты-то в лошадях знаток.

Джордж оледенел. Надзиратель знает, они все знают. Они говорили об этом, отпускали шуточки.

— И их делаю только я?

Надзиратель ухмыльнулся.

— Не считай себя таким уж особенным, двести сорок седьмой. Ты плетешь, ты и еще десяток других. Некоторые их сшивают, некоторые вьют веревки, чтоб обвязывать лошади голову. Некоторые соединяют все воедино. А некоторые пакуют их для отправки.

Нет, он не был особенным. Это служило ему утешением. Он был просто заключенным среди заключенных, работал, как работали они. Кем-то, чье преступление было не более пугающим, чем

многих других; кем-то, кто мог выбрать, как вести себя: хорошо или скверно, но в реальности своего положения не имел никакого выбора. Даже солиситор не был особой редкостью, как указал начальник тюрьмы. Он решил оставаться нормальным, насколько позволяли обстоятельства.

Когда ему было сказано, что в изоляции он пробудет шесть месяцев вместо только трех, Джордж принял это спокойно и даже не спросил о причине. Собственно говоря, он считал, что «ужасы одиночного заключения», о которых твердили газеты и книги, были сильно преувеличены. Он предпочитал отсутствие всякого общества присутствию дурного. Ему по-прежнему разрешалось обмениваться словами с надзирателями, капелланом и начальником тюрьмы при его обходах, пусть даже ему приходилось ждать, чтобы они заговорили первыми. Он мог пользоваться своим голосом в часовне, чтобы петь псалмы и произносить отзывы. А во время прогулок обычно давалось разрешение разговаривать, хотя найти взаимоинтересную тему с субъектом, который шагает в пару с вами, не всегда так уж просто.

Сверх того в Льюисе имелась превосходная библиотека, и библиотекарь приходил дважды в неделю забирать книги уже прочитанные и

пополнить его полку. Ему разрешалось брать одну книгу «образовательного назначения» и одну «библиотечную» книгу в неделю. Под «библиотечной» книгой, как он узнал, подразумевалось что угодно — от бульварного романа до произведений классиков. Джордж поставил себе задачу прочесть все шедевры английской литературы и истории значительных наций. Естественно, ему разрешалось держать в камере Библию, хотя он все больше убеждался, что после четырех часов возни с доской и пряжей каждый день его манили не звучные кадансы Святого Писания, а следующая глава сэра Вальтера Скотта. По временам, запертый в своей камере, читая роман в полной безопасности от остального мира, краешком глаза замечая яркую расцветку своего постельного пледа, Джордж испытывал ощущение упорядоченности, почти граничившее с удовлетворением.

Из писем отца он знал, что его вердикт вызвал общественное возмущение.

Мистер Вулес встал на его защиту в «Истине», и собираются подписи под петицией, которую организует мистер Р. Д. Йелвертон, прежде председатель Верховного суда Багамских островов, а теперь подвизающийся в Темпле. Подписей

набиралось все больше, и уже многие солиситоры в Бирмингеме, Дадли и Вулвергемптоне выступили в его поддержку. Джордж был тронут, узнав, что среди подписавших были Гринуэй и Стентсон, они всегда были хорошими ребятами, эти двое. Расспрашивались свидетели, о характере Джорджа собирались отзывы его школьных учителей, коллег-юристов и членов его семьи. Мистер Йелвертон даже заручился письмом сэра Джорджа Льюиса, величайшего адвоката по уголовным делам тех дней, содержащим его взвешенное мнение, что осуждение Джорджа было неоспоримо безосновательным.

Видимо, в его пользу были сделаны какие-то официальные шаги, так как Джорджу разрешили получать больше сведений касательно его дела, чем полагалось обычно. Он прочитал несколько показаний в свою пользу. В том числе лиловую копию письма брата его матери, дяди Стоунхема из «Коттеджа» в Мач-Уэнлоке. «Что бы я ни видел сам и ни слышал о моем племяннике (пока не начали распространяться эти гнусности), я всегда находил его отзывчивым и слышал, что он отзывчив и умен». Что-то в этом подчеркивании глубоко тронуло сердце Джорджа. Не похвалы ему, которые его смутили, а подчеркивание. И

вот опять: «Я познакомился с мистером Идалджи, когда он был священником уже пять лет, и другие священнослужители отзывались о нем очень хорошо. Наши друзья в то время, как и мы сами, считали, что парсы очень древняя и высококультурная раса, обладающая разными высокими качествами». И еще в постскриптуме: «Мои отец и мать дали свое полное согласие на этот брак, а они питали глубочайшую привязанность к моей сестре».

Как сын и как заключенный Джордж не мог не растрогаться до слез, читая эти слова; как юрист он сомневался, что они произведут хоть малейшее впечатление на того чиновника министерства внутренних дел, кому в конце концов может быть поручено заняться петицией. Он одновременно ощущал и прилив безудержного оптимизма, и полное смирение со своей судьбой. Какая-то его часть хотела остаться в камере, плести торбы и читать произведения сэра Вальтера Скотта, простужаться, когда его стригли в морозном дворе, и снова слышать старую шуточку о постельных клопах. Он хотел этого, так как знал, что, вероятнее всего, такая судьба ему суждена, а наилучший способ смириться со своей судьбой — это желать ее. Другая его часть, желавшая об-

рести свободу завтра же, желавшая обнять мать и сестру, желавшая публичного признания, что над ним сотворили величайшую несправедливость, — этой части он не мог дать воли, так как результат мог обернуться для него величайшей болью.

А потому он постарался хранить стоицизм, когда узнал, что собрано уже десять тысяч подписей, возглавленных председателем Юридического общества, сэром Джорджем Льюисом и сэром Джорджем Берчвудом, кавалером ордена Индийской империи, признанным авторитетом в области медицины. Подписались сотни солиситоров, и не только в Бирмингеме и его окрестностях, а также королевский адвокат. Члены Парламента — включая и представителей Стаффордшира — и просто граждане всех политических оттенков. Были собраны показания под присягой у свидетелей, которые видели, как шахтеры и зеваки ходили там, где позднее констебль Купер обнаружил отпечатки его сапог. Мистер Йелвертон, кроме того, получил благоприятное заключение от мистера Эдварда Сьюэлла, ветеринара, к которому обращалось обвинение, затем не вызвавшее его в суд для дачи показаний. Петиция, законные обоснования и показания вместе соста-

вили «Прошение», адресованное министерству внутренних дел.

В феврале произошли два события. Тринадцатого этого месяца «Кэннок эдвертайзер» сообщил, что еще одно животное было располосовано точно так же, как в прошлых возмутительных зверствах. Спустя две недели мистер Йелвертон вручил «Прошение» министру внутренних дел мистеру Эйкерсу-Дугласу. Джордж разрешил себе предаться надежде. В марте произошли еще два события: петицию отклонили, а Джорджа поставили в известность, что по завершении шести месяцев его изоляции он будет переведен в Портленд.

Причину перевода ему не сказали, а он не спросил. Он предположил, что это способ сказать: теперь будешь и дальше отсиживать свой срок. Поскольку часть его все время этого и ожидала, то она — хотя и не очень большая — могла принять это известие философски. Он сказал себе, что сменил мир законов на мир правил, и, возможно, разница между ними не так уж велика. Тюрьма была окружающей средой попроще, поскольку правила не допускали толкований; однако скорее такая смена угнетала его меньше, чем тех, кто существовал вне закона и прежде.

Камеры в Портленде его не впечатлили. Они были сделаны из рифленого железа и, на его взгляд, напоминали собачьи конуры. Вентиляция тоже была скверной и осуществлялась через отверстие, прорезанное внизу двери. Звонки заключенным не были положены, и если вам требовалось поговорить с надзирателем, вы засовывали шапку под дверь. По этой же системе велась перекличка. По команде «шапки под дверь!», вы засовывали шапку в вентиляционную дыру. Таких перекличек полагалось четыре каждые сутки, но поскольку пересчет шапок оказался менее точным процессом, чем пересчет живых тел, очень часто его тут же повторяли.

Джордж приобрел новый номер D462. Буква указывала год его осуждения. Система эта началась вместе с веком: 1900 был годом A; Джордж, следовательно, был осужден в год D, 1903. На куртке и на шапке прикреплялись бляхи с номером заключенного и его сроком. Фамилии здесь употреблялись чаще, чем в Льюисе, тем не менее у вас вырабатывалась привычка узнавать человека по его бляхе. И потому Джордж был Д четыреста шестьдесят два…

Произошла и традиционная встреча с начальником тюрьмы. Однако этот, хотя и безупречно

вежливый, с первых же слов показал себя менее подбодряющим, чем его коллега в Льюисе.

— Вам следует знать, что попытки к бегству бесполезны. С Портлендского мыса никто еще ни разу не сбежал. Вы только потеряете возможность досрочного освобождения и ознакомитесь с радостями одиночного заключения.

— Думаю, что во всей тюрьме я последний, кто попытался бы бежать.

— Я это уже слышал, — возразил начальник. — Да, я уже слышал прежде абсолютно все. — Он взглянул на дело Джорджа. — Религия. Англиканская церковь, сказано тут.

— Да, мой отец…

— Сменить ее вы не можете.

Джордж не понял.

— У меня нет никакого желания менять религию.

— Очень хорошо. Но в любом случае сменить ее вы не можете. Не думайте, что вам удастся провести капеллана. Напрасная трата времени. Отбывайте свой срок и выполняйте правила.

— Таким всегда было мое намерение.

— Следовательно, вы либо разумнее, либо глупее большинства.

На этих загадочных словах начальник сделал

знак, чтобы Джорджа увели.

Камера у него была меньше, чем льюисская, но превосходила ее убогостью, хотя надзиратель, служивший прежде в армии, и заверил его, что она много лучше казармы. Сказал ли он правду или это было не поддающимся проверке утешением, Джордж узнать не мог. Впервые за тюремную карьеру у него сняли отпечатки пальцев. Он страшился минуты, когда врач определит, к какому физическому труду он способен. Все знали, что отправленные в Портленд получают в руки кирку, чтобы ломать камень в карьере, причем, без сомнения, учитывались и ножные кандалы. Однако его тревога оказалась необоснованной: лишь небольшой процент заключенных работал в карьерах, а звездных туда вообще не посылали. Далее, зрение Джорджа обеспечило признание его годным только для легкой работы. Врач также счел, что подниматься и спускаться по лестнице для него небезопасно, а потому его поместили в отделение № 1 на первом этаже.

Работал он у себя в камере. Готовил копру для набивки матрасов и волосы для набивки подушек. Копру сначала требовалось расчесать на доске, а затем расщипывать в ниточки: только так, сказали ему, она подойдет для мягчайших

постелей. Никаких доказательств этому утверждению представлено не было. Джордж ни разу не увидел дальнейшую стадию процесса, а его собственный матрас, безусловно, не был набит тончайше расщепленной копрой.

В середине его первой недели в Портленде его посетил капеллан. Его благодушная манера внушала мысль, что встретились они в ризнице в Грейт-Уайрли, а не в собачьей конуре с вентиляционной дырой, прорезанной внизу двери.

— Привыкаете? — осведомился он бодро.

— Начальник тюрьмы словно бы воображает, будто я только и думаю, что о побеге.

— Да-да, он это каждому говорит. По-моему (строго между нами двумя), побеги время от времени его радуют. Черный флаг поднят, пушка бухает, из казармы опрометью выскакивают стражники. Игру эту он всегда выигрывает, что ему тоже по вкусу. Никто никогда не сбегает с мыса. Не стражники, так законопослушные граждане схватят. За поимку беглеца положена награда в пять фунтов, а потому нет побуждения отвернуться. Затем пребывание в душилке и потеря права на досрочное освобождение. Так что смысла нет никакого.

— И еще начальник сказал, что мне не разре-

шается сменить религию.

— Совершенно верно.

— Но почему у меня может возникнуть такое желание?

— А! Вы же звездный. Еще не знаете всей подноготной. Видите ли, в Портленде содержатся только протестанты и католики. В соотношении примерно шесть к одному. Но ни единого иудея. Будь вы иудеем, вас отправили бы в Паркхерст.

— Но я не иудей, — сказал Джордж с несколько педантичным упрямством.

— Нет. Разумеется, нет. Но будь вы опытным рецидивистом — «обычным» — и реши вы, что Паркхерст посимпатичнее Портленда, вы могли бы в этом году быть выпущены на свободу ярым приверженцем англиканской церкви, однако к тому времени, когда полиция вас снова схватила бы, вы успели бы решить, что вы иудей. Тогда бы вас отправили в Паркхерст. Вот и ввели правило, запрещающее вам менять веру на протяжении отбытия срока. Иначе заключенные каждые шесть месяцев меняли бы веры просто от нечего делать.

— Раввина в Пархерсте, видимо, подстерегают всякие сюрпризы.

Капеллан засмеялся.

— Странно, как преступная жизнь может превратить человека в иудея.

Джордж затем обнаружил, что в Паркхерст отправляют не только иудеев; калеки и те, у кого не все ладно было на чердаке, также сплавлялись туда. Сменить религию в Портленде вы не могли, но стоило вам получить физическую или умственную травму, и вы обретали надежду на перевод. Поговаривали, что некоторые заключенные нарочно всаживали кирку себе в ступню или притворялись, будто на чердаке у них не все ладно — завывали, как псы, или клочьями рвали на себе волосы, — лишь бы добиться перевода. Многие из них оказывались в душилке, получив за свои усилия несколько дней на хлебе и воде.

«Портленд расположен в очень здоровой местности, — писал Джордж родителям. — Воздух свеж и бодрящ, и болезни — большая редкость». Ну, просто открытка из Аберистуита. Причем было это полной правдой, а он подыскивал для них все утешения, какие мог.

Он скоро свыкся с теснотой и пришел к выводу, что Портленд лучше Льюиса. Меньше бюрократических придирок и никаких идиотических правил о бритье и стрижке под открытым небом. Кроме того, правила, регулирующие разговоры

между заключенными, были более мягкими. И пища тоже была лучше. Он мог сообщить родителям, что обед каждый день другой и можно выбирать из двух супов. Хлеб с отрубями, «более полезный, чем из булочной», — писал он, вовсе не пытаясь избежать цензуры или подольститься, но искренне выражая свое мнение. А еще свежие овощи и салат. Какао превосходное, хотя чай скверный. Однако если отказаться от чая, то можно получить взамен овсянку или размазню, и Джорджа удивляло, что многие все-таки предпочитали скверный чай более питательной пище.

Он имел возможность сообщить родителям, что у него много теплого белья, а также свитеров, гетр и перчаток. Библиотека была даже лучше, чем в Льюисе, а право получать книги более щедрым: каждую неделю он мог брать две «библиотечные» книги — плюс четыре образовательного назначения. Имелись все ведущие журналы в подшивках. Однако и книги, и журналы были очищены тюремными властями от нежелательного материала. Джордж взял историю новейшего английского искусства для того лишь, чтобы обнаружить, что все иллюстрации с картинами сэра Лоренса Альмы-Тадемы были аккуратно вырезаны официальной бритвой. На

переплете этого тома красовалось предупреждение, которым были снабжены все библиотечные книги: «Страниц не загибать!» Ниже какой-то тюремный остряк приписал: «И не вырезать страниц!»

С гигиеной дело обстояло не лучше, хотя и не хуже, чем в Льюисе. Если вам требовалась зубная щетка, надо было обращаться к начальнику тюрьмы, который как будто отвечал «да» или «нет» в согласии с личной и очень прихотливой системой.

Как-то утром, когда ему потребовался брусок для полировки металла, Джордж спросил у надзирателя, нельзя ли его получить.

— Брусок, D четыреста шестьдесят два! — ответил надзиратель, чьи брови подскочили почти до козырька кепи. — Брусок! Ты совсем фирму обанкротишь! Может, еще захочешь торта кусок?

На чем дело и кончилось.

Джордж каждый день работал с копрой и волосом; он совершал прогулку согласно инструкции, хотя без полезной физической нагрузки; он брал из библиотеки все разрешенное ему количество книг. В Льюисе он успел привыкнуть есть только с помощью жестяного ножа и деревянной ложки и к тому факту, что нож часто оказывался бесси-

лен против тюремной говядины или баранины. И отсутствие вилки он замечал не больше, чем отсутствие газет. Более того: отсутствие утренней газеты он определил как положительный фактор: без этого ежедневного подстегивания со стороны внешнего мира он с большей легкостью приспособился к течению времени. События, происходившие теперь в его жизни, происходили внутри тюремных стен; как-то утром заключенный C183, отбывавший восемь лет за грабеж, умудрился забраться на крышу, откуда оповестил мир, что он — Сын Бога, капеллан предложил влезть туда по приставной лестнице и обсудить с ним теологические последствия, однако начальник решил, что это просто еще одна попытка добиться перевода в Паркхерст. В конце концов голод заставил его слезть оттуда, и его сопроводили в душилку. C183 в конце концов признал, что он сын гончара, а не плотника.

Джордж пробыл в Портленде несколько месяцев, когда произошла попытка сбежать. Двое — C202 и B178 — сумели припрятать в своей камере лом. Они проломили потолок, с помощью веревки выбрались во двор и перелезли через стену. Когда в следующий раз раздалась команда «Шапки под дверь!», произошло замешательство:

двух шапок недосчитались. За новым пересчетом шапок последовал пересчет живых тел. Черный флаг был поднят, пушка выстрелила, и заключенных продержали под замком вместо прогулки. Джордж ничего против не имел, хотя и не разделил всеобщее волнение и не присоединился к заключениям пари на исход побега.

Двое беглецов получили двухчасовую фору, но обычные полагали, что они затаятся до ночи и только тогда попытаются выбраться с мыса. Однако, когда во дворе тюрьмы спустили собак, B178 был незамедлительно обнаружен: он прятался в сарае и на все корки ругал лодыжку, которая сломалась, когда он прыгал с крыши. Поиски C202 заняли больше времени. На всех обрывах Чизил-Бич были расставлены часовые; на воду спущены лодки на случай, если беглец попробует скрыться вплавь; солдаты перекрыли Вейсмутскую дорогу. Были обшарены карьеры, проводились обыски близлежащих поместий и ферм. Но ни солдаты, ни тюремные стражники C202 не нашли; его, связанного по рукам и ногам, доставил хозяин гостиницы, наткнувшийся на него в своем погребе, где и скрутил его с помощью возчика. Кабатчик добился личной передачи его офицеру стражи и получения векселя на пять фунтов за поимку.

Возбуждение заключенных сменилось разочарованием, а обыски камер на время участились. Вот этот аспект своей нынешней жизни Джордж находил более неприятным, чем в Льюисе, в значительной мере потому, что в отношении него обыски эти были абсолютно лишними. Начиналось с команды «расстегнись!», затем надзиратели «растирали» заключенного, убеждаясь, что в одежде у него ничего не спрятано. Они ощупывали его всего, проверяли карманы и даже разворачивали его носовой платок. Для заключенных это было тягостно, а для надзирателей, думал Джордж, и вовсе омерзительно, так как одежда большинства узников в силу их работы была грязной и засаленной. Некоторые надзиратели отличались дотошностью, а другие не заметили бы молотка и зубила, припрятанных заключенным на себе.

Затем была «перетряска», цель которой заключалась словно бы в систематическом разгроме камеры, смахивании книг на пол, перетряске постели и выскребывании потенциальных тайников, о существовании которых Джордж никогда бы и не догадался. Однако куда хуже был обыск «сухая баня». Вас отводили в баню и ставили на сухую решетку. Вы снимали с себя

все до последней нитки, исключая рубашку. Надзиратели тщательно осматривали каждый предмет. Затем вы были вынуждены терпеть унижения — задирать ноги, сгибаться в три погибели, открывать рот, высовывать язык. Сухие обыски иногда проводились регулярно, иногда вразнобой. Джордж высчитал, что подвергается этому унижению по меньшей мере столь же часто, как другие заключенные. Возможно, когда он упомянул о полном отсутствии желания бежать, это сочли за уловку.

Вот так проходили месяцы, затем завершился первый год и большая часть второго. Каждые шесть месяцев его родители совершали длинную поездку из Стаффордшира, и им разрешалось провести с ним час под надзором стражника. Эти посещения были для Джорджа пыткой, и не потому, что он не любил своих родителей, но потому, что ему нестерпимо было видеть их страдания. Его отец теперь словно бы ссохся, а его мать, казалось, не могла смотреть на место, где был заключен ее сын. Джордж обнаружил, что ему трудно находить с ними верный тон: если он держался бодро, они думали, что он притворяется, а если уныло, он ввергал их во все большее уныние. В результате он поймал себя на том, что

держится нейтрально-внимательно, но безразлично, точно железнодорожный кассир.

Вначале Мод считали слишком хрупкой для этих поездок, но затем как-то раз она приехала вместо матери. Говорить у нее практически не было возможности, но всякий раз, когда Джордж посматривал на нее, он встречал тот же твердый сосредоточенный взгляд, который помнил с суда в Стаффорде. Словно она старалась влить в него силы, передать что-то из своего сознания его сознанию без посредства слов и жестов. Позднее он поймал себя на мысли, что, быть может, он (они) ошибались насчет Мод и ее предполагаемой хрупкости.

Священник ничего не замечал. Он был слишком поглощен необходимостью растолковать Джорджу, как, ввиду изменения правительства — о чем Джордж практически понятия не имел, — неутомимый мистер Йелвертон возобновляет свою кампанию. Мистер Вулес планирует новую серию статей в «Истине», а сам священник намерен выпустить собственный памфлет. Джордж постарался придать себе оптимистический вид, но про себя счел энтузиазм отца глупым. Да, могут быть собраны новые подписи, но суть его дела от этого не изменится, так почему должна

измениться позиция официальных лиц?

Кроме того, он знал, что министерство внутренних дел наводнено петициями из всех тюрем страны. Четыре тысячи прошений подавалось туда ежегодно, и дополнительная тысяча прибывала из других источников поддержки заключенных. Но у министерства внутренних дел не было ни возможности, ни права пересматривать дела; оно не могло ни допрашивать свидетелей, ни выслушивать адвокатов. Могло оно только проверить документацию и дать соответствующую рекомендацию Короне. Это означало, что оправдание было статистической редкостью. Положение могло бы быть иным, существуй апелляционные суды, которые бы действовали более активно в исправлении несправедливостей. Но при данном положении вещей вера священника в то, что часто повторяющиеся заявления о невиновности, подкрепленные силой молитвы, обеспечат освобождение его сыну, показалась Джорджу крайне наивной.

Как ни удручала его эта мысль, но Джордж убедился, что свидания с отцом не служат ему поддержкой. Они нарушали упорядоченность, успокоенность жизни, а без упорядоченности и успокоенности, думал он, ему вряд ли удастся

дожить до конца своего срока. Некоторые заключенные тщательно считали дни, остающиеся им до освобождения. Джордж мог выдержать тюремную жизнь, только ведя ее как единственную, которая у него есть или может быть. Его родители рассеивали эту иллюзию, как и упования его отца на мистера Йелвертона. Возможно, если бы Мод позволили одной приезжать к нему, она наполняла бы его силой, тогда как родители наполняли его тревогой и стыдом. Но он знал, что этого не разрешат никогда.

Обыски продолжались — «растирания» и «сухие бани». Он начитался истории в пределах, о которых прежде и не подозревал, покончил со всеми классиками и теперь перешел на писателей рангом пониже. Кроме того, он ознакомился со всеми подшивками журналов «Корнхилл мэгезин» и «Стрэнд». И начал тревожиться, что скоро истощит библиотечные закрома.

Как-то утром его отвели в кабинет капеллана, сфотографировали в анфас и в профиль, затем предписали отрастить бороду. Ему было сказано, что через три месяца его снова сфотографируют. Цель всего этого Джордж мог понять и сам: фотографии будут в распоряжении полиции, если в будущем он даст им повод разыскивать его.

Необходимость отращивать бороду ему не понравилась. Усы он носил, едва это позволила Природа, но в Льюисе ему было приказано сбрить их. И теперь ему никакого удовольствия не доставляла колючая щетина, с каждым днем расползавшаяся по его щекам и подбородку; ему не хватало ощущения бритвы на лице. И он не приветствовал вид, который придавала ему борода, — прямо-таки уголовника. Надзиратели посмеивались, что у него теперь есть новый тайник. Он продолжал расщеплять копру и читать Оливера Голдсмита. Впереди маячили еще четыре года его срока.

И тут внезапно все перемешалось. Его отвели сфотографироваться в анфас и в профиль. Затем отправили бриться. Цирюльник сообщил ему, что, на его счастье, он не в Стрэнжеуэйсе, не то с него взыскали бы за эту операцию восемнадцать пенсов. Когда он вернулся к себе в камеру, ему было велено собрать свои немногие вещи и быть готовым к переводу. Его отвезли на станцию и с эскортом посадили в поезд. Ему было невыносимо смотреть в окошко на сельскую местность, чье самое существование казалось насмешкой над ним, как и каждая лошадь или корова, пасшаяся там. Он понял, как люди сходят с ума от

отсутствия простого и привычного.

Когда поезд прибыл в Лондон, его посадили в кеб и отвезли в Пентонвиль. Там ему было сказано, что его готовят к освобождению. День он провел взаперти и в одиночестве — в ретроспекции самый тоскливый день за все три его тюремных года. Он знал, что ему следует чувствовать себя счастливым, а вместо этого освобождение ввергло его в ту же растерянность, что и арест. Пришли два детектива и вручили ему документы; ему было предписано явиться в Скотленд-Ярд для дальнейших инструкций.

В десять тридцать утра 19 октября Джордж Идалджи покинул Пентонвиль в кебе вместе с иудеем, который тоже освобождался. Он не спросил, был ли тот подлинным иудеем или тюремным иудеем. Кеб высадил его спутника у дверей Общества помощи еврейским заключенным, а его отвез к дверям Общества помощи церковной армии. Заключенные, вступавшие в такие общества, получали право на двойное вспомоществование при освобождении. Джорджу вручили 2 ф. 9 шил. 10 п. Затем офицеры общества отвезли его в Скотленд-Ярд, где ему объяснили условия его условно-досрочного освобождения. Он обязан сообщить адрес, где будет проживать;

раз в месяц он должен являться в Скотленд-Ярд и должен заранее сообщать туда о любых планах уехать из Лондона.

Какая-то газета отправила фотографа в Пентонвиль, чтобы запечатлеть Джорджа Идалджи, выходящего из тюрьмы. По ошибке фотограф сфотографировал заключенного, освобожденного за полчаса до Джорджа, а потому газета опубликовала снимок не того человека.

Из Скотленд-Ярда его отвезли туда, где его ждали родители.

Он был свободен.

Артур

И тут он знакомится с Джин.

Ему остается несколько месяцев до его тридцать восьмого дня рождения. В этом году его портрет пишет Сидней Паджет. Он сидит, выпрямив спину, в мягком кресле, сюртук полурасстегнут, видна часовая цепочка с брелоками, в левой руке — записная книжка, в правой — серебряный механический карандаш. Волосы на висках у него теперь отступили, но эта утрата не столь бросается в глаза благодаря великолепию усов. Они владеют его лицом над верхней губой и далее, простираясь нафиксатуаренными зубочистками за линию ушных мочек. Они придают Артуру властный вид военного прокурора, чью власть подкрепляет рассеченный на четыре квадрата герб в верхнем углу портрета.

Артур первый готов признать, что женщин он знает как джентльмен, а не как распутник. Бывал веселый флирт в юности — даже эпизод, включавший летучую рыбку. Была крепышка Элмор Уэлдон, которая, не будь это неджентльменским наблюдением, весила-таки одиннадцать стоунов. И есть Туи, которая с годами стала ему сестрой-

спутницей, а затем, внезапно, — больной сестрой. Разумеется, есть его настоящие сестры. Есть статистика проституции, которую он почитывает в клубе. Есть истории, рассказываемые за портвейном, истории, которые он иногда отказывается слушать, истории, например, касающиеся особых кабинетов в надежных ресторанах. Есть гинекологические случаи, которые он наблюдал, роды, на которых он присутствовал, и заболевания среди портсмутских матросов и других мужчин без нравственных принципов. Его понимание полового акта достаточно полно, хотя касается более злополучных последствий, чем приятных прелиминарии и осуществлений.

Его мать — единственная женщина, чьему управлению он готов подчиняться. Для других женщин он играл разные роли — старшего брата, замены отца, главенствующего мужа, выписывающего рецепты врача, щедрого дарителя чеков с непроставленными суммами и Санта Клауса. Он полностью согласен с разделением и отношением полов, которые общество в мудрости своей вырабатывало столетиями. Он решительно против идеи права голоса для женщин: когда мужчина возвращается домой после дневных трудов, ему не требуется политик, сидящий напротив него

у камина. Меньше зная женщин, он способен идеализировать их больше. Так, считает он, и должно быть.

Поэтому Джин возникает в его жизни точно шок. Он уже давно не смотрит на молодых женщин, как обычно смотрят на них молодые мужчины. Женщины — молодые женщины, — кажется ему, должны быть не сформированными; они поддаются лепке, послушны, уступчивы и ждут, чтобы их сформировало воздействие мужчин, за которых они выходят замуж. Они утаивают себя, они высматривают и ждут, они позволяют себе благовоспитанную игривость (которая никогда не должна переходить в кокетство) до того момента, пока мужчина не проявит интерес, а затем растущий интерес, а затем особый интерес, к каковому времени они уже прогуливаются вдвоем и познакомились семьями, и, наконец, он просит ее руки, и иногда, быть может, в заключительном утаивании, она заставляет его ждать ее ответа. Вот во что все это развилось, а у социальной эволюции есть свои законы и свои необходимости, совершенно так же, как у биологической. Дело не обстояло бы именно так, если бы не было веских причин, чтобы оно обстояло именно так. Когда его знакомят с Джин (на званом чаепитии в доме

именитого лондонского шотландца, на такого рода светском рауте, которых он обычно предпочитает избегать), он сразу же замечает, что она впечатляющая молодая женщина. По долгому опыту он знает, чего ждать: впечатляющая молодая женщина спросит его, когда он напишет новый рассказ о Шерлоке Холмсе, и правда ли, что тот действительно погиб в Рейхенбахском водопаде, и, пожалуй, не лучше ли, чтобы сыщики-консультанты женились, и как вообще ему пришла идея писать эти рассказы? И он иногда отвечает с утомленностью человека, одетого в пять пальто, а иногда ухитряется слегка улыбнуться и говорит: «Ваш вопрос, милая барышня, напоминает мне, почему у меня вообще достало здравого смысла сбросить его в водопад».

Но Джин ведет себя совершенно не так. Она не вздрагивает от лестного удивления, услышав его фамилию, и не признается застенчиво, что она — его преданная читательница. Она спрашивает его, видел ли он выставку фотографий путешествия доктора Нансена на дальний Север.

— Пока еще нет. Хотя я был в Альберт-Холле, где он выступил с лекцией перед Королевским географическим обществом и получил медаль из рук принца Уэльского.

— Я тоже там была, — говорит она. И это неожиданно.

Он рассказывает ей, как несколько лет назад, прочитав очерки Нансена о переходе на лыжах через всю Норвегию, он приобрел пару лыж; как в Давосе он спускался по верхним склонам с братьями Брангерами и как Тобиас Брангер написал «спортсмен» в регистрационной книге отеля. Затем он начинает историю, которую часто рассказывает вдобавок к этой. О том, как потерял лыжи на вершине снежного ската и был вынужден спуститься без них и как трение о сиденье его брюк… И это, право же, один из лучших его анекдотов, хотя в данных обстоятельствах он подправит финал о том, как до конца дня чувствовал себя лучше всего, когда стоял, прижимая сиденье брюк к стене… но она словно перестала слушать. Он растерянно умолкает.

— Мне хотелось бы научиться ходить на лыжах, — говорит она. Это тоже неожиданно.

— У меня прекрасное чувство равновесия. Я начала ездить верхом с трех лет.

Артур несколько раздражен, что ему не дали докончить историю о том, как он протер свои брюки, включающую имитацию восхвалений его портного по адресу прочности гаррисов-

ского твида. А потому он твердо говорит ей, насколько маловероятно, чтобы женщины (тут он подразумевает женщин высших сословий в противоположность швейцарским крестьянкам) когда-либо научились ходить на лыжах, учитывая требующуюся физическую силу, а также опасности, сопряженные с этим занятием.

— Ну, я очень сильная, — отвечает она. — И, полагаю, балансирую лучше вас, учитывая вашу внушительность. Вероятно, более низкий центр тяжести более выгоден. Ну и поскольку я куда менее тяжела, то, упав, пострадаю гораздо меньше.

Скажи она «менее тяжела», такая дерзкая вольность могла бы его оскорбить, но она сказала «куда менее тяжела», и он разражается смехом и обещает как-нибудь научить ее ходить на лыжах.

— Ловлю вас на слове, — отвечает она.

Это было довольно необычное знакомство, размышляет он про себя в последующие дни. То, как она уклонилась от признания его писательской славы, сама задала тему разговора, перебила одну из популярнейших его историй, высказала честолюбивое желание, которое многие сочли бы малопристойным для благовоспитанной девицы, и посмеялась (ну, практически посмеялась) над

его внушительностью. И тем не менее все это — легко, серьезно, чарующе. Артур поздравляет себя с тем, что не оскорбился, пусть намерения оскорбить и не было. Он ощущает что-то, чего не ощущал уже многие годы: самодовольство от успешного флирта. А затем он ее забывает.

Полтора месяца спустя он заглядывает днем на музыкальное собрание — и вот она. Поет одну из шотландских песен Бетховена, а рьяный коротышка в белом галстуке ей аккомпанирует. Он находит ее голос великолепным, аккомпаниатора — тщеславным позером. Артур отступает подальше, чтобы она не увидела, что он наблюдает за ней. После ее выступления они встречаются в водовороте других людей, и она ведет себя с той вежливостью, которая мешает судить, помнит ли она его или нет.

Они расходятся; но под стоны, которые на заднем плане какой-то жуткий виолончелист извлекает из своего инструмента, они снова встречаются, на этот раз без присутствия кого-либо еще. Она сразу же говорит:

— Вижу, мне придется ждать не меньше девяти месяцев.

— Ждать чего?

— Моих лыжных уроков. Сейчас никакой на-

дежды на снег больше нет.

Он не обнаруживает в ее словах ни развязности, ни флирта, хотя и знает, что следовало бы.

— Вы планируете их в Гайд-парке? — спрашивает он. — Или в Сент-Джеймском парке? А может быть, на склонах Хэпмстед-Хита?

— А почему бы и нет? Где захотите. Шотландия. Или Норвегия. Или Швейцария.

Словно бы незаметно для него они прошли через стеклянные двери, пересекли террасу, а теперь стоят под тем самым солнцем, которое давно уничтожило все надежды на снег. Никогда еще он так не досадовал на погожий день.

Он смотрит в ее карие глаза.

— Вы флиртуете со мной, барышня?

Она отвечает ему прямым взглядом.

— Я говорю с вами о лыжах.

Но звучат эти слова лишь формально.

— Потому что в таком случае берегитесь, как бы я в вас не влюбился.

Он почти не сознает, что он такое сказал. Наполовину он говорил с полной искренностью, а наполовину не мог понять, что на него нашло.

— Но вы уже. Влюблены в меня. А я в вас. Нет никаких сомнений. Ни малейших.

И вот это сказано. И слова больше не нужны. И

не произносятся. Пока. Теперь имеет значение, только каким образом он снова ее увидит, и где, и когда. И все это нужно решить прежде, чем им кто-нибудь помешает. Но он никогда не был ловеласом или соблазнителем и не знает, как сказать то, что необходимо, чтобы достичь стадии, следующей за той, на которой он находится сейчас, — при этом, в сущности, не понимая, в чем может заключаться эта следующая стадия, поскольку по-своему его положение сейчас выглядит окончательным. В голове у него кружатся только трудности, запреты, причины, почему они больше не встретятся, разве что через десятки лет, случайно, когда будут старыми и седыми и смогут пошутить об этой незабываемой минуте на чьем-то залитом солнцем газоне. В общественном месте они встретиться не могут из-за ее репутации и его славы; в укромном месте они встретиться не могут из-за ее репутации и… и всего того, что составляет его жизнь. Он стоит там, мужчина, приближающийся к сорока годам, мужчина, обезопасивший свою жизнь и прославленный в мире, и он вновь стал школьником. У него такое ощущение, будто он выучил самую прекрасную любовную речь из созданных Шекспиром, а теперь, когда надо ее произнести,

во рту у него сухо, а в памяти пусто. И еще он чувствует, будто протер сиденье своих твидовых брюк и должен немедленно найти стену, чтобы прижаться к ней спиной.

Тем не менее, хотя он не сознает ее вопросы и свои ответы, все каким-то образом устраивается. И это не тайное свидание, не начало любовной интриги, а просто следующий раз, когда они снова увидят друг друга, и в течение пяти дней, которые он вынужден ждать, он не в состоянии работать, он едва способен думать, и даже если он в один день играет две партии в гольф, то обнаруживает, что в секунды между занесением клюшки и ударом по мячу в голове у него возникает ее лицо, и его игра в этот день — сплошные удары по земле, промахи и угроза для диких зверюшек. Когда он посылает мяч из одной ямы с песком прямо в другую, ему внезапно вспоминается гольф на поле отеля «Мена-Хаус» и то ощущение, будто он вечно заключен в песчаной яме. Теперь он не сможет сказать, все ли это по-прежнему правда или даже еще большая правда, чем прежде, — с песком более глубоким и его невидимо погребенным мячом, или же он каким-то образом навсегда на зеленом дерне.

Это не тайное свидание, хотя из кеба он выхо-

дит на углу. Это не тайное свидание, хотя имеется женщина неопределенного возраста и сословия, которая открывает ему дверь и исчезает. Это не тайное свидание, хотя наконец-то они одни сидят вдвоем рядом на диване, обитом узорчатым атласом. Это не тайное свидание, потому он говорит себе, что это не так.

Он берет ее за руку и смотрит на нее. Ее взгляд не застенчив и не дерзок, он откровенен и постоянен. Она не улыбается. Он знает, что кто-то из них должен заговорить, но он словно утратил обычную привычку к словам. Впрочем, это не имеет значения. А потом она чуть улыбается и говорит:

— Я не смогла дождаться снега.

— Я буду дарить вам подснежники в каждую годовщину нашей встречи.

— Пятнадцатого марта, — говорит она.

— Я знаю. Я знаю, потому что так выгравировано в моем сердце. Если меня вскроют, то прочтут эту дату.

Новое молчание. Он сидит там, примостившись на краешке дивана, и жаждет сосредоточиться на ее словах, ее лице, на этой дате, на мысли о подснежниках, но все это сметает сознание, что у него стоит так, как никогда еще в жизни не стояло. Нет, не благопристойное набухание у

рыцаря с чистым сердцем, а подпрыгивающее наличие, от которого никуда не деться, нечто буйно-грубое, нечто уличное, нечто полностью соответствующее этому вульгарному слову «стоит», которое сам он ни разу в жизни не произнес, но которое теперь стучит у него в голове. И он способен еще только на одну спасительную мысль: какое счастье, что брюки у него широкого покроя. Он слегка меняет позу, чтобы облегчить давление, и при этом нечаянно придвигается к ней на несколько дюймов. Она — ангел, думает он, ее взгляд так чист, цвет ее лица так нежен, но она приняла его движение за знак, что он намерен ее поцеловать, и потому доверчиво подставляет ему свое лицо, и как джентльмен он не может ее оттолкнуть, и как мужчина он не может удержаться, чтобы не поцеловать ее. Будучи не ловеласом или соблазнителем, а плотного сложения высокопорядочным человеком, приближающимся к началу пожилого возраста, он пытается думать только о любви и рыцарственности, а ее губы приближаются к его усам и неумело ищут рот под ними. Крепко сжимая, почти раздавливая ее руку, которую взял в свою с первой минуты, он начинает осознавать сильнейшую и бурную протечку у себя в брюках. И

стон, который он издает, почти наверное неправильно истолковывается мисс Джин Леки, как и его неожиданное движение, когда он внезапно откидывается от нее, будто пораженный ассегаем между лопатками.

В мозгу Артура возникает образ, образ из глубины десятилетий. Ночь в Стонихерсте, иезуит, бесшумно обходящий дортуары, чтобы воспрепятствовать мальчишеским мерзостям. Это действовало. И вот теперь и в обозримом будущем ему требуется собственный дежурный иезуит. То, что случилось в этой комнате, больше случаться не должно. Никогда. Как врач он может счесть такой момент объяснимым, как английский джентльмен считает его постыдным и крайне неловким. Он не знает, кого предал больше: Джин, Туи или себя. Безусловно, в какой-то мере всех троих. И больше это случаться не должно. Никогда.

Внезапность — вот что его подкосило. И еще пропасть между грезами и реальностью. В рыцарских романах рыцарь любит недостижимую — супругу своего сюзерена, например, — и совершает подвиги во имя нее; доблесть сочетается в нем с чистотой. Но Джин не недостижима, а Артур не тайный воздыхатель или ничем не

связанный рыцарь. Нет, он женатый мужчина, и его трехлетнее целомудрие было предписано врачом. Он весит пятнадцать… нет, шестнадцать стоунов, в отличной форме, энергичен — и вот вчера он сбросил свое семя в подштанники.

Однако теперь, когда дилемма предстала в полной четкости и ужасности, Артур способен подступить к ней. Его мозг начинает работать над практическими аспектами любви, как однажды работал над практическими аспектами болезни. Он формулирует проблему (Проблему? Нет, терзающую, сокрушающую радость и муку!) следующим образом: ему невозможно не любить Джин. А ей невозможно не любить его. Ему невозможно развестись с Туи, матерью его детей, к которой он все еще относится с братской привязанностью и уважением, не говоря уж о том, что только подлец бросит больную женщину. И наконец: невозможно превратить роман в интрижку, сделав Джин своей любовницей. У всех троих есть его или ее честь, даже если Туи и не знает, что ее честь рассматривается *in absentia*.[14] Это обязательное условие: Туи ничего знать не должна.

---

[14] Примечания: 14
без личного присутствия *(лат.)* — юридический термин.

Когда они с Джин встречаются в следующий раз, он берет дело в свои руки. Иначе нельзя: он — мужчина, он старше; она — молодая девушка, возможно, импульсивная, чью репутацию ни в коем случае нельзя запятнать. Поначалу она как будто встревожена, словно он намерен отвернуться от нее; но затем, едва становится ясно, что он просто устанавливает условия их взаимоотношений, она успокаивается и иногда словно бы даже не слушает. Но вновь тревожится, когда он подчеркивает, насколько осторожными им следует быть.

— Но нам дозволяется целовать друг друга? — спрашивает она, будто проверяя условия контракта, который радостно подписала с повязкой на глазах.

От ее тона его сердце тает, а мозг туманится. В подтверждение этого контракта они целуются. Она предпочитает чмокать его с открытыми глазами птичьими наскоками; он предпочитает долгое склеивание губ с закрытыми глазами. Ему не верится, что он снова кого-то целует, не говоря уж, что целует ее. Он пытается заставить себя не думать, чем и как это отличается от того, чтобы целовать Туи. Затем вновь возникает шевеление, и он отстраняется.

Они будут встречаться; будут вдвоем проводить наедине ограниченное время; целоваться им дозволено; увлекаться они не должны. Их ситуация крайне опасна. Но опять-таки она слушает вполуха.

— Мне пора уйти из дома, — говорит она. — Я могу снять квартиру с другими женщинами. Тогда ты сможешь свободно приходить повидаться со мной.

Она так не похожа на Туи — прямолинейная, откровенная, без лишних предрассудков. С самого начала она держалась с ним как равная. И она равна ему — согласно условиям их любви, это разумеется само собой. Но на нем лежит ответственность за них и за нее. Он должен позаботиться, чтобы ее прямота не навлекла на нее бесчестия.

В следующие недели выпадают моменты, когда он начинает прикидывать, не ждет ли она, что он сделает ее своей любовницей. Увлеченность ее поцелуев, разочарование, когда он отстраняется; то, как она прижимается к нему, иногда возникающее у него ощущение, будто она точно знает, что происходит с ним. И тем не менее он не имеет права так думать. Она не такая: отсутствие у нее фальшивой целомудренности просто знак,

что она всецело ему доверяет и доверяла бы ему, даже не будь он человеком с принципами, таким, каков он есть.

Но этого мало, чтобы разрешить практические трудности их отношений, а кроме того, ему требуется нравственное одобрение. На вокзале Сент-Панкрас Артур садится в поезд до Лидса, исполненный внутренней дрожи. Мам остается его верховным арбитром. Она еще в рукописи прочитывает до единого слова все, что он пишет, и аналогично контролирует его эмоциональную жизнь. Только Мам может подтвердить, что придуманный им образ действий верен.

В Лидсе он садится на карнфордский поезд и в Клэпеме пересаживается до Инглтона. Она ждет у станции в своей запряженной пони двуколке; на ней красный жакет и белый чепец — обычный ее наряд в последние годы.

Две мили тряски в двуколке кажутся Артуру бесконечными. Мам все время говорит о своем пони, которого зовут Муи, про его чудачества: например, он отказывается трусить мимо паровых машин. Отсюда необходимость избегать мест, где ведутся дорожные работы, и угождать всем лошадиным прихотям. Наконец они добираются до Мейсонгилл-коттеджа. Внутри его стен Артур

незамедлительно рассказывает Мам обо всем. То есть обо всем, что имеет значение. Все, что необходимо для того, чтобы она могла дать ему совет об этой его высокой ниспосланной Небом любви.

Он путается, он начинает заново, он излагает излишние подробности. Подчеркивает древность рода Джин, ее шотландскость, происхождение, которое не может не пленить любителей копаться в генеалогиях. Ее происхождение восходит к Мализу де Легге в тринадцатом веке, а по другой линии так и к самому Роб-Рою. Касается ее современного положения под кровом богатых родителей в Блэкхите. Семейство Леки, респектабельное и религиозное, составило свое состояние на чае. Затем ее возраст — двадцать один год. Ее чудесное меццо-сопрано, обработанное в Дрездене, а вскоре долженствующее получить полировку во Флоренции. Ее замечательный талант наездницы, с которым ему еще предстоит познакомиться. Ее быстрая участливость, ее искренность и сила характера. И ее внешность, толкающая Артура на панегирик. Тонкая фигура, маленькие руки и ноги, темно-золотые волосы, зелено-карие глаза, мягкий овал лица, его нежный матовый цвет.

— Ты раскрашиваешь фотографию, Артур.

— Если бы у меня была ее фотография! Я просил, но она говорит, что они все неудачны. Ей трудно улыбаться перед камерой, так как она стесняется своих зубов. Это она сказала мне совершенно откровенно. Считает их слишком крупными. Разумеется, они безупречны. Она такой ангел!

Мам слушает исповедь сына и не упускает заметить, какую странную параллель подстроила жизнь. Много лет она была замужем за человеком, которого общество вежливо предпочло считать тяжело больным — и когда его привозили домой корыстолюбивые извозчики, и когда его заперли в приюте под видом эпилептика. В его отсутствии и безумии она обрела утешение в обществе Брайана Уоллера. В те дни ее хмурый агрессивный сын осмеливался критиковать, иногда молчанием почти ставя под сомнение ее честь. И теперь ее самый обожаемый ребенок в свою очередь открыл, что сложности жизни не кончаются у алтаря. Кое-кто может сказать, что там они только начинаются.

Мам слушает; она понимает; и она оправдывает. То, как Артур поступил, — правильно и согласуется с честью. И ей бы хотелось познакомиться с этой мисс Леки.

Они знакомятся, и Мам одобряет, как одобрила

Туи в дни Саутси. И это не бездумное потакание избалованному сыну. С точки зрения Мам Туи, податливая и милая, была именно той женой, которая требовалась честолюбивому, но и растерянному молодому доктору, ищущему быть принятым в обществе, которое обеспечит ему пациентов. Но если бы Артур женился сейчас, ему была бы нужна женщина вроде Джин, обладающая собственными способностями, с открытым прямым характером, который иногда кажется Мам похожим на ее собственный. И про себя она отмечает, что это первая дорогая ему женщина, которой он не дал прозвища.

Громкий телефон Гоуэра-Белла в форме канделябра стоит в холле «Под сенью». У него есть собственный номер — Хайнхед 237, — и благодаря имени и репутации Артура он в отличие от многих других не спарен с телефоном соседнего дома. Тем не менее Артур никогда не пользуется им, чтобы звонить Джин. Он не в силах вообразить, как станет ждать, когда дом опустеет — слуги разойдутся, дети в школе, Туи отдыхает, а Вуд ушел прогуляться, а тогда будет стоять в холле, понижая голос, спиной к лестнице, — стоять под витражными именами и гербами своих предков. Он не может вообразить себя в подобном поло-

жении; это же явится доказательством интриги — не столько для тех, кто может увидеть его в этой позе, сколько для него самого. Телефон — излюбленный инструмент прелюбодея.

И его средства общения — письмо, записка, телеграмма; он общается при помощи слов и подарков. Месяца три — и Джин вынуждена объяснить, что пространство в квартире, которую она занимает, ограничено, и хотя она делит ее с проверенными подругами, звонки рассыльных создают неловкость. Женщин, которые получают значительное число подарков от джентльменов — или, еще более компрометирующе, от какого-то одного джентльмена, — принимают за любовниц, в лучшем случае — за потенциальных любовниц. Когда она указывает на это, Артур упрекает себя за глупость.

— Кроме того, — говорит Джин, — мне не нужно заверений. Я уверена в твоей любви.

В первую годовщину их встречи он приносит ей один подснежник. Она говорит ему, что такой подарок дает ей больше радости, чем любое количество драгоценностей, или платьев, или цветов в горшках, или дорогих шоколадных конфет, или еще чего-то, что мужчины преподносят женщинам. Материальных потребностей у нее мало, и

на них вполне хватает ее собственных средств. Более того, самый факт отсутствия подарков — это уже доказательство, что их отношения свободны от банальностей, присущих отношениям, принятым в свете.

Но есть еще вопрос о кольце. Артур хочет, чтобы она носила что-то, пусть совсем неброское, на пальце — не важно, на каком, — лишь бы посылать ему тайную весть всякий раз, когда они оказываются вместе на людях. Джин эта идея не нравится. Мужчины дарят кольца женщинам трех категорий: женам, любовницам, невестам. А она ни к одной из них не относится и не наденет такое кольцо. Любовницей она никогда не станет, у Артура уже есть жена, и она не будет, не может быть невестой. Быть невестой равно тому, чтобы заявлять: я жду, чтобы умерла его жена. Между внебрачными парами такие взаимоотношения случаются, она знает, но между ними им места нет. Их любовь иная. У нее нет прошлого и нет будущего, о котором можно было бы думать. У нее есть только настоящее. Артур говорит, что в его мыслях она — его мистическая жена. Джин согласна, но указывает, что мистические жены не носят реальных колец.

Естественно, выход из положения находит Мам.

Она приглашает Джин в Инглтон, а Артур пусть приедет на следующий день. Вечером в день приезда Джин Мам внезапно осеняет неожиданная мысль. Она снимает с мизинца левой руки маленькое кольцо и надевает его на тот же палец Джин. Бледный неограненный сапфир, когда-то принадлежавший ее двоюродной бабушке. Джин смотрит на кольцо, поворачивает руку так и эдак и тут же его снимает.

— Я не могу принять драгоценность, принадлежавшую вашей семье.

— Моя двоюродная бабушка подарила его мне, потому что думала, что камень гармонирует с моими глазами и цветом лица. Тогда это так и было. Но не теперь. Теперь кольцо более идет вам. И я считаю вас частью нашей семьи. И считала так с первой минуты нашего знакомства.

Отказать Мам Джин не может. На такое способны немногие. Когда приезжает Артур, он подчеркнуто не замечает кольца; наконец, ему на него указывают. Даже тогда он прячет свою радость и ограничивается замечанием, что оно не очень велико, и предоставляет женщинам повод посмеяться над ним. Теперь Джин носит кольцо не Артура, а Дойлов, и это ничем не хуже, а возможно, и лучше. Он воображает, как будет

видеть его на скатерти обеденного, заставленного приборами стола и на клавишах рояля, на ручке театрального кресла, на поводьях лошади. Он думает о кольце как о символе того, что связывает ее с ним. Его мистическая жена.

Джентльмену дозволены две белые лжи во спасение: чтобы защитить женщину и вступить в бой, если бой правый. Количество белой лжи, к какому Артур прибегает ради Туи, далеко превосходит то, которое он мог вообразить. Вначале он предполагал, что каким-то образом в суете его дней и недель, его новых предприятий и увлечений, занятий спортом и путешествий нужды лгать ей вообще не возникнет. Джин исчезнет в насыщенности его календаря. Но раз она не может исчезнуть из его сердца, то равно не может исчезнуть из его мыслей и его совести. И он обнаруживает, что каждая встреча, каждый план, каждая записка и каждое отправленное письмо, каждая мысль о ней ограждаются той или иной ложью. Главным образом он просто умалчивает, хотя иногда бывает необходимо что-то придумать, но в обоих случаях это ложь, и от этого никуда не денешься. А Туи настолько абсолютна в своей доверчивости. Она без вопросов принимает и, как всегда принимала, внезапные

изменения планов Артура, его импульсивность, его решения остаться или уехать. Артур знает, что у нее нет никаких подозрений, и это скребет его нервы тем сильнее. Он не представляет себе, как прелюбодеи способны уживаться со своей совестью; насколько же нравственно убоги должны они быть, чтобы так беззаботно лгать.

Но помимо практических трудностей, этического тупика и сексуальной фрустрации, есть еще нечто более темное, более тяжкое, если взглянуть надело прямо. Ключевые моменты в жизни Артура всегда покрывает тень смерти, и это еще один такой. Внезапная чудеснейшая любовь может быть осуществлена и явлена миру, только если Туи умрет. А она умрет, он это знает. И Джин тоже знает: туберкулез всегда забирает свои жертвы. Но решимость Артура сразиться с Дьяволом привела к перемирию. Самочувствие Туи стабильно, ей даже больше не требуется очищающий воздух Давоса. Она безмятежно живет в Хайнхеде, благодарна за то, что у нее есть, и излучает кроткий оптимизм чахоточной. Он не в состоянии пожелать ей смерти, но равно не может желать, чтобы невозможное положение Джин тянулось без конца. Если бы он верил в какую-нибудь из официальных религий, то, без сомнения, отдал

бы все в руки Божьи. Но для него это невозможно. Туи должна по-прежнему получать наилучшую медицинскую помощь и наизаботливейшую домашнюю поддержку, чтобы мучения Джин продолжались как можно дольше. Если он предпримет какие-либо действия — он подлец. Если он все расскажет Туи — он подлец. Если он порвет с Джин — он подлец. Если он сделает ее своей любовницей — он подлец. Если он ничего не сделает, то он всего лишь пассивный лицемерный подлец, тщетно цепляющийся за те остатки чести, которые ему доступны.

Однако в медленности и осмотрительности их отношения обретают признание. Джин представлена Лотти. Артур представлен родителям Джин, которые дарят ему на Рождество жемчужно-бриллиантовую булавку для галстука. Джин даже представлена матери Туи, миссис Хокинс, которая приемлет их отношения. Осведомлены также Конни и Хорнанг, хотя теперь их заметно поглощает их брак и жизнь в западном Кенсингтоне. Артур заверяет всех, что Туи любой ценой будет ограждена от открытия, боли и бесчестья.

Есть высоконравственные декларации и есть повседневная реальность. Несмотря на семейное одобрение, Артур и Джин часто впадают в уны-

ние; у Джин сверх того появляется склонность к мигреням. Обоих мучает ощущение вины из-за того, что они поставили друг друга в такое невыносимое положение. Честь, как и добродетель, возможно, сама по себе награда, но порой этого оказывается недостаточно. По крайней мере рождаемое ею отчаяние остротой сравнится с любой экзальтацией. Себе Артур прописал полное собрание сочинений Ренана. Усердное чтение с обилием гольфа и крикета обеспечат равновесие, обеспечат нормальность телу и духу.

Однако все эти паллиативы способны помогать только в определенной мере. Вы можете сокрушить всех подающих противника, а затем послать прямой в ребра их отбивающего, вы можете взять металлическую клюшку и заслать гольфовый мяч в неизмеримую даль. Но вы не можете всегда держать мысли под запором, всегда одни и те же мысли и отвратительные парадоксы. Деятельный человек, обреченный на бездеятельность, любящие, которым любовь запрещена, смерть, которой ты боишься, стыдясь ее позвать.

Крикетный сезон Артура не оставлял желать ничего лучшего; о числе заработанных очков и сбитых калиток Мам оповещается с сыновней

гордостью. Она в ответ продолжает потчевать его своими мнениями о деле Дрейфуса, о священнодействующих громилах и ханжах в Ватикане, о гнусном отношении к Франции этой газетенки «Дейли». В один прекрасный день Артур играет за МСС на стадионе «Лорд». Он приглашает Джин посмотреть его игру и предвкушает, как она будет смотреть. Выходя подавать, он будет точно знать, в каком углу трибуны А она сидит. Это один из тех дней, когда ему заранее понятны все ухищрения подающих; его бита неуязвима и почти не реагирует на весомость мяча, когда он закручивает его и посылает во все концы поля. Раза два он забрасывает его прямо к зрителям и все-таки успевает заранее позаботиться, что мяч упадет возле нее, будто орудийный снаряд. Он сражается на турнире в честь своей дамы; ему следовало бы попросить у нее что-то, чтобы приколоть к своему кепи.

В перерыве он поднимается к ней. Ему не нужны похвалы — он видит гордость за него в ее глазах. Ей требуется слегка поразмяться после долгого сидения на скамье. Они совершают круг по дорожке за трибунами; запах пива реет в жарком воздухе. В гуще анонимной прогуливающейся толпы они чувствуют себя в большей

уединенности вдвоем, чем под взглядом самых дружественных глаз за обеденным столом, обеспечивающим им соблюдение приличий. Они разговаривают так, будто только что познакомились. Артур говорит, как он хотел бы прикрепить ее цвета к своему кепи. Она кладет руку ему на локоть, и они идут молча, утопая в счастье.

— Э-эй, это же Уилли и Конни!

Действительно, это они идут навстречу им тоже рука об руку. Значит, оставили маленького Оскара с няней у себя в Кенсингтоне. Артур теперь испытывает еще большую гордость за свои подвиги с битой. И тут он кое-что осознает. Уилли и Конни не замедляют шага, и Конни смотрит в сторону, словно задняя стена павильона стала неотразимо интересной. Уилли по крайней мере как будто не отрицает их существования; однако, когда они минуют друг друга, он поднимает бровь на шурина, на Джин, на их переплетенные руки.

Подачи Артура после перерыва быстрее и буйнее обычного. Из-за слишком алчных своих замахов он сбивает только одну калитку. Когда его отправляют подавать в другой конец поля, он все время оборачивается, чтобы поглядеть на Джин, но она, должно быть, пересела. Ему не удается высмотреть и Уилли с Конни. Его удары

будоражат защитника калитки даже больше обычного, и он мечется во всех направлениях.

После окончания матча уже ясно, что Джин ушла. Он теперь вне себя от ярости. Вот бы помчаться в кебе прямо к дому Джин, вывести ее на тротуар, положить ее руку на свой локоть и прогуляться с ней мимо Букингемского дворца, Вестминстерского аббатства и обеих палат Парламента. И все еще в своем крикетном костюме. И крича во все горло: «Я Артур Конан Дойль, и я горжусь, что люблю эту женщину, Джин Леки!» Он зримо представляет себе эту сцену. А когда перестает, то думает, что сошел с ума.

Ярость и безумие стихают, оставляя стойкий неумолимый гнев. Он принимает душ и переодевается, все время внутренне понося Уилли Хорнанга. Как посмел этот близорукий астматический, никуда не годный крикетист поднять свою чертову бровь! На *него.* На *Джин.* Хорнанг, журналист, маратель никуда не годных историй про австралийское захолустье! О нем никто и слыхом не слыхал, пока он не присвоил — с разрешения — идею Холмса и Ватсона, не перевернул их вверх тормашками и не превратил в парочку преступников. Артур разрешил ему это. Даже снабдил именем его так называемого героя,

Раффлса, как, например, в «Проделках Раффлса Хау». Позволил посвятить эту чертову книгу ему.

«А. К. Д. эта форма лести».

Дал ему больше, чем его лучшую идею, дал ему жену. В буквальном смысле: провел ее по центральному проходу церкви и вручил ему. Назначил им содержание, чтобы им было с чего начать. Ну хорошо, назначил содержание Конни, но Уилли Хорнанг не сказал, что принятие такой помощи кладет пятно на его честь мужчины, не сказал, что возьмется за работу серьезнее, чтобы обеспечить свою молодую жену, о нет, ничего похожего. И думает, будто это дает ему право поднимать самодовольно-ханжескую бровь!

Артур берет кеб и прямо от стадиона едет в западный Кенсингтон. Номер девять, Питт-стрит. Его гнев начинает спадать, когда они пересекают Харроу-роуд. В голове у себя он слышит, как Джин говорит ему, что все это — ее вина. Ведь это она положила руку ему на локоть. Он совершенно точно знает, каким тоном самоупрека она это скажет и как это скорее всего ввергнет ее в тяжелую мигрень. Важно лишь одно, говорит он себе: как утишить ее страдания. Все его инстинкты, самая его мужественность требуют выломать дверь Хорнанга, выволочь его на тротуар и вышибить

ему мозги крикетной битой. Тем не менее, когда кеб останавливается, он знает, как должен себя вести.

И он абсолютно спокоен, когда Уилли Хорнанг впускает его.

— Я приехал повидать Констанцию, — говорит он.

У Хорнанга по крайней мере достает ума не пыжиться по-идиотски и не настаивать на своем присутствии. Артур поднимается наверх в гостиную Конни. Он объясняет ей прямолинейными терминами, к которым никогда не прибегал — не имел нужды прибегать — прежде. Следствия болезни Туи. Свою внезапную, свою всепоглощающую любовь к Джин. То, что любовь эта останется платонической. И тем не менее насколько значительная часть его жизни, до сих пор пустовавшая, теперь заполнилась. То, как и она, и он постоянно страдают от напряжения и депрессии. То, как Конни увидела их вместе такими очевидно влюбленными, только потому лишь, что на несколько минут они забыли об осторожности; и какая это мука всегда прятать свою любовь в присутствии других. Как необходимо отмерять и нормировать каждую улыбку, каждый смех, зондировать каждого собеседника.

Как, по убеждению Артура, он не выживет, если его семья, дорогая ему, как самый мир, не поймет его беды и не поддержит его.

Завтра он опять играет на стадионе, и он просит, нет, он умоляет Конни быть там и на этот раз познакомиться с Джин по всем правилам. Это единственный выход. То, что произошло сегодня, необходимо отбросить, оставить позади них немедленно, иначе рана загноится. Она будет там завтра и позавтракает с Джин и узнает ее получше. Она согласна?

Конни согласна. Уилли, когда прощается с ним на пороге, говорит:

— Артур, я готов поддержать ваши отношения с любой женщиной сразу же и без вопросов.

В кебе Артур чувствует, будто ему только что удалось предотвратить нечто ужасное. Он совершенно измучен, и в голове у него легкий туман. Он знает, что может положиться на Конни, как и на всю свою семью. И ему немножко стыдно своих мыслей об Уилли Хорнанге, на которых он себя поймал. Его чертова вспыльчивость, и никуда от нее не деться. Он объясняет ее ирландской половиной своей крови. Шотландской половине приходится дьявольски трудиться, чтобы сохранять за собой верх.

Нет, Уилли прекрасный малый и будет поддерживать его без всяких вопросов. Уилли обладает отличным острым умом и неплохо обороняет калитку. Пусть он недолюбливает гольф, но по крайней мере Артур еще не слышал более изящного объяснения подобного предубеждения: «Я считаю недостойным бить лежачего». Отлично сказано, как и про опечатку с бегуном. Ну и еще фраза, которую Артур распространял особенно широко, — оценка, которую Уилли дал сыщику-консультанту своего шурина: «Пусть он и более скромен, но нет полиции холмсее Холмса». Нет полиции холмсее Холмса! Вспоминая эти слова, Артур откидывается на спинку сиденья.

На следующее утро, когда он готовится поехать на стадион, приносят телеграмму. Констанция Хорнанг вынуждена отказаться от приглашения на завтрак, потому что у нее разболелся зуб и ей необходимо посетить дантиста.

Он посылает записку Джин, свои извинения на стадион — «неотложное семейное дело», против обыкновения не вежливая увертка, — и едет в кебе на Питт-стрит. Конечно, они его ждут. Они знают, что хитрые маневры или дипломатическое молчание не в его характере. Ты смотришь прямо в глаза, ты говоришь правду и ты при-

нимаешь последствия — таково кредо Дойлей. Женщинам, разумеется, дозволены иные правила, а вернее, женщины, никого не спрашивая, видимо, создали для себя другие правила, но так или иначе он не слишком высокого мнения о ссылке на срочную необходимость посещения дантиста. Самая ее прозрачность распаляет Артура. И, может быть, она это понимает, может быть, это и рассчитано как самоочевидный укор вроде ее отведенных в сторону глаз.

Он знает, что должен держать себя в руках. Сейчас в первую очередь важна Джин, затем единство семьи. Он прикидывает: Конни повлияла на Хорнанга или Хорнанг на Конни? «Я готов поддержать ваши отношения с любой женщиной сразу же и без вопросов». Ни намека на уклончивость. Как и в видимом понимании и согласии Конни с его дилеммой. Он заранее выискивает причины. Может быть, Конни стала респектабельной замужней женщиной заметно быстрее, чем он полагал возможным: может быть, она всегда испытывала ревность, потому что его любимой сестрой была Лотти. Ну а Хорнанг? Он, без сомнения, завидует славе шурина, или же успех «Раффлса» ударил ему в голову. Что-то же запалило эту внезапную вспышку независимости

и бунта. Ну, это Артур скоро выяснит.

— Конни наверху, отдыхает, — говорит Хорнанг, открывая дверь. Достаточно ясно. Значит, разговор мужчины с мужчиной, как и предпочел бы Артур.

Маленький Уилли Хорнанг одного роста с Артуром, о чем тот иногда забывает. И Хорнанг у себя дома отличается от Хорнанга, воспроизведенного яростью Артура; и отличается от лестного, стремящегося угодить Уилли, который метался на теннисном корте в Вест-Норвуде и подавал к столу *bons mots*,[15] чтобы понравиться. В парадной гостиной он указывает на кожаное кресло, ждет, чтобы Артур сел, и тогда сам остается стоять. А когда начинает говорить, пружинисто расхаживает по комнате. Нервы, конечно, но создается впечатление обвинителя, разворачивающего хвост перед несуществующими присяжными.

— Артур, это нелегко. Конни рассказала мне, о чем вы говорили с ней вчера вечером, и мы обсудили положение.

— И изменили свое мнение. Или вы — ее мнение. Или она — ваше. Вчера вы сказали, что поддержите меня без вопросов.

---

[15] Примечания: 15
остроты *(фр.)*.

— Я знаю, что я сказал. И речь не о том, что я изменил мнение Конни или она мое. Мы все обсудили и пришли к согласию.

— С чем вас и поздравляю.

— Артур, разрешите мне представить это так. Вчера мы говорили с вами, следуя сердцу. Вы знаете, как Конни вас любит. Как любила всегда. Вы знаете, как бесконечно я вами восхищаюсь, как горжусь возможностью сказать, что Артур Конан Дойль — мой шурин. Вот почему мы вчера отправились на стадион — чтобы с гордостью следить за вашей игрой, чтобы поддерживать вас.

— Чего теперь решили больше не делать.

— Но сегодня мы думаем и говорим с вами как подсказывают наши головы.

— И что же ваши две головы вам подсказывают? — Артур обуздывает свой гнев, сводя его к сарказму. Это лучшее, что сейчас в его силах. Он плотно сидит в кресле и смотрит, как Уилли пританцовывает и шаркает перед ним, как он вытанцовывает и вышаркивает свои аргументы.

— Наши головы, наши две головы говорят нам то, что видят наши глаза и диктует наша совесть. Ваше поведение… компрометирует.

— Кого?

— Вашу семью. Вашу жену. Вашу… подругу.

Вас самих.

— А вы не хотите включить еще и Марилбоунский крикетный клуб? И читателей моих книг? И штат универсального магазина «Гемаджис»?

— Артур, если вы сами этого не видите, вам должны открыть глаза другие.

— И вам, видимо, это крайне по вкусу. Я думал, что просто приобретаю зятя. Я не понимал, что семья обрела совесть. Не осознавал, что мы в ней нуждаемся. Вам следует сшить себе сутану.

— Мне не требуется сутана, чтобы понять, насколько вы, когда прогуливаетесь по стадиону с ухмылкой на лице и под руку с женщиной, которая вам не жена, компрометируете жену, а ваше поведение бросает тень на вашу семью.

— Туи всегда будет ограждена от боли и бесчестья. Вот мой первый принцип, и он таким останется.

— Кто еще видел вас вчера, кроме нас? И что они могли заключить?

— А что заключили вы? Вы и Констанция?

— Что вы крайне неосторожны. Что вы бросаете тень на репутацию женщины, опирающейся на вашу руку. Что вы компрометируете вашу жену. И вашу семью.

— Вы что-то слишком быстро стали экспертом

по моей семье для столь поздно к ней приблудившегося.

— Быть может, потому я вижу яснее.

— Быть может, потому, что вам не хватает лояльности, Хорнанг. Разве я отрицаю, что положение создалось трудное, дьявольски трудное? Было бы странно притворяться. По временам оно нестерпимо. Мне не требовалось репетировать того, что я вчера говорил Конни. Я делаю что могу — мы вместе, Джин и я. Наш… союз был одобрен Мам, родителями Джин, матерью Туи, моим братом и сестрами. До вчерашнего дня и вами. Был ли я хотя бы раз нелоялен по отношению к кому-нибудь из моей семьи? И когда прежде я просил их о поддержке?

— А если ваша жена услышит о вашем вчерашнем поведении?

— Она не услышит. Это невозможно.

— Артур! Сплетни вездесущи. Как и болтовня горничных и лакеев. Люди пишут анонимные письма. Журналисты не скупятся на намеки в газетах.

— Тогда я обращусь в суд. Или, что вероятнее, уложу такого в лоск.

— Что будет еще одним неосторожным поступком. Кроме того, вы не можете уложить в лоск

анонимное письмо.

— Хорнанг, этот разговор бесполезен. Видимо, вы приписываете себе более высокое понимание чести, чем признаете за мной. Если место главы семьи окажется вакантным, я рассмотрю вашу кандидатуру.

— *Quis custodiet*,[16] Артур? Кто укажет главе семьи, что он не прав?

— Хорнанг, в последний раз. Я изложу дело просто. Я человек чести. Мое имя и имя моей семьи означают для меня все. Джин Леки отличают высочайшая честь и высочайшая добродетельность. Наши отношения платоничны. И будут такими всегда. Я останусь мужем Туи и буду воздавать ей честь, пока крышка гроба не закроется над кем-нибудь из нас.

Артур привык завершать споры исчерпывающим заявлением. И полагает, что сделал его и теперь, однако Хорнанг все еще шаркает туда-сюда, будто отбивающий на крикетном поле.

— Мне кажется, — говорит он, — вы придаете излишнее значение платоничности или неплатоничности этих отношений. Не вижу тут особой разницы. В чем она?

---

[16] Примечания: 16

Начало цитаты из эпиграммы древнеримского сатирика Ювенала: «Кто сторожит…», завершающейся словами: «самих стражей».

Артур встает.

— В чем разница? — рычит он. Ему все равно, что его сестра отдыхает, что маленький Артур-Оскар уложен поспать, что служанка, возможно, прижала ухо к двери. — Большей разницы не бывает! Это разница между невинностью и виной, вот что это такое.

— Не могу согласиться, Артур. Что думаете вы — это одно, но совсем другое, что думает свет. То, что знаете вы и что знает свет. Честь — это не только внутреннее благородное чувство, но и внешнее поведение.

— Я не позволю читать мне нотации о чести! — гремит Артур. — Не позволю. Нет. А уж тем более человеку, который сделал вора героем своих писаний.

Он снимает шляпу с колышка и нахлобучивает ее на уши. Ну, вот так, решает он, вот так. Свет либо на вашей стороне, либо против вас. И по крайней мере дело становится яснее, когда наблюдаешь, как ханжа-обвинитель строит свои аргументы.

Вопреки этому неодобрению — а быть может, для доказательства его несостоятельности, — Артур со всемерной осторожностью начинает вводить Джин в светскую жизнь «Под сенью». Он

познакомился в Лондоне с обаятельной семьей по фамилии Леки; у них поместье в Кроборо; Малькольм Леки, сын, великолепный малый, с сестрой… как бишь ее? И вот так имя Джин появляется в книге посетителей «Под сенью» всегда рядом с именем ее брата или кого-то из родителей. Артур не может утверждать, что хранит полное спокойствие, произнося фразы вроде: «Малькольм Леки сказал, что, возможно, заедет на своем моторе с сестрой», но фразы эти необходимо произносить, если он не хочет помешаться. И во всех таких случаях — большой званый завтрак, теннисный турнир — он никогда не бывает полностью уверен, что ведет себя естественно. Не был ли он излишне внимателен к Туи и не заметила ли она этого? Не был ли он слишком сухо корректен с Джин и не обиделась ли она? Но с этим он должен справляться сам. Туи никогда ничем не дает понять, что заметила нечто неладное. А Джин — да благословит ее Бог — держится с непринужденностью и декорумом, которые успокоительно внушают ему, что все будет ажурно. Она никогда не ищет уединиться с ним, никогда не всовывает ему в руку любовную записочку. Порой, правда, ему кажется, что она подчеркнуто флиртует с ним. Но, обдумывая это

потом, он решает, что она нарочно ведет себя так, как вела бы, если бы они были знакомы не больше, чем делают вид. Быть может, наилучший способ показать жене, что ты не собираешься посягать на ее мужа, это флиртовать с ним у нее на глазах. Если так, то это чрезвычайно умный ход мысли.

И дважды в год у них есть возможность вырваться вместе в Мейсонгилл. Приезжают и уезжают они на разных поездах, точно гости, случайно приглашенные на одно и то же воскресенье. Артур останавливается в коттедже матери, а Джин — у мистера и миссис Дени на ферме Парт-Бэнк. В субботу они ужинают в Мейсонгилл-Хаусе. Мам председательствует за столом Уоллера, как было всегда и, предположительно, как всегда и будет.

Вот только ситуация не так проста, какой была, когда Мам только приехала сюда (не то чтобы и тогда она была простой). Поскольку Уоллер каким-то образом ухитрился жениться. Мисс Ада Андерсон, дочь священника из Сент-Эндрюса, приехала в дом торнтонского приходского священника в качестве гувернантки и, как намекают деревенские сплетни, немедленно решила поймать на крючок владельца Мейсонгилл-Хау-

са. Ей удалось выйти за него для того лишь, чтобы убедиться — и тут сплетни обрели морализирующий тон, — что изменить его ей не под силу. Ибо новобрачный не собирался допустить, чтобы такая мелочь, как брак, изменила образ жизни, который он для себя создал. Ну а конкретнее: Мам он навещает столь же часто, как раньше, обедает с ней *en tête-à-tête*[17] и распорядился поставить особый звонок на задней двери ее коттеджа, звонить в который дозволено только ему. Детей брак Уоллера не приносит.

Миссис Уоллер никогда не бывает в Мейсонгилл-коттедже и отсутствует, когда Мам приходит поужинать в Мейсонгилл-Хаусе. Если Уоллер желает, чтобы эта женщина председательствовала за столом, да будет так, но хозяйка дома не признает за ней этого права. Миссис Уоллер все больше времени отдает своим сиамским кошкам и розарию, распланированному со строгостью плац-парада или огородных грядок. Во время краткой встречи с Артуром она держалась застенчиво и холодно: тот факт, что он происходит из Эдинбурга, а она из Сент-Эндрюса, никакого основания для сближения не дает, указывал ее вид.

---

[17] Примечания: 17
тет-а-тет *(фр.).*

И вот они четверо — Уоллер и Мам, Артур и Джин — сидят вместе за столом и ужинают. Еду подают и уносят, бокалы блестят в озарении свечей, разговор ведется о книгах, и все держатся так, будто Уоллер по-прежнему холост. Время от времени взгляд Артура привлекает силуэт кошки, крадущейся вдоль стены вне достижения сапога Уоллера. Гибкое тело, пробирающееся среди теней, будто память о незаметно удалившейся жене. Или каждый брак таит свой проклятый секрет? И в его сердцевине нет ничего прямого и честного?

Тем не менее Артур уже давно смирился с тем, что Уоллера придется терпеть. И раз уж он не может все время оставаться с Джин, то удовлетворяется гольфом с Уоллером. Для невысокого и книжного субъекта владелец Мейсонгилл-Хауса играет вполне пристойно. Длинные мячи ему, конечно, не по плечу, но не приходится отрицать, что результат вполне упорядочен и что Артур по-прежнему склонен отправлять мяч в самых невероятных направлениях. Кроме гольфа, в лесу Уоллера можно пострелять птиц — куропаток, рябчиков, грачей. И они вместе охотятся с хорьками. За пять шиллингов подручный мясника приносит трех своих хорьков, и все утро,

к большому удовольствию Уоллера, работает с ними, вспугивая начинку множества пирогов с крольчатиной.

Но есть и часы, выслуженные таким выполнением гостевого долга, — часы наедине с Джин. Они берут запряженную пони двуколку Мам и разъезжают по окрестным деревням; они исследуют гряду известняковых холмов и внезапно возникающих долин к северу от Инглтона. Хотя возвращения Артура туда остаются осложненными — пятно похищения и предательства не может стереться, — роль гида подходит ему как нельзя лучше. Он показывает Джин долину Твисса и Пеккский водопад, ущелье водопадов Доу и Бийзли. Он любуется ее бесстрашием на мосту в шестидесяти футах над Вязовым ущельем. Они вместе взбираются на Инглбор, и он не может не чувствовать, как хорошо, когда рядом с мужчиной — здоровая молодая женщина. Он не проводит сравнений, никого не принижает, а просто благодарен, что им не приходится то и дело устраивать докучные привалы отдыха ради. На вершине он изображает археолога и показывает ей остатки крепости бригантов; а затем — топографа, когда они смотрят на запад в сторону Моркембе, пролива Святого Георга и

острова Мэн. А далеко на северо-западе скромно выглядывают горы Озерного края и Камберлендские хребты.

Неизбежно возникают напряженности и неловкости. Пусть они и далеко от дома, но декорум нарушать нельзя. Артур даже здесь фигура известная, а Мам занимает видное положение в местном обществе. Поэтому иногда требуется взгляд, чтобы воспрепятствовать откровенности и выразительности Джин. И хотя Артур более свободен в выказывании своей преданной любви, он не всегда может позволить себе чувствовать себя влюбленным — человеком наново изобретенным. Как-то днем они едут через Торнтон, ладонь Джин лежит на его руке, солнце высоко в небе, впереди перспектива провести часть дня вдвоем, и тут она говорит:

— Какая прелестная церковь, Артур. Остановись, давай зайдем в нее.

На мгновение он разыгрывает глухоту, затем отвечает довольно сухо:

— Ничего прелестного в ней нет. От оригинальной постройки сохранилась только колокольня, а зданию не больше тридцати лет. Просто усердная реставрация.

Джин не настаивает, подчиняясь ворчливому

суждению Артура как главного гида. Он подхлестывает вожжами капризулю Муи, и они едут дальше. Не самый подходящий момент объяснить ей, что церковь была всего пятнадцать лет как реставрирована, когда он шел по ее центральному проходу, новобрачный, и на его локте лежала ладонь Туи, как раз там, куда Джин положила свою.

На этот раз он возвращается в «Под сенью» не без ощущения виноватости.

Быть отцом для Артура значит предоставлять детей заботам их матери, а затем время от времени возникать с внезапными планами и подарками. Ему кажется, быть отцом — это практически то же, что быть братом, только ответственности немного больше. Вы оберегаете своих детей, вы обеспечиваете их всем необходимым, вы подаете им пример; сверх этого вы помогаете им понять, что они такое — то есть дети, — иными словами, несовершенные, даже ущербные взрослые. Однако он щедр и не считает необходимым или нравственно полезным для них быть лишенными того, чего он сам был лишен в детстве. В Хайнхеде, как и в Норвуде, имеются теннисные корты, а кроме того, стрельбище за домом, где Кингсли и Мэри могут вволю тренироваться в

меткости. В саду он прокладывает монорельс, который петляет по ложбинам и пригоркам его четырех акров. Приводимый в движение электричеством и уравновешиваемый гироскопом вагончик — это транспорт будущего. Его друг Уэльс убежден в этом, и Артур с ним согласен.

Себе он покупает моторный велосипед, который оказывается крайне непослушным, и Туи запрещает детям даже приближаться к нему; затем «вузли» в двенадцать лошадиных сил, который снискивает множество похвал и регулярно наносит ущерб столбам ворот. Эта новая моторизованная машина превратила в ненужность экипаж и лошадей, но когда он упомянул этот неоспоримый факт Мам, она возмущена. Немыслимо поместить фамильный герб на какую-то там машину, доказывает она, и тем более на такую, которую постоянно преследуют унизительные поломки.

Кингсли и Мэри разрешаются вольности, о которых большинству их друзей и мечтать не приходится. Летом они бегают босиком и в радиусе пяти миль от «Под сенью» могут бродить, где им захочется, при условии, что они появятся за столом вовремя, чистыми и аккуратными. Артур не возражает, когда они обзаводятся ежом.

По воскресеньям он часто провозглашает, что свежий воздух полезней для души, чем литургия, и забирает кого-нибудь из них носить за ним клюшки — поездка в высокой двуколке до поля для гольфа в Хэнкли, прихотливые зигзаги с тяжеленной сумкой, а затем награда: горячие маслянистые тосты в клубном буфете. Их отец охотно объясняет им всякую всячину, хотя далеко не всегда то, что им требуется или что они хотят знать. И объясняет он с большой высоты, даже когда становится на колени позади них. Он поощряет самостоятельность, спорт, верховую езду; он дарит Кингсли книги о величайших битвах в мировой истории и предостерегает его против военной неподготовленности.

Сила Артура — в умении разрешать загадки, но он не способен разгадать своих детей. Ни у кого из их друзей или однокашников нет собственного монорельса; однако Кингсли с возмутительной вежливостью роняет замечание, что вагончики движутся слишком медленно и могли бы быть попросторнее. Мэри тем временем лазает по деревьям с ухватками, несовместимыми с женской скромностью. Они ни с какой стороны не плохие дети, насколько он может судить, они — хорошие дети. Но даже когда они держатся благовоспи-

танно и ведут себя чинно, Артур неожиданно для себя замечает в них какое-то беспокойство. Они как будто все время чего-то ожидают — хотя чего именно, он сказать не может и сомневается, что они сами это знают. Они всегда ожидают чего-то, чего он не может им дать.

Про себя Артур полагает, что Туи следовало бы приучить их к большей дисциплинированности, но это упрек, который он не может себе позволить, разве что в самой мягкой форме. И дети растут между его периодичной авторитарностью и ее ласковым одобрением. Когда Артур наезжает в «Под сенью», он хочет работать, а когда он кончает работать, то хочет играть в гольф или в крикет или спокойно погонять шары с Вуди на бильярдном столе. Он обеспечил свою семью комфортом, надежностью и деньгами; взамен он ждет мирного покоя.

Покоя он не получает, и тем более внутреннего. Когда какое-то время увидеться с Джин невозможно, он пытается почувствовать ее близость, делая то, что делала бы она. Она увлечена верховой ездой, и он увеличивает число лошадей в конюшне «Под сенью» от одной до шести и начинает участвовать в лисьей травле. Джин музыкальна, и он решает научиться играть на банджо — решение,

которое Туи встречает с обычной снисходительностью. Теперь Артур играет на бомбартоне и банджо, хотя оба инструмента менее всего предназначены для аккомпанирования классически поставленному меццо-сопрано. Иногда они с Джин уславливаются читать в разлуке одну и ту же книгу — Стивенсона, стихи Скотта, Мередита. Обоим нравится воображать, что другой сейчас читает эту же страницу, предложение, фразу, слово, слог.

Туи предпочитает читать «О подражании Христу». У нее есть ее вера, ее дети, ее комфорт, ее тихие занятия. Виноватость Артура гарантирует максимум предупредительности и мягкости в его отношении к ней. Даже когда святость ее оптимизма словно граничит с чудовищным самодовольством и он ощущает нарастающий гнев, он знает, что не может сорвать его на ней. К своему стыду, он срывает его на детях, слугах, мальчиках, несущих за ним клюшки, железнодорожных служащих и идиотах-журналистах. Он абсолютно безукоризненно блюдет свой долг в отношении Туи и остается абсолютно влюбленным в Джин; однако в других аспектах своей жизни он становится жестче и раздражительнее. *Patientia vincit* — гласит предупреждение в витраже. Но он

ощущает, что наращивает каменный черепаший панцирь. Естественным выражением его лица становится прокурорская пристальность. Он обвиняюще всматривается в других, потому что именно так привык всматриваться в себя.

Он начинает думать о себе геометрически, как о находящемся в центре треугольника. Углы треугольника — три женщины в его жизни, его стороны — железные решетки долга. Естественно, Джин он помещает на вершину, Туи и Мам — в основание. Но по временам треугольник словно начинает вращаться вокруг него, и голова у него начинает кружиться.

Джин никогда не высказывает ни малейшей жалобы или упрека. Она говорит ему, что не может полюбить и никогда не полюбит кого-нибудь другого; что ожидание его — не мука, а радость, что она абсолютно счастлива, что их часы вместе — величайшая правда ее жизни.

— Милая, — говорит он, — как по-твоему, случалась ли с сотворения мира история любви, подобной нашей?

Джин чувствует, что ее глаза наполняются слезами. Одновременно она слегка шокирована.

— Артур, милый, это же не спортивное состязание.

Он принимает упрек.

— И все-таки сколько людей подвергали свою любовь испытаниям так, как мы? Я бы сказал, что наш случай почти уникален.

— Разве не все пары считают свой случай уникальным?

— Распространеннейшее заблуждение. Тогда как мы…

— Артур! — Джин не считает, что бахвальство приличествует любви. Оно представляется ей вульгарным.

— И все-таки, — настаивает он, — все-таки я порой чувствую — не часто, — что нас оберегает дух-хранитель.

— И я тоже, — соглашается Джин.

Тем не менее ему необходим земной свидетель их любви. Ему необходимо представить доказательства. И он начинает пересылать Мам любовные письма Джин. Он не просит ее разрешения и не считает это нарушением доверия. Ему необходимо показать, что их взаимное чувство по-прежнему свежо не менее, чем раньше, и испытания их не напрасны. Он просит Мам уничтожать эти письма и предлагает способ на ее усмотрение. Она может либо сжигать их, либо — что предпочтительнее — разрывать их на мел-

кие клочки и разбрасывать среди цветов вокруг Мейсонгилл-коттеджа.

Цветы. Каждый год пятнадцатого марта Джин непременно получает единственный подснежник с запиской от своего возлюбленного Артура. Белый цветок раз в год для Джин и белая ложь круглый год для его жены.

И все это время слава Артура растет и растет. Он член клубов, украшение званых обедов, публичная фигура. Он становится авторитетом в других сферах, кроме литературы и медицины. Он выдвигает свою кандидатуру в Парламент как либерал-юнионист от эдинбургского центрального округа, и поражение умягчается сознанием, что политика по большей части грязное болото. О его взглядах осведомляются, его поддержки ищут. Он популярен. И становится еще более популярным, когда с неохотой уступает объединенной воле Мам и английских читателей: он воскрешает Шерлока Холмса и отправляет его по следу гигантской собаки.

Когда в Южной Африке вспыхивает война, Артур предлагает свои услуги военно-медицинской службе. Мам делает все, чтобы разубедить его: она считает, что его крупное тело послужит верной мишенью для бурской пули; сверх того, она

считает эту войну всего лишь непристойной дракой из-за золота. Артур не согласен. Отправиться на войну — его долг; он не может отрицать, что имеет более сильное влияние на бравых молодых людей — особенно на преданных спорту молодых людей, — чем кто-либо другой в Англии, исключая Киплинга. Кроме того, он полагает, что эта война стоит малой толики белой лжи: нация вступает в бой, который справедлив.

Он покидает Тильбери на «Ориентал». В этом его приключении за ним будет ухаживать Клив, дворецкий из «Под сенью». Джин наполнила его каюту цветами, но не пришла попрощаться: ей нестерпимо расставаться в бодряческом шуме, хлопаньях по спине и суете военного транспорта. Когда раздается гудок, предлагающий провожающим сойти на берег, Мам поджатыми губами желает ему доброго пути.

— Если бы Джин была тут! — говорит он, маленький мальчик во взрослом костюме.

— Она в толпе, — отвечает Мам. — Где-то там. Прячется. Она сказала, что боится не совладать со своими чувствами.

И с этим она уходит. Артур бросается к поручням в ярости и бессилии, он следит за белым чепцом матери так, будто он может привести его

к Джин. Сходни убраны, чалки сняты, «Ориентал» отходит от пристани, гудок ревет, а Артур ничего и никого не видит сквозь слезы. Он ложится навзничь в своей цветочной душистой каюте. Треугольник, треугольник с железными решетками вертится у него в голове, пока не застывает с Туи на вершине. Туи, которая незамедлительно и преданно одобрила его план, как любой из его прежних. Туи, которая попросила его писать, но только если у него выберется свободная минута, Туи без суетни и навязываний. Милая Туи.

В плавании он начинает полнее понимать, почему он тут, и его настроение медленно просветляется. Долг и пример молодым людям — само собой, но есть и эгоистические причины. Он превратился в избалованного, осыпаемого наградами субъекта и нуждается в очистке своего духа. Он слишком долго пребывал в полной безопасности, утратил мускулистость, и ему необходима опасность. Он находился среди женщин слишком долго, слишком долго и запутанно, и жаждет мира мужчин. Когда «Ориентал» заходит в порт на островах Зеленого Мыса, чтобы запастись углем, мидлсекские волонтеры мигом организуют крикетный матч на первом же плоском лугу, который им удается найти. Артур

следит за их игрой против штата телеграфной станции, радуясь всем сердцем. Есть правила для удовольствий и есть правила для работы. Правила, распоряжения, отдаваемые и исполняемые, и ясная цель. Вот ради чего он здесь.

В Блумфонтейне госпитальные палатки установлены на поле для крикета — с операционной в павильоне. Он видит много смертей, хотя большинство погибает от энтерита, а не от бурских пуль. Он берет пять дней отпуска, чтобы направиться с наступающей армией через реку Вет в сторону Претории. На обратном пути басуто верхом на косматой лошадке останавливает их отряд к югу от Брендфорта и сообщает им про раненого британского солдата в двух часах пути оттуда. За флорин они нанимают туземца в проводники. Долгий путь через кукурузные поля, затем по вельду. Раненый англичанин оказывается мертвым австралийцем — невысоким, мускулистым, с желтым восковым лицом. Номер 410 конной пехоты Нового Южного Уэльса, теперь спешенный. Его лошадь и винтовка исчезли. Он истек кровью от раны в живот. Он лежит с карманными часами у лица: вероятно, он следил, как поминутно угасает его жизнь. Часы остановились в час ночи. Рядом с ним стоит пустая фляжка для воды, на гор-

лышке которой поставлена красная шахматная фигура слоновой кости. Другие фигуры — вероятнее всего, забранные на какой-нибудь бурской ферме, а не солдатское развлечение, — лежат в его вещевом мешке. Они собирают его вещи — патронташ, механическое перо, шелковый носовой платок, складной нож, часы плюс 2 ф. 6 шил. 6 п. в потрепанном кошельке. Липкое тело перекидывают через спину лошади Артура, и рои мух сопровождают их до ближайшего телеграфного поста. Там они оставляют номер 410 конной пехоты Нового Южного Уэльса для погребения.

Артур в Южной Африке навидался всяких смертей, но эту он будет помнить всегда. Честный бой, чистый воздух и великое дело — он не представляет себе смерти прекраснее.

По возвращении его патриотические рассказы об этой войне снискивают одобрение высших слоев общества в междуцарствии, разделяющем кончину старой королевы и коронацию нового короля. Он получает приглашение отобедать с будущим Эдуардом VII и сидит рядом с ним. Ему ясно дано понять, что в коронационный список наград будет включен рыцарский сан, если доктор Артур Конан Дойль захочет его принять.

Но Артур не хочет. Это же будто эмблема мэра

провинциального городка. Большие люди не принимают подобные безделицы. Только вообразите, что Родс, или Киплинг, или Чемберлен снизошли бы до такого! Не то чтобы он приравнивал себя к ним, но почему его требования должны быть ниже, чем у них? За сан рыцаря хватаются такие типы, как Альфред Остин или Холл Кейн, — если им представится подобный шанс.

Мам и не верит, и взбешена. Для чего было все, если не для этого? Мальчик, который разрисовал гербами картонные щиты в ее эдинбургской кухне, который проследил всех своих предков до Плантагенетов. Мужчина, на упряжи которого красуется фамильный герб, чей холл воздает в цветном стекле должное его предкам. Мальчик, который обучался законам рыцарственности, и мужчина, который свято им следовал, который отправился в Южную Африку по зову своей воинственной крови — крови Перси и Пэков, Дойлей и Конанов? Как он посмел отказаться от того, чтобы стать рыцарем королевства, когда вся его жизнь была направлена к увенчиванию таким триумфом.

Мам бомбардирует его письмами. На каждый аргумент у Артура есть свой контраргумент. Он настаивает, что вопрос исчерпан. Письма пре-

кращаются, он рад, что осада с него снята, как с Мафекинга. И тут она приезжает в «Под сенью». Всему дому известно, почему она приехала — миниатюрная мать своих детей в белом чепце, которая с тем большей полнотой осуществляет свою власть, что никогда не повышает голоса.

Она заставляет его ждать. Она не отводит его в сторонку, не предлагает погулять. Она не стучит в дверь его кабинета. Она оставляет его в покое на протяжении двух дней, зная, как ожидание подействует на его нервы. Затем утром в день отъезда она останавливается в холле, где свет льется сквозь стеклянные гербы, среди которых постыдно не указаны Фоли Вустерширские, и задает вопрос:

— Тебе не приходило в голову, что такой отказ — оскорбление королю?

— Говорю же вам, я не могу. Это вопрос принципа.

— Ну, — говорит она, глядя на него снизу вверх серыми глазами, которые сдирают с него годы и славу, — если ты желаешь продемонстрировать свои принципы, оскорбляя короля, этого, без всякого сомнения, ты не можешь.

Вот так, когда все еще звенит эхо недельного перезвона коронационных колоколов, Артура

приводят в огороженный бархатными канатами загон в Букингемском дворце. После церемонии он оказывается рядом с профессором — теперь сэром — Оливером Лоджем. Они могли бы обсудить электромагнитное излучение или относительность движения материи или даже выразить свое совместное восхищение перед новым монархом. Вместо этого два новых эдвардианских рыцаря беседуют о телепатии, телекинезе и надежности медиумов. Сэр Оливер убежден, что физические и психические феномены соприкасаются не меньше, чем рифмуются. Более того: недавно сложив с себя обязанности председателя Физического общества, он теперь стал председателем Психического общества.

Они обсуждают сравнительные достоинства миссис Пайпер и Евзапии Палладино, вероятность того, что Флоренс Кук не просто искусная шарлатанка. Лодж описывает сеансы в Кембридже, когда девятнадцать раз Палладино подвергалась проверке в самых жесточайших условиях. Он сам видел, как она выделяла эктоплазмические формы, а еще гитары играли сами собой, плавая в воздухе. Он наблюдал, как ваза с букетом жонкилей перенеслась со столика в дальнем конце комнаты и по очереди повисала

без видимой поддержки под носом каждого из присутствовавших.

— Если бы я взял на себя роль адвоката дьявола, сэр Оливер, и указал бы, что фокусники предлагали воспроизвести ее демонстрации и в некоторых случаях им это удавалось, как бы вы ответили?

— Я бы ответил, что Палладино, вполне возможно, иногда прибегает к ловкости рук. Например, бывают случаи, когда ожидания участников сеанса велики, а духи не появляются. Соблазн тут, конечно, очевиден. Однако из этого не следует, что духи, которые действуют через ее посредство, не подлинны. — Он помолчал. — Вы знаете, что они говорят, скептические насмешники? Они говорят: от изучения протоплазмы к изучению эктоплазмы. А я отвечаю: ну так припомните всех тех, кто в свое время не верил в протоплазму.

Артур засмеялся.

— Могу ли я спросить, чего вы достигли в настоящее время?

— Чего я достиг? Я проводил исследования и экспериментировал уже почти двадцать лет. Предстоит еще много работы. Но исходя из того, чего мне пока удалось достичь, вполне возможно, нет, вероятно, что дух переживает физическое разложение тела.

— Вы меня очень подбодрили.

— Возможно, нам скоро удастся доказать, — продолжал Лодж, заговорщически подмигнув, — что не только мистер Шерлок Холмс способен избежать очевидной и засвидетельствованной смерти.

В жизни Артура крайне мало *far niente*.[18]

Артур вежливо улыбнулся. Ну, уж этот молодчик намерен гнаться за ним до врат святого Петра или какого-то их эквивалента в новом царстве, которое медленно обретало все большую осязаемость.

Он не из тех, кто проводит летний день в шезлонге, натянув шляпу на лицо, слушая, как пчелы допекают люпины. Хроник из него вышел бы в такой же мере беспомощный, в какой Туи преуспевает. Его возражения против бездеятельности опираются не столько на мораль (по его опыту, Дьявол находит работу не только, как гласит поговорка, для ленивых рук, но и для самых энергичных), сколько на его темперамент. Его жизнь включает приливы умственной деятельности, за которыми следуют приливы физической деятельности; а в промежутки он

---

[18] Примечания: 18
ничегонеделания *(ит.).*

укладывает свою общественную и семейную жизнь, два аспекта, которые он берет в один присест. Он даже спит так, будто это часть жизненных забот, а не отдых от них.

А потому, когда машина дает сбой, ему не на что опереться. Он не способен поправляться в безделии двух недель на итальянских озерах или хотя бы несколько дней в теплице. Им тогда овладевают депрессия и вялость, которые он старается прятать от Туи и Джин. Делится он ими только с Мам.

Она подозревает, что ему худо больше обычного, когда он сообщает, что приедет сам по себе, а не ради свидания с Джин. На вокзале Сент-Панкрас Артур садится в поезд 10:40 до Лидса. В вагоне-ресторане он ловит себя — как последнее время становится все чаще — на мыслях об отце. Теперь он признает жестокость своего юношеского суда над ним. Возможно, возраст или слава пробудили в нем желание простить. Или же дело в том, что бывают моменты, когда Артур ощущает себя на грани нервного срыва, когда кажется, что нормальное состояние человека — это как раз находиться на грани нервного срыва, и лишь простое везение или какая-нибудь прихоть наследственности препятствует тому, чтобы с этой

грани срывались все люди? Быть может, если бы не материнская кровь в нем, он мог бы повторить — или уже повторил бы — путь Чарльза Дойля. И теперь впервые Артур начинает осознавать, что Мам никогда не критиковала своего мужа — ни до его смерти, ни после. А ей этого не нужно, могли бы сказать некоторые. И тем не менее. От той, которая всегда говорит, что думает, никто никогда не слышал дурного слова о человеке, который причинил ей столько стыда и страданий.

Когда он сходит в Инглтоне, еще светло. Под вечер они поднимаются по склону в лесу Брайана Уоллера и выходят на вересковую пустошь, кое-где в мягком разнообразии пасущихся диких пони. Крупный, с прямой спиной и в твидовом костюме, сын прицеливает слова вниз на красное пальто и чинный белый чепец своей твердо шагающей матери. Время от времени она подбирает палки на растопку. Эта привычка его раздражает — словно бы он не в состоянии купить ей вязанку наилучших дров, когда они ей требуются.

— Видите, — говорит он, — вот тропинка, а дальше там Инглборо, и мы знаем, что если поднимемся на Инглборо, то сможем увидеть Моркемб. И есть речки, вдоль которых мы можем пойти, которые всегда текут в одном и том же

направлении.

Мам не знает, как понять эти топографические банальности. Они крайне не свойственны Артуру.

— А если бы мы сбились с тропинки и заблудились в холмах, мы могли бы воспользоваться компасом и картой, которые легко приобрести. И даже ночью есть звезды.

— Все это верно, Артур.

— Нет, это банальности, не стоящие того, чтобы их произносить.

— Тогда скажи мне то, что хочешь сказать.

— Вы меня вырастили, — отвечает он. — Никогда еще не было сына, столь преданного своей матери. Я говорю это не в похвалу себе, а просто констатирую факт. Вы сформировали меня, дали мне ощущение себя самого, вы дали мне мою гордость и те нравственные понятия, которыми я обладаю. И все еще нет сына, столь преданного своей матери. Я рос, окруженный сестрами. Аннетт, бедная милая Аннетт, упокой Господь ее душу, Лотти, Конни, Ида, Додо. Я люблю их всех, со всеми их отличиями. Я знаю их насквозь. В молодости я не чуждался женского общества. Я не ронял свое достоинство, как многие другие, но не был ни невеждой, ни ханжой. И все же… и все

же я пришел к мысли, что женщины — другие женщины — подобны дальним странам. Да только, когда я бывал в дальних странах — посреди вельда в Африке, — я всегда умел ориентироваться. Наверное, я говорю бессмыслицы.

Он замолкает. Ему требуется ответ.

— Мы не такие уж дальние, Артур. Мы больше походим на соседнюю страну, которую ты каким-то образом позабыл исследовать. А когда начинаешь, ты не уверен, более ли она развита или гораздо более примитивна. Да, я знаю, как думают некоторые мужчины. И, возможно, дело обстоит и так, и так, а возможно, вообще никак. Ну, скажи мне то, что ты хочешь сказать.

— Джин страдает упадком духа. Возможно, это неточное описание этих припадков. Они физические — у нее мигрени, — но все-таки это скорее нравственная депрессия. Она говорит, что ведет себя так, будто совершила нечто ужасное. И в такие моменты я люблю ее особенно сильно. — Он пытается глубже втянуть йоркширский воздух, но это скорее напоминает грустный вздох. — И я сам впадаю в черные настроения, но испытываю из-за них только омерзение и презрение к себе.

— И в такие моменты она, без сомнения, любит тебя так же сильно.

— Я ей о них не говорю. Возможно, она догадывается, но это не в моем духе.

— Ничего иного я и не ожидала бы.

— По временам я думаю, что схожу с ума. — Он говорит это спокойно, прямо, точно человек, предсказывающий погоду. Через несколько шагов она приподнимает руку и кладет ему на локоть. Непривычный жест, захватывающий его врасплох.

— Или если не сойду с ума, то умру от апоплексического удара. Взорвусь, как котел старого грузового парохода, и просто пойду ко дну вместе со всей командой.

Мам не отвечает. Нет необходимости опровергать его уподобление или даже спросить, не показался ли он врачу из-за болей в груди.

— Когда это на меня находит, я во всем сомневаюсь. Сомневаюсь, любил ли я когда-нибудь Туи. Сомневаюсь, люблю ли я своих детей. Сомневаюсь в моих писательских способностях. Сомневаюсь, что Джин меня любит.

Вот это требует отклика.

— В том, что любишь ее, ты не сомневаешься?

— В этом — никогда. В этом — никогда. Но в результате только хуже. Если бы я мог усомниться и в этом, тогда бы я мог усомниться во всем и

радостно погрузиться в тоску. Нет, это всегда тут и сжимает меня в чудовищной хватке.

— Да, Артур, Джин тебя любит, я в этом твердо убеждена. Я знаю ее и читала ее письма, которые ты посылаешь мне.

— Думаю, что так и есть. Я верю, что так и есть. Но как могу я знать твердо, что это так? Вот вопрос, который терзает меня, стоит нахлынуть этому настроению. Я думаю это, я верю в это, но каким образом могу я это знать? Если бы я только мог доказать, что это так. Если бы кто-то из нас мог это доказать!

Они останавливаются у калитки и смотрят вниз на колышащий травами склон, на крышу и трубы Мейсонгилла.

— Но ты уверен в своей любви к ней, так же как она уверена в своей любви к тебе?

— Да, но это односторонне, это не значит знать, это не доказательство.

— Женщины часто доказывают свою любовь так, как доказывалось много раз.

Артур скашивает взгляд вниз на свою мать, но она упрямо смотрит перед собой. И ему видны только изгиб чепца и кончик ее носа.

— Но опять-таки это не доказательство. Это просто отчаянное старание его получить. Сделай

я Джин моей любовницей, это не доказало бы, что мы любим друг друга.

— Согласна.

— Это может доказать как раз обратное. Что наша любовь нас ослабляет. Иногда возникает впечатление, будто честь и бесчестие очень близки друг к другу, много ближе, чем мне казалось.

— Я никогда не внушала тебе, что честь — легкий путь. Будь это так, чего бы она стоила? И, быть может, доказательства тут вообще невозможны. Быть может, наилучший предел — это думать и верить. Быть может, узнать по-настоящему можно только за гробом.

— Нормальное доказательство зависит от поступков. Проклятая особенность нашего положения в том, что доказательство заключается в бездействии. Наша любовь — нечто отдельное, в стороне от мира, неизвестна ему. Она невидима, не осязаема для мира, однако для меня, для нас, она абсолютно видима, абсолютно осязаема. Она не может существовать в вакууме, но она существует в ином месте, где атмосфера совсем иная, либо легче, либо тяжелее, я не уверен, какая именно. И где-то вне времени. И так было всегда, с самого начала. Именно это вы сразу же распознали. Что нам дана та редчайшая любовь,

которая поддерживает меня… нас абсолютно.

— И тем не менее?

— Тем не менее. Я едва осмеливаюсь произнести это вслух. В голову мне это приходит, когда я на самой низкой точке. Я ловлю себя на… я ловлю себя на мысли: а что, если наша любовь не такая, как я верю, не нечто, существующее вне времени? Что, если все, что я думаю о ней, неверно? Что, если она ни в каком смысле не особенная или особенная только лишь в том, что она скрывается и… не завершена? И что, если… что, если Туи умрет, и мы с Джин станем свободны, и наша любовь сможет наконец быть объявленной и санкционированной и предъявленной миру, и что, если в эту минуту я обнаружу, что время потихоньку делало свою работу незаметно для меня, делало свою работу, обгладывало, и разъедало, и подкапывалось? Что, если тогда я обнаружу… если мы обнаружим, что я не люблю ее так, как думал, или что она не любит меня так, как думала? Что нам тогда делать? Что?

Мам благоразумно не говорит ничего.

Артур поверяет Мам все: свои глубочайшие страхи, свои величайшие воспарения и все промежуточные треволнения и радости материального мира. И никогда даже не намекает на свой все

углубляющийся интерес к спиритуализму — или спиритизму, как он предпочитает его называть. Мам, покинув католический Эдинбург, просто процессом посещения служб прилепилась к Англиканской Церкви. Уже трое ее детей вступили в брак в Сент-Освальде — сам Артур, Ида и Додо. Она инстинктивно не приемлет спиритический мир, в котором ощущает анархию и шарлатанство. Она считает, что люди способны каким-то образом понять свою жизнь, если общество откроет им свои истины; и далее, что религиозные истины общества должны выражаться признанными институтами, будь то Католическая Церковь или Англиканская. А кроме того, следует подумать и о семье. Артур — рыцарь, он завтракал и обедал с королем; он общественная фигура — она повторяет ему его же похвальбу, что он только Киплингу уступает во влиянии на здоровых и бравых молодых людей страны. Что, если станет известно. Что, если станет известно, что он участвует в сеансах и тому подобном? Это перечеркнет все шансы стать пэром.

Тщетно он пытается пересказать свой разговор с сэром Оливером Лоджем в Букингемском дворце. Конечно же, Мам не может не признать, что Лодж абсолютно уравновешенный человек

с безупречной научной репутацией, чему доказательство — его недавнее назначение первым ректором Бирмингемского университета. Но Мам не желает признавать ничего, связанного со спиритизмом, тут она непреклонно отказывается пойти навстречу своему сыну.

Артур страшится заговорить о спиритизме с Туи, чтобы ненароком не нарушить сверхъестественную безмятежность ее существования. В вопросе веры, как ему известно, она просто исполнена непоколебимого доверия. Она предполагает, что, умерев, попадет на Небеса, точную природу которых описать не может, и останется там в состоянии, которое не может вообразить до того времени, пока к ней не присоединится Артур, а следом, в свой черед, их дети, после чего все они будут пребывать вместе в более совершенном варианте Саутси. Артур считает, что было бы нечестно опровергнуть какую-либо из этих презумпций.

И еще тяжелее для него, что он не может делиться с Джин, с которой хотел бы делиться всем — от последней запонки до последней точки с запятой. Он пытался, но Джин относится с подозрением — а может быть, с испугом, — ко всему, что касается мира спиритизма. А кроме того,

выражение ее неприятия Артур находит противоречащим ее любящей натуре.

Как-то раз он пробует рассказать — слегка испытующе и сознательно подавляя увлеченность — о своем впечатлении от сеанса. Почти сразу же он замечает, как прелестные черты отражают крайнее неодобрение.

— Что такое, моя милая?

— Но, Артур, — говорит она, — они же такие вульгарные.

— Кто?

— Эти люди. Вроде цыганок, которые сидят на ярмарках в будках и гадают о твоей судьбе по картам и чаинкам. Они просто… вульгарны.

Подобный снобизм, а тем более в той, кого он любит, Артур находит неприемлемым. Ему хочется сказать, что именно великолепная низшая прослойка среднего класса всегда обеспечивала нацию духовным водительством: стоит назвать хотя бы пуритан, которых многие, конечно, недооценивают. Он хочет сказать, что по берегам моря Галилейского, несомненно, многие считали Господа Нашего Иисуса Христа несколько вульгарным. Апостолы, как и большинство медиумов, школьного образования не получали. Естественно, ничего этого он не говорит. Ему стыдно за свое

внезапное раздражение, и он меняет тему.

И потому ему приходится выйти за пределы своего железно-стороннего треугольника. К Лотти он не обращается: не хочет хоть в чем-то рисковать ее любовью, тем более что она помогает ухаживать за Туи. Вместо того он идет к Конни. Конни, которая еще словно вчера заплетала волосы в косу будто корабельный канат и разбивала сердца вдоль и поперек всей континентальной Европы; к Конни, которая слишком уж солидно приняла роль кенсингтонской маменьки; и сверх всего — Конни, которая посмела пойти ему наперекор в тот день на стадионе. Он так и не выяснил, Конни ли повлияла на Хорнанга или Хорнанг на нее, но, как бы то ни было, кончил он тем, что начал ею восхищаться за тот случай.

Как-то днем, когда Хорнанг отсутствует, он наносит ей визит. Чай сервирован в ее маленькой гостиной наверху, где тогда она выслушала его про Джин. Странно думать, что его сестричке уже ближе к сорока, чем к тридцати. Но этот возраст идет ей. Она не так декоративна, как раньше, она крупна, пышет здоровьем и благодушна. Джером был недалек от истины, назвав ее Брунгильдой, когда они были в Норвегии. Словно бы с годами она обрела крепкое здоровье в попытке уравно-

весить недомогания Хорнанга.

— Конни, — начинает он мягко, — ты когда-нибудь задумываешься о том, что происходит после того, как мы умираем?

Она быстро взглядывает на него. Плохо Туи? Мам нездорова?

— Вопрос вообще, — добавляет он, почувствовав ее тревогу.

— Нет, — отвечает она. — Во всяком случае, очень редко. Я тревожусь о смерти других. Не о своей. Прежде — да, но все меняется, когда становишься матерью. Я верю в учение Церкви. Моей Церкви. Нашей Церкви. Той, которую вы с Мам отвергли. У меня нет времени верить во что-то другое.

— Ты боишься смерти?

Конни задумывается. Она боится смерти Уилли — она знала серьезность его астмы, когда выходила за него, знала, что он всегда будет слаб здоровьем, — но это страх разлуки с ним, потери их товарищества.

— Ну, мысль об этом вряд ли может нравиться, — отвечает она, — но я перешагну этот порог, когда подойду к нему. Ты уверен, что ни к чему не клонишь?

Артур чуть покачивает головой.

— Значит, твою позицию можно суммировать, как «погоди и увидишь»?

— Пожалуй, а что?

— Дорогая Конни, твое отношение к вечности столь сугубо английское.

— Какая странная идея!

Конни улыбается и как будто не намерена уклониться. И все-таки Артур не знает, с чего начать.

— Когда я мальчиком жил в Стонихерсте, у меня был друг Патридж. Чуть помладше меня. Прекрасный крикетист. Ему нравилось изводить меня теологическими спорами. Выбирал примеры самых нелогичных церковных доктрин и просил меня обосновывать их.

— Так он был атеистом?

— Вовсе нет. Куда более убежденным католиком, чем когда-либо я. Но он старался убедить меня в истинности догматов Церкви через их опровержение. Тактика оказалась неудачной.

— Интересно, что сталось с Патриджем?

Артур улыбается.

— А он — второй карикатурист «Панча». — Он умолкает. Нет, надо прямо перейти к сути. В конце-то концов, таков его путь.

— Многие люди, большинство их, Конни, испытывают ужас перед смертью. В этом отношении

они на тебя не похожи. Но они похожи на тебя в своем английском подходе. Ждут и видят, перешагивают порог, когда подходят к нему. Но почему это ослабляет страх? Почему неуверенность его не усугубляет? И в чем суть жизни, если не знать, что происходит потом? Как можно осмыслить начало, если не знать, каков конец?

Конни пытается понять, куда клонит Артур. Она любит своего импозантного, щедрого, шумного брата. Он мнится ей шотландской практичностью, пронизанной внезапными огненными вспышками.

— Как я сказала, я верю тому, чему учит моя Церковь, — отвечает она. — И никакой другой альтернативы не вижу. Кроме атеизма, а он — всего лишь пустота, невыразимо гнетущ и ведет к социализму.

— А что ты думаешь о спиритизме?

Она знает, что Артур уже годы поигрывал со спиритуализмом. Об этом намекают и полунамекают у него за спиной.

— Полагаю, я ему не доверяю, Артур.

— Почему? — Он надеется, что Конни не окажется тоже зараженной снобизмом.

— Потому что, по-моему, это шарлатанство.

— Ты права, — отвечает он к ее удивлению. — В

значительной своей части. Лжепророки всегда числом превосходят истинных, как было и с самим Христом. И обманы, и мошенничества, даже просто криминальные уловки. Воду мутят весьма темные молодчики. И женщины тоже, как ни грустно.

— Собственно, я так и думала.

— И к тому же толком это никак не объяснено. Мне иногда кажется, что мир разделяется на тех, кому спиритические явления знакомы по опыту, но они не умеют писать, и тех, кто умеет писать, но кто не знаком со спиритическими явлениями по опыту.

Конни не отвечает. Ей не нравится логический вывод из этой фразы. Артур сидит напротив нее, позволяя своему чаю остывать.

— Но я сказал «в значительной своей части», Конни. Только значительная часть сводится к шарлатанству. Если ты посетишь золотой рудник, разве ты найдешь его набитым золотом? Нет. Значительная часть руды, большая ее часть, содержит низшие металлы. Золото надо искать.

— Иносказания не внушают мне доверия, Артур.

— И мне. И мне тоже. Вот почему я не доверяю вере, ведь это же наибольшее иносказание из

всех. С верой я покончил. И могу работать только с ясным белым светом знания.

Конни как будто недоумевает.

— Самая суть спиритических изысканий, — объясняет он, — подразумевает исключение и разоблачение обмана и шарлатанства. Оставляя лишь то, что может получить научное подтверждение. Если исключить невозможное, то, что останется, пусть даже самое невероятное, должно быть правдой. Спиритизм не требует прыжка во тьму, не требует переступить порог, к которому ты еще не подошла.

— Что-то вроде теософии? — Конни теперь уже на пределе своей осведомленности.

— Нет, не вроде теософии. В конечном счете теософия всего лишь еще одна вера. А я, как уже сказал, с верой покончил.

— И с Небесами, и с Адом?

— Помнишь, как нас наставляла Мам? «На тело надевай фланель и ни в коем случае не верь в вечную кару».

— Значит, все попадают на Небеса? Грешники и праведники равно? Так какое же побуждение…

Артур ее перебивает. У него такое ощущение, будто он снова ведет диспут о Толли.

— Наш дух не обязательно обретает мир, когда

мы переходим.

— А Бог и Иисус? Ты в них не веришь?

— Конечно, верю. Но не в Бога и Иисуса, присвоенных Церковью, которая на протяжении веков была растлена и духовно, и интеллектуально и которая требует от своих последователей отказа от рациональности.

Конни окончательно запуталась и чувствует, что ей, возможно, следует оскорбиться.

— Так в какого же Иисуса ты веришь?

— Если ты взглянешь, что на самом деле говорится в Библии, если ты проигнорируешь, как текст изменялся и неверно истолковывался и подгонялся под волю господствующей Церкви, то вывод ясен — Иисус был в высшей степени натренированным спиритом или медиумом. Внутренний круг апостолов, особенно Петр, Иаков и Иоанн, безусловно, были избраны за свои спиритические способности. Библейские «чудеса» всего лишь — ну, не всего лишь, а целиком, — примеры спиритических способностей Иисуса.

— Воскрешение Лазаря? Насыщение пяти тысяч пятью хлебами?

— Есть медиумы-целители, утверждающие, что видят внутренности тела. Есть медиумы-кине-

тики, утверждающие, что способны переносить объекты через время и пространство. А Пятидесятница, когда снизошел Святой Дух, и они все заговорили «на иных языках». Что это, как не сеанс? Более точного описания сеанса мне читать не приходилось.

— Значит, ты стал ранним христианином, Артур?

— Не говоря уж о Жанне д'Арк. Она, бесспорно, была великим медиумом.

— И она тоже?

Он подозревает, что теперь Конни посмеивается над ним — совсем в ее характере. И поэтому ему становится не труднее, а легче продолжать свои объяснения.

— Взгляни на это вот так, Конни. Вообрази, что действуют сто медиумов. Вообрази, что девяносто девять из них — шарлатаны. Это означает, что один из них подлинный, не так ли? А если один подлинный и спиритические феномены, которым этот медиум служит проводником, подлинны, мы доказали наше положение. Его достаточно доказать один-единственный раз, и оно доказано для всех и навсегда.

— Что доказали? — Конни несколько опешила из-за внезапного перехода ее брата на «мы».

— Что дух остается существовать и после смерти. Один случай — и мы докажем это для всего человечества. Разреши я расскажу тебе о том, что произошло двадцать лет назад в Мельбурне. В свое время это было хорошо продокументировано. Двое молодых братьев вышли на своей лодке в бухту с опытным моряком у руля. Погода для плавания была отличная, но, увы, они не вернулись. Их отец был спиритуалистом и после двух дней без каких-либо известий он обратился к известному сенситиву, то есть медиуму, чтобы попытаться проследить их. Сенситиву были даны кое-какие вещи братьев, и с помощью психометрии он сумел установить их передвижения. В заключение ему удалось уловить, что лодка попала в тяжелое положение, и на ней царил хаос. Казалось, гибель их была неминуема.

Я вижу выражение твоих глаз, Конни, и знаю, что ты думаешь: что тебе для этого вывода медиум не понадобился бы. Но погоди. Два дня спустя был проведен новый сеанс с тем же сенситивом, и оба юноши, которых отец приобщил к спиритуализму, немедля вступили в контакт. Они попросили прощения у матери, которая была против их морской прогулки, и рассказали, как лодка опрокинулась и о своей смерти в водной

стихии. Они сообщили, что теперь пребывают в том состоянии света и счастья, которое обещали наставления их отца. И они даже помогли моряку, погибшему с ними, сказать несколько слов.

Перед завершением контакта один юноша сказал, что хищная рыба оторвала руку его брата. Медиум спросил, не акула ли, и юноша ответил, что рыба не походила ни на одну из акул, которых ему прежде доводилось видеть. Так вот все это было тогда же записано и частично опубликовано в газетах. Заметь дальнейшее. Несколько недель спустя большая акула редчайшей глубоководной разновидности, незнакомой рыбакам, ее поймавшим, и никогда прежде не встречавшаяся в водах возле Мельбурна, была изловлена примерно в тридцати милях оттуда. В ее внутренностях были обнаружены кости человеческой руки. А кроме того, несколько монет, часы и кое-какие другие предметы, принадлежавшие этому юноше. — Он делает паузу. — Ну, Конни, что ты на это скажешь?

Конни задумывается. Насколько она понимает, ее брат путает религию со своей страстью расставлять все по своим местам. Он видит проблему — смерть, и ищет способ найти для нее решение. И еще она думает, что спиритуализм ее брата

каким-то образом, хотя она не совсем понимает, как именно, связан с его любовью к рыцарственности, романтике и вере в золотой век. Но свои возражения она строит на более узкой основе.

— Скажу я вот что, дорогой брат: это чудесная история, а ты — чудесный рассказчик, как мы все отлично знаем. И еще я думаю, что не была в Мельбурне двадцать лет назад, как не был и ты.

Артур не против получить отпор.

— Конни, ты величайшая рационалистка, а это первый шаг к тому, чтобы стать спиритистом.

— Сомневаюсь, что тебе удастся обратить меня в свою веру, Артур. — Конни кажется, что пересказал он переработанную версию про Иону и кита, хотя и такую, в какой жертвам повезло меньше; и что строить какие-либо верования на подобной истории — это такой же акт веры, каким стала история Ионы для тех, кому довелось услышать ее первыми. Но Библия хотя бы предлагает иносказание. Артур, поскольку он не любит иносказаний, видит притчу и решает принять ее буквально. Точно притча о пшенице и плевелах представляла собой всего лишь агрономическую рекомендацию.

— Конни, что, если кто-то, кого ты знала и любила, умер бы. А потом вступил бы в контакт с тобой,

говорил бы с тобой, сказал бы что-то, известное только тебе, упомянул какую-нибудь личную интимную подробность, которая никак не может быть узнана с помощью шарлатанства?

— Артур, я думаю, это еще один порог, через который я переступлю, если когда-нибудь окажусь перед ним.

— Конни, английская ты Конни. Жди и увидишь. Жди и увидишь, как обернется дело. Это не для меня. Я за то, чтобы действовать немедленно же.

— Ты всегда был таким, Артур.

— Над нами будут смеяться. Это великое дело, но борьба не будет честной. Приготовься, что твой брат станет предметом насмешек. И все-таки помни одно: нам требуется только один случай. Один случай — и все доказано. Доказано вне всяких разумных сомнений. Доказано вне всяких научных опровержений. Только подумай об этом, Конни!

— Артур, твой чай совсем остыл.

Вот так мало-помалу накапливаются годы. Десять лет с тех пор, как заболела Туи, шесть с тех пор, как он встретил Джин. Одиннадцать лет с тех пор, как заболела Туи, семь — с тех пор, как он встретил Джин. Двенадцать лет с тех пор, как

заболела Туи, восемь — с тех пор, как он встретил Джин. Туи продолжает быть бодрой, не испытывать боли и, он уверен, ничего не подозревать о заботливом заговоре, ее окружающем. Джин остается в своей квартире, упражняет голос, участвует в лисьих травлях, гостит в «Под сенью» с соблюдением всех правил хорошего тона — и без их соблюдения в Мейсонгилле; она все так же настаивает, что ей достаточно того, что у нее есть, поскольку ее сердце желает именно этого, и оставляет за своей спиной один безопасный для деторождения год за другим. Мам остается его опорой, его исповедницей, его гарантией. Ничто не движется. Быть может, ничего так и не сдвинется, пока однажды напряжение не поразит его сердце, и он попросту взорвется и испустит дух. Выхода нет, в этом омерзительность его положения; или, вернее, всякий возможный выход помечен «Горесть». В «Шахматном журнале» Ласкера он читает о позиции под названием «цунцваг», когда игрок не может продвинуть ни единую фигуру ни в каком направлении ни на какую клетку, не ухудшив своего и без того тяжелого положения. Вот какой ощущается жизнь Артуром.

С другой стороны, жизнь сэра Артура, кроме

которой большинство людей ничего не видит, великолепна, как никогда. Рыцарь королевства, друг короля, защитник Империи и заместитель лорда-наместника Суррея. Человек нарасхват. Однажды его приглашают судить состязание на звание Силача, организованное мистером Сендоу, бодибилдером, в Альберт-Холле. Он и Лоус, скульптор, — два оценивателя, а сам Сендоу — рефери. Восемьдесят соперников партиями по десять человек демонстрируют свою мускулатуру перед битком набитым залом. Восемьдесят почти лопающихся леопардовых шкур сокращаются до двадцати четырех, до двенадцати, до шести и, наконец, до трех финалистов. Это три великолепнейших экземпляра, но один чуть пониже, а другой чуть неуклюжее, и потому они присуждают титул вместе с ценной золотой статуэткой ланкаширцу по фамилии Меррей. Судьи и некоторые избранные гости затем вознаграждаются поздним ужином с шампанским. Выходя на полуночную улицу, сэр Артур замечает, что впереди него идет Меррей, небрежно прижимая статуэтку к боку одной могучей рукой. Сэр Артур нагоняет его, поздравляет еще раз и, заметив, что это простецкий деревенский парень, спрашивает, где он намерен переночевать. Меррей признается,

что денег у него нет ни пенни, только обратный билет до Блэкберна, и он намерен расхаживать по пустынным улицам до отхода своего утреннего поезда. Сэр Артур приводит его в отель «Морли» и поручает заботам портье и прочих. На следующее утро он находит Меррея в постели в окружении благоговеющих горничных и официантов, на подушке рядом с ним блестит его золотой приз. Такое счастливое завершение! Но в памяти сэра Артура остается не оно. А картина человека, одиноко идущего впереди него, человека, который выиграл замечательный приз под бурю оваций, человека с золотой статуэткой под мышкой и тем не менее без единого пенни в кармане, человека, решившего бродить по пустынным улицам в свете газовых фонарей до рассвета.

Затем есть жизнь Конан Дойля, которая тоже складывается прекрасно. Он слишком профессионален и слишком энергичен, чтобы страдать от писательского бесплодия больше одного-двух дней. Он определяет сюжет, собирает необходимый материал и планирует его, а затем пишет. Обязанности писателя ему абсолютно ясны: истории, во-первых, должны быть доступны для понимания, во-вторых, интересны, а в-третьих, умны. Он знает свои способности, а также зна-

ет, что в конечном счете читатель — король. Вот почему мистер Шерлок Холмс был возвращен к жизни, получил дозволение спастись из Рейхенбахского водопада благодаря владению приемами экзотической японской борьбы и способности карабкаться вверх по отвесным скалистым обрывам. Если американцы настойчиво предлагают пять тысяч долларов за всего лишь полдюжины новых рассказов — и в обмен только на американские права, — что остается доктору Конан Дойлю, как не сдаться и позволить приковать себя к сыщику-консультанту на обозримое будущее? А этот субъект обеспечил и другие награды: Эдинбургский университет сделал его почетным доктором литературы. Возможно, ему никогда не стать таким великим, как Киплинг, но когда он шел в парадном строе по городу своего рождения, в академической мантии, он ощущал себя свободно — и несравненно больше, должен он был признать, чем в причудливом одеянии заместителя лорда-лейтенанта Суррея.

И, наконец, его четвертая жизнь, в которой он не Артур, не сэр Артур, не доктор Конан Дойль, жизнь, в которой имя значения не имеет, как и богатство, и ранг, и внешние успехи, и панцирь телесной оболочки, — мир духа. Ощущение, что

он был рожден для чего-то другого, возрастает с каждым годом. Это нелегко и никогда не будет легким. Совсем не то, что подписаться под какой-нибудь из утвердившихся религий. Это новое, и опасное, и абсолютно важное. Если бы вы приняли индуизм, общество сочло бы это эксцентричностью, а не помешательством. Но если вы готовы распахнуть себя миру спиритизма, то приготовьтесь терпеть шуточки и дешевые парадоксы, с помощью которых пресса сбивает публику с толку. Однако что такое невежественные насмешники и любители дешевых сарказмов и дешевые газетные писаки в сопоставлении с Круксом, и Майерсом, и Лоджем, и Альфредом Расселом Уоллесом?

Наука возглавляет путь и оставляет скептиков ни с чем, как бывало всегда. Ну кто бы поверил в радиоволны? Кто бы поверил в рентгеновские лучи? Кто бы поверил в аргон, и гелий, и ксенон, открытые в последние годы? Невидимое и неосязаемое, скрытое под поверхностью реального, прямо под кожей сущего, все чаще обретает видимость и осязаемость. Мир и его подслеповатые обитатели наконец-то начинают учиться видеть.

Возьмите Крукса. Что говорит Крукс? «Это невероятно, но истинно». Человек, чьи труды в

области физики и химии всюду вызывают восхищение своей точностью и неопровержимостью. Человек, открывший таллий, потративший годы на изучение свойств инертных газов и редкоземельных элементов. Кто может лучше судить об этом столь же скрытом мире, этой новой территории, недоступной более неповоротливым умам и кабинетным душам? Невероятно, но истинно.

А затем Туи умирает. Прошло тринадцать лет, как она заболела, девять, как он встретил Джин. Теперь, весной 1906 года, она начинает впадать в легкий бред. Сэр Дуглас Пауэлл сразу же рядом; более бледный, более облыселый, но все еще обходительнейший вестник смерти. На этот раз шансов на отсрочку нет, и Артуру следует приготовиться к тому, что было предречено давным-давно. Начинается бдение. Грохочущий монорельс «Под сенью» отключен. Стрельбище закрыто, теннисная сетка убрана на весь сезон. Туи по-прежнему не испытывает боли и остается безмятежной по мере того, как весенние цветы в ее комнате сменяются цветами начала лета. Мало-помалу периоды бреда все удлиняются, туберкула проникла в ее мозг: левая сторона ее тела и половина лица частично парализованы, «О подражании Христу» лежит нераскрытое;

Артур постоянно при ней.

До самого конца его она узнает. Она говорит «да благословит тебя Бог» и «благодарю тебя, милый», а когда он поднимает ее повыше, она шепчет «вот-вот, в самый раз». Когда июнь переходит в июль, она, несомненно, при смерти. В тот самый день Артур рядом с ней; Мэри и Кингсли наблюдают в неловком страхе, их смущает парализованное лицо матери. Они ждут в молчании. В три утра Туи умирает, держа руку Артура. Ей сорок девять, Артуру сорок семь. После ее смерти он почти все время у нее в комнате. Стоит возле ее тела, говоря себе, что сделал все, от него зависевшее. Он также знает, что сброшенная оболочка, уложенная в кровати, совсем не все, что остается от Туи. Это белое и восковое нечто всего лишь то, что она оставила позади себя.

В следующие дни Артур под лихорадочной экзальтацией удрученности горем ощущает неколебимое чувство исполненного долга. Туи погребена как леди Дойль под мраморным крестом в Грейшоте. Соболезнования поступают от великих и от малых, от короля и от горничной, от его собратьев-писателей и от его читателей в разных уголках мира, из лондонских клубов и из аванпостов Империи. Поначалу Артур растроган

и польщен выражениями сочувствия, а затем, когда они все продолжаются и продолжаются, начинает испытывать нарастающую тревогу. Что такого он, в сущности, сделал, чтобы заслужить подобную сочувственность, не говоря уж о кроющихся за ней предположениях.

Эти выражения искреннего чувства принуждают его ощущать себя лицемером. Туи была кротчайшей подругой, какую вообще мог бы обрести мужчина. Он вспоминает, как показывал ей военные трофеи на эспланаде Кларенс; он видит ее с морским сухарем в продовольственном складе; он вальсирует с ней вокруг кухонного стола; он увлекает ее в морозную Вену; он подтыкает ее одеяло в Давосе и машет рукой фигуре в шезлонге на террасе египетского отеля перед тем, как послать клюшкой мяч через пески в сторону ближайшей пирамиды. Он помнит ее улыбку и ее доброту; но кроме того, он помнит, что уже много лет он не мог бы, положа руку на сердце, поклясться, что любит ее. И не просто с тех пор, как появилась Джин, но еще раньше. Он любил ее, как только может любить мужчина, при условии, что он ее не любил.

Он знает, что ему следует провести следующие дни и недели с детьми, поскольку так поступает

горюющий родитель. Кингсли тринадцать, а Мэри семнадцать — возрасты, которые теперь вызывают у него изумление. Какую-то часть в нем заморозило время на том дне и годе, когда он встретил Джин, на том дне, когда его сердце обрело полноту жизни, а также погрузилось в анабиоз. Ему надо привыкнуть к мысли, что его дети скоро станут взрослыми.

Если ему требуется какая-то дополнительная проверка, то он вскоре получает ее от Мэри. За чаем через несколько дней после похорон Мэри говорит ему пугающе взрослым голосом:

— Папа, когда мама умирала, она сказала, что вы снова женитесь.

Артур чуть не давится кексом. Он чувствует, как краска заливает ему щеки, в груди щемит; возможно, это сердечный припадок, которого он полуожидал.

— Она так сказала, черт возьми? — Ему Туи, разумеется, ничего подобного не говорила.

— Да. Нет, не совсем. То, что она сказала… — и Мэри умолкает, а ее отец ощущает какофонию в голове, трясение нутра, — …сказала она, чтобы я не была потрясена, если вы снова женитесь, потому что она хотела бы этого для вас.

Артур не знает, что и думать. Устроена ли ему

ловушка? Или никакой ловушки нет и в помине? Значит, Туи все-таки подозревала? И доверилась дочери? Было ли это сказано вообще, или подразумевалось что-то конкретное?

Последние девять лет ему пришлось натерпеться столько чертовских неясностей, и он сомневается, хватит ли у него сил выдержать новые.

— И она… — Артур пытается придать своему тону шутливость, хотя и понимает, что это абсолютно не подходящий тон, — и она имела в виду какую-то определенную кандидатуру?

— Папа! — Мэри явно шокирована не только тоном, но и самой идеей. Разговор переходит на более безопасные темы. Но остается с Артуром все последующие дни, когда он относит цветы на могилу Туи, когда стоит растерянный в ее комнате, когда держится подальше от своего письменного стола и когда обнаруживает, что не может взять в руки продолжающие приходить письма с соболезнованиями, письма искреннего чувства. Он потратил девять лет, оберегая Туи от возможности узнать о существовании Джин, девять лет в попытках не допустить, чтобы она хотя бы на минуту почувствовала себя несчастной. Но может быть, эти два желания не… — и были та-

кими всегда — несовместимы. Он с готовностью соглашается, что женщины — не его область. Знает ли женщина, что вы в нее влюблены? Он полагает, что да. Он верит, что да, он знает, что да, так как именно это поняла Джин в солнечном саду даже прежде, чем он сам это осознал. А если так, то знает ли женщина, что вы ее больше не любите? И знает ли женщина, кроме того, что вы любите другую? Девять лет назад он задумал хитрую интригу, чтобы оградить ее, вовлек всех, кто ее окружал. Но в конце-то концов, не был ли это, в сущности, план, как оградить себя и Джин? Быть может, действовал тут только эгоизм, и Туи притворство не обмануло; быть может, она знала все с самого начала. Мэри не дано даже заподозрить всю тяжесть этих слов Туи о второй женитьбе, но Артур теперь испытывает ее сполна. Может быть, она знала с самого начала, следила за подлыми потугами Артура не допустить правду до одра ее болезни, понимала каждую мелкую ложь, которой муж пичкал ее, и улыбалась ей, воображала, как он внизу прижимает к уху трубку, нарушитель брачных обетов. Она же чувствовала себя бессильной протестовать, потому что больше не могла ему быть женой в полном смысле слова. А что, если — и тут его подозрения становятся все

более черными, — что, если она с самого начала знала, как важна для него Джин, и продолжала догадываться? Что, если она была вынуждена радушно принимать Джин в «Под сенью», считая ее любовницей Артура?

Ум Артура — и сильный, и бескомпромиссный — исследует эту ситуацию глубже. У его разговора с Мэри есть еще последствия, кроме замеченных им сразу. Смерть Туи, понимает он теперь, не положит конец его обманам. Нельзя допустить, чтобы Мэри узнала, что он *любил* Джин все последние девять лет. И тем более Кингсли. Ведь утверждают, что мальчики часто даже еще сильнее, чем девочки, переживают то, как их мать оказалась преданной.

Он прикидывает, как выбрать подходящий момент, подбирает слова, затем откашливается и пытается говорить так… как?., так, словно сам едва способен верить тому, что собрался сказать.

«Мэри, милая, ты знаешь, что сказала твоя мать перед смертью? О возможности, что я когда-нибудь женюсь во второй раз. Ну так я должен сообщить тебе, что, к моему собственному немалому изумлению, она, видимо, оказалась права».

И он действительно скажет что-то подобное? А если да, то когда? До истечения года? Нет, конеч-

но, нет. Но в следующем… или еще год спустя? Как быстро горюющему вдовцу дозволено вновь влюбиться? Он знает, как общество относится к подобному, но что чувствуют дети и, главное, его дети?

А затем он воображает вопросы Мэри. Кто она, папа? О, мисс Леки. Я познакомилась с ней, когда была еще совсем маленькой, так ведь? А потом мы постоянно встречались с ней то тут, то там. А потом она начала приезжать в «Под сенью». Я всегда думала, что к этому времени она уже выйдет замуж. Сколько ей лет? Тридцать один год? Так она старая дева, папа? Удивительно, что она никого не привлекла. А когда вы поняли, что любите ее, папа?

Мэри уже не ребенок. Возможно, она не ждет, что ее отец будет лгать, однако подметит малейшую неувязку в его истории. А что, если он запутается? Артур презирает тех субъектов, которые преуспевают во лжи, которые строят свою жизнь — даже свой брак — на том, что им сходит с рук, которые тут прибегают к полуправде, там — к законченной лжи. Артур всегда провозглашал необходимость говорить правду своим детям; теперь ему предстоит сыграть роль законченного лицемера. Он должен улыбаться, и выглядеть

застенчиво радостным, и разыгрывать изумление, и состряпать полную лжи романтическую историю, как он нежданно полюбил Джин Леки, и поведать эту ложь собственным детям, а затем поддерживать ее до конца жизни. И он должен попросить других ради него делать то же.

Джин. Как и следовало, она не приехала на похороны; прислала соболезнующее письмо, а неделю-две спустя Малькольм привез ее из Кроборо. Свидание было не из легких. Когда они приехали, Артур понял, что не может обнять ее на глазах у ее брата, а потому он инстинктивно поцеловал ей руку. Неверный поступок — в нем было что-то почти шутовское, — и возникла неловкость, которая никак не рассеивалась. Она вела себя безукоризненно, как он знал заранее, но он оставался в полной растерянности. Когда Малькольм тактично решил осмотреть сад, Артур поймал себя на том, что беспомощно ожидает чьей-то подсказки. Но чьей? От Туи во главе чайного стола? Он не знал, что сказать, а потому использовал свое горе для маскировки собственной неуклюжести, отсутствия радости при виде лица Джин. Ему стало легче, когда Малькольм вернулся, удовлетворив свое притворное любопытство к красотам его сада. Вскоре они уехали,

и Артур чувствовал себя хуже некуда.

Треугольник, внутри которого он жил — поеживаясь, но счастливо, — теперь разломился, и новая геометрия его пугала. Его горестная экзальтация угасает, им овладевает летаргия. Он бродит по садам «Под сенью», как будто их в далеком прошлом спланировал совсем другой человек. Он ежедневно посещает могилу Туи и возвращается совсем измученным. Он рисует в воображении, как она утешает его, уверяет его, что, какой бы ни была правда, она всегда любила его, а теперь прощает, но требовать этого от покойной выглядит тщетным и эгоистичным. Долгие часы он просиживает у себя в кабинете, курит и смотрит на сверкающие пустые трофеи, приобретенные спортсменом, охотником и преуспевшим писателем. Все его побрякушки кажутся бессмысленными перед фактом смерти Туи.

Свою корреспонденцию он целиком оставляет на Вуда. Его секретарь давно научился воспроизводить подпись своего патрона, его дарственные надписи, обороты речи, даже его суждения. Так пусть он пока побудет сэром Артуром Конан Дойлем — у того, кому принадлежит это имя, нет желания быть самим собой. Вуд может вскрывать все конверты, выбрасывать содержимое или

отвечать, как сочтет нужным.

У него ни на что не хватает энергии, он почти не ест. Испытывать голод в такое время непристойно. Он ложится, но не может спать. Никаких симптомов у него нет, только общая и крайняя слабость. Он советуется со своим старинным другом и медицинским консультантом Чарльзом Гиббсом, следящим за его здоровьем, начиная с его южноафриканских дней. Гиббс говорит ему, что это — все и ничего, другими словами, нервы.

Вскоре это уже не просто нервы. Его внутренности выходят из строя. Ну, это Гиббс хотя бы может диагностировать, пусть помочь толком не может. Вероятно, некий микроб проник в его организм в Блумфонтейне или в вельде и прячется там, выжидая, когда он ослабеет. Гиббс прописывает снотворную микстуру. Однако он ничего не может поделать с другим микробом, хозяйничающим в организме его пациента, тоже уничтожению не поддающимся, — микробом вины.

Он всегда полагал, что долгая болезнь Туи так или иначе подготовит его к ее смерти. Он всегда полагал, что горе и вина, если они последуют, будут более обозначенными, более четкими, более конечными. А вместо этого они — словно погода,

словно облака, постоянно преобразующиеся в новые формы, гонимые безымянными, неопределенными ветрами.

Он знает, что должен взять себя в руки, но чувствует, что не способен. В конце-то концов, это означает вновь принудить себя ко лжи. Во-первых, поддержать, сделать исторической старую ложь о его счастливейшем браке по любви с Туи; затем спланировать и распространить новую ложь о том, как Джин приносит нежданное утешение сердцу горюющего вдовца. Мысль об этой новой лжи вызывает у него омерзение. В летаргии, во всяком случае, есть правда: изнуренный, замученный своим кишечником, бродящий на ослабевших ногах из комнаты в комнату, он хотя бы никого не вводит в заблуждение. За исключением того, что тем не менее вводит: все приписывают его состояние всего лишь горю.

Он лицемер; он обманщик. В некоторых отношениях он всегда ощущал себя обманщиком, и чем более знаменитым он становился, тем большим обманщиком себя ощущал. Его восхваляли как великого человека своего века, но как он ни активен в этом своем мире, его сердце не настроено на его лад. Всякий нормальный мужчина этого века не постеснялся бы сделать Джин своей лю-

бовницей. Именно так поступают мужчины этого времени, даже в высочайших сферах общества, как ему доводится наблюдать. Но его моральной жизни вольготнее в четырнадцатом веке. А его духовной жизни? Конни определила его как раннего христианина. Сам он предпочитает относить себя к будущему. Двадцать первый век? Двадцать второй? Все зависит оттого, насколько быстро дремлющий род людской пробудится и научится пользоваться своими глазами.

А затем его мысли, уже скользящие под откос, скатываются еще ниже. После девяти лет жажды невозможного и попыток не признавать этой жажды он теперь свободен. Он может жениться на Джин завтра же утром и столкнуться только с пересудами деревенских моралистов. Но жажда невозможного канонизирует жажду. Теперь, когда невозможное стало возможным, как сильно он жаждет? Даже этого он теперь сказать не может. Словно мышцы сердца, перенапрягаемые так долго, превратились в обмякшую резину.

Как-то ему довелось услышать поведанную за портвейном историю про женатого человека, много лет имевшего одну любовницу. Эта женщина принадлежала к высшему обществу, вполне подходила стать его женой, что всегда

предвкушалось и обещалось. Со временем жена скончалась, и всего через несколько недель вдовец действительно женился. Но не на любовнице, а вместо того на молодой женщине довольно низкого сословия, с которой познакомился через несколько дней после похорон. В тот момент Артур счел его двойным подлецом — подлецом сначала в отношении к жене, затем подлецом в отношении к любовнице.

Теперь ему становится ясно, как легко случается подобное. В течение хаотичных месяцев после смерти Туи он практически не появлялся в обществе, а те, с кем его знакомили, оставили самое незначительное впечатление. И тем не менее и даже учитывая тот факт, что он не понимает противоположный пол, некоторые из членов указанного пола флиртовали с ним. Нет, это вульгарно и несправедливо; но, бесспорно, смотрели они на него как-то по-другому, на этого знаменитого писателя, рыцаря королевства, который теперь был вдовцом. И он легко мог представить себе, что обмякшая резина может внезапно прорваться, и наивность юной девушки или даже надушенная улыбка кокетки может внезапно пронзить сердце, на время онемевшее в долгой и тайной привязанности. Он понимает поведение

двойного подлеца. Более чем понимает: он видит его преимущества. Если позволить себе поддаться такому *coup de foudre*,[19] тогда, во всяком случае, лжи приходит конец: тебе не нужно вытаскивать на свет свою долго хранимую в тайне любовь и представлять ее как новую подругу. Тебе не придется лгать своим детям до конца жизни. А что до новой жены, ты говоришь: да, я знаю, какое она производит на вас впечатление, и она никогда не сможет заменить незаменимое, но она принесла немного радости и утешения моему сердцу. Искомое прощение может быть получено не сразу, но все-таки ситуация будет менее усложненной.

Он снова видится с Джин: один раз в большом обществе и один раз наедине, и в обоих случаях неловкость между ними остается. Он ловит себя на том, что ждет, чтобы его сердце вновь забилось, а оно отказывается подчиниться. Он так привык принуждать свои мысли, давить на них, направлять их туда, куда требовалось, что потрясен, когда оказывается не способным таким же образом управлять нежными чувствами. Джин выглядит так же обворожительно, как раньше, только ее обворожительность не вызывает обыч-

---

[19] Примечания: 19
удар молнии *(фр.).*

ного отклика. Его словно бы сразила импотенция сердца.

В прошлом Артур облегчал терзания мыслей физическими нагрузками, но у него нет желания проехаться верхом, побоксировать со спарринг-партнером, ударить по мячу в крикете, теннисе, гольфе. Быть может, если бы он во мгновение ока вознесся в заснеженную долину высоко в Альпах, ледяной ветер мог бы развеять ядовитые миазмы, обволакивающие его душу. Но это кажется невозможным. Человек, которым он когда-то был, *Sportesmann*, который привез свои норвежские лыжи в Давос и прошел перевал Фурка с братьями Брангер, представляется ему давно ушедшим, давно исчезнувшим из вида по ту сторону горы.

Когда наконец его сознание прекращает спуск, когда лихорадка, снедающая его мозг и нутро, стихает, он пытается произвести расчистку у себя в голове, обеспечить участочек для простой мысли. Если человек не может сказать, чего он хочет делать, тогда он должен узнать, чего ему следует сделать. Если желание усложняется, тогда неуклонно следуй долгу. Вот как у него было с Туи и как теперь должно быть с Джин. Он любил ее безнадежно и полный надежды девять лет. Подобное чувство не могло просто взять и

исчезнуть, следовательно, ему надо ждать его возвращения. А до тех пор он должен одолеть великое Гримпенское болото, где полные зеленой слизи ямы и смрадные трясины подстерегают по обеим сторонам, чтобы засосать человека и поглотить навсегда. Чтобы проложить себе верный путь, он должен использовать все, чему научился до этих пор. В болоте есть тайные знаки — связки камышей и указующе воткнутые вехи, чтобы вывести посвященного на твердую землю, и то же самое, когда человек заблудился морально. Путь ведет туда, куда указывает честь. Честь связывает его с Джин, как связывала с Туи. С такого расстояния он не может сказать, будет ли он когда-нибудь счастлив по-настоящему, но он знает: для него нет счастья, если нет чести.

Дети в школе; дом безмолвен; ветры оголяют деревья; ноябрь оборачивается декабрем. Он чувствует себя немного более успокоенным, как ему и предрекали. Как-то утром он забредает в кабинет Вуда взглянуть на свою корреспонденцию. В среднем он получает шестьдесят писем в день. В прошедшие месяцы Вуд был вынужден разработать особую систему: он сам отвечает на все, с чем можно покончить сразу же; те, что требуют мнения сэра Артура или его решения,

складываются на большой деревянный поднос. Если к концу недели его патрон не обрел желания или сил что-либо ему подсказать, Вуд разбирается сам, насколько может.

Сегодня на верху подноса лежит небольшой пакет. Артур неохотно извлекает содержимое. Сопроводительное письмо пришпилено к пачке вырезок из газеты с названием «Арбитр». Он никогда о ней не слышал. Может быть, она занимается крикетом. Нет, судя по шрифту, это «желтая» газетенка. Он смотрит на подпись в письме. Он прочитывает имя и фамилию, которые не говорят ему абсолютно ничего: Джордж Идалджи.

Часть третья
КОНЧАЮЩАЯСЯ НАЧАЛОМ

Артур и Джордж

С первого же момента, едва Шерлок Холмс успешно завершил свое первое дело, на него со всех концов света посыпались просьбы и требования. Если люди или вещи исчезают при таинственных обстоятельствах, если полиция более, чем обычно, заходит в тупик, если правосудие оказывается неправосудным, тогда, видимо, человеческий инстинкт подсказывает воззвать к Холмсу и его творцу. Письма, адресованные «221-Б, Бейкер-стрит», почта теперь автоматически возвращает отправителям с пометкой «АДРЕСАТ НЕИЗВЕСТЕН»; как и адресованные сэру Артуру для передачи Холмсу. Годы и годы Альфред Вуд не устает удивляться тому, как его патрон одновременно и гордится тем, что создал персонаж, в чье реальное существование читатели поверили с такой легкостью, и раздражается, когда они доводят эту веру до логического завершения.

Затем есть просьбы, обращенные непосредственно к сэру Артуру Конан Дойлю *in propria persona*,[20] написанные в уверенности, что

[20] Примечания: 20
собственной персоной *(лат.).*

тот, кто наделен таким интеллектом и изобретательностью, что способен разрабатывать столь хитроумные книжные преступления, должен, следовательно, обладать способностью раскрывать реальные. Сэр Артур, если письмо производит на него впечатление или трогает, иногда отвечает, хотя неизменно с отказом. Он объясняет, что, к сожалению, сыщик-консультант он не в большей мере, чем английский лучник четырнадцатого века или лихой кавалерийский бригадир под командой Наполеона Бонапарта.

А потому досье Идалджи Вуд положил на деревянный поднос без всяких ожиданий. Однако на этот раз сэр Артур возвращается в кабинет секретаря задолго до истечения часа, излагая свои соображения еще в дверях.

— Ясно как Божий день, — говорит он, — что этот субъект виновен не более, чем ваша пишущая машинка. Только послушайте, Вуди! Ну прямо-таки шутка. Дело о запертой комнате, только прямо наоборот — не как он в нее проникает, а как из нее выбирается. Шито белыми нитками, а то и без них.

Уже много месяцев Вуд не видел своего патрона в подобном негодовании.

— Вы хотите, чтобы я ответил?

— Ответили? Я намерен больше чем ответить. Я намерен заварить кашу. Я намерен столкнуть лбами кое-кого. Они пожалеют о том дне, когда допустили, чтобы это произошло с ни в чем не повинным человеком.

Вуд еще не вполне понимает, что за «они», как и что за «это», которое «произошло». В прошении он, если не считать странной фамилии, не заметил ничего, сколько-нибудь отличного от десятков других неправосудностей, которые сэру Артуру следует немедля единолично исправить. Но в данный момент Вуда меньше всего заботят справедливость или несправедливость дела Идалджи. Он испытывает только облегчение, что его патрон менее чем за час словно бы сбросил летаргию и унылость, сковывавшие его все последние месяцы.

В сопроводительном письме Джордж объяснил ненормальность положения, в котором оказался. Решение освободить его условно было принято прежним министром внутренних дел мистером Эйкерс-Дугласом, и подтверждено нынешним, мистером Гербертом Гладстоном, но ни тот, ни другой не указали причин такого решения. Приговор Джорджу отменен не был, как не было предложено и никакого извинения

за его пребывание в тюрьме. Одна газета, несомненно, проинструктированная за комплотным завтраком каким-то бюрократом с подмигиванием и кивками, бесстыдно дала понять, что министерство внутренних дел не сомневается в виновности заключенного, но освободило его, считая три года тюрьмы достаточным наказанием за такое преступление. Сэр Реджинальд Харди, назначив наказание семь лет, проявил чуть-чуть излишнюю ревностность в защите чести Стаффордшира, и министр внутренних дел всего лишь подправил избыток его энтузиазма.

Все это обрекает Джорджа на душевное отчаяние и практический вакуум. Считают ли его виновным или невиновным? Извиняются ли перед ним за его тюремные годы или оправдывают их? Если — и до тех пор, пока — приговор не будет снят, его не восстановят в списке практикующих юристов. Министерство внутренних дел, возможно, ожидает, что Джордж изольет свое облегчение молчанием, а свою благодарность тем, что сменит профессию, перебравшись с поджатым хвостом куда-нибудь еще, предпочтительно в колонии. Однако Джордж сумел пережить тюрьму только благодаря надежде, благодаря мысли о возвращении к работе — как-нибудь, где-нибудь, но только

в качестве солиситора. И его сторонники, зайдя так далеко, тоже не намерены отступить. Один из друзей мистера Йелвертона предложил Джорджу временную работу в своей конторе в качестве клерка, но это не решение вопроса. Решить же его может только министерство внутренних дел.

Артур опаздывает на встречу с Джорджем, которую назначил в «Гранд-Отеле» на Чаринг-Кросс, — он задержался в своем банке. Теперь он стремительно входит в вестибюль и оглядывается по сторонам. Узнать его ожидающего гостя нетрудно — единственное смуглое лицо в профиль примерно в десяти шагах от него. Артур уже готов подойти с извинениями, но что-то его останавливает. Возможно, не слишком по-джентльменски подсматривать за человеком, но ведь не зря же он когда-то записывал приходящих пациентов доктора Джозефа Белла.

Итак, предварительный обзор обнаруживает, что человек, с которым он сейчас познакомится, невысок и худощав, восточного происхождения, с волосами, расчесанными на пробор слева и коротко подстриженными; он носит очки, а также неброский хорошего покроя костюм провинциального солиситора. Все бесспорно, однако это далеко не то же, что распознать с места в карьер

французского полотера или холодного сапожника-левшу. Тем не менее Артур продолжает наблюдать, и его тянет назад — не в Эдинбург доктора Белла, но в его собственные годы медицинской практики. Идалджи, как и большинство в фойе, забаррикадирован между газетой и высокой изогнутой спинкой кресла. Однако сидит он не совсем как остальные: газету он держит неестественно близко у глаз и чуть боком, так что его голова повернута по отношению к странице несколько под углом. По опыту Саутси и Девоншир-плейс доктор Дойль в своем диагнозе уверен. Близорукость, возможно, очень сильная. И, кто знает, возможен и некоторый астигматизм.

— Мистер Идалджи.

Газета не отбрасывается в волнении, а аккуратно складывается. Молодой человек не вскакивает на ноги и не бросается на шею своему возможному спасителю. Наоборот, встает он бережно, смотрит сэру Артуру в глаза и протягивает руку. Опасности, что этот человек начнет изливаться по поводу Холмса, нет никакой. Он просто ожидает — вежливо и сдержанно.

Они удаляются в свободную комнату для писания писем, и сэр Артур получает возможность исследовать внешность своего нового знакомого

поближе. Широкое лицо, полноватые губы, заметная ямочка в середине подбородка, не носит ни усов, ни бороды. Для человека, отбывшего три года в Льюисе и в Портленде, а перед тем, вероятно, привыкшего к более комфортной жизни, он выглядит так, словно это наказание совсем на нем не сказалось. Его черные волосы тронуты сединой, но она скорее придает ему сходство с мыслящим, культурным человеком. Его вполне можно было бы определить как практикующего солиситора, если бы не тот факт, что он не практикует.

— Вы знаете точную степень вашей близорукости? Шесть-семь диоптрий? Разумеется, я только прикидываю.

Джордж теряется от этого первого вопроса. Он достает очки из нагрудного кармана и отдает их Артуру. Тот исследует очки, а затем переносит внимание на глаза, дефекты которых они исправляют. Глаза эти слегка выпучены и придают солиситору несколько пустое пялящееся выражение. Сэр Артур оценивает этого человека как былой окулист, но он также хорошо знаком с ложными выводами, которые широкая публика склонна извлекать из глазных странностей.

— Боюсь, я не знаю, — говорит Джордж. — Очки

я приобрел недавно и не спрашивал про их данные. И я часто забываю их носить.

— И в детстве не носили?

— Нет, не носил. Зрение у меня всегда было плохим, но окулист в Бирмингеме сказал, когда к нему обратились, что прописывать их ребенку неразумно. Ну а потом… ну… я был слишком занят. Но с тех пор, как меня выпустили, я, к сожалению, занят гораздо меньше.

— Как вы и объяснили в вашем письме. А теперь, мистер Идалджи…

— Собственно, произносится Эйдалджи, если вы меня извините, — говорит Джордж машинально.

— Прошу прощения.

— Да я привык. Но поскольку это моя фамилия… Видите ли, в фамилиях парсов ударения всегда на первом слоге.

Сэр Артур кивает.

— Так вот, мистер Эйдалджи, мне бы хотелось, чтобы вас профессионально осмотрел сэр Кеннет Скотт. Его приемная на Манчестер-сквер.

— Если вам угодно. Но…

— За мой счет, разумеется.

— Сэр Артур, я не могу…

— Можете и сделаете. — Это он говорит негромко, и Джордж впервые улавливает шотландскую

манеру в произношении некоторых звуков. — Вы ведь не нанимаете меня в сыщики, мистер Идалджи. — Я предложил… предлагаю свои услуги. А когда мы выиграем для вас не только полное оправдание, но и большую сумму в компенсацию за ваше незаконное заключение, я, возможно, пришлю вам счет мистера Скотта, хотя возможно, что и нет.

— Сэр Артур, я ни секунды не предполагал, когда писал вам…

— Да, конечно, как и я, когда получил ваше письмо. Но так уж вышло, и вот мы здесь.

— Деньги значения не имеют, я хочу вернуть мое доброе имя. Я хочу вновь получить право быть солиситором. Получить разрешение вновь открыть практику. Жить тихой полезной жизнью. Нормальной жизнью.

— Разумеется. Но я не согласен. Деньги имеют огромное значение. И не просто как компенсация за три года вашей жизни. Деньги, кроме того, — символ. Британцы уважают деньги. Если вас оправдают, публика будет знать, что вы невиновны. Но если вам, кроме того, заплатят деньги, публика будет знать, что вы абсолютно невиновны. А это огромная разница. Кроме того, деньги докажут, что в тюрьме вы оставались

только из-за коррумпированной бездеятельности министерства внутренних дел.

Джордж, осмысляя этот довод, медленно кивает сам себе. На сэра Артура этот молодой человек произвел впечатление. Он как будто обладает спокойным и вдумчивым умом. Полученным от шотландской матери или отца-священника? Или это результат их благотворного смешения?

— Сэр Артур, могу я спросить, христианин ли вы?

Теперь настала очередь Артура растеряться. Он не хочет обидеть этого сына деревенского прихода, а потому отвечает собственным вопросом:

— Почему вы спрашиваете?

— Я, как вы знаете, рос в доме священника. Я люблю и уважаю своих родителей и, естественно, в детстве разделял их верования. И могло ли быть иначе? Сам я никогда бы не стал священником, но я принимал изучения Библии как лучшее руководство для ведения честной и достойной жизни. — Он взглядывает на сэра Артура проверить, как тот реагирует. Мягкость глаз и наклон головы поощряют его продолжать. — Я по-прежнему считаю их наилучшим руководством. И я думаю, что законы Англии — наилучшее руководство для того, чтобы общество в целом могло

вести честную и достойную жизнь в дружном единстве. Но затем начались мои… мои испытания. Поначалу я воспринимал происходящее как злополучный пример неверного употребления закона. Полиция допустила ошибку. Но ее исправят судьи полицейского суда. Судьи сделали ошибку, но ее исправит суд квартальных сессий. Суд квартальных сессий допустил ошибку, но ее исправит министерство внутренних дел. И я надеюсь, ошибка еще будет исправлена министерством внутренних дел. То, что произошло, — источник большой боли и по меньшей мере крайних неудобств. Тем не менее закон в конце концов восстановит справедливость. Вот во что я верил и все еще верю. Однако все оказалось много сложнее, чем я вначале предполагал. Я прожил жизнь в пределах закона, то есть принимая закон как свое руководство, а христианство служило нравственной поддержкой вне его. Для моего отца, однако…

И тут Джордж делает паузу, но не в поисках нужных слов, подозревает Артур, а из-за их эмоциональной нагрузки.

— Мой отец теперь в годах и слабеет. Не то чтобы я хотел пойти ему наперекор. В Льюисе и Портленде я, естественно, посещал богослужения.

И все еще хожу в церковь по воскресеньям. Но не могу утверждать, что мое заключение укрепило во мне веру. — Он позволяет себе осторожную, горьковатую улыбку. — Как не может утверждать мой отец, что число прихожан в Сент-Марке и окрестных церквах за последние годы возросло.

Сэр Артур оценивает странную формальность этих вступительных фраз — словно в них упражнялись и переупражнялись. Нет, это слишком сурово. Что еще делать человеку на протяжении трех лет тюрьмы, как не превращать свою жизнь, свою запутанную, непропечатанную, недопонятую жизнь в нечто напоминающее свидетельское показание?

— Ваш отец, я полагаю, сказал бы, что мученики не выбирают свой жребий и, возможно, даже не понимают происходящее.

— Быть может. Но то, что я сейчас сказал, на самом деле не вполне правда. Мое заключение не укрепило мою веру. Совсем наоборот. Мои страдания были абсолютно бессмысленными, как для меня и как пример для других. Однако, когда я сказал отцу, что вы согласились встретиться со мной, он воспринял это как часть видимой цели Бога в мире. Вот почему, сэр Артур, я и спросил, христианин ли вы.

— Так ли, не так ли, но это ни с какой стороны не может воздействовать на аргумент вашего отца. Бог, несомненно, выбирает наиболее пригодное орудие, будь то христианин или язычник.

— Верно. Но вы не должны быть мягким со мной.

— Да. И вы не найдете во мне склонности к уклончивости, мистер Идалджи. Что до меня, то я не понимаю, каким образом ваше заключение в Льюисе и Портленде и потеря профессии, как и вашего положения в обществе, могли составить цель Бога.

— Мой отец, должен я объяснить, верит, что этот новый век внесет заметно большую гармонию в сближение рас, чем было в прошлом, а это и есть цель Бога, я же предназначен послужить своего рода вестником. Или жертвой, или тем и другим.

— Ни в коей мере не критикуя мнение вашего отца, — говорит Артур тактично, — не могу не подумать, что, заключайся цель Бога в этом, ей больше содействовало бы обеспечить вам великолепную карьеру солиситора и тем показать другим наглядный пример сближения рас.

— Вы думаете, как я, — отвечает Джордж, и Артуру нравится такой ответ. Другие сказали бы: «Я

согласен с вами». А Джордж сказал это без всякого тщеславия. Просто что слова Артура подтвердили то, о чем он уже думал сам.

— Однако я согласен с вашим отцом, что новый век, вероятно, принесет неслыханное развитие духовной природы человека. Более того, я уверен, что к началу третьего тысячелетия утвердившиеся Церкви сойдут все на нет, и все войны и разлады, приносимые в мир их раздельными существованиями, также исчезнут.

Джордж собирается возразить, что его отец подразумевает вовсе не это, но сэр Артур упорно продолжает:

— Человек приступает к выяснению истин спиритуалистических законов, как на протяжении веков он выяснял истины физических законов. Едва эти истины будут признаны, как самый наш образ жизни (и умирания) будет преобразован, начиная с исходных принципов. Мы будем верить больше, а не меньше. И глубже поймем процессы жизни. Мы осознаем, что смерть — это не захлопнутая перед нашим лицом дверь, но дверь распахнутая. И к тому времени, когда начнется третье тысячелетие, я верю, мы обретем еще большую способность для счастья и братских чувств, чем когда-либо прежде за все нередко

горестное существование человечества. — Сэр Артур внезапно спохватывается. Чем не уличный оратор на чертовом ящике из-под мыла! — Прошу прощения. Это мой конек. Нет, много больше. Но вы ведь спросили.

— Никакой нужды в извинениях нет.

— Напротив. Я допустил, чтобы мы далеко отклонились от темы. Ну так перейдем к делу. Могу ли я спросить, вы кого-нибудь подозреваете в этом преступлении?

— В каком?

— Во всех них. Преследование. Поддельные письма. Располосования. Не только пони с угольной шахты, но их всех.

— Откровенно говоря, сэр Артур, последние три года я и те, что меня поддерживали, были более озабочены способом доказать мою невиновность, чем установлением чьей-то вины.

— Вполне понятно. Но тут существует несомненная связь. Так есть ли кто-нибудь, кого вы могли бы заподозрить?

— Нет. Никого. Все делалось анонимно. И я не могу себе представить, чтобы кто-то получал удовольствие, калеча животных.

— У вас были враги в Грейт-Уайрли?

— Очевидно, были. Но невидимые. У меня там

мало знакомых, как расположенных ко мне, так и нет. Мы не принадлежим к местному обществу.

— Почему нет?

— Я только недавно начал понимать почему. В детстве я полагал, что это нормально. Суть в том, что у моих родителей было очень мало лишних денег, а те, которые были, они тратили на образование своих детей. Я как-то не замечал, что не бываю дома у других мальчиков. Мне кажется, я был счастливым ребенком.

— Да. — Это не выглядит исчерпывающим ответом. — Но полагаю, учитывая происхождение вашего отца…

— Сэр Артур, я бы хотел внести тут полную ясность. Я не верю, что расовые предрассудки имеют какое-либо отношение к моему делу.

— Должен сказать, вы меня удивили.

— Мой отец считает, что я бы не пострадал в такой мере, будь я сыном капитана Энсона, например. И это, безусловно, правда. Но, по моему мнению, вопрос о расе тут не встает. Поезжайте в Уайрли, расспросите тамошних жителей, если не верите мне. В любом случае, если хоть какое-то предубеждение и существует, то оно ограничено крайне малым кругом людей. Да, случались кое-какие выпады, но кому в той или иной форме не

приходится их терпеть?

— Насколько понимаю, у вас нет желания играть роль мученика…

— Нет, суть не в том, сэр Артур… — Джордж запинается, на секунду смутившись. — Кстати, я ведь должен называть вас так?

— Можете и так. Или Дойлем, если предпочитаете.

— Я предпочту сэра Артура. Как вы можете легко себе представить, я много размышлял над этим делом. Я воспитывался как англичанин. Я учился в школе. Я изучал юриспруденцию. Я сдал экзамены. Стал солиситором. Кто-нибудь мне препятствовал на этом пути? Напротив. Мои учителя меня подбодряли, партнеры «Сангстера, Викери и Спейтса» предложили мне работу, прихожане моего отца хвалили меня, когда я получил диплом. Ни один мой клиент на Нью-холл-стрит не отклонял моего совета из-за моего происхождения.

— Да, но…

— Позвольте я продолжу. Как я упомянул, иногда случались выпады, поддразнивания, шуточки. Я не настолько наивен, чтобы не замечать, что некоторые люди смотрят на меня по-другому. Но я юрист, сэр Артур. Какие есть у меня улики,

что кто-то действовал против меня из-за расовых предрассудков? Сержант Аптон старался напугать меня, но, без сомнения, он пугал и других мальчиков. Капитан Энсон, несомненно, проникся ко мне антипатией, никогда в глаза меня не видев. Касательно полиции меня гораздо больше заботила ее некомпетентность. Например, они, хотя и наводнили округу специальными констеблями, ни разу сами не обнаружили ни одного искалеченного животного. Всякий раз им про них сообщали фермеры или люди, шедшие на работу. И не только я пришел к выводу, что полиция опасалась так называемой шайки, хотя и оказалась не способной доказать ее существование. Так что если вы предполагаете, что за моими испытаниями стоят расовые предрассудки, то я должен попросить вас о доказательствах. Но не припомню, чтобы мистер Дистернал хотя бы раз упомянул это обстоятельство. Как и сэр Реджинальд Харди. Нашли ли присяжные меня виновным из-за цвета моей кожи? Ответ напрашивается сам собой, и должен добавить, что за все мои годы в тюрьме персонал и другие заключенные обходились со мной достойно.

— Если я могу позволить себе совет, — говорит сэр Артур, — не стоит ли вам иногда думать не

как юрист. Тот факт, что доказательства того или иного феномена не могут быть представлены, еще не означает, что он не существует.

— Согласен.

— Следовательно, когда начались преследования вашей семьи, верили ли вы и верите ли и сейчас, что их жертвами вы стали случайно?

— Скорее нет. Но их жертвами были и другие.

— Только через письма. Так, как вы, не страдал никто.

— Верно. Но было бы совершенно нелогично строить на этом выводы о целях и побуждениях тех, кто стоял за всем этим. Быть может, мой отец, а он бывает очень строг в таких случаях, отчитал какого-нибудь деревенского мальчишку за кражу яблок или кощунства.

— Вы полагаете, что-то подобное могло дать толчок всему последовавшему?

— Не имею представления, но, боюсь, я не могу не думать как юрист. Ведь я же юрист. И как таковому мне требуются доказательства.

— Быть может, другие способны видеть то, чего не можете вы.

— Несомненно. Но встает еще вопрос и о пользе. Для меня в принципе не полезно предполагать, что те, с кем я имею дело, втайне питают ко мне

неприязнь. И в данном случае бессмысленно воображать, будто стоит министру внутренних дел убедиться, что за моим делом кроется расовое предубеждение, как я буду полностью оправдан и получу компенсацию, о которой вы упомянули. Или, быть может, сэр Артур, вы считаете, что и сам мистер Гладстон не свободен от этого предубеждения?

— У меня абсолютно нет… доказательств этому. И, сказать правду, я очень в этом сомневаюсь.

— Так, пожалуйста, оставим эту тему.

— Хорошо. — Такое упорство, а вернее, упрямство, производит впечатление на Артура. — Мне хотелось бы познакомиться с вашими родителями. И также с вашей сестрой. Однако приняв меры предосторожности. Мой инстинкт всегда требует идти напрямик, но бывают моменты, когда необходимо прибегать к тактике и даже к уловкам. Как любит повторять Лайонел Эймери: если вступаешь в бой с носорогом, вовсе не обязательно насаживать рог себе на нос.

Джорджа такая аналогия ставит в тупик, но Артур этого не замечает.

— Сомневаюсь, что нашему делу пойдет на пользу, если увидят, как я расхаживаю по округе с вами или с кем-нибудь из вашей семьи. Мне

требуется какой-то контакт, какое-нибудь знакомство в деревне. Может быть, вы кого-нибудь назовете.

— Гарри Чарльзуорт, — машинально отвечает Джордж, будто перед ним двоюродная бабушка Стоунхем или Гринуэй со Стентсоном. — Ну, мы сидели рядом в школе. Я притворялся перед собой, будто он мой друг. Мы оба были лучшими учениками. Мой отец пенял мне, что я держусь особняком от фермерских мальчишек, но, откровенно говоря, между нами не было ничего общего. Гарри Чарльзуорт взял на себя управление молочной фермой отца. У него репутация честного человека.

— Вы говорите, что практически не общались с окрестными жителями?

— Как и они со мной. Сказать правду, сэр Артур, я всегда собирался, получив диплом, поселиться в Бирмингеме. Я находил Уайрли — строго между нами — скучным и отсталым захолустьем. Некоторое время я продолжал жить дома, не решаясь сказать моим родителям и ни с кем в округе не общаясь, кроме случаев необходимости. Для починки сапог, например. А затем постепенно я обнаружил, что нахожусь не то чтобы в ловушке, но настолько привыкаю к жизни в семье, что ста-

новилось все труднее и труднее даже подумать о переезде. И я очень привязан к моей сестре Мод. Таким оставалось мое положение до… всего того, что было, как вы знаете, проделано со мной. После освобождения из тюрьмы вернуться в Стаффордшир я, естественно, не мог. Так что теперь я поселился в Лондоне. Снимаю комнаты на Мекленбург-сквер у некой мисс Гуд. Моя мать была со мной первые недели после моего освобождения. Но она нужна отцу дома. Она приезжает, когда ей удается выбрать время, чтобы посмотреть, как я и что. Моя жизнь… — Джордж на секунду умолкает, — моя жизнь, как видите, находится в подвешенном состоянии.

Артур снова замечает, как осторожен и точен Джордж, касается ли он чего-либо важного или пустяков, эмоций или фактов.

Первоклассный свидетель, и не его вина, если он не способен видеть то, что видят другие.

— Мистер Идалджи…

— Джордж, прошу вас.

Сэр Артур вновь соскальзывает с «эй» к «и», и его нового покровителя следует избавить от неловкости.

— Вы и я, Джордж, вы и я, мы оба… не официальные англичане.

Джордж ошеломлен. Он считает сэра Артура официальнейшим англичанином, насколько это вообще возможно: его фамилия, его манеры, его слава, его вид абсолютной непринужденности в этом фешенебельнейшем лондонском отеле, вплоть даже до того, что он заставил Джорджа ждать себя. Если бы сэр Артур не выглядел неотъемлемой частью официальной Англии, Джордж, вероятно, ему не написал бы. Но словно бы невежливо ставить под сомнение характеристику, какую сам человек дает себе.

Вместо этого он оценивает собственный статус. Как может он не быть сполна англичанином? Он англичанин по рождению, по гражданству, по воспитанию, по религии, по профессии. Или сэр Артур подразумевает, что, забрав у него свободу и вычеркнув из списка юристов, его тем самым вычеркнули из списка англичан? Если так, то другой родины у него нет. Он не может вернуться назад на два поколения. Не в Индию же ему возвращаться? Страну, которую он никогда не посещал, да никогда этого и не хотел.

— Сэр Артур, когда мои… неприятности начались, мой отец иногда уводил меня в свой кабинет и знакомил с достижениями знаменитых парсов. Как этот стал преуспевающим предпринимате-

лем, а тот — членом Парламента. Как-то, хотя спорт меня совершенно не интересует, он рассказал мне о крикетной команде «Парсов из Бомбея», которая совершала турне по Англии. Предположительно, они были первой командой из Индии, посетившей эти берега.

— В тысяча восемьсот восемьдесят шестом, если не ошибаюсь. Сыграли около тридцати матчей, выиграли, боюсь, только один. Простите меня, в часы досуга я штудирую «Уиздена». Через пару лет они снова приехали, и результаты были получше, насколько помню.

— Видите, сэр Артур, вы много осведомленнее меня. А я не способен притворяться тем, кем не являюсь. Мой отец воспитал меня англичанином и не мог, когда обстоятельства изменились, утешить меня сведениями, к которым не прибегал прежде.

— Ваш отец приехал из…

— Бомбея. Его обратили в христианство миссионеры. Собственно говоря, они были шотландцами. Как и моя мать.

— Я понимаю вашего отца, — говорит сэр Артур. И Джордж осознает, что никогда в жизни не слышал этой фразы. — Истины твоей расы и истины твоей религии не всегда находятся в од-

ной долине. Иногда, чтобы обрести истину более великую, необходимо одолеть высокий хребет в зимних снегах.

Джордж взвешивает эти слова, словно они входят в данные под присягой письменные показания.

— Но тогда ваше сердце разделяется надвое, и вы отторгаетесь от своего народа?

— Нет. Тогда ваш долг — рассказать вашему народу о долине за хребтом. Вы оглядываетесь вниз на долину, из которой поднялись, и видите, что они приспускают флаги в знак приветствия, так как считают, что подняться на хребет — уже подвиг. Но это не так. И потому вы поднимаете лыжную палку и указываете им путь. Там внизу, даете вы понять, там внизу — истина, там внизу, в следующей долине. Следуйте за мной через хребет.

Джордж пришел в «Гранд-Отель», предвкушая сосредоточенное изучение материалов его дела. Разговор принял несколько неожиданных оборотов. И теперь он испытывает растерянность. Артур ощущает отчаяние своего нового молодого друга. И ощущает себя ответственным; он только хотел его подбодрить. Ну так хватит рассуждений, время для действия. И для гнева.

— Джордж, те, кто поддерживал вас до сих пор — мистер Йелвертон и прочие, — отлично поработали. Были абсолютно усердны и правы. Если бы британское государство было бы рациональным институтом, вы уже давно сидели бы за своим письменным столом на Ньюхолл-стрит. Но оно не таково. А потому я планирую не повторять труды мистера Йелвертона, не выражать те же разумные сомнения и не обращаться с теми же разумными просьбами. Я собираюсь поднять большой ШУМ. Англичане, официальные англичане, шума не любят. Они считают его вульгарным; он их смущает. Но если спокойная логика не сработала, я преподам им шумную логику. Я пойду не с черного хода, а с парадного. Я забью в большой барабан. Я намерен потрясти побольше деревьев, Джордж, и мы будем наблюдать, как гнилые плоды сыплются вниз.

Сэр Артур встает, прощаясь. Теперь он высится, как гора, над щупленьким клерком юридической фирмы. Однако во время их разговора на это не было и намека. Джордж удивлен, что такой знаменитый человек способен слышать, а не только фонтанировать красноречием, быть мягким, а не только круто властным. Вопреки этим заключительным заявлениям Джордж, однако,

испытывает потребность получить конкретное подтверждение.

— Сэр Артур, могу ли я спросить… говоря попросту, вы думаете, что я невиновен?

Артур смотрит вниз ясным неколебимым взором.

— Джордж, я прочел ваши газетные вырезки, а теперь познакомился с вами лично. И вот мой ответ. Нет, я не думаю, что вы невиновны. Нет, я не верю, что вы невиновны. Я ЗНАЮ, что вы невиновны. — И он протягивает крупную атлетическую ладонь с мозолями, натруженными в разных спортивных играх, о которых Джордж понятия не имеет.

Артур

Едва Вуд подробно ознакомился с досье, как был выслан вперед на разведку. Ему предстояло ознакомиться с округой, оценить настроения местных жителей, попить умеренно в пивных и войти в контакт с Гарри Чарльзуортом. Однако играть в сыщика ему не предлагалось, и он должен был держаться подальше от дома священника. Артур еще не выработал план своей кампании, но понимал, что наилучшим способом заставить умолкнуть все источники информации было бы поставить трибуну и провозгласить, что он и Вуди прибыли доказать невиновность Джорджа Идалджи. То есть заодно и вину кого-то из местных. Он не хотел пробудить осторожность в кривде.

В библиотеке «Под сенью» он занялся розысками. Он установил, что в приходе Грейт-Уайрли имеются загородные дома прекрасной постройки, а также и фермерские; что почва там — светлый суглинок с подпочвой из глины и гальки; что основные сельскохозяйственные культуры там — пшеница, ячмень, турнепс и листовая свекла. Станция в четверти мили к северо-западу

приходится на ветке Уолсолл, Кэннок и Раджли Лондонской северо-западной железной дороги. Приход, приносящий ежегодно округленную сумму в 265 фунтов с домом для священника, занимает с 1876 года преподобный Сапурджи Идалджи, окончивший колледж Святого Августина в Кентербери; Институт трудящихся в Лендивуде поблизости с залом для лекций и концертов на 250 мест выписывает достаточное число ежедневных и еженедельных газет. Директор школы, построенной в 1882 году, — Сэмюэль Джон Мейсон. Пост почтмейстера занимает Уильям Генри Брукс, он же бакалейщик, суконщик и торговец скобяными товарами; начальник станции — Альберт Эрнест Мерримен, который, очевидно, унаследовал фуражку начальника станции от своего отца Сэмюэля Мерримена. В деревне есть трое владельцев лавок — Генри Бэджер, миссис Энн Корбетт и Томас Йетс. Мясник — Бернард Гринсилл; управляющий угольной компанией Грейт-Уайрли — Уильям Броуэлл, а ее секретарь — Джон Болт. И Уильям Уинн — водопроводчик, газовщик и маклер. Таким нормальным все это выглядит, таким упорядоченным, таким английским.

Он с сожалением решил отправиться туда не

на машине — прибытие «вулзли» с мотором в двенадцать лошадиных сил и весом в тонну в сельский Стаффордшир никак не обеспечит ему анонимность. А жаль, ведь всего лишь два года назад он съездил в Бирмингем забрать его. Путешествие ради более легкой и приятной цели. Он вспомнил, что надел свою фуражку яхтсмена, которая в последнее время превратилась в эмблему мотористов. Факт, пожалуй, не слишком известный среди местных обитателей — ведь пока он расхаживал по платформе Нью-стрит, ожидая агента «вулзли», к нему обратилась энергичная молодая особа, желавшая узнать, откуда поезда отправляются в Уолсолл.

Мотор он оставил в конюшне и сел в Халсмире на лондонский поезд. В Лондоне он прервет свое путешествие и повидается с Джин — всего в четвертый раз как вдовец и свободный человек. Он написал, предупреждая, чтобы она ждала его днем; он закончил письмо нежнейшими словами, и все же, когда поезд отошел от Халсмира, он поймал себя на том, что больше всего хотел бы сейчас сидеть в своем «вулзли», нахлобучив на уши фуражку яхтсмена, и в плотно прижатых очках мчаться с ревом через сердце Англии в направлении Стаффордшира. Он не понимал

этой реакции, чувствовал себя и виноватым, и рассерженным. Он знал, что любит Джин, что женится на ней и сделает ее второй леди Дойль, и тем не менее свидания с ней он не предвкушал, как хотел бы предвкушать. Если бы люди были столь же несложны, как машины!

Артур почувствовал, что у него вот-вот вырвется стон, и подавил его ради других пассажиров первого класса. Все одно к одному — образ жизни, который вы обязаны блюсти. Подавляешь стон, лжешь о своей любви, обманываешь законную жену — и все во имя чести. Проклятый парадокс: чтобы вести себя достойно, ты вынужден вести себя недостойно. Почему он не может посадить Джин в «вулзли», увезти ее в Стаффордшир, снять номер в отеле, как муж с женой, пронизывать своим сержантским взглядом всякого, кто посмеет поднять бровь? А потому что не может, потому что ничего не получится, потому что это только кажется простым, потому что, потому что… когда поезд проезжал окраину Уокинга, он снова с тихой завистью подумал об австралийском солдате посреди вельда. Номер 410-й из конной пехоты Нового Южного Уэльса, неподвижно лежащий с красной шахматной пешкой, сбалансированной на горлышке его фляжки. Честный бой, чистый

воздух, великое дело: нет смерти лучше. Жизни следовало бы больше походить на это.

Он отправляется к ней на квартиру; она одета в голубой шелк; они обнимаются по-настоящему. Нет никакой необходимости отодвинуться. И все-таки, осознает он, нет и нужды в объятии, их воссоединение его не взволновало. Они садятся; чай налит; он осведомляется о ее родных; она спрашивает, зачем он едет в Бирмингем.

Час спустя, когда он продвинулся не дальше допросов в Кэнноке, она берет его за руку и говорит:

— Как чудесно, милый Артур, видеть тебя снова в таком настроении.

— И тебя тоже, моя милая, — отвечает он и продолжает свой рассказ. Как она и ожидала, его рассказ полон яркости и напряжения; она и растрогана, и испытывает облегчение, что любимый ею человек стряхивает с себя заботы прошлых месяцев. И все-таки, когда его рассказ окончен, его цель объяснена, на его часы посмотрено и железнодорожное расписание снова проверено, ее разочарование почти у самой поверхности.

— Как бы мне хотелось, Артур, поехать с тобой.

— Поразительно, — говорит он, и его глаза словно бы впервые по-настоящему сосредоточи-

ваются на ней. — Знаешь, в поезде я воображал, что еду на моторе в Стаффордшир, и ты рядом со мной, и мы вдвоем, как муж и жена.

Он покачивает головой на такое совпадение, которое, пожалуй, объяснимо способностью передачи мысли между столь близкими сердцами. Затем он встает, берет пальто, шляпу и уходит.

Поведение Артура не ранит Джин — слишком неизгладимо она его любит, — но когда она прижимает ладони к еле теплому чайнику для заварки, то осознает, что ее положение и ее будущее положение требуют практического обдумывания. Все эти прошедшие годы оно было трудным, таким трудным! Столько маневров, компромиссов и прятанья. Почему она вообразила, будто смерть Туи все изменит и мгновенно наступят объятия при полном солнечном свете под рукоплескания друзей и с дальним оркестром, наигрывающим английские мотивы? Такой мгновенный переход невозможен; и дополнительная толика свободы, которая им дарована, может оказаться более, а не менее рискованной.

Она ловит себя на том, что думает о Туи по-иному. Уже не как о неприкосновенной другой, чью честь необходимо оберегать, о незаметной хозяйке дома, простой, кроткой, любящей жене и

матери, которой потребовалось столько времени, чтобы умереть. Величайший дар Туи, сказал ей как-то Артур, всегда отвечать «да», что бы он ни предложил. Если требовалось немедленно уложить вещи и уехать в Австрию, она говорила «да»; если им требовалось купить новый дом, она говорила «да»; если ему требовалось на несколько дней уехать в Лондон или в Южную Африку на несколько месяцев, она говорила «да». Такова была ее натура; она всецело доверяла Артуру, доверяла, что он примет правильное решение для нее, а не только для себя.

Джин тоже доверяет Артуру, она знает, что он человек чести. И еще она знает — и это еще одна причина любить его и восхищаться им, — что он находится в вечном движении, пишет ли новую книгу, отстаивает ли какое-то благое дело, разъезжает ли по миру или очертя голову бросается в свое последнее увлечение. Никогда ему не быть человеком, чья мечта — вилла в пригороде, пара домашних туфель и садовая лопата; кто с радостью стоял бы у калитки в ожидании мальчишки-газетчика, который доставит ему новости из дальних стран.

И в сознании Джин начинает сформировываться нечто, которое еще рано назвать решением, а

скорее остерегающей мыслью. Она была ожидающей девушкой Артура с пятнадцатого марта 1897 года; через несколько месяцев наступит десятая годовщина их встречи. Десять лет, десять лелеемых подснежников. Она предпочитает ожидание Артура самому благополучному браку с любым мужчиной на земном шаре. Однако, побывав его ожидающей девушкой, она не намерена быть его ожидающей женой. Она воображает, что вот они муж и жена, и Артур объявляет о своем немедленном отъезде — в Стоук-Поджес или в Тимбукту, значения не имеет, — чтобы исправить великое зло; и воображает, как отвечает, что скажет Вуди, чтобы он занялся их билетами. Их билетами, скажет она спокойно. Она будет рядом с ним. Будет путешествовать с ним; будет сидеть в первом ряду на его лекции; будет убирать затруднения с его пути и обеспечивать надлежащее обслуживание в отелях, и в поездах, и на пароходах. Она будет ездить верхом бок о бок с ним; или же, учитывая, что она как наездница лучше него, то и немного впереди. Она даже может научиться играть в гольф, если он и дальше будет играть в него. Нет, она не будет одной из тех жен-мегер, которые преследуют своих мужей даже до дверей их клубов; но она будет рядом с ним, словом и

делом доказывая, что это место принадлежит ей, пока их не разлучит смерть. Вот какой женой она намерена быть.

Тем временем Артур в бирмингемском поезде напоминает себе о единственном случае в прошлом, когда он взял на себя роль сыщика. Общество Спиритических Изысканий попросило его принять участие в обследовании дома с привидениями в Чармуте в Дорсетшире. Он поехал туда с доктором Скоттом и неким мистером Подмором, профессионалом с большим опытом в подобных делах. Они приняли все положенные меры, чтобы воспрепятствовать обману: заперли все окна и двери, натянули нитки над ступеньками лестницы. Потом две ночи подряд дежурили вместе с хозяином дома. В первую ночь он снова и снова набивал свою трубку и боролся с нарколепсией; но в середине второй ночи, как раз тогда, когда они почти уже оставили всякую надежду, их внезапно ошеломили — и ввергли на мгновение в ужас — звуки бешено передвигаемой мебели где-то совсем рядом. Шум словно бы доносился из кухни, но когда они кинулись туда, помещение оказалось пустым, и все предметы находились на своих местах. Они обшарили дом от погреба до чердака, разыскивая потайные

каморки, и ничего не нашли. А двери были все так же заперты, задвижки на окнах задвинуты, нитки целы и невредимы.

Подмор к идее привидения отнесся на удивление негативно, он подозревал, что сообщник хозяина дома прятался где-то за обшивкой стен. В то время Артур согласился с этим выводом. Однако несколько лет спустя дом этот сгорел дотла; и, что еще многозначительнее, в саду был выкопан скелет ребенка не старше десяти лет. Для Артура эта находка изменила все. В случаях, когда юная жизнь насильственно обрывается, часто возникает запас неиспользованной жизненной силы. В подобных случаях неведомое и чудесное наступают на нас со всех сторон; они возникают в переменчивых формах, предостерегая нас об ограниченности того, что мы называем материей. Артуру это представлялось неопровержимым объяснением. Однако Подмор отказался внести соответствующие изменения в свой отчет. Собственно говоря, этот субъект с самого начала вел себя скорее как чертов скептик-материалист, чем эксперт, устанавливающий подлинность спиритических феноменов. Впрочем, к чему обращать внимание на всяких Подморов, когда у тебя есть Крукс, и Майерс, и Лодж, и Альфред Рассел Уол-

лес? Артур повторил про себя великую формулу: это невероятно, но истинно. Когда он впервые услышал эти слова, они прозвучали как гибкий парадокс, теперь они затвердели в железную уверенность.

Артур встретился с Вудом в отеле «Императорская фамилия» на Темпл-стрит. Там было больше шансов остаться неузнанным, чем в «Гранд-Отеле», где при обычных обстоятельствах он скорее всего остановился бы. Им требовалось свести к минимуму возможность появления дразнящего заголовка на странице светской хроники «Газетт» или «Пост»: ЧТО ШЕРЛОК ХОЛМС ЗАТЕВАЕТ В БИРМИНГЕМЕ?

Первая их вылазка в Грейт-Уайрли была намечена на вторую половину следующего дня. Используя декабрьские сумерки, они доберутся до дома священника елико возможно незаметнее и вернутся в Бирмингем сразу же после завершения своего дела там. Артур сгорал от желания посетить театрального костюмера и обзавестись накладной бородой для этой экспедиции, но Вуд возразил. Он считал, что в результате это привлечет к ним больше внимания, а не меньше: безусловно, посещение костюмера гарантирует нежеланную заметку в местной прессе. Подня-

тый воротник, кашне и газета перед глазами в поезде вполне позволят им достигнуть Уайрли незамеченными; а оттуда они просто пройдутся до дома священника по плохо освещенному проселку, будто…

— Будто кто? — спросил Артур.

— Но нужно ли нам притворяться? — Вуд и с практической, и с психологической точки зрения не понимал, почему его патрон так настаивал на переодевании. По его мнению, неотъемлемое право англичанина состоит в том, чтобы предложить посторонним — и особенно со вкусом к сплетням — не лезть не в свое дело.

— Непременно. Ради нас же самих. Мы должны. Мы должны думать о себе, как… о… м-м-м… вот-вот!., как об эмиссарах Церковной комиссии, приехавших в ответ на доклад местного священника о состоянии Святого Марка.

— Но это же относительно новая церковь солидной постройки, — возразил Вуд. Затем он перехватил взгляд своего патрона. — Ну, если вы настаиваете, сэр Артур.

На платформе Нью-стрит под вечер следующего дня они выбрали вагон с таким расчетом, чтобы в Уайрли и Чёрчбридже сойти как можно дальше от станционного здания. С помощью

этой стратагемы они надеялись избежать любопытствующих взглядов других сходящих там пассажиров. Но по прибытии туда никто больше с поезда не сошел, и потому церковные самозванцы оказались под особо взыскующим взором начальника станции. Оборонительно подтянув кашне над усами, Артур ощутил прилив почти проказливости. Ты меня не знаешь, думал он, но я тебя знаю: Альберт Эрнест Мерримен, сын Сэмюэля. Что за приключение!

Он последовал за Вудом по темному проселку. В одном месте они обошли стороной пивную, но единственным признаком жизни там был вольготно развалившийся на крыльце мужчина, старательно жующий свою кепку. Через восемь-девять минут, лишь изредка поникая под газовым фонарем, они приблизились к тусклой массивности Святого Марка с высокой двускатной крышей. Вуд повел своего патрона вдоль южной стены настолько близко, что Артур успел заметить в серости камней фиолетово-красные прожилки. Когда они миновали вход, взгляду открылись два здания примерно в тридцати ярдах от западного угла церкви: справа — школьное с еле заметным ромбовидным узором из более светлых кирпичей, слева — более солидный дом священника.

Несколько секунд спустя Артур поглядел на широкую ступеньку, где пятнадцать лет назад был положен ключ от уолсоллской школы. Когда он взялся за дверной молоток, примериваясь, как постучать не чересчур громко, он представил себе более грохочущее появление инспектора Кэмпбелла с его отрядом особых констеблей и сумятицу, которую они внесли в этот тихий дом.

Священник, его жена и дочь ожидали их. Сэр Артур немедленно определил источник простых вежливых манер Джорджа, а также его самодостаточности. Семья была рада его приходу, но без восторженности, сознавала его славу, но без благоговейности. Он испытал облегчение, вопреки обыкновению оказавшись в обществе трех людей, не прочитавших, он готов был побиться об заклад, ни единой из его книг.

Священник был более светлокожим, чем его сын, с плоской макушкой, лысеющий от висков, с оттенком бульдожести в характере. Джордж унаследовал его рот, но вот глаза выглядели одновременно и более красивыми, и более восточными.

Достаются толстые пачки документов. Артур наугад вытаскивает конверт: письмо из одного листа, сложенного в четыре плотно исписанные

странички.

«Мой дорогой Сапурджи, — читает он, — *имею большое удовольствие сообщить тебе, что наше намерение теперь пересмотреть преследования священника!!! (позор Грейт-Уайрли)».* — Уверенный почерк, подумал он, а не просто четкий. — *«…некий приют для умалишенных ближе, чем в сотне миль от твоего трижды проклятого дома… и что ты будешь насильно увезен, если позволишь себе выражать свое мнение».* — Пока ни единой орфографической ошибки. — *«Я пошлю двойное количество самых адских открыток при первом же удобном случае от твоего имени и от имени Шарлотты».* — Шарлотта — предположительно жена священника. — *«Месть тебе и Бруксу…»* — Фамилия знакомая по его розыскам. — *«…послал письмо от его имени в „Курьер“, что он не станет отвечать за долги своей жены… Повторю, постановления* о *сумасшествии не потребует, чтобы тебя забрали, поскольку эти личности наверняка тебя арестуют».*

А затем четырьмя строчками лесенкой издевательское прощание:

С пожеланием тебе веселого Рождества
и Нового года

Остаюсь, как всегда,

Твой Сатана,
Бог Сатана.

— Омерзительно, — сказал сэр Артур.

— Которое из них?

— Одно от Сатаны.

— Да, — сказал священник, — корреспондент усердный.

Артур ознакомился еще с несколькими образчиками. Одно дело было слышать про анонимные письма и даже читать отрывки из них в прессе. Тогда они казались детскими шалостями. И совсем другое, обнаружил он, держать такое письмо в руке, сидя с его получателями. Первое было гнусностью с этим подлым упоминанием жены священника по имени. Работа сумасшедшего, пожалуй, но сумасшедшего с четким, хорошо поставленным почерком, способного ясно выражать свою извращенную ненависть и безумные планы. Артура не удивило, что семья Идалджи начала по вечерам запирать все двери.

— «Веселого Рождества», — прочел Артур вслух, все еще словно не веря своим глазам. — И у вас нет подозрений, кто мог бы написать эти отвратительные выпады?

— Подозрений? Никаких.

— Служанка, которую вам пришлось прогнать?

— Она уехала отсюда. Уже очень давно.

— Ее родные?

— Ее родные — порядочные люди. Сэр Артур, как вы понимаете, мы с самого начала много об этом думали. Но никаких подозрений у меня нет. Сплетен и слухов я не слушаю, но если бы и так, чему это помогло бы? Сплетни и слухи были причиной заключения моего сына в тюрьму, и у меня нет желания, чтобы кто-то претерпел то, что пришлось терпеть ему.

— Если только он не был бы виновен.

— Справедливо.

— А этот Брукс? Он бакалейщик и еще торгует скобяными товарами.

— Да. Он тоже некоторое время получал такие же анонимные письма. И относится к ним более флегматично. Или бездеятельно. Во всяком случае, в полицию он обращаться не хочет. На железной дороге было какое-то происшествие, связанное с его сыном и другим мальчиком, — подробностей я уже не помню. Брукс ни в коем случае не захочет сделать наше дело общим. В округе к полиции относятся без уважения,

должен сказать вам. Чистая ирония, что из всех местных жителей именно наша семья была наиболее склонна доверять полиции.

— А также главному констеблю.

— Его позиция была… не сочувственной.

— Мистер Эйдалджи, — Артур специально постарался, произнося его фамилию, — я намерен выяснить почему. Я намерен вернуться к самому началу дела. Скажите мне, кроме прямых преследований, сталкивались ли вы с какой-либо другой враждебностью с тех пор, как приехали сюда?

Священник вопросительно смотрит на жену.

— Выборы, — отвечает она.

— Да, верно. Я не раз одалживал школьный зал для политических собраний. У либералов возникли трудности с получением зала. Я сам либерал… Были жалобы некоторых особенно консервативных прихожан.

— Что-нибудь сверх жалоб?

— Один или двое перестали посещать Святого Марка, это правда.

— А вы продолжали предоставлять зал?

— Разумеется. Но не хотел бы преувеличивать. Я говорю о протестах, настойчиво выраженных, но вежливо. Я говорю не об угрозах.

Сэра Артура восхитила щепетильная точность

священника; а также полное отсутствие жалости к себе. Те же качества он заметил и у Джорджа.

— Капитан Энсон был как-то к этому причастен?

— Энсон? Нет, это же чисто местное. Он оказался причастен только позднее. Я включил его письмо для вашего ознакомления.

Затем Артур перебрал с семьей Джорджа все происшествия с августа по октябрь 1903 года, не уловит ли он какой-нибудь непоследовательности, упущенной детали или противоречия в фактах.

— Задним числом остается только пожалеть, что вы не отправили инспектора Кэмпбелла с его людьми восвояси, пока они не получили ордера на обыск, а сами тем временем к моменту их возвращения пригласили бы солиситора.

— Но ведь это было бы поведением виновных. Нам было нечего скрывать. Мы знали, что Джордж ни в чем не виноват. Чем раньше полиция провела бы обыск, тем быстрее они могли бы предпринять плодотворные розыски. Инспектор Кэмпбелл и его люди, во всяком случае, вели себя вполне корректно.

Однако не все время, подумал Артур. Он что-то недопонимал в этом деле, что-то, связанное с

этим визитом полиции.

— Сэр Артур (миссис Идалджи, худенькая, беловолосая с тихим голосом), можно мне сказать две вещи? Во-первых, как приятно услышать в этих местах шотландский голос. Я правильно распознала Эдинбург?

— Совершенно верно, сударыня.

— Вторая касается моего сына. Вы ведь встретились с Джорджем.

— И он произвел на меня большое впечатление. Я мог бы назвать многих и многих, кто не сохранил бы такую крепость духа и тела после трех лет в Льюисе и Портленде. Он делает вам честь.

Миссис Идалджи светло улыбнулась этому комплименту.

— Больше всего Джордж хотел бы получить возможность вернуться к своим занятиям солиситора. Он никогда ничего другого не хотел. Возможно, из-за этого ему сейчас тяжелее, чем было в тюрьме. Тогда все было ясным. А сейчас он в подвешенном состоянии. Его не могут вернуть в список, пока с его имени не будет смыто пятно.

Ничто не могло бы гальванизировать Артура сильнее, чем просьба, произнесенная кротким пожилым шотландским голосом.

— Будьте спокойны, сударыня. Я намереваюсь

поднять колоссальный шум. Я намерен поднять бучу. Кое-кто лишится сна к тому времени, когда я покончу с ними.

Но, видимо, миссис Идалджи предпочла бы получить не это обещание.

— Я так и полагала, сэр Артур, и мы благодарны вам за это. Но я говорила о другом. Джордж, как вы заметили, мальчик, вернее, молодой человек, наделенный стойкостью. Правду сказать, его стойкость удивила нас обоих. Мы считали его более слабым. Он твердо решил опровергнуть эту несправедливость. Но это все, чего он хочет. Он меньше всего хочет привлечь внимание к себе. Он меньше всего хочет стать борцом за какое-то дело. Он ничего не представляет. Он хочет вернуться к работе. Он хочет самой обычной жизни.

— Он хотел бы жениться, — добавила дочь, до тех пор хранившая полное молчание.

— Мод! — В голосе священника было больше удивления, чем попрека. — Как так? С каких пор? Шарлотта, ты что-нибудь про это знала?

— Папа, не волнуйтесь. Я хотела сказать, что он думает о браке в общем смысле.

— В общем смысле, — повторил священник. Он посмотрел на своего именитого гостя. — Вы полагаете, это возможно, сэр Артур?

— Сам я, — ответил Артур со смешком, — был женат вполне конкретно. Это единственная известная мне система, и я порекомендовал бы именно ее.

— В таком случае, — и тут священник улыбнулся в первый раз, — мы должны запретить Джорджу вступить в брак в общем смысле.

Вернувшись в отель «Императорская фамилия», Артур и его секретарь съели поздний ужин и удалились в пустую курительную. Артур разжег свою трубку и следил, как Вуд закуривает сигарету дешевого сорта.

— Прекрасная семья, — сказал сэр Артур. — Скромная. Внушающая уважение.

— Вполне.

Артура вдруг охватило дурное предчувствие, порожденное словами миссис Идалджи. Что, если их появление на сцене породит новые преследования? В конце-то концов, Сатана, Бог Сатана, все еще без помех натачивает и свое перо, и свой изогнутый инструмент с вогнутыми сторонами. Бог Сатана — насколько особо отталкивающими становятся извращения утвердившейся религии, едва она вступает в свой неизбежный упадок. Чем быстрее все здание будет снесено, тем лучше.

— Вуди, позвольте мне использовать вас как

резонатор. — Он не подождал ответа, но его секретарь не думал, что ответ требуется. — В этом деле есть три аспекта, которые мне пока непонятны. Пропуски, которые необходимо заполнить. И первый: почему Энсон ополчился против Джорджа Идалджи? Вы видели его письма священнику. Угрожавшие тюрьмой школьнику.

— Разумеется.

— Он аристократ. Я навел о нем справки. Второй сын второго графа Личфилда. Служил в королевской артиллерии. Главный констебль с восьмидесятого. Почему такой человек написал такое письмо?

Вуд только прокашлялся.

— Ну?

— Я не следователь, сэр Артур. Я слышал, как вы говорили, что в детективных сложностях необходимо исключить невозможное, и то, что останется, каким бы неправдоподобным оно ни казалось, должно быть правдой.

— Не моя собственная формула, увы. Но я ее поддерживаю.

— Вот почему из меня не вышел бы следователь. Если мне задают вопрос, я просто подыскиваю наиболее очевидный ответ.

— И каким же будет ваш очевидный ответ в

деле капитана Энсона и Джорджа Идалджи?

— Что он не любит цветных.

— Да, это действительно совершенно очевидно, Альфред. Настолько очевидно, что не может быть причиной. Каковы бы ни были его недостатки, Энсон — английский джентльмен и главный констебль.

— Я ведь сказал вам, что я не следователь.

— Не будем так скоро отбрасывать надежду. Посмотрим, как вы заполните мой второй пропуск. А именно. Если отбросить ранний эпизод со служанкой, преследования Идалджи вспыхивали дважды. В первый раз с девяносто второго года до самого начала девяносто шестого. Они интенсивны и нарастают. И внезапно прекращаются. Семь лет ничего не происходит. Затем они начинаются вновь, и распорота первая лошадь. В феврале девятьсот третьего года. Почему этот перерыв? Вот чего я не понимаю, почему такой перерыв. Следователь Вуд, какова ваша точка зрения?

Секретарю эта игра пришлась не слишком по вкусу: она явно велась так, что он мог только проиграть.

— Ну, возможно, потому, что истинного виновника там не было.

— Где?

— В Уайрли.

— А где же он был?

— Уехал.

— Куда?

— Я не знаю, сэр Артур. Возможно, сидел в тюрьме. Возможно, перебрался в Бирмингем. Возможно, ушел в море.

— Сомневаюсь. Опять-таки слишком уж очевидно. Жители в округе это заметили бы. Пошли бы разговоры.

— Идалджи указали, что не слушают сплетен.

— Гм… Посмотрим, не слушает ли их Гарри Чарльзуорт. Ну и третий непонятный мне момент — волоски на одежде. Если бы нам удалось исключить здесь очевидное…

— Благодарю вас, сэр Артур.

— Бога ради, Вуди, не обижайтесь. Вы слишком полезны, чтобы вдруг обижаться.

Вуд подумал, что всегда питал сочувствие к вымышленному доктору Ватсону.

— Так в чем проблема, сэр?

— Проблема вот в чем. Полиция осмотрела одежду Джорджа в доме священника и объявила, что на ней есть волоски. Священник, его жена и дочь осмотрели ту же одежду и сказали, что никаких волосков на ней нет. Полицейский врач,

доктор Баттер — а полицейские врачи, по моему опыту, крайне скрупулезны, — показал, что он нашел двадцать девять волосков «подобных по длине, цвету и структуре» волоскам зарезанного пони. Явное противоречие. Решились ли Идалджи на клятвопреступление, чтобы защитить Джорджа? Видимо, так сочли присяжные. Джордж объяснил, что мог облокотиться о калитку луга, на котором паслись коровы. Меня не удивляет, что присяжные ему не поверили. Это смахивает на показание, подсказанное паникой, а не на описание действительного случая. К тому же все равно его близкие остаются клятвопреступниками. Если на одежде были волоски, они их видели, верно?

Вуд ответил не сразу. Поступив на службу к сэру Артуру, он постоянно обретал все новые обязанности. Секретарь, чтец, подделыватель подписей, помощник с мотором, партнер по гольфу, противник у бильярдного стола, а теперь — резонатор и оракул очевидностей. А еще тот, кто должен подготовиться к насмешкам. Да будет так.

— Если волосков на его одежде не было, когда близкие Идалджи ее осматривали, значит…

— Да?

— И если их там не было прежде, потому что

Джордж ни на какие калитки не облокачивался…

— Да?

— Следовательно, они там появились после.

— После чего?

— После того, как одежду забрали.

— По-вашему, их прилепил к ней доктор Баттер?

— Нет. Я не знаю. Но если вам требуется очевидный ответ, то они попали на одежду после. Каким-то образом. А если так, то лжет только полиция. Или кто-то в полиции.

— Не такой уж невозможный случай. Знаете, Альфред, вы не обязательно ошибаетесь, этого у вас не отнять.

Комплимент, подумал Вуд, который доктор Ватсон выслушал бы с гордостью.

На следующий день они вернулись в Уайрли без особых попыток маскироваться и посетили Гарри Чарльзуорта на его молочной ферме. Прошлепали через последствия, оставленные стадом коров, к маленькой конторе, пристроенной к дому сзади, где имелись три колченогих стула, небольшая конторка, затоптанная циновка и перекошенный на стене календарь за прошлый месяц. Гарри, белокурый молодой человек с от-

крытым лицом, казалось, только приветствовал, что его отвлекли от работы.

— Так вы приехали насчет Джорджа?

Артур строго посмотрел на Вуда, который отрицательно покачал головой.

— Откуда вы знаете?

— Вчера вечером вы побывали у священника.

— Разве?

— Ну, во всяком случае, вчера, когда стемнело, видели, как к дому священника шли двое неизвестных людей, и один из них, высокий джентльмен, натягивал шарф, чтобы прятать усы, а другой, пониже, был в котелке.

— Бог мой, — сказал Артур.

Может, ему все-таки следовало заглянуть к театральному костюмеру?

— И теперь те же два джентльмена, хотя и не так явно маскируясь, посетили меня по делу весьма конфиденциальному, как меня предупредили, но которое вскоре будет объяснено. — Гарри Чарльзуорт прямо-таки наслаждался и был не менее рад предаться воспоминаниям. — Да, мы, когда были мальцами, учились в школе вместе. Джордж всегда был тихоней. Никогда не напрашивался на неприятности, как мы, остальные. И умный. Умнее меня, а я тогда был очень вумным.

Не то чтобы вы теперь так подумали. Весь день пялиться на задницу коровы для ума не полезно, знаете ли.

Артур проигнорировал этот финт в вульгарную автобиографию.

— Но были ли у Джорджа враги? К нему питали неприязнь — например, за цвет кожи?

Гарри немного поразмыслил.

— Нет, насколько мне помнится. Но вы же знаете, как это бывает у мальчишек — приязни там или неприязни у них другие, чем у взрослых. Если Джорджа и не любили, так за то, что он был такой вумный. Или потому, что отец его был священник и не одобрял то, что затевают мальчишки. Или потому, что он был близорукий, и учитель посадил его впереди, чтобы он видел доску, и вроде получилось, что он любимчик. Причина поважнее его невзлюбить, чем то, что он цветной.

Взгляд Гарри на возмутительные случаи в Уайрли сложностью не отличался. Обвинения против Джорджа были идиотскими. Действия полиции были идиотскими. А идея, будто по ночам таинственная шайка шастала туда-сюда под началом таинственного Капитана, была сверхидиотской.

— Гарри, нам необходимо расспросить кон-

ника-добровольца Грина, поскольку он единственный человек тут, который признался, что располосовал лошадь.

— Хотите попутешествовать?

— Куда?

— В Южную Африку. А, так вы не знаете! Гарри Грин обзавелся билетом в Южную Африку через пару неделек после окончания суда. И обратным билетик не был.

— Интересно. Как вы думаете, кто заплатил за этот билет?

— Только не Гарри Грин, это уж точно. Кто-то, кто хотел укрыть его от греха подальше.

— Полиция?

— Может быть. Не то чтобы ко времени его отъезда они были от него в таком уж восторге. Он взял назад свое признание. Сказал, что никаких лошадей не располосовывал, а признаться его заставила полиция.

— Взял назад, черт побери? Как вы это истолкуете, Вуди?

Вуд послушно изложил очевидное:

— Ну, я бы сказал, что он солгал либо в первом случае, либо во втором. Или же, — добавил он не без злокозненности, — возможно, и в обоих.

— Гарри, вы не могли бы узнать, есть ли у ми-

стера Грина южноафриканский адрес его сына?

— Попробовать, конечно, могу.

— И еще одно. Были ли в Уайрли разговоры о том, кто мог бы это делать, если не Джордж?

— Как не без разговоров? Они что дождик. Могу сказать только, что это был кто-то, кто умел обращаться со скотиной. Нельзя просто подойти к лошади, или к овце, или к корове и сказать: «Стой, не дергайся, моя милочка, пока я тебе буду кишки выпускать». Хотел бы я посмотреть, как Джордж Идалджи вошел бы в стойло подоить какую-нибудь мою корову… — Гарри дал себе секунду посозерцать эту картину. — Его она до смерти забрыкала бы, или бы он в навоз шлепнулся прежде, чем табуретку подставил под нее.

Артур наклонился вперед.

— Гарри, готовы ли вы помочь нам восстановить доброе имя вашего друга и старого школьного товарища?

Гарри Чарльзуорт заметил и понижение голоса, и вкрадчивость тона. Они ему не понравились.

— Ну, собственно, моим другом он никогда не был. — Но тут его лицо прояснилось. — Конечно, мне придется выкроить время от работы на ферме.

Артур вначале приписал Гарри Чарльзуор-

ту более рыцарственную натуру, но решил не разочаровываться. Едва аванс и гонорар были обговорены, Гарри в его новой роли помощника при сыщике-консультанте показал им путь, который Джордж якобы проделал в ту ливневую августовскую ночь три с половиной года назад. Они пошли через луг за домом священника, перелезли через ограду, продрались сквозь живую изгородь, прошли по туннелю под железной дорогой, перелезли через еще одну ограду, пересекли еще один луг, одолели шипасто-цепкую живую изгородь, пересекли еще один огороженный луг и оказались перед лугом при шахте. Примерно три четверти мили. Вуд достал часы.

— Восемнадцать с половиной минут.

— А мы все сильные здоровые мужчины, — заметил Артур, продолжая выщипывать шипы из пальто и стирая грязь с башмаков. — И сейчас день, и погода ясная, и у нас у всех прекрасное зрение.

Вернувшись на ферму, Артур, после того, как деньги перешли из рук в руки, спросил про наиболее распространенные преступления. Самые обычные — кража живности, пьянство в общественных местах, поджог стогов. Какие-нибудь случаи насильства, не считая похищения жив-

ности и скота? Гарри смутно припомнил что-то, случившееся примерно тогда, когда Джорджа приговорили. Нападение на мать с маленькой дочкой. Два парня с ножом. Вызвало порядочный шум, но до суда дело не дошло. Да, он с удовольствием выяснит, что там было.

Они обменялись рукопожатиями, и Гарри проводил их к торговцу скобяными товарами, он же бакалейщик, суконщик и почтмейстер.

Уильям Брукс оказался лысым невысоким толстячком с густыми белыми бакенбардами; на нем был фартук в многолетних зеленых пятнах. Он не выказал ни особой приветливости, ни особой подозрительности и уже собирался проводить их в заднюю комнату, когда сэр Артур, толкнув локтем своего секретаря, объявил, что ему крайне необходим скребок для башмаков. Он проявил горячий интерес к предложенному ему выбору, а когда покупка была завершена и обернута, повел себя так, будто остальная часть их визита была результатом счастливой мысли, только что пришедшей ему в голову.

В задней комнате Брукс столько времени копался в ящиках и бормотал себе под нос, что сэр Артур уже прикидывал, не приобрести ли ему для ускорения жестяную лохань или парочку

швабр. Однако хозяин лавки в конце концов нашел пакетик многократно сложенных писем, перевязанный шпагатом. Артур немедленно узнал бумагу, на которой они были написаны: те же листы из дешевой тетрадки, что посылались и священнику.

Брукс кое-как припомнил неудачную попытку давнего шантажа. Будто его сын Фредерик и еще другой мальчишка оплевали какую-то старуху на станции в Уолсолле, и ему предлагалось прислать деньги на адрес тамошней почты, если он хочет выручить своего сына.

— И вы ничего по этому поводу не предприняли?

— Нет, конечно. Посмотрите на письма сами. Посмотрите на почерк. Дурацкая шалость и ничего больше.

— И о том, чтобы заплатить, даже не подумали?

— Нет.

— А обратиться в полицию не думали?

Брукс презрительно надул щеки.

— Да ни на секунду. Ни на десятую долю секунды. Я просто махнул рукой, и все кончилось. А вот священник — он прямо-таки кипел. Жаловался направо и налево, писал главному констеблю и

все такое прочее, а чего добился? Только хуже сделал, верно? Для себя и для сынка. Не то чтобы я его за это винил, понимаете? Просто он ничего в этой деревне не понимает. Он немножко слишком не по мерке скроен, если вы меня понимаете.

Артур обошел этот отзыв стороной.

— Но как вы думаете, почему шантажист избрал мишенью вашего сына и этого второго мальчика?

Брукс снова презрительно надул щеки.

— Так сколько ж лет прошло, сэр. Десять. Может, и больше. Вам надо моего мальчонку спросить, ну да он теперь взрослый.

— А вы помните, кто был второй мальчик?

— Зачем мне помнить?

— Ваш сын все еще живет здесь?

— Фред? Нет. Фред давно уехал. Он теперь в Бирмингеме. На канале работает. А в лавке не желает. — Он помолчал, затем добавил с неожиданной злостью: — Сучонок.

— А его адреса у вас случайно нет?

— Может, случайно и есть. А вам случайно еще к скребку чего-нибудь не требуется?

В поезде на пути назад в Бирмингем Артур пребывал в превосходнейшем настроении. То и дело он поглядывал на три пакета рядом с Вудом

— все завернутые в промасленную оберточную бумагу и перевязанные шпагатом — и улыбался тому, как устроен мир.

— Так что вы думаете о трудах этого дня, Альфред?

Что он думает? А каков очевидный ответ? Ну, такой, какой будет правдив.

— Честно говоря, по-моему, мы не очень продвинулись.

— Нет, дело обстоит лучше. Не очень продвинулись мы в нескольких направлениях. И нам действительно нужен скребок для башмаков.

— Разве? А я думал, что в «Под сенью» он уже имеется.

— Не добавляйте дегтю в мед, Вуди. Скребок для башмаков никогда лишним в доме не бывает. Годы спустя мы будем называть его Скребком Идалджи и, соскребая грязь с подошв, будем вспоминать это приключение.

— Как скажете.

Артур предоставил Вуду пребывать в настроении, в котором он пребывал, и начал смотреть на проносящиеся мимо луга и живые изгороди. Он пытался представить себе Джорджа Идалджи в этом поезде, едущим в Мейсон-колледж, а после — к Сэнгстеру, Викери и Спейтсу, а после и в

собственную контору на Ньюхолл-стрит. Он попытался вообразить Джорджа Идалджи в деревне Грейт-Уайрли — гуляющим по проселкам, заходящим к сапожнику, делающим покупки у Брукса. Молодой солиситор — пусть прекрасно говорящий и элегантно одетый — выглядел бы странно даже в Хайнхеде и, без сомнения, еще более странно в стаффордширской глуши. Он, несомненно, превосходный малый с ясной головой и стойкий. Но если просто взглянуть на него, а тем более глазами невежественного работника с фермы, тупого деревенского полицейского, узколобого английского присяжного или подозрительного председателя суда квартальных сессий, так вы могли бы и не проникнуть за смуглую кожу и необычность глаз. Он показался бы странным. А затем, если начинают происходить какие-то странности, то логика невежественной деревни — то, что там сходит за логику, — обязательно припишет странное странному.

А стоит отбросить рассудок, истинный рассудок, то чем дальше он останется, тем лучше — для тех, кто его бросает. Достоинства человека превращаются в его недостатки. Самоконтроль представляется скрытностью, ум — хитростью. И таким образом респектабельный юрист, слепой,

как крот, и щуплый, превращается в дегенерата, который шастает по лугам глухой ночью, умудряется ускользнуть от двадцати специальных констеблей для того, чтобы шлепать по крови выпотрошенных животных. Все настолько поставлено с ног на голову, что выглядит логичным. И, по убеждению Артура, в конечном счете все сводилось к тому редкому дефекту зрения, который он сразу же заметил в вестибюле «Гранд-Отеля» на Чаринг-Кросс. Вот основа нравственной уверенности в невиновности Джорджа Идалджи и причины, почему он стал козлом отпущения.

В Бирмингеме они выследили Фредерика Брукса до его жилища вблизи канала. Он оценил двух джентльменов, от которых, по его мнению, несло Лондоном, узнал обертки трех пакетов под мышкой джентльмена ростом пониже и объявил, что его цена за информацию — полкроны. Сэр Артур, приучая себя к обычаям туземцев, предложил скользящую шкалу — от одного шиллинга трех пенсов до двух и шести пенсов, в зависимости от полезности ответов. Брукс согласился.

Фред Уинн, сказал он, так звали его товарища. Да, он был в каком-то родстве с водопроводчиком и газовщиком в Уайрли. Не то племянником, не

то троюродным братом. Уинн жил в двух остановках дальше по линии, и они учились вместе в уолсоллской школе. Нет, он совсем потерял его из виду. Ну а этот случай столько лет назад — письмо и плевки, — они с Уинном тогда были совершенно уверены, что оно дело рук одного парня, который разбил окно вагона и попытался свалить вину на них. А они винили его, и охранники железнодорожной компании допросили их всех троих, а еще отца Уинна и отца Брукса. Но так и не разобрались, кто говорил правду, а потому в конце концов ограничились предупреждением каждому. На чем все и кончилось. Имя того парня было Спек. Он жил где-то недалеко от Уайрли. Нет, Брук его уже много лет не видел.

Артур записал все это своим серебряным механическим карандашом. Он оценил информацию в два шиллинга и три пенса. Фредерик Брукс не возражал.

Когда они вернулись в отель «Императорская фамилия», Артуру была вручена записка от Джин.

Мой милый, милый Артур,

Пишу, чтобы узнать, как продвигается твое великое расследование. Я бы хотела

быть рядом с тобой, пока ты собираешь улики и допрашиваешь подозреваемых. Все, чем занят ты, для меня важно, как моя собственная жизнь. Мне очень тебя не хватает, но я радуюсь, думая о том, чего ты стараешься достичь ради своего молодого друга. Поспеши сообщить все, что ты успел узнать,

твоей любящей и обожающей

Джин.

Артур несколько растерялся. Как-то слишком прямолинейно для любовного письма. А может быть, это вовсе не любовное письмо. Нет, разумеется, любовное. Но какое-то не такое. Но и Джин ведь не такая — совсем другая в сравнении со всем, что он знал прежде. Даже и через десять лет она его поражала. Он гордился ею и гордился тем, что поражался.

Позднее, когда Артур перечитывал записку в завершающий раз, Альфред Вуд лежал без сна в номере поменьше и этажом выше. В темноте он с трудом различал на туалетном столике три перевязанных пакета, которые им продал этот хитрый торговец скобяными товарами. Брукс, кроме того, заставил сэра Артура уплатить ему

«залог» за одолжение находящихся у него анонимных писем. Вуд сознательно промолчал и в тот момент, и позднее. Возможно, этим объяснялись упреки его патрона в поезде за дурное настроение. Сегодня ему предназначалась роль помощника расследователя, партнера, почти друга сэра Артура. После ужина соревнование на бильярдном столе отеля сделало их равными. Завтра он возвратится в свое обычное положение секретаря и чтеца и будет писать под диктовку, как простая стенографистка. Такое разнообразие функций и уровней мышления его не беспокоило. Он был предан своему патрону, служил ему усердно и компетентно в любой требуемой роли. Если сэру Артуру требовалось, чтобы он формулировал очевидное, он будет его формулировать.

Если сэру Артуру требовалось, чтобы он не формулировал очевидного, он оставался нем.

От него также требовалось не замечать очевидного. Когда портье кинулся к ним в вестибюле отеля с конвертом, он не заметил, до чего дрожали руки сэра Артура, пока он его брал, как не заметил и мальчишеского движения, с каким сэр Артур засунул письмо в карман. Не заметил он и нетерпение своего патрона подняться к себе в номер до ужина, как и его веселость за едой.

Очень важное профессиональное качество — наблюдать, не замечая, — и с годами его важность еще более возросла.

Он полагал, что ему потребуется время, чтобы приспособиться к мисс Леки, — впрочем, он сомневался, что к концу следующих двенадцати месяцев она все еще будет носить свою девичью фамилию. Он будет служить второй леди Дойль с той же внимательностью, как и первой, хотя поначалу и не столь от души. Он не был уверен, насколько Джин Леки ему нравится. Это, он знал, никакой важности не имело. Не обязательно, чтобы учителю нравилась супруга директора. И от него никогда не потребуется высказать свое мнение. Так что это никакой важности не имело. Но на протяжении восьми-девяти лет, когда она начала наезжать в «Под сенью», он часто ловил себя на подозрении, нет ли в ней чуточки фальши. В какой-то момент она осознала его важность для каждодневности сэра Артура, после чего никогда не забывала быть с ним любезной. На его локоть ложилась ладонь, и по примеру сэра Артура она начала называть его Вуди. Он счел это выражением дружеской близости, которую она никак не заслужила. Даже миссис Дойль — он никогда иначе о ней не думал — не называла

его так. Мисс Леки делала все, чтобы выглядеть естественной, чтобы иногда показывать, сколь трудно ей держать в узде природную теплоту ее натуры, но Вуду в этом чудилось своего рода кокетство. Он был готов дать кому угодно сто очков вперед, что сэр Артур видит это иначе. Его патрон любил повторять, что гольф — большая кокетка, но Вуду казалось, что спорт куда искреннее любой женщины.

Опять-таки это никакой важности не имело. Если сэр Артур получил то, чего желал, и Джин Леки тоже, так что плохого? Однако тут Альфред Вуд испытал чуть больше облегчения из-за того, что сам никогда даже близко не был от брака. Он не видел никаких выгодных сторон в этом институте, кроме как с точки зрения гигиены. Вы сочетались браком с верной женщиной, и она вам прискучивала, вы сочетались браком с лживой и не замечали, как вами крутят. У мужчины, казалось, были только два этих выбора.

Сэр Артур иногда обвинял его в подверженности дурным настроениям. Он же чувствовал, что у него просто есть его молчание — и очевидные мысли. Например, о миссис Дойль: о счастливых днях в Саутси, хлопотливых лондонских и этих долгих печальных месяцах в конце. И еще мысли

о будущей леди Конан Дойль и влиянии, которое она может иметь на сэра Артура и его домашних. Мысли о Кингсли и Мэри и как на них подействует появление мачехи — или, точнее, именно эта мачеха. Кингсли, несомненно, выживет, он уже проявлял бодрую отцовскую мужественность. Однако за Мэри Вуд несколько опасался, за эту неловкую взыскующую девочку.

Но на эту ночь достаточно. Хотя, подумал он, утром напоследок можно будет случайно позабыть тут скребок и остальные пакеты.

В «Под сенью» Артур удалился в свой кабинет, набил трубку и принялся обдумывать стратегию. Было ясно, что атака должна быть двузубой. Во-первых, раз и навсегда доказать невиновность Джорджа Идалджи; что его не просто приговорили неправо и неверно толкуемыми уликами, но что он вообще невиновен, невиновен на сто процентов. Во-вторых, определить истинного виновника, вынудить министерство внутренних дел признать ошибки и привлечь преступника к ответу.

Приступая к работе, Артур ощутил твердую почву под ногами. Будто начинаешь новую книгу: у тебя есть сюжет, но с пробелами; большинство персонажей, но не все; некоторые, но не все при-

чинные связи. У тебя есть начало и есть конец. Придется одновременно держать в уме много тем. Некоторые в развитии, другие статичные; некоторые — несущиеся галопом, другие — упорно противостоящие умственной энергии, какую ты можешь им уделить. Ну, ко всему этому он привык. И вот, как и при работе с романом, он определил ключевые моменты и коротенько их аннотировал.

1. ПРОЦЕСС

Йелвертон. Использовать досье (с разреш.), строить, заострить. С осторожностью — адвокат. Вачелл? Нет — избегать повт. доводов зашиты. Жаль, нет официальных протоколов (кампания для их получ.?). Достоверные газетные отчеты? (Кроме «Арбитра».)

Волоски/Баттер. В., вероятно, прав! Не прежде (иначе Идалджи лгали под прис.)… после. Непреднамеренно? Намеренно? Кто? Когда? Как?

Баттер? Поговорить. Далее: волоски найдены, какие-нибудь варианты, неясности? Или ТОЧНО пони?

Письма. Исследовать: бумагу/чернила,

орфографию, стиль, содержание, психологию. Геррин, шарлатанство. Дело Бека. Предложить эксперта лучше (хорошая/плохая тактика?).

Кого? Дрейфусского? И еще: один автор, больше? И еще: Автор = Потрошитель? Автор + Потрошитель?

Связь/пересечения?

Зрение. Заключение Скотта? Достаточно? Других? Свидетельство матери. Воздействие темноты/ночи на видение ДИ?

Грин. Кто преследовал? Кто платил? Проследить/поговорить.

Энсон. Поговорить. Предубежденность? Сокрыт, улик? Воздействие на констеблей.

Увидеть Кэмпбелла. Запросить полицейские протоколы?

Одно из преимуществ знаменитости, признавал Артур, заключалось в том, что его имя открывало двери. Требовался ли ему лепидоптерист или специалист по истории длинного лука, полицейский врач или главный констебль, его просьба о встрече обычно приветствовалась.

Главным образом благодаря Холмсу — хотя быть благодарным Холмсу Артуру давалось нелегко. Ему и в голову не приходило, когда он придумал этого субъекта, что его сыщик-консультант превратится в отмычку.

Он снова раскурил трубку и перешел ко второй части своей тематической таблицы.

2. ВИНОВНИК

Письма. См. выше.

Животные. Работники скотобоен? Мясники? Фермеры? Ср. со случаями в др. местах. Метод типичный/нетипичный? Эксперт — кто? Слухи/подозрения (Гарри Ч.).

Инструмент. Не бритва (процесс)… что? Баттер? Льюис? «Изогнутый с вогн. сторонами». Нож? Сельхоз. орудие? Назначение? Приспос.?

Интервал. 7 лет молчания 96–03. Почему? Намеренно/ненамеренно/вынужденно? Кто отсутствовал? Кто м. знать?

Уолсолл. Ключ. Школа. Грейторекс. Другие мальчики. Окно/ плевки.

Брукс. Уинн. Спек. Связаны? Не связаны? Нормальный? Какие-либо дела/связи

ДИ тут (спросить). Директор?

Предыдущие/последующие. Другие потрошения. Фаррингтон.

На этом этапе примерно все. Артур попыхтел трубкой и принялся шарить взглядом по спискам, прикидывая, какие пункты сильные, какие слабые. Фаррингтон, например. Фаррингтон был грубым шахтером, работавшим на уайрлийской шахте, и весной 04 года — примерно когда Джорджа перевели из Портленда в Льюис — был осужден за изувечение лошади, двух овец и ягненка. Полиция, естественно, твердо стояла на том, что этот субъект, хотя и грубый, неграмотный завсегдатай пивных, был сообщником известного преступника Идалджи. Очевиднейшие родственные души, иронически подумал Артур. Подскажет ли Фаррингтон ему что-либо или ничего? Было ли его преступление простым подражанием?

Может быть, корыстолюбивый Брукс и таинственный Спек что-нибудь да сообщат. Странное имя — Спек, хотя в данный момент оно уводило его мысли только в Южную Африку. Там он часто ел спек, как они называют свой колониальный сорт бекона. В отличие от британского

его получают от разных животных, ему даже припомнилось, как однажды он отведал спек из бегемота. Где же это было? В Блумфонтейне или во время путешествия на север?

Сознание начало отвлекаться. А по опыту Артура, чтобы сосредоточить сознание, сначала требовалось его очистить. Холмс мог бы поиграть на скрипке или, быть может, поддаться пристрастию, которое присвоил ему его создатель, теперь со стыдом об этом сожалеющий. Для Артура никаких шприцев с кокаином — свое доверие он возлагал на сумку клюшек из гикори.

Он всегда считал, что гольф — игра, теоретически созданная специально для него. Она требовала единения глаз, мозга и тела: в самый раз для офтальмолога, ставшего писателем и все еще сохраняющего физическую форму. Во всяком случае, так было в теории. На практике же гольф всегда сначала соблазнял, а потом ускользал от тебя. Как кокетничала эта игра с ним по всему земному шару!

По дороге в Хенклийский гольфовый клуб он вспомнил чисто условное поле перед отелем «Мена-Хаус». Стоило не соразмерить силу удара, и мяч мог закатиться в могилу каких-нибудь древних Рамсесов или Тутмосов. Как-то случайный

прохожий, оценив энергичную, но прихотливую игру Артура, ехидно заметил, что, насколько ему известно, раскопки в Египте облагаются особым налогом. Но даже египетский гольф был превзойден поразительной игрой возле вермонтского дома Киплинга. Подходил День Благодарения, земля уже покрылась снегом, и стоило ему ударить по мячу, как мяч становился невидимкой. К счастью, кто-то из них — они все еще спорили, кто именно, — сообразил выкрасить мячи краской. Поразительность, однако, этим не исчерпалась, потому что ледяной наст после легчайшего, но точного удара обеспечивал качению мяча фантастическую дальность. Однажды они с Редьярдом послали свои мячи вниз по пологому склону. У пылающих краской мячей не было причин останавливаться, и они проскользили полные две мили прямехонько в реку Коннектикут. Две мили, в это они с Редьярдом свято верили, и к черту скептицизм кое-каких членов клуба.

В этот день кокетка была добра к нему, и он оказался у семьдесят восьмой лунки, все еще имея шанс выйти из восьмидесяти. Если послать мяч на точное расстояние… Пока он обдумывал удар, он вдруг осознал, что играть на этом поле ему остается уже недолго. По той простой причине,

что он должен будет расстаться с «Под сенью». Расстаться с «Под сенью»? Невозможно, возразил он автоматически. Да, и тем не менее неизбежно. Он построил дом для Туи, которая была первой и единственной его хозяйкой. Как сможет он привести туда Джин после бракосочетания? Это будет не только противу чести, но крайне неприлично. Одно дело Туи во всей ее святости намекнуть, что он может жениться снова, и совсем другое — привести вторую жену в этот дом, чтобы наслаждаться с ней теми самыми восторгами, которые были запретны для него и Туи во все до единой ночи, вместе прожитые ими под этим кровом.

Разумеется, об этом не могло быть и речи. Однако с каким тактом, с каким умом Джин промолчала, предоставив ему прийти к такому выводу самому. Она правда удивительная женщина. И еще больше его трогало, что она начинала принимать участие в деле Идалджи. Не очень достойно джентльмену проводить сравнения, однако Туи, хотя и одобряла бы взятую им на себя миссию, оставалась бы равно счастлива, победит он или потерпит неудачу, как, конечно, и Джин. Однако ее интерес многое менял, поддерживал в нем решимость победить ради Джорджа, ради правосудия, ради — еще выше! — чести

своей страны; но, кроме того, и ради своей возлюбленной. Трофей достойный, чтобы сложить к ее ногам.

Дав волю эмоциям, Артур послал мяч на пятнадцать футов дальше лунки. Второй удар оставил его в шести футах от нее, а затем он снова умудрился промазать. Итого 82 вместо 79! Да, безусловно, нельзя допускать женщин на поле для гольфа. И не просто на само поле, но и в головы игроков, не то возникнет хаос, вот как сейчас. Джин как-то раз заговорила о намерении заняться гольфом, и тогда он отозвался с умеренным энтузиазмом. Но совершенно ясно, что это плохая идея. В интересах гармоничности общества прекрасный пол не следует допускать не только к избирательным урнам.

Вернувшись в «Под сенью», он обнаружил, что с дневной почтой пришло сообщение от мистера Кеннета Скотта с Манчестер-сквер.

— Ага! — вскричал он, распахивая ногой дверь кабинета Вуда. — Ага!

Его секретарь посмотрел на положенный перед ним лист и прочел:

Правый глаз:
8,75 диоп. сфер.

1,75 диоп. цилинд. ось 90°

Левый глаз:
8,25 диоп. сфер.

— Понимаете, я попросил Скотта отключить аккомодацию атропином, чтобы пациент никак не мог повлиять на результаты. Просто на случай, если кто-нибудь вздумает утверждать, будто Джордж прикидывался слепым. И это именно то, на что я надеялся. Исчерпывающе! Неопровержимо!

— Могу ли я спросить, — сказал Вуд, которому в этот день роль Ватсона представлялась наиболее легкой, — что, собственно, это означает?

— Это означает, это означает… за все годы моей практики как окулиста мне ни разу не довелось корректировать столь высокую степень астигматической близорукости. Вот послушайте, что пишет Скотт. — Он схватил письмо со стола: — «Как и все близорукие люди, мистер Идалджи не способен четко видеть предметы на расстоянии более нескольких дюймов, и в сумерках он практически не смог бы найти дорогу, кроме как в местах абсолютно ему знакомых и привычных». Иными словами, Альфред, иными словами, господа присяжные, он слеп, как пресловутый крот.

С той, разумеется, разницей, что крот сумел бы найти дорогу на лугу темной ночью в отличие от нашего друга. Я знаю, что сделаю. Закажу очки по этому рецепту, и если кто-нибудь из защитников полиции наденет их ночью, то, гарантирую, он не сможет проделать путь от дома священника до луга и обратно менее чем за час. Ручаюсь своей репутацией. Почему у вас такой сомневающийся вид, господа присяжные?

— Я просто слушаю, сэр Артур.

— С сомнением на лице. Я умею улавливать сомнения, когда вижу их. Ну так задавайте же мне очередной вопрос.

Вуд вздохнул.

— Я только подумал, не могло ли зрение Джорджа ухудшиться за три года тюремного заключения.

— Вот-вот! Я догадался, что вы могли подумать об этом. Абсолютно исключается. Слепота Джорджа — перманентное следствие структуры его глаз. Это официально. То есть в тысяча девятьсот третьем году она была точно такой же, как теперь. А тогда у него даже не было очков. Еще вопросы?

— Нет, сэр Артур.

Впрочем, имелось кое-какое наблюдение, кото-

рого он решил не касаться. Его патрон действительно мог не столкнуться с подобным случаем астигматической близорукости за все время, пока он был окулистом. С другой стороны, Вуд много раз слышал, как за обеденным столом он потчевал гостей историей о том, что мог похвастать самой пустой приемной на Девоншир-плейс, и вот это феноменальное отсутствие пациентов обеспечило его досугом, чтобы писать книги.

— Думаю, я потребую три тысячи.

— Три тысячи чего?

— Фунтов, мой милый, фунтов. В своих расчетах я учитываю дело Бека.

Выражение на лице Вуди вполне заменяло любой вопрос.

— Дело Бека, вы же, конечно, помните дело Бека? Неужели нет? — Сэр Артур покачал головой в шутливом разочаровании. — Адольф Бек. Норвежец по происхождению, насколько помню. Осужден за обирание женщин. Его сочли рецидивистом по имени — нет, вы не поверите! — Джон Смит, который уже отбыл срок за подобные вымогательства. Бек получил семь лет тюрьмы. Освобожден условно примерно пять лет назад. Три года спустя снова арестован. Снова обвинен. Но у судьи возникли сомнения, он отло-

жил вынесение приговора, а тем временем кого же отыскали, как не подлинного вымогателя, мистера Смита! Одна подробность этого дела мне запомнилась. То, как они установили, что Бек и Смит не одно и то же лицо? Один был обрезан, другой нет. Вот от каких деталей иногда зависит правосудие.

А! Вы выглядите даже еще более озадаченным. Вполне понятно. В чем суть? Два момента. Во-первых, Бек был приговорен в результате ошибочного опознания рядом свидетельниц. Не то десятью, не то одиннадцатью. Тут я промолчу. Но вдобавок он был осужден по безоговорочному выводу некоего специалиста по подделанным и анонимным почеркам. Нашего старого друга Томаса Геррина. Он был вынужден предстать перед комиссией по расследованию дела Бека и признать, что благодаря его показаниям был дважды осужден невинный человек. А всего лишь за год до этого признания он под присягой обличал Джорджа Идалджи. По моему мнению, его не следует допускать на скамью свидетелей, и каждое дело с его участием должно быть пересмотрено.

Ну и второй момент. После доклада комиссии казначейство компенсировало Бека пятью тысячами фунтов. Пять тысяч фунтов за пять лет.

Можете сами рассчитать таксу. Я потребую три тысячи.

Кампания набирала силу. Он напишет доктору Баттеру с просьбой о встрече; директору уолсоллской школы чтобы навести справки о мальчике Спеке; капитану Энсону — чтобы получить доступ к полицейским документам по этому делу; и еще Джорджу — узнать, не вел ли он какого-либо спорного дела в Уолсолле. Он просмотрит доклад о Беке, чтобы определить размах унизительного фиаско Геррина и официально потребовать от министра внутренних дел нового и исчерпывающего расследования всего дела в целом.

Он планировал посвятить следующую пару дней анонимным письмам в попытке превратить их в менее анонимные, перейдя от графологии к психологии для возможного определения автора. Затем он передаст досье доктору Линдсею Джонсону для экспертного сравнения писем с почерком Джорджа. Джонсон был ведущим специалистом в Европе, недаром же мэтр Лабори обратился к нему в деле Дрейфуса. Да, подумал он, к тому времени, когда я закончу, дело Идалджи наделает не меньше шума, чем дело Дрейфуса во Франции.

Он сел к письменному столу с пачкой писем,

лупой, блокнотом и своим механическим карандашом. Сделал глубокий вдох, а затем медленно, опасливо, будто ожидая, что на волю вырвется какой-нибудь злой дух, развязал ленты на пачках священника и шпагат на пачках Брукса. Письма священника были датированы карандашом и перенумерованы в порядке получения; письма торговца скобяными товарами собраны без всякой системы.

Он прочел их во всей их ядовитой ненависти и издевательской фамильярности, их хвастливости и безумности, с их величественными претензиями и их вульгарностью. *Я Бог я Бог Всемогущий я дурак врун клеветник проныра… О почтальон у меня попотеет.* Смехотворно! Однако наложение смехотворности на смехотворность равнялось дьявольской жестокости, от которой мог помутиться рассудок жертв. Артур продолжал читать, его гнев и отвращение слегка улеглись, и он попытался пропитаться этими фразами. *Вы грязные подлюги вам требуется пятнадцать месяцев тюрьмы… Я остер так уж остер ты толстый мерзавец ты у меня в кулаке ты грязный подлюга ты чертова обезьяна… Я знаю всех франтов у меня есть для этого разбойник так твой не похлеще… Кто стибрил яйца в среду ночью зачем*

ты или твой приятель но не думаю что повесят меня…

Он читал и перечитывал, сортировал и пересортировывал, анализировал, сравнивал, аннотировал. Постепенно зацепки превращались в подозрения, а затем в гипотезы. Для начала: существовала или нет шайка потрошителей, но, во всяком случае, создавалось впечатление, что имелась шайка анонимщиков. Трое, заключил он: двое молодых взрослых и мальчик. Двое взрослых иногда, казалось, скрещивались, однако он определил между ними различие. Один был просто злобен, тогда как у другого наблюдались взрывы религиозной мании, колебавшиеся от истерического благочестия до возмутительных кощунств. Именно он подписывался Сатаной, Богом и их теологическим воссоединением — Бог-Сатана. Ну а мальчик попросту захлебывался грязнейшими ругательствами, и Артур определил его возраст от двенадцати до шестнадцати лет. Взрослые, кроме того, бахвалились своей способностью подделывать почерка. «Ты думаешь, мы не сможем изобразить почерк твоего сынка?» — написал один из них священнику в 1892 году. И в доказательство целая страница трудолюбиво заполнена похожими подписями всех членов

семьи Идалджи, семьи Брукса и других людей в округе.

Для значительной части писем использовалась одна и та же бумага, и присылались они в одинаковых конвертах. Иногда начинал один автор, а затем уступал место второму: за излияниями Бога-Сатаны на той же странице следовали кривые каракули и скверные — во всех смыслах — рисунки паренька. Это наводило на мысль, что все трое жили под одной крышей. Но где могла находиться эта крыша? Поскольку во многих случаях в Уайрли письма прямо подбрасывались жертвам, было логично предположить близкое расстояние, не больше мили или полутора миль.

Затем: какого рода крыша могла укрывать трех таких писцов? Какое-нибудь заведение, приютившее под одной кровлей молодых людей мужского пола? Школа частного репетитора? Артур сверился со справочниками образовательных учреждений, но на более или менее правдоподобных расстояниях не нашел ничего. Могли ли трое негодяев быть тремя клерками в конторе или тремя подручными в мастерской? Чем больше он взвешивал этот вопрос, тем больше склонялся к выводу, что они были членами одной семьи, два старших брата и младший. Некоторые письма

были чрезмерно длинными, что указывало на семью бездельников, не знающих, куда девать время.

Ему требовалось больше конкретных данных. Например, уолсоллская школа выглядела постоянным фактором в деле, но насколько важным фактором? И как насчет вот этого письма? Религиозный маньяк совершенно очевидно ссылается на Мильтона. Мильтон, «Потерянный Рай»: падение Сатаны и пылающее озеро Ада, которое автор объявил предназначенным ему. Так оно и было бы, если бы это зависело от Артура. Итак, еще один вопрос для директора школы: входил ли «Потерянный Рай» когда-либо в программу по литературе? А если так, то когда и сколько мальчиков его изучало и кто-нибудь особенно увлекся поэмой? Что это — хватание за последние соломинки или исследование каждой возможности? Решить было трудно.

Он читал письма спереди назад, он читал их сзади наперед; он читал их наугад; он тасовал их, будто карточную колоду. И тут его взгляд зацепился за что-то, и пять минут спустя он почти сорвал дверь своего секретаря с петель.

— Альфред, поздравляю вас. Вы точно ударили по шляпке гвоздя.

— Я?

Артур швырнул письмо на стол Вуда.

— Смотрите вот тут. И тут, и тут.

Секретарь следил за пальцем Артура, по-прежнему ничего не понимая.

— По какому гвоздю я ударил?

— Так слушайте. Вот: мальчика не отослать в море. И здесь: волны катятся через тебя. Это первое письмо Грейторекса, как вы не понимаете? И вот тут: думаю, меня не повесят, а отправят в море.

По выражению лица Вуда было заметно, что очевидность от него ускользает.

— Перерыв, Вуди, перерыв. Семь лет. Почему перерыв, спросил я, почему перерыв? А вы ответили: потому что его там не было. А я сказал: где же он был, а вы ответили: может быть, он устроился матросом. И вот это первое письмо после семилетнего перерыва. Я перепроверю, но держу пари на ваше жалованье, что ни в одном письме первых преследований нет упоминаний про море.

— Ну, — сказал Вуд, позволив себе чуточку самодовольства, — это выглядело возможным объяснением.

— И вот что ставит окончательную точку, если

у вас остаются малейшие сомнения, — хотя секретарь, получивший комплимент своей блестящей проницательности, не был склонен сейчас же усомниться в ней, — так это место, откуда последовала заключительная мистификация.

— Боюсь, вам придется мне напомнить, сэр Артур.

— Декабрь девяносто четвертого, вспомнили? Объявление в блэкпулской газете о распродаже с аукциона всей обстановки дома священника.

— И?..

— Ну, давайте же, давайте! Блэкпул — что такое Блэкпул? Курортное местечко при Ливерпуле. Вот откуда он отплыл. Из Ливерпуля, ясно как дважды два.

Дальнейшую часть дня Альфред Вуд не имел ни минуты передышки. Письмо директору уолсоллской школы с вопросом об изучении Мильтона; письмо Гарри Чарльзуорту с заданием выяснить, кто из местных жителей провел на море годы между 1895-м и 1903-м, а также найти мужчину или мальчика по имени Спек; и письмо доктору Линдсею Джонсону с просьбой безотлагательно провести сравнения между письмами в прилагаемом досье и письмами Джорджа Идалджи, уже присланными. Тем временем Артур написал Мам

и Джин, сообщая им о продвижениях.

Утренняя почта на следующий день включала письмо в знакомом конверте. Со штемпелем Кэннока.

> Досточтимый сэр,
>
> строчка известит вас, что мы полицейские стукачи и знаем, что Идалджи убил ту лошадь и писал те письма. И нечего навешивать это на других. Это Идалджи, что будет доказано, потому как он ненашенский и…

Артур переворачивает листок и читает дальше:

> …и в Уолсолле никакого образования получить было нельзя, когда чертова свинья Олдис командовал в школе. Он получил чертову пулю, когда попечителям послали письма насчет него. Ха, ха.

Директору уолсоллской школы была отправлена дополнительная просьба сообщить об обстоятельствах, когда его предшественник покинул свой пост; после чего и эта последняя улика была переслана доктору Линдсею Джонсону.

«Под сенью» окутывала тишина. Дети уехали. Кингсли — на свое первое полугодие в Итоне, Мэри — в Прайорс-Филд в Годолминге. Погода стояла пасмурная. Артур ел в одиночестве у пылающего камина; по вечерам играл на бильярде с Вуди. Он уже видел на горизонте свое пятидесятилетие — если горизонт может находиться так близко. На расстоянии всего двух лет. Он все еще играл в крикет, довольно часто его удары поражали красотой, как любезно говорили капитаны противников. Но слишком уж часто он, стоя у черты, смотрел, как подающий возникал в вихре рук, ощущал удар в свой щиток, свирепо смотрел в сторону судьи и слышал через расстояние в двадцать два ярда полный сочувствия приговор: «Сожалею, сэр Артур». Решение, не подлежащее апелляции.

Пришла пора признать, что дни его славы миновали. Семь и шестьдесят один против Кембриджшира в одном сезоне, и калитка У. Д. Грейса в следующем. Однако великий крикетист уже набрал сто очков, когда Артур вышел на поле пятым сменившимся подающим и убрал его бородатым приемом. Но тем не менее: У. Д. Грейс — 100, А. Конан Дойль — 110. В ознаменование он написал пародийно-героическую поэму в девят-

надцати строфах, но ни его стихи, ни подвиг, ими увековеченный, не помогли ему попасть в «Уиздена». Капитан команды Англии, как однажды напророчил Патридж? Нет, капитан Авторов против Актеров на стадионе «Лорд» прошлым летом, вот, пожалуй, его уровень. В тот июньский день он начал в паре с Вудхаусом, который комично позволил выбить себя без единого очка. Сам Артур сделал две пробежки, а Хорнанг даже не справился с первой подачей. Орас Бликли набрал пятьдесят четыре очка. Возможно, чем писатель лучше, тем хуже он как крикетист.

И то же самое происходило с гольфом, где разрыв между мечтой и реальностью увеличивался с каждым годом. Но бильярд… бильярд был игрой, в которой угасание не подразумевалось само собой. Свои пятьдесят, шестьдесят и даже семьдесят лет игроки разменивали без видимой утраты сноровки. Сила не главенствовала, опыт и тактика — вот что приносило победу. Поцелуйные карамболи, рикошетные, стук почтальона, ясельные карамболи вдоль бортов — что за игра! Почему, собственно, попрактиковавшись, а то и позанимавшись с профессионалом, ему не принять участие в чемпионате английских любителей? Конечно, ему придется отработать длинные

дженни. Всякий раз он должен был говорить себе: высмотри шар в позиции для дуплета в угловую лузу, а затем ударь со всей точностью, на какую способен. Вуду длинные дженни удавались легко, хотя для идеальных двойных дуплетов ему было еще очень и очень далеко, как Артур ни уставал ему указывать.

Приближение к пятидесяти: и начнется вторая половина его жизни, хотя и с запозданием. Он потерял Туи и обрел Джин. Он отказался от научного материализма, ему привитого, и нашел способ приоткрыть великую дверь в потусторонность, хотя бы на щелочку. Остряки любили повторять, что англичане, раз уж они лишены духовных инстинктов, придумали крикет, чтобы обрести чувство вечности. Подслеповатые наблюдатели воображают, будто в бильярде без конца повторяется один и тот же удар. Полная чушь и то, и другое. Англичане сдержанны, это правда, — они же не итальянцы, но духовности у них не меньше, чем у любой другой нации. И не бывает двух одинаковых ударов кием, как не бывает и двух одинаковых человеческих душ.

Он посетил могилу Туи в Грейшоте. Он возложил цветы, он всплакнул, повернулся, чтобы уйти, и поймал себя на мысли, а когда он снова

приедет сюда? На следующей неделе или через две недели? А потом? В какой-то момент цветы перестанут возлагаться, и посещения станут реже. Он начнет новую жизнь с Джин, возможно, в Кроборо, по соседству с ее родителями. И навещать Туи будет… неловко. Он скажет себе, что достаточно просто думать о ней. Джин — дай Бог! — сможет родить ему детей. Кто тогда будет навещать Туи? Он покачал головой, чтобы избавиться от этой мысли. Какой смысл предвосхищать будущую вину? Действуешь в согласии с лучшими своими принципами, а затем встречаешь дальнейшее согласно с тем, чем оно обернется.

И тем не менее, вернувшись в «Под сенью» назад в пустой дом Туи, он почувствовал, что его влечет в ее спальню. Он не распорядился, чтобы в комнате сменили обстановку или сделали ремонт, — разве он мог? И потому тут стояла кровать, на которой она умерла в три часа ночи, и в воздухе веял аромат фиалок, и ее хрупкая рука покоилась в его большой неуклюжей лапе. Кингсли и Мэри сидели с измученной, испуганной вежливостью. Туи приподнимается чуть ли не с последним вздохом и говорит Мэри, чтобы она оберегала Кингсли… Вздыхая, Артур подошел к

окну. Десять лет назад он выбрал для нее эту комнату, из которой открывался самый лучший вид на сад, на их собственную сужающуюся долину, где смыкался лес. Ее спальня, ее больничная палата, комната ее смерти — он все время пытался сделать ее как можно приятнее и безболезненнее, насколько было в его силах.

Вот что он говорил себе… говорил себе и другим так часто, что в конце концов сам поверил. Всегда ли он обманывал себя? Ведь это была та самая комната, где за несколько недель до смерти Туи сказала их дочери, что ее отец снова женится. Когда Мэри сообщила эти слова, он попытался отнестись к ним легко — глупое решение, осознал он теперь. Ему следовало бы воспользоваться случаем, чтобы восхвалить Туи, а кроме того, подготовить почву, а он в панике прибег к шутливости и спросил что-то вроде: «А она имела в виду какую-нибудь конкретную кандидатку?» На что Мэри сказала: «Папа!» И нельзя было ошибиться в неодобрении, с каким это было сказано.

Он продолжал смотреть из окна спальни через заброшенные теннисные корты на долину, которая когда-то в момент прихотливой фантазии напомнила ему немецкую народную сказку. А теперь она выглядела всего лишь частью Суррея,

которой и была. Вернуться с Мэри к этому разговору было нельзя. Но одно оставалось неоспоримо: если Туи знала, то он погиб. Если Туи знала и Мэри знала, тогда он погиб вдвойне. Если Туи знала, то Хорнанг был прав. Если Туи знала, то Мам ошибалась. Если Туи знала, то с Конни он разыграл гнуснейшего лицемера и постыдно манипулировал старой миссис Хокинс. Если Туи знала, то самое его понятие о благородном поведении было притворством. На холме над Мейсонгиллом он сказал Мам, что честь и бесчестие соседствуют так тесно, что трудно провести границу между ними, а Мам ответила, что именно это делает честь столь важной. А что, если он все это время бултыхался в бесчестии, обманывая себя и никого больше? Что, если свет принимал его за пошлого нарушителя супружеской верности, и то, что он им не был, ничего не меняет. Что, если Хорнанг был прав, и нет разницы между виной и невинностью?

Он тяжело опустился на кровать, думая о тех недозволенных поездках в Йоркшир, о том, как он и Джин приезжали на разных поездах и уезжали разными, чтобы выглядеть ни в чем не повинными. Инглтон находился в двухстах пятидесяти милях от Хайнхеда, там они были в безопасности.

Но он путал безопасность с честью. За годы и годы, конечно, всем все стало совершенно ясно. Что такое английское захолустье, как не водовороты сплетен. Пусть Джин, блюдя приличия, все время пребывала в женском обществе, пусть они с Джин подчеркнуто никогда не гостили под одним кровом, однако знаменитый Конан Дойль, сочетавшийся браком в приходской церкви, разгуливал по холмам и долам вместе с другой женщиной.

И еще Уоллер. За все это время он в блаженном самодовольстве ни разу не спросил себя, а как Уоллер смотрит на происходящее. Мам одобрила избранный образ действий, и этого было достаточно. А что думал Уоллер, значения не имело. Уоллер такой легкий и приятный человек, грубо прямолинейным никогда не был. Он вел себя так, будто неколебимо верил каждой предлагавшейся ему истории. Семья Леки была в давней дружбе с Дойлями; Мам всегда нравилась девочка Леки. Уоллер никогда не говорил ничего сверх требуемого простой вежливостью и простым благоразумием. Он не пробовал отвлечь Артура от удара клюшкой по мячу, высказав мнение, что Джин Леки очень хороша собой. Однако Уоллер, уж конечно, сразу же разглядел подоплеку. Может

быть — Боже сохрани! — он обсуждал ее с Мам за спиной Артура. Нет, о таком он даже подумать не в силах. Но в любом случае Уоллер увидел бы, Уоллер знал бы. И — что было мучительней всего, понял Артур теперь, — Уоллер мог смотреть на него с колоссальным самоудовлетворением. Пока они вместе стреляли куропаток и охотились с хорьками, он вспоминал школяра, только что вернувшегося из Австрии, который смотрел на него как на кукушонка в гнезде, такой тяжеловесно невежественный и тем не менее полный бешеных предположений и бешеной неловкости. А потом прошли годы, и Артур начал приезжать в Мейсонгилл ради нескольких украденных часов наедине с Джин. И вот теперь Уоллер получил возможность безмолвно, без малейшего шепотка — благодаря чему, разумеется, только еще более смакующе и с еще большей надменностью — получил возможность осуществить свою нравственную месть. Ты посмел смотреть на меня с неодобрением? Ты посмел думать, будто понимаешь жизнь? Ты посмел усомниться в чести своей матери? А теперь ты являешься сюда и используешь свою мать и меня и всю округу как камуфляж для свидания? Ты берешь двуколку с пони своей матери и проезжаешь мимо Святого Освальда ря-

дом со своей любовницей. Ты думаешь, в деревне ничего не замечали? Ты воображаешь, будто твой шафер страдает амнезией? Ты твердишь — себе и другим, — что твое поведение благородно?

Нет, необходимо прекратить. Он уже слишком хорошо знал эту спираль, знал ее увлекающие вниз соблазны, а также — и совершенно точно — куда она ведет: в летаргию, отчаяние и отвращение к себе. Нет, он должен придерживаться только известных фактов.

Мам одобряла его действия. Как и все, кроме Хорнанга. Уоллер ничего не говорил. Туи просто предостерегла Мэри, чтобы она не была потрясена, если он женится во второй раз, — слова любящей и заботливой жены и матери. Туи ничего больше не сказала и, следовательно, ничего больше не знала. Мэри ничего не знает. Ни живым, ни мертвым не будет никакой пользы от его мучений. А жизнь должна продолжаться. Туи это знала и принимала. Жизнь должна продолжаться.

Доктор Баттер согласился встретиться с ним в Лондоне; но от других адресатов ничего ободряющего он не получил. Джордж никогда никаких дел в Уолсолле не вел. Мистер Митчелл, директор уолсоллской школы, информировал его, что в

списках учеников за последние двадцать лет никакой Спек не значится; и далее, что его предшественник, мистер Олдис, достойно занимал свой пост шестнадцать лет, и идея, будто он был в чем-то разоблачен или уволен, просто чепуха. Министр внутренних дел мистер Герберт Гладстон засвидетельствовал свое глубокое почтение сэру Артуру и после нескольких абзацев комплиментов и пустопорожностей с сожалением отклонил какое-либо дальнейшее рассмотрение уже досконально рассмотренного дела Идалджи. Последнее письмо на бумаге под грифом полиции графства Стаффордшир начиналось так: «Любезный сэр, мне будет весьма интересно узнать, что скажет Шерлок Холмс о случае в реальной жизни…» Но шутливость не означала намерения пойти навстречу: капитан Энсон не был склонен как-либо содействовать сэру Артуру в его розысках. Не существует прецедента, чтобы полицейские протоколы предоставлялись неофициальному лицу, каким бы прославленным оно ни было, как и прецедента, чтобы такое лицо получило разрешение беседовать с представителями сил порядка под командой капитана Энсона. Более того, поскольку явное намерение сэра Артура сводится к дискредитации констеблей Стаффорд-

шира, главный констебль графства не считает, что сотрудничество с противником может быть стратегически или тактически полезным.

Артура воинственная прямолинейность бывшего артиллерийского офицера устраивала больше, чем сладкоречие политика. Не исключена возможность, что Энсона удастся переубедить. Однако использование военного сравнения заставило Артура задуматься, не стоит ли вместо того, чтобы отвечать своему противнику выстрелом на выстрел — его эксперт против их эксперта, — устроить артиллерийскую канонаду и разнести их позицию вдребезги. Да, почему бы и нет? Если у них есть один эксперт-графолог, он может выставить в ответ несколько: не просто доктора Линдсея Джонсона, но вдобавок и мистера Гоуберта, и мистера Дугласа Блэкберна. А если кто-нибудь усомнится в мистере Кеннете Скотте с Манчестер-сквер, он отправит Джорджа еще к некоторым именитым офтальмологам. Йелвертон был склонен к тактике выматывания противников, которая давала положительные результаты, пока не привела к финальному патовому положению.

Он встретился с доктором Баттером в «Гранд-Отеле» на Чаринг-Кросс. На этот раз, входя с Нор-

тумберленд-авеню, он не опоздал и не помедлил, чтобы скрытно понаблюдать за полицейским врачом. В любом случае он уже понимал этого человека из его показаний: уравновешенный, осторожный, не склонный к безосновательным или взятым с потолка предположениям. Во время процесса он ни разу не высказал выводов, которые не мог бы подтвердить своими наблюдениями: это пошло на пользу защите в связи с пятнами крови и во вред касательно волосков. Именно показания Баттера в гораздо большей степени, чем шарлатана Геррина, обрекли Джорджа на Льюис и Портленд.

— Так любезно, доктор Баттер, уделить мне время. — Они сидели в той же комнате для писания писем, где всего лишь пару недель назад он составил свое первое впечатление о Джордже Идалджи.

Полицейский врач улыбнулся. Он был благообразным седым мужчиной лет на десять старше Артура.

— С огромным удовольствием. Я рад случаю поблагодарить того, кто написал… — последовала микроскопическая пауза, или она только почудилась Артуру, — «Белый отряд».

Артур улыбнулся в ответ. Он всегда находил об-

щество полицейских врачей столь же приятным, как и полезным.

— Доктор Баттер, я был бы премного обязан, если бы вы согласились на откровенный разговор. То есть я очень высокого мнения о ваших показаниях, но мне хотелось бы предложить вашему вниманию некоторые вопросы, а также соображения. Все, что вы скажете, останется между нами, и я не повторю ни единого слова, прежде не предоставив вам возможности подтвердить его, поправить или полностью исключить. Это приемлемо?

Доктор Баттер согласился, и Артур для начала перебрал те части его заключений, которые были наименее опасными или, во всяком случае, для защиты неопровержимыми. Бритвы, сапоги, разнообразные пятна.

— Вас не удивило, доктор Баттер, что на одежде оказалось так мало крови, учитывая действия, которые вменялись Джорджу Идалджи?

— Нет. Или, точнее, вы задаете слишком общий вопрос. Если бы Идалджи сказал: да, я изувечил пони, вот инструмент, который я использовал, вот бывшая на мне одежда, и действовал я в одиночку, тогда я счел бы себя вправе высказать мнение. И при данных обстоятельствах мне

пришлось бы сказать вам, что я был бы очень удивлен. Даже крайне удивлен.

— Но?

— Но мои заключения строились, как всегда, на том, что я обнаружил: такое-то количество крови млекопитающего на таком-то предмете одежды и так далее. Таково было мое заключение. Раз я не могу сказать, как или когда она на них попала, то ничего сверх мне добавить нечего.

— На скамье свидетелей — бесспорно, но между нами…

— Между нами, я бы подумал, что, располосуй человек лошадь, крови было бы много, и он не мог бы контролировать, как именно она прольется. Тем более если бы это произошло темной ночью.

— Так тут вы со мной? Он не мог бы сделать этого?

— Нет, сэр Артур, я тут не с вами. Я очень далек от вас. Между этими выводами расстояние слишком велико. Например, всякий, кто сознательно отправился бы зарезать лошадь, сообразил бы надеть фартук, как рабочие на бойнях. Предосторожность абсолютно очевидная. Однако несколько брызг могли бы упасть мимо фартука и остаться незамеченными.

— В суде никакой фартук не упоминался.

— Я имею в виду другое. Я просто предлагаю объяснение, отличное от вашего. Или еще: там могли присутствовать другие. Если существовала шайка, как предполагалось, то этот молодой человек не обязательно зарезал лошадь сам, а просто стоял в стороне, но в результате брызги крови могли попасть на его одежду.

— Опять-таки никаких доказательств представлено не было.

— Однако имелись серьезные указания на существование шайки, не так ли?

— Шайка настойчиво упоминалась. Но без намека на какие-либо улики.

— Ну а тот, который располосовал собственную лошадь?

— Грин? Но даже Грин ничего не говорил про шайку.

— Сэр Артур, я понимаю ваши доводы и ваше желание найти доказательства в их поддержку. Я просто говорю, что имеются другие возможности, упоминались они в суде или нет.

— Вы совершенно правы. — Артур решил больше на этом не настаивать. — Так не можем ли мы поговорить о волосках? Вы в своих показаниях упомянули, что сняли с одежды двадцать девять волосков и что, когда вы их исследовали под мик-

роскопом, они были — если я помню ваши слова точно — «подобны по длине, цвету и структуре» волоскам на лоскуте кожи, срезанном с пони, принадлежавшего шахте?

— Совершенно верно.

— «Подобны». Вы ведь не сказали «совершенно такие, же как».

— Да.

— Потому что они не были совершенно такими же?

— Да, поскольку это вывод, а не наблюдение. Но, по понятию непрофессионалов, сказать, что они были подобны по длине, цвету и структуре, означает, что они были точно такими же.

— И у вас нет никаких сомнений?

— Сэр Артур, на скамье свидетелей я всегда грешу в пользу осторожности. Но, говоря между нами, на условиях, которые вы предложили для нашей беседы, я готов заверить вас, что волоски на одежде принадлежали тому же самому животному, кожу которого я исследовал под микроскопом.

— И точно с той же части?

— Не понимаю.

— То же животное и та же часть этого животного, то есть брюхо?

— Да, совершенно верно.

— Ну а волоски с разных частей лошади или пони различаются длиной, а возможно, толщиной и, возможно, структурой. Волосы из хвоста или гривы, например, будут совсем другими.

— Это тоже совершенно верно.

— Однако все двадцать девять волосков, которые вы исследовали, были совершенно одинаковы и с той части пони?

— Бесспорно.

— Не могли бы мы, доктор Баттер, вообразить что-нибудь вместе? Опять абсолютно кофиденциально внутри этих анонимных стен. Так давайте же вообразим — как это ни омерзительно, — что вы или я отправились выпотрошить лошадь.

— Простите, что я вас поправлю, но пони выпотрошен не был.

— Разве?

— Согласно показаниям в суде, он был располосован, истекал кровью, и его пришлось застрелить. Но внутренности из разреза не свисали, как было бы, если бы на него напали иначе.

— Благодарю вас. Ну так вообразим, что мы хотим располосовать пони. Нам придется подойти к нему, успокоить его, погладить по морде, быть может, поговорить с ним, потрепать по боку. Те-

перь вообразим, как мы могли бы удерживать его, чтобы располосовать. Если мы располосовываем брюхо, мы могли бы встать у его бока, возможно, перекинув руку через его спину, удерживая его на месте, пока протянули бы вниз другую с инструментом, какой приготовили.

— Не знаю. Я никогда не был свидетелем такой отвратительной сцены.

— Но вы не отрицаете, что могли бы проделать это именно так? У меня есть лошади, и они очень нервные создания даже в самой спокойной обстановке.

— Мы не на лугу. И это не лошадь из вашей конюшни, сэр Артур. Это пони с шахты. А разве такие пони не славятся своей кротостью? Разве они не привыкли к тому, как их трогают шахтеры? Разве они не доверяют тем, кто подходит к ним?

— Вы правы, мы не на лугу. Но сделайте мне одолжение. На минуту вообразите, что все произошло как я описал.

— Хорошо. Хотя, разумеется, все могло быть проделано совершенно по-другому. Если там присутствовал еще кто-нибудь.

— Согласен с вами, доктор Баттер. А взамен вы должны согласиться со мной, что, если все произошло примерно как я описал, тогда про-

сто немыслимо, чтобы единственные волоски, попавшие на одежду индивида, все попали туда с одного и того же места, а именно с брюха, к которому вы никак не стали бы прикасаться, успокаивая лошадь. И далее — одни и те же волоски оказались на разных частях одежды — на рукаве и на левой стороне верхней части куртки. Разве вы не ожидали бы по меньшей мере найти волоски с других частей пони?

— Пожалуй. Если ваше описание происшедшего истинно. Но, как и раньше, вы предлагаете только два возможных объяснения: обвинения и ваше собственное. А они оставляют место для многих вариантов. Например, на одежде могли быть и более длинные волосы, но виновник их заметил и удалил. Только естественно, не так ли? Или их мог сдуть ветер. Или опять-таки могла действовать шайка…

Тут Артур очень осторожно начал подбираться к «очевидному» объяснению, предложенному Вудом.

— Вы работаете в Кэнноке, если не ошибаюсь?

— Да.

— Лоскут кожи срезали не вы?

— Нет. Мистер Льюис, который осматривал животное.

— И лоскут доставили вам в Кэннок?

— Да.

— Как и одежду?

— Да.

— До или после?

— Не понимаю.

— Одежду прислали до лоскута или лоскут до одежды?

— А, понимаю! Нет, они прибыли вместе.

— В одно и то же время?

— Да.

— И их доставил полицейский?

— Да.

— В одном пакете?

— Да.

— Кто был этот полицейский?

— Понятия не имею. Я так много их вижу, ну а теперь для меня они все выглядят молодыми и, следовательно, на одно лицо.

— Вы не помните, что он сказал?

— Сэр Артур, это же было больше трех лет назад. И нет ни малейшей причины, почему мне могли бы запомниться его слова. Вообще-то он бы сказал только, что пакет от инспектора Кэмпбелла. Он мог бы сказать, что находится в пакете. И даже мог бы сказать, что это предметы

для исследования, но это вряд ли требовалось бы сообщать мне.

— И пока эти предметы находились у вас, они скрупулезно хранились отдельно. Кожа и одежда? Я говорю отнюдь не как обвинитель.

— Но очень неплохо его имитируете, если мне позволено сказать так. И, естественно, я понимаю, к чему вы клоните. В моей лаборатории они никак не могли подвергнуться загрязнению, уверяю вас.

— Я ни секунды так не думал, доктор Баттер. И клонил я совсем к другому. Вы не могли бы описать мне полученный вами пакет?

— Сэр Артур, я прекрасно вижу, куда вы клоните. После двадцати лет перекрестных допросов защитниками я умею узнавать подобный подход, а также привык давать показания о полицейских процедурах. Вы надеялись, что я скажу, что кожа и одежда были свернуты вместе и засунуты в старый мешок некомпетентными полицейскими. Если так, то вы ставите под сомнение мою принципиальность, а не только их.

Теперь вежливость доктора Баттера приобрела стальной оттенок. Такого свидетеля вы всегда предпочли бы иметь на своей стороне.

— Я никогда бы себе этого не позволил, — уми-

ротворяюще сказал Артур.

— Только что позволили, сэр Артур. Вы намекнули, что я мог бы проигнорировать загрязнение улик. Все предметы были завернуты отдельно и запечатаны, и никакая тряска не могла бы перекинуть волоски из одного пакета в другой.

— Весьма обязан вам, доктор Баттер, за исключение такой возможности.

В результате выбор оставался только двоякий: либо некомпетентность полицейских до раздельного упаковывания предметов, либо полицейская подтасовка перед упаковыванием. Но он достаточно пытал Баттера. Вот только…

— Могу ли я задать еще один вопрос? Исключительно о фактах.

— Разумеется. Извините мою вспышку.

— Она понятна. Я, как вы заметили, вел себя слишком уж подобно обвинителю.

— Дело не столько в этом. А вот в чем. Я сотрудничаю со стаффордширской полицией свыше двадцати лет. Двадцать лет вызовов в суд, чтобы отвечать на хитрые вопросы, построенные на неверных, как я знаю, предпосылках. Двадцать лет наблюдения за игрой на невежестве присяжных. Двадцать лет представления улик, настолько ясных и однозначных, насколько я

способен их объяснить, после чего со мной обходятся если не прямо как с шарлатаном, то как с человеком, просто высказавшим свое мнение, не более весомое, чем мнение прохожего на улице. Да только у этого прохожего нет микроскопа, а если бы он попробовал в него посмотреть, то не сумел бы даже настроить. Я излагаю то, что наблюдал, то, что я знаю наверное, — и в ответ слышу презрительно, что это не более чем мои личные домыслы.

— От всей души сочувствую, — сказал сэр Артур.

— Ну, не знаю. Во всяком случае — ваш вопрос.

— В какое время дня вы получили полицейский пакет?

— В какое время? Около девяти часов.

Артура поражает такая расторопность. Пони обнаружили примерно в 6:20, Кэмпбелл был все еще на лугу, когда Джордж вышел из дома, чтобы успеть на поезд 7:39, и в дом священника он явился с Парсонсом и специальными констеблями немного раньше восьми. Затем обыск, пререкания со священником, его женой и дочерью…

— Простите, доктор Баттер, но, не впадая в тон обвинителя, пакет все-таки должны были доставить вам позднее?

— Позднее? Ни в коем случае. Я точно знаю, когда его доставили. Помню, как я возражал. Они настаивали на том, чтобы вручить мне пакет непременно в этот же день. Я сказал им, что буду ждать только до девяти. И держал перед собой свои часы, когда его привезли. Ровно в девять.

— Ошибка всецело моя. Я думал, вы имели в виду девять утра.

Теперь настала очередь доктора Баттера удивиться.

— Сэр Артур, согласно моему опыту, полицейские и компетентны, и старательны. Но они не чудотворцы.

Сэр Артур согласился, и они расстались по-дружески. Однако затем он поймал себя именно на этой мысли: что полицейские и в самом деле чудотворцы. Они сумели переместить двадцать девять лошадиных волосков из одного запечатанного конверта в другой всего лишь силой мысли. Быть может, ему следует сообщить о них Обществу спиритических изысканий.

Да, их вполне можно сравнить с медиумами, перемещающими предметы, предположительно способными дематериализовать предмет, а затем вновь его материализовать, высыпая древние монеты на стол перед участниками сеанса, не

говоря уж об ассирийских табличках и полудрагоценных камнях. К этой ветви спиритизма Артур продолжал относиться с глубокой скептичностью; ведь самый недотепистый сыщик-дилетант обычно бывал способен проследить древние монеты до ближайшего нумизмата. А что до молодчиков, которые пробавлялись змеями, черепахами и живыми птицами, Артур считал, что их место скорее в цирке или на ярмарке. Или в стаффордширской полиции.

Он ликующе играл этими мыслями — просто из-за переполненности торжеством. Двенадцать часов — вот искомый ответ. Улики находились в полиции двенадцать часов перед отправкой их доктору Баттеру. Где они лежали, в чьем ведении находились, как с ними обращались? Было ли это случайным соприкосновением или сознательным действием с конкретным намерением представить виновным Джорджа Идалджи? Почти наверное этого они никогда не узнают, если не будет признания на смертном одре — однако Артур никогда не доверял признаниям на смертных одрах.

Его ликование еще возросло, когда в «Под сенью» доставили заключение доктора Линсдея Джонсона. Оно подкреплялось двумя блокнотами

исчерпывающего графологического анализа. Лучший специалист Европы заключил, что ни одно из представленных ему писем, написанное ли злокозненным интриганом, религиозным маньяком или дегенеративным подростком, не имеет ни единого значимого сходства с подлинными документами, написанными Джорджем Идалджи. В некоторых образчиках имеются подобия сходства, но такие, каких следует ожидать при попытках подделывать чужой почерк. Подделывателю иногда удается создать подобие факсимиле; однако всякий раз неоспоримые признаки доказывают, что Джордж — в буквальном смысле — не приложил руки ни к одному из них.

Первая часть списка Артура была теперь больше чем наполовину перечеркнута: *Йелвертон — Волоски — Письма — Зрение.* Затем следовали *Грин* — с ним еще предстояла работа — и *Энсон.* Он возьмется за главного констебля немедленно. «Мне будет весьма интересно узнать, что скажет Шерлок Холмс о случае в реальной жизни…» — язвительно ответил Энсон. Ну так Артур поймает его на слове, запишет все, что ему пока удалось обнаружить, отправит Энсону и осведомится о его мнении.

Когда он сел за письменный стол, чтобы при-

ступить к черновику, то впервые после смерти Туи ощутил правильность происходящего. После депрессии, и угрызений, и летаргии, после брошенного ему вызова и необходимости действовать он стал тем, кем был: человеком за письменным столом, жаждущим рассказать историю и заставить людей взглянуть на вещи по-иному; а тем временем в Лондоне его ждет — и ждать остается недолго — женщина, которая с этой минуты будет первой его читательницей и первой свидетельницей его жизни. Он ощущал, что заряжен энергией, собранный материал бурлил в его уме, и цель была ему ясна. Он начал с фразы, над которой работал в поездах, и в отелях, и в такси. Одновременно и дипломатичной, и декларационной.

> Первого взгляда на мистера Джорджа Идалджи самого по себе было уже достаточно, чтобы убедить меня в крайней неправдоподобности того, что он мог совершить преступление, за которое был осужден, а также чтобы подсказать хотя бы часть причин, объясняющих, почему он вообще был заподозрен.

И рассказ под его рукой разматывался будто

огромная цепь, каждое звено которой было выковано настолько весомо, насколько было в его силах. За два дня он написал пятнадцать тысяч слов. Возможно, потребуется добавить еще что-то, когда будут присланы заключения окулистов и графологов. И еще он крайне мягко коснулся роли Энсона в этом деле: нельзя рассчитывать на полезный отклик человека, если отделать его даже прежде, чем ты с ним познакомишься. Затем Вуд перепечатал его отчет, и копия была послана заказным пакетом главному констеблю.

Два дня спустя из Грин-Холла, Стаффорд, пришел ответ с приглашением сэру Артуру отобедать с капитаном и миссис Энсон в любой день на следующей неделе. Естественно, они будут рады, если он останется переночевать. Ни слова о его анализе, только шутливый постскриптум: «Если хотите, то пригласите с собой мистера Шерлока Холмса. Миссис Энсон будет в восторге познакомиться с ним. Сообщите мне, если для него тоже надо будет приготовить комнату».

Сэр Артур протянул письмо своему секретарю.

— Держит порох сухим, судя по всему.

Вуд утвердительно кивнул и предусмотрительно не сказал ни слова о постскриптуме.

— Полагаю, Вуди, вы не жаждете поехать в

качестве Холмса?

— Я буду сопровождать вас, сэр Артур, если вы сочтете нужным, но вы знаете мое отношение к переодеваниям.

К тому же он чувствовал, что, получив уже роль Ватсона, сыграть еще и Холмса значило бы перенапрячь его способности к перевоплощениям.

— Думаю, я буду вам полезнее, если попрактикуюсь на бильярде.

— Верно, Альфред. Обороняйте крепость. И не оставляйте без внимания свои дуплеты. А я посмотрю, из чего скроен Энсон.

Пока Артур планирует свою поездку в Стаффордшир, Джин заглядывает дальше в будущее. Настало время ее преображения из ждущей девушки в неждущую жену. Сейчас январь. Туи умерла в прошлом июле; разумеется, Артур не может жениться до истечения двенадцати месяцев. Они еще не говорили о дате, однако осеннее бракосочетание не лежит за гранью возможного. Пятнадцать месяцев — после такого интервала вряд ли кто-нибудь будет шокирован. Сентиментальные души предпочитают весенние свадьбы, но, по мнению Джин, осень более подходит для второго брака. А затем медовый месяц за границей. Италия, разумеется, и, ну… ее же всегда

манил Константинополь!

Свадьба означает подружек невесты, и это давно решено: Лесли Роуз и Лили Лодер-Симондс — давно утвержденные кандидатуры. Но свадьба, кроме того, подразумевает церковь, а церковь подразумевает религию. Мам воспитывала Артура католиком, с тех пор и он, и она отвергли эту веру: Мам — ради Англиканской Церкви, Артур — ради воскресного гольфа. Артур даже начал скрывать свое среднее имя «Игнатий». Следовательно, практически нет шансов, что она — католичка с колыбели — выйдет замуж как католичка. Это может удручить ее родителей. Особенно ее мать, но если такова цена, Джин ее уплатит.

Потребуется ли еще и дополнительная цена? Если она намерена быть рядом с Артуром во всем, тогда ей придется лицом к лицу столкнуться с тем, от чего она пока убегала. В тех редких случаях, когда Артур упоминал про свой интерес к спиритизму, она уклонялась. Внутренне она содрогалась от вульгарности и идиотичности этого мирка: глупые старики, будто бы впадающие в трансы, дряхлые карги в ужасающих париках, пялящиеся в хрустальные шары, люди, держащиеся за руки в темноте, пугая друг друга. Тут

нет ничего общего с религией, иными словами, с моралью. И мысль о том, что это… это шаманство привораживает ее возлюбленного Артура, и мучила, и представлялась невероятной. Ну как может человек вроде Артура, с его логическим мышлением, не уступающим ничьему, позволить себе общаться с подобной швалью?

Правда, ее лучшая подруга Лили Лодер-Симондс без ума от столоверчения, но Джин считает это веселой прихотью. Она прерывает рассказы о сеансах, пусть Лили и заверяет ее, что в них принимают участие респектабельнейшие люди. Пожалуй, ей следует для начала подробно поговорить с Лили, чтобы преодолеть отвращение. Нет, к чему такое малодушие? Ведь замуж она выходит за Артура, а не за Лили.

И потому, когда он заезжает по дороге на север, она усаживает его, внимательно выслушивает новости о расследовании, а затем говорит к его видимому удивлению:

— Мне бы очень хотелось познакомиться с этим твоим молодым человеком, милый.

— Правда, милая моя? Он очень порядочный малый, омерзительно оклеветанный. Уверен, он сочтет это за честь и будет в восторге.

— По-моему, ты говорил, что он парс?

— Ну, не совсем. Его отец…

— А во что верят парсы, Артур? Они индуисты?

— Нет, они исповедуют зороастризм. — Артур наслаждается такими вопросами. Великая тайна женщин, думает он, может быть обойдена и усмирена, пока ему дозволяется объяснять им суть того или иного. Он с неколебимой уверенностью описывает историю парсов, характерные черты их внешности, их головные уборы, их либеральное отношение к женщинам, их традицию рождаться на нижнем этаже дома. Он опускает ритуал очищения, поскольку тот включает омовение коровьей мочой, но задерживается на центральном месте астрологии в жизни парсов и подводит объяснение к башням молчания и посмертным заботам стервятников, но тут Джин поднимает ладонь, прерывая его лекцию. Она успевает понять, что это ни к чему не ведет. История зороастризма никак не способствует плавному переходу, на который она надеется. К тому же тут ощущается что-то нечестное, противоречащее ее взгляду на себя.

— Артур, милый мой, — перебивает она, — мне хотелось бы кое-что обсудить.

Его лицо отражает удивление и легкую тревогу. Безусловно, он всегда ценил и ценит ее прямоту,

но где-то в глубине осадок подозрительности нашептывает: то, что женщине хочется обсудить, редко служит удобством или пользе мужчины.

— Мне бы хотелось, чтобы ты объяснил мне свои занятия… ты называешь это спиритуализмом или спиритизмом?

— Я предпочитаю термин «спиритизм», но он, видимо, выходит из употребления. Однако я думал, эта тема тебе неприятна.

Подразумевает он нечто большее: что она питает страх и отвращение ко всему предмету в целом и *a fortuori*[21] к его приверженцам.

— Артур, как мне может быть неприятно то, что тебя интересует? Но подразумевается не столь категоричное, а всего лишь надежда, что интересующее его не может быть ей неприятно.

И потому он начинает рассказывать ей про свои занятия — от экспериментов по передаче мыслей с будущим архитектором «Под сенью» до разговоров в Букингемском дворце с сэром Оливером Лоджем. И всякий раз он подчеркивает научное происхождение и методов спиритуалистических розысков. Он осмотрителен и представляет их настолько респектабельными и ничему не

---

[21] Примечания: 21
тем более *(лат.).*

угрожающими, насколько возможно. Его слова, но еще больше его тон начинают ее понемногу успокаивать.

— Правда, Лили немного разговаривала со мной о столоверчении, Артур, но полагаю, я всегда считала, что это противоречит учению Церкви. Это не ересь?

— Это правда противно церковным институтам. И во многом потому, что делает роль посредников излишней.

— Артур! Нельзя же говорить так о духовенстве!

— Но исторически священнослужители именно этим и были. Посредниками, промежуточными звеньями. Вначале — передатчики истины, но со временем — все больше контролеры истины, затемнители ее, политиканы. Катары держались верной идеи — прямого доступа к Богу, не загроможденного ярусами иерархии. Естественно, Рим их уничтожил.

— Следовательно, твои… могу я назвать их верованиями?.. внушают тебе вражду к моей Церкви?

И, следовательно, подразумевает она, ко всем ее овцам, к одной конкретной овце.

— Нет, любимая. И мне никогда в голову не

придет препятствовать тебе посещать твою Церковь. Но мы движемся за пределы всех религий. Скоро — совсем скоро в историческом смысле — все они уйдут в прошлое. Взгляни на это в таком ракурсе. Неужели из всех областей мысли религия должна быть единственной не прогрессирующей? Не странно ли это? Должны ли мы вовеки следовать стандарту, выработанному две тысячи лет назад? Неужели люди не способны понять, что, развиваясь, человеческий мозг должен обретать более широкий кругозор? Наполовину сформированный мозг создает наполовину сформированного Бога, а кто возьмется утверждать, что наш мозг даже и теперь сформирован хотя бы наполовину?

Джин молчит. Она думает, что стандарты, выработанные две тысячи лет назад, — истинные, и им необходимо следовать, и что мозг может развиваться и способствовать прогрессу всяких наук, но душа, искра божественности, — нечто совсем иное и неизменяемое и недоступное действию эволюции.

— Помнишь, когда я судил на конкурсе Силачей? В Альберт-Холле? Его фамилия была Меррей, победителя. Я вышел за ним на ночные улицы. У него под мышкой была золотая статуэтка, он был

самым сильным мужчиной в Британии. И все же он заблудился в тумане…

Нет, уподобления — неверный подход. Уподобления служат признанным религиям. Уподобления — это подтасовки.

— То, чем мы занимаемся, Джин, очень просто. Мы берем эссенцию великих религий, то есть жизнь духа, и делаем ее более зримой, а тем самым и более понятной.

Слова эти прозвучали для нее как слова искусителя, и ее тон обрел резкость:

— С помощью сеансов столоверчения?

— Которое, не отрицаю, кажется странным стороннему наблюдателю. Как и обряды твоей Церкви покажутся странными путешественнику, исповедующему зороастризм. Тело и кровь Христа на тарелочке и в чаше — он мог бы счесть их чистейшим надувательством. Религии, все религии, увязли в ритуалах и деспотизме. Мы не говорим: придите молиться в нашем храме, следуйте нашим наставлениям, и, быть может, в один прекрасный день вы будете вознаграждены в загробной жизни. Это смахивает на зазывания торговцев коврами. Нет, мы покажем вам сейчас, пока вы живы, реальность некоторых спиритуалистических феноменов, которые докажут вам

физическую отмену смерти.

— Следовательно, вы не верите в воскрешение тела?

— Что мы оказываемся под землей и гнием, а затем в некоем будущем снова обретаем целостность? Нет. Тело — просто шелуха, оболочка, которую мы сбрасываем. Это правда, что некоторые души какое-то время после смерти скитаются во мраке, но потому лишь, что они не готовы к переходу на дальнюю сторону. Истинный спирит, понимающий процесс, перейдет легко, без страданий. А кроме того, сможет быстрее общаться с миром, который оставил позади себя.

— Ты был свидетелем этого?

— О да! И надеюсь, это будет случаться чаще, когда я пойму больше.

Джин ощущает секундный озноб.

— Ты, я надеюсь, не собираешься стать медиумом, милый Артур.

Ей рисуется ее возлюбленный муж как стареющий шарлатан, впадающий в трансы и разговаривающий странными голосами. И новая леди Дойль известна как супруга шарлатана.

— Нет. Я таким даром не обладаю. Подлинные медиумы крайне редки. Чаще всего они — простые смиренные люди. Как Иисус Христос,

например.

Джин игнорирует это уподобление.

— Ну а мораль, Артур?

— Мораль не меняется. То есть истинная мораль, которая опирается на совесть индивида и любовь к Богу.

— Я не имела в виду тебя, Артур. Ты понимаешь, о чем я. Если у людей, простых людей, не будет Церкви, указывающей, как им вести себя, они впадут в животную безнравственность и эгоизм.

— Такой альтернативы я не вижу. Спириты, истинные спириты, это мужчины и женщины высочайшего нравственного калибра. Я мог бы назвать тебе нескольких. И их мораль выше, потому что они ближе к постижению духовной истины. Если простой человек, на которого ты ссылаешься, увидел бы из первых рук доказательство существования мира духов, если бы он осознал, насколько мы все время близки с этим миром, животность и эгоизм утратили бы свою привлекательность. Сделай истину явной, а мораль сама о себе позаботится.

— Артур, я за тобой не успеваю.

А точнее, Джин ощущает приближение головной боли; более того — мигрени, опасается она.

— Конечно, конечно. У нас вся наша жизнь

впереди. А затем и вся вечность вместе.

Джин улыбается. Она прикидывает, что будет делать Туи во всей их с Артуром вечности. Впрочем, проблема так или иначе, но останется, независимо от того, окажется ли, что истину утверждает ее Церковь или же плебейского происхождения медиумы, которые производят такое сильное впечатление на ее будущего мужа.

Самому Артуру головная боль отнюдь не угрожает. Жизнь снова пришла в движение: сначала дело Идалджи, а теперь внезапный интерес Джин к скрытым вещам, имеющим истинное значение. Скоро к нему целиком вернется прежний вкус к жизни. На крыльце он обнимает свою ждущую девушку и — впервые после смерти Туи — ловит себя на реакции, положенной жениху.

Энсон

Артур попросил извозчика высадить его возле старой арестантской, рядом с отелем «Белый лев». Гостиница находилась прямо напротив ворот Грин-Холла. Инстинктивная тактика подсказывала явиться туда пешком. С баульчиком в руке он пошел вверх по полого поднимающейся подъездной дороге, ответвляющейся от Личфилд-роуд, стараясь, чтобы его подметки не скрипели по гравию. Когда впереди вырисовался дом, косо освещенный слабыми лучами вечернего солнца, он остановился в тени дерева. Почему бы методам доктора Джозефа Белла не убедить архитектуру поделиться секретами по примеру физиологии? Итак: 1820-х годов, предположил он; белая штукатурка; псевдогреческий фасад; внушительный портик с двумя парами ионических неканнелированных колонн; по три окна с обеих сторон. Три этажа — однако его взыскующему взгляду почудилось в третьем этаже что-то подозрительное. Да, он побился бы с Вудом об заклад, дав сорок очков форы, что за рядом из восьми окон нет ни единой мансарды. Просто архитектурный трюк, чтобы дом выглядел более высоким и внушитель-

ным. Справа за домом Дойль различил розарий, теннисные корты, беседку, обрамленную парой молодых привитых грабов.

Какую историю рассказывает все это? О деньгах, аристократизме, вкусе, историческом прошлом, власти. Фамильное имя прославил в восемнадцатом веке Энсон, кругосветный мореплаватель, который первым заложил основу фамильного состояния — призовые деньги за захваченный испанский галеон. Его племянник был возведен в виконты в 1806 году; возвышение до графского титула последовало в 1831 году. Если это резиденция второго сына, а его старшему брату принадлежит Шагборо, то Энсоны явно знали, как приумножать наследство предков.

В нескольких футах от окна второго этажа капитан Энсон негромко окликнул жену:

— Бланш, Великий Сыщик на подходе. Он изучает дорогу в поисках гигантской собаки. — Миссис Энсон редко слышала у мужа такой игривый тон. — Ну, когда он придет, ни в коем случае не булькай о его книжках.

— Я — булькать? — Она изобразила больше обиженности, чем испытывала.

— Его уже обулькали вдоль и поперек по всей стране. Мы будем гостеприимны, но без подли-

зывания.

Миссис Энсон была замужем достаточно давно и поняла, что дело было в нервах, а не в опасении за ее поведение.

— Я заказала бульон, запеченную мерлузу и бараньи котлеты.

— С гарниром?

— Брюссельская капуста и картофельные крокетки, что ж еще? Тебе незачем было спрашивать. Затем манное суфле и анчоусовая икра.

— Превосходно.

— На завтрак ты предпочтешь поджаренный бекон с зельцем или селедку на рашпере и говяжий рулет?

— В такую погоду, по-моему, лучше второе. И помни, Бланш: за обедом ни слова о деле.

— Меня это не затруднит, Джордж.

Как бы то ни было, Дойль зарекомендовал себя пунктуальным гостем, готовым подняться в отведенную ему комнату и равно готовым спуститься из нее вовремя, чтобы осмотреть сады до наступления темноты. Как один владелец имения другому он посочувствовал частоте, с какой река Соу затопляла заливные луга, а затем осведомился о странном насыпном холмике, полузаслоненном беседкой. Энсон объяснил, что это старый ледник,

теперь вытесненный холодильниками, но он подумывает, не приспособить ли его под винный погреб. Затем они прикинули, насколько зима могла повредить покрытию теннисных кортов, и дружно посетовали на краткость сезона из-за английского климата. Энсон благосклонно принял похвалы и одобрения Дойля, подразумевавшие, что Грин-Холл принадлежит ему. На самом деле он его только арендовал, но с какой стати было сообщать об этом Великому Сыщику?

— Вижу, ваши молодые грабы привиты?

— Вы все замечаете, Дойль, — ответил главный констебль с улыбкой. Это было легчайшим предвестием того, что ожидало впереди.

— Я сажаю деревья уже много лет.

За обедом Энсоны сели у концов стола друг против друга, а Дойля посадили напротив центрального окна с видом на зимующий розарий. Он был надлежаще внимателен к вопросам миссис Энсон; иногда, подумалось ей, даже чересчур.

— Вы хорошо знаете Стаффордшир, сэр Артур?

— Не так хорошо, как следовало бы. Через моего отца я с ним связан. Первоначально Дойли были младшей ветвью стаффордширских Дойлей, к которой, вам, возможно, известно, принадлежал сэр Фрэнсис Гастингс Дойль и другие достойней-

шие люди. Он принял участие во вторжении в Ирландию, и ему даровали поместье в графстве Уэксфорд.

Миссис Энсон ободряюще улыбнулась. Впрочем, ободрения не требовалось.

— А со стороны вашей матушки?

— О, тут много интереснейшего. Моя мать — большой знаток старины и с помощью сэра Артура Викарса — герольдмейстера Олстера и родственника — сумела проследить свой род на пять столетий. Она гордится — мы гордимся, — что на ветвях нашего фамильного древа разместилось немало великих мира сего. Дядей моей бабушки был сэр Денис Пэк, который командовал Второй бригадой при Ватерлоо.

— О! — Миссис Энсон твердо верила в классовую принадлежность и в сопряженные с ней обязательства и долг. Однако джентльменом джентльмена делали природное достоинство, а не документы.

— Впрочем, подлинный романтизм нашего рода восходит к браку в середине семнадцатого века между преподобным Ричардом Пэком и Мэри Перси, наследницей ирландской ветви нортумберлендских Перси. Благодаря этому мы через три разных брака связаны с Плантагене-

тами. Поэтому в нашей крови есть некие особые элементы, благородные по происхождению и, надо надеяться, благородные по устремлениям.

— Надо надеяться, — повторила миссис Энсон. Сама она была дочерью мистера Гильберта Миллера из Брентри (графство Глостершир), и ее дальние предки не вызывали у нее никакого любопытства. Ей казалось, стоит заплатить специалисту за воссоздание вашего фамильного древа, и вы обязательно окажетесь в родстве с какой-либо знатнейшей фамилией. Генеалогические сыщики вряд ли присылают счета, приложенные к подтверждению, что по отцу вы происходите от свинопасов, а по матери — от уличных торговцев.

— Однако, — продолжал сэр Артур, — к тому времени, когда Катерина Пэк, племянница сэра Дениса, овдовела в Эдинбурге, семейное состояние пришло в полный упадок. Она даже была вынуждена поселить в доме платного гостя. Вот так мой отец — платный гость — познакомился с моей матерью.

— Очаровательно, — сказала миссис Энсон. — Как очаровательно. И теперь вы успешно восстанавливаете семейное состояние.

— Когда я был маленьким, меня удручала бед-

ность, в которую оказалась ввергнутой моя мать. Я чувствовал, что это противно самой ее натуре. Это воспоминание всегда содействовало моему устремлению вперед.

— Очаровательно, — повторила миссис Энсон, на этот раз внутренне менее искренне. Благородная кровь, тяжелые времена, восстановленные семейные состояния. Эти темы вполне устраивали ее во взятом из библиотеки романе, но, сталкиваясь с их версиями в реальной жизни, она находила их неправдоподобными и слащаво-сентиментальными. Она прикинула, надолго ли новое возвышение семьи продолжится на этот раз. Что говорят про быстрые деньги? Одно поколение, чтобы нажить их, одно, чтобы купаться в них, и одно, чтобы их потерять.

Однако сэр Артур, пусть несколько и тщеславился своими предками, был усердным сотрапезником. Он продемонстрировал внушительный аппетит, хотя ни разу ничего не сказал о предлагаемых ему блюдах. Миссис Энсон не могла решить, то ли он считал вульгарным похваливать еду, то ли вкусовые сосочки у него парализованы. Кроме того, за столом не упоминались дело Идалджи, состояние уголовного правосудия, администрация сэра Генри Кэмпбелла-Баннермена, а также

подвиги Шерлока Холмса. Они сумели выдержать выбранный курс, будто три гребца без рулевого. Сэр Артур энергично загребал с одного борта, а Энсоны на другом борту погружали весла достаточно умело, чтобы лодка двигалась по прямой.

Анчоусовая икра была съедена, и Бланш Энсон уловила мужское нетерпение дальше по столу. Их настойчиво влекли уютно занавешенный кабинет, помешиваемое в камине пламя, раскуренная сигара, стаканчик коньяка и возможность самым цивилизованным образом повырывать друг из друга порядочные куски. За ароматами стола ей чудилось в воздухе что-то первобытное и звериное. Она встала и пожелала доброй ночи готовым к бою противникам.

Джентльмены проследовали в кабинет капитана Энсона, где огонь пылал вовсю. Дойль воспринял лоск свежего угля в медном ведерке, отполированные корешки переплетенных журналов, сверкающую подставку с тремя графинами, лакированное брюхо раздутой рыбы в витрине. Все сияло и переливалось, даже пара ветвистых рогов какого-то заграничного животного — скандинавского лося, предположил он, — не была обделена усердием горничной.

Он извлек сигару из пододвинутого ящичка и

покатал ее между пальцами. Энсон передал ему перочинный нож и сигарные спички.

— Я против использования новинки для обрезания сигар, — объявил он. — И навсегда останусь верен хорошо наточенному ножичку.

Дойль кивнул, наклонился для этой операции, а затем щелчком отправил отрезанный кончик в камин.

— Как я слышал, научный прогресс осчастливил нас изобретением электрической зажигалки для сигар?

— Если так, то до Хайнхеда она еще не добралась, — ответил Дойль, уклоняясь от роли столицы, похлопывающей провинцию по плечу. Однако он распознал потребность гостеприимного хозяина утвердить свое первенство в собственном кабинете. Если так, то он ему поможет. — Лось, — предположил он, — возможно, из южной Канады?

— Из Швеции, — ответил главный констебль почти быстровато. — Ваш сыщик такой ошибки не допустил бы.

А, так мы начнем с этого, да? Дойль следил, как Энсон раскуривает свою сигару. Вспышка спички на миг заставила блеснуть стаффордский узел в булавке его галстука.

— Бланш читает ваши книги, — сказал главный констебль, слегка кивнув, словно это исчерпывало вопрос. — Кроме того, она очень любит романы миссис Брэддон.

Дойль ощутил внезапную боль — литературный эквивалент подагры. И тут же последовал новый спазм, когда Энсон продолжил:

— Сам я почитываю Стэнли Уэймена.

— Превосходно, — ответил Дойль, — превосходно. — Под этим он подразумевал: превосходно, что вы предпочитаете его, в той мере, в какой это касается меня.

— Видите ли, Дойль… Я уверен, вы не против, если я буду говорить прямо? Возможно, я не такой уж знаток книг, но в качестве главного констебля я неизбежно оцениваю ситуации с более профессиональной точки зрения, чем, полагаю, большинство ваших читателей. То, что полицейские, которых вы вводите в свои рассказы, не подходят для выполнения своих обязанностей, необходимо для логики ваших выдумок, мне понятно. Как мог бы ваш ученый сыщик сиять, если бы его не окружали олухи?

Вызов, не заслуживающий возражений.

— «Олухи» едва ли подходящее определение для Лестрейда, и Грегсона, и Гопкинса, и… о, это

вовсе…

— Да, я полностью понимаю ваши основания, Дойль. Но в реальном мире…

Тут Дойль более или менее перестал слушать. В любом случае его мысли зацепились за слова «в реальном мире». До чего же легко все понимают, что реально, а что нет. Мир, в котором почти незрячий молодой солиситор был приговорен к тюремному заключению в Портленде… мир, в котором Холмс распутывал очередную загадку, недоступную умам Лестрейда и его коллег… или потусторонний мир, мир за закрытой дверью, сквозь которую так легко проскользнула Туи. Некоторые люди верят только в один из этих миров, некоторые — в два, горстка — во все три. Почему люди считают, что прогресс слагается из того, чтобы верить меньше, а не больше, не в том, чтобы распахнуть себя для большего во вселенной?

— …вот почему, мой милый, я без прямого предписания министерства внутренних дел не стану снабжать моих инспекторов шприцами с кокаином, а моих сержантов и констеблей — скрипками.

Дойль наклоняет голову, словно признавая чувствительный удар. Но с него было довольно

актерства и гостеприличности.

— Ну так к делу. Вы прочли мой анализ.

— Я прочел ваш… рассказец, — ответил Энсон. — Прискорбное дело, ничего не скажешь. Цепь ошибок. Все можно было бы задушить в зародыше заметно раньше.

Откровенность Энсона удивила Дойля.

— Рад слышать это от вас. Какие ошибки вы имеете в виду?

— Да этой семьи. Вот где все пошло наперекосяк. Семьи жены. Что им взбрело в головы? Дойль, право же! Ваша племянница настаивает на том, чтобы выйти за парса, ее не удается отговорить, и что же вы делаете? Вы обеспечиваете этого субъекта приходом… ЗДЕСЬ. В Грейт-Уайрли. С тем же успехом вы могли бы назначить ирландского бунтаря главным констеблем Стаффордшира и умыть руки.

— Я склонен согласиться с вами, — ответил Дойль. — Без сомнения, его покровитель желал продемонстрировать вселенскость Англиканской Церкви. Сам священник, по моему суждению, и приятный, и глубоко верующий человек, который заботится о приходе во всю меру своих сил. Однако появление цветного священника в таком грубо невежественном приходе обяза-

тельно должно было привести к возникновению прискорбной ситуации. Бесспорно, этот эксперимент не следует повторять.

Энсон поглядел на своего гостя с неожиданным уважением — несмотря даже на выпад «грубо невежественный». Общей почвы оказалось больше, чем он ожидал. Ему следовало бы предвидеть, что сэр Артур вряд ли окажется отпетым радикалом.

— А затем подарить приходу трех детей-полукровок.

— Джорджа, Ораса и Мод.

— Трех детей-полукровок, — повторил Энсон.

— Джорджа, Ораса и Мод, — повторил Дойль.

— Джорджа, Ораса и Мод И-дал-джи.

— Вы прочли мой анализ?

— Я прочел ваш… анализ. — На этот раз Энсон решает уступить это слово. — И меня, сэр Артур, восхищают и ваше упорство, и ваша страстность. Обещаю сохранить ваши дилетантские рассуждения между нами. Разглашение их не принесло бы пользы вашей репутации.

— Мне кажется, вам следует предоставить мне самому судить об этом.

— Как угодно, как угодно. Бланш на днях прочла мне интервью, которое вы дали «Стрэнду»

несколько лет назад о ваших методах. Надеюсь, ваши слова не подверглись грубым искажениям?

— Что-то не припомню. Но у меня нет привычки прочитывать все подряд для проверки.

— Вы описали, как при сочинении ваших рассказов вас сначала всегда занимает развязка.

— Начало с конца. Невозможно выбрать правильную дорогу, если сперва не установить, куда ты направляешься.

— Вот именно. И вы описали в своем… анализе, как при первой встрече с молодым Идалджи — в вестибюле отеля, если не ошибаюсь, — вы некоторое время понаблюдали за ним и пришли к выводу о его невиновности, еще не познакомившись с ним.

— Именно. По причинам четко изложенным.

— По причинам четко ощущенным, предпочту я сказать. Все, что вы написали, порождено этим ощущением. Едва вы поверили в невиновность этого молодчика, как все встало на свои места. Мой же вывод опирался не на интуитивное озарение в вестибюле отеля, а на совокупность полицейских наблюдений и докладов в течение многих лет.

— Вы сделали мальчика мишенью с самого

начала. Вы в письме угрожали ему тюрьмой.

— Я пытался предупредить и мальчишку, и его отца о последствиях дальнейшего следования преступной стезе, которую он, очевидно, избрал. Мне кажется, я не ошибаюсь, считая, что работа полиции имеет цель не просто карательную, но и профилактическую.

Дойль кивнул на фразу, которая, подозревал он, была отшлифована специально для него.

— Вы забыли, что до встречи с Джорджем я прочел его превосходные статьи в «Арбитре».

— Мне еще не приходилось встречать гостя его величества, который не имел бы убедительного объяснения, почему он ни в чем не виноват.

— С вашей точки зрения, Джордж Идалджи рассылал письма, изобличающие его самого?

— Среди множества других писем. Да.

— С вашей точки зрения, он был вожаком шайки, которая располосовывала лошадей?

— Кто знает? Шайка — газетное словечко. Я не сомневаюсь, что были замешаны и другие. Я также не сомневаюсь, что солиситор был самым ловким из них.

— С вашей точки зрения, его отец, служитель Англиканской Церкви, решился на клятвопреступление, чтобы обеспечить сыну алиби?

— Дойль, если разрешите, личный вопрос. У вас есть сын?

— Да. Ему четырнадцать.

— И если бы он попал в беду, вы бы ему помогли?

— Да. Но соверши он преступление, я бы не стал ложно присягать.

— Но за этим исключением вы помогли бы ему, защитили бы его.

— Да.

— Ну так при вашем воображении вам нетрудно представить себе кого-то, кто пошел бы и на большее.

— Я не способен представить себе, чтобы служитель Англиканской Церкви положил руку на Библию и сознательно совершил клятвопреступление.

— В таком случае вообразите другое. Вообразите отца-парса, который ставит верность своим детям-парсам выше верности стране, которая не его, пусть даже она подарила ему приют и поддержку. Он хочет спасти шкуру своего сынка, Дойль. Шкуру!

— И с вашей точки зрения, мать и сестра тоже пошли на клятвопреступление?

— Дойль, вы все время повторяете «с вашей

точки зрения», то есть с моей. Однако это точка зрения не только моя, а и стаффордширской полиции, обвинителя, надлежащим образом присягнувших английских присяжных, а также судей квартальных сессий. Я присутствовал на процессе каждый день и могу заверить вас в одном. Услышать вам будет тяжело, но уклониться вы не можете. Присяжные не поверили показаниям семьи Идалджи — во всяком случае, показаниям отца и дочери. Показания матери большой важности не имели. А это не простое пожатие плеч. Английские присяжные, обсуждающие за круглым столом свой вердикт, относятся к своим обязанностям со всей серьезностью. Они взвешивают показания. Они анализируют характер. Они не сидят там в ожидании знака свыше, как… участники сеанса, занятые столоверчением.

Дойль бросил на него острый взгляд. Случайная фраза или сознательная попытка выбить его из колеи? Ну, для этого потребуется что-то посерьезнее.

— Мы, Энсон, говорим не о подручном мясника, а об образованном англичанине, солиситоре, которому под тридцать, уже известном как автор книги о железнодорожных законах.

— Тем непростительнее его нарушение зако-

нов. Если вы воображаете, будто уголовные суды занимаются только преступниками низших классов, то вы еще наивнее, чем я думал. Даже авторы иногда занимают скамью подсудимых, как вам должно быть известно. А приговор, без сомнения, отражает серьезность поступка, которым тот, кто поклялся поддерживать и толковать закон, так возмутительно его нарушил.

— Семь лет тюрьмы. Даже Уайльд получил только два.

— Вот почему приговоры выносят суды, а не вы или я. Идалджи я вряд ли дал бы меньше, но вот Уайльду я, конечно, дал бы больше. Он был кругом виноват, включая клятвопреступление.

— Я однажды обедал с ним, — сказал Дойль. Антагонизм теперь сгущался, как туман над рекой Соу, и все его инстинкты требовали чуть-чуть попятиться. — В восемьдесят девятом, по-моему. Золотой вечер для меня. Я ожидал встретить эгоиста, приверженного монологам, но нашел в нем джентльмена с безупречными манерами. Нас было четверо, и хотя он далеко превосходил остальных трех, он ни разу не дал этого почувствовать. Любитель монологов, как бы ни был он умен, не может быть истинным джентльменом. С Уайльдом же это был честный обмен, и он об-

ладал искусством интересоваться всем, что мы находили сказать. Он даже читал моего «Михея Кларка».

Помнится, мы заговорили о том, как удача друзей способна иногда вызывать у нас неприятное неприятие. И Уайльд рассказал нам историю про Дьявола в Ливийской пустыне. Вы ее знаете? Нет? Ну так Дьявол занимался обычным делом, обходя свои владения, и вдруг наткнулся на бесенят, мучивших святого отшельника. Они использовали соблазны и искушения обычного порядка, которым святой человек противостоял без всяких затруднений. «Это не тот подход, — сказал их Владыка. — Я покажу вам. Смотрите внимательно». Тут Дьявол приблизился к святому отшельнику сзади и медовым голосом шепнул ему на ухо: «Твой брат только что получил сан епископа Александрии». И тотчас лицо отшельника исказила бешеная зависть. «Вот, — сказал Дьявол, — как это делается».

Энсон присоединился к смеху Дойля, хотя далеко не от всего сердца. Дешевый цинизм столичного содомита был ему не по вкусу.

— Как бы то ни было, — сказал он, — самого Уайльда Дьявол, бесспорно, нашел легкой добычей.

— Должен добавить, — продолжал Дойль, — что ни разу в беседе с Уайльдом я не заметил ни малейшего намека на вульгарную грубость мысли, и тогда я не мог ассоциировать его ни с чем подобным.

— Иными словами, профессиональный джентльмен.

Дойль проигнорировал эту шпильку.

— Я встретился с ним снова несколько лет спустя на одной из лондонских улиц, и мне показалось, что он совсем помешался. Он спросил, смотрел ли я какую-то его пьесу. Я ответил, что, к сожалению, нет. «О, вы обязательно должны ее посмотреть, — сказал он мне с серьезнейшим выражением. — Она чудесна! Гениальна!» От его былых инстинктов джентльмена не осталось и следа. Я подумал тогда и думаю сейчас, что чудовищный сдвиг, сгубивший его, был патологическим, и заняться им следовало больнице, а не полицейскому суду.

— Ваш либерализм опустошил бы тюрьмы, — заметил Энсон сухо.

— Вы неверно поняли меня, сэр. Я дважды участвовал в гнусности выборов, но я не принадлежу ни к какой партии. Я горжусь тем, что я неофициальный англичанин.

Это словосочетание, которое Энсон счел самодовольным, повисло между ними, колеблясь, как клуб сигарного дыма. Он решил, что настало время атаковать.

— Этот молодой человек, на чью защиту вы так благородно встали, сэр Артур, он, должен вас предупредить, не совсем таков, каким вы его считаете. Было много обстоятельств, о которых на суде не упоминалось.

— Без сомнения, по той веской причине, что они по правилам не могли считаться уликами. Или носили такой сомнительный характер, что защита легко их опровергла бы.

— Между нами говоря, Дойль, ходили слухи…

— Слухи ходят всегда.

— Слухи об игорных долгах, слухи о злоупотреблениях деньгами, доверенными клиентами. Вам стоит спросить своего юного друга, не было ли у него в течение месяцев, предшествовавших аресту, каких-либо серьезных неприятностей.

— Ничего подобного я делать не намерен.

Сэр Джордж неторопливо поднялся, подошел к бюро, вынул ключ из ящичка, отпер другой и извлек папку.

— Я показываю его вам строго конфиденциально. Адресовано оно сэру Бенджамину Стоуну. И,

несомненно, было одним из многих.

Письмо было датировано 29 декабря 1902 года. Вверху слева были напечатаны профессиональный и телеграфный адреса Джорджа Идалджи; вверху справа — «Грейт-Уайрли, Уолсолл». Не требовалось заключений шарлатана Геррина, что почерк был почерком Джорджа.

> Дорогой сэр, из обеспеченного положения я низведен до абсолютной нищеты, главным образом из-за того, что вынужден был уплатить большую сумму денег (почти 220 ф.) за друга, которому был гарантом. В надежде исправить свое положение я сделал заем у трех ростовщиков, но их чрезмерные проценты только ухудшили положение дел, и теперь двое из них **подали прошение об объявлении меня несостоятельным должником,** но они готовы взять его назад, если я незамедлительно уплачу 113 ф. У меня нет обеспеченных друзей, к которым я мог бы обратиться, и, поскольку объявление меня несостоятельным должником разорит меня и помешает мне на долгое время заниматься практикой, что лишит

меня всех моих клиентов, я в качестве последней надежды взываю к нескольким незнакомым людям.

Мои друзья могут одолжить мне только 30 ф., у меня самого есть примерно 21 ф., и я буду крайне благодарен за любую помощь, как бы мала она ни была, так как и она поможет мне выполнить мое тяжкое обязательство.

Приношу извинение, что побеспокоил вас, и уповаю, что вы окажете мне посильную поддержку.

Остаюсь с уважением ваш

Д. Э. Идалджи

Энсон следил за Дойлем, пока тот читал письмо. Нет нужды указывать, что оно было написано за пять недель до первого располосования. Мяч теперь был на его половине. Дойль вернулся к началу письма и перечел некоторые строки, а затем сказал:

— Вы, несомненно, провели расследование?

— Разумеется, нет. В обязанности полиции это не входит. Клянчанье в общественных местах — это нарушение закона, но клянчанье среди дипломированных профессионалов нас не ка-

сается.

— Я не замечаю тут никаких упоминаний об игорных долгах или злоупотреблениях деньгами клиентов.

— Упоминания о них вряд ли тронули бы сердце сэра Бенджамина. Попробуйте почитать между строк.

— Не собираюсь. Я вижу тут отчаянную мольбу благородного молодого человека, оказавшегося в тяжелом положении из-за великодушной помощи другу. Парсы известны своей милосердностью.

— А, так он внезапно становится парсом!

— Не понимаю.

— Вы не можете представлять его по своему усмотрению то юристом-англичанином, то парсом. Разумно ли со стороны благородного молодого человека гарантировать подобную сумму и прибегнуть к помощи трех разных ростовщиков? Сколько знакомых вам солиситоров поступали так? Почитайте между строк, Дойль, спросите своего друга.

— Спрашивать его об этом я не собираюсь. И очевидно, что несостоятельным должником его не объявили.

— Бесспорно. Подозреваю, его выручила мать.

— Или же в Бирмингеме нашлись люди, доверявшие ему, как он доверял другу, гарантом которого стал.

Энсон пришел к выводу, что Дойль столь же упрям, как и наивен.

— Я восхищаюсь вашим… романтизмом, сэр Артур. Он делает вам честь. Но прошу простить меня: я нахожу его нереалистичным. Как и затеянную вами кампанию. Вашего молодчика освободили из тюрьмы. Он на свободе. Какой смысл в стараниях всколыхнуть общественное мнение? Вы хотите, чтобы министерство внутренних дел вновь проверило этот случай? Министерство внутренних дел проверяло его несчетное число раз. Вы требуете создания комиссии? Но почему вы убеждены, что она принесет вам желаемое?

— Мы получим комиссию. Мы получим полное оправдание. Мы получим компенсацию. А кроме того, мы установим личность настоящего преступника, вместо которого Джордж Идалджи томился в тюрьме.

— О, еще и это? — Энсон все больше по-настоящему раздражался. Этот вечер так легко мог бы оказаться вполне приятным: два светских человека, оба приближающихся к пятидесяти годам, один — сын графа, другой — рыцарь королевства,

оба по воле судьбы заместители лорда-лейтенанта в своем графстве. Общего между ними было заметно больше того, что их разделяло… И вот между ними возникает озлобленная враждебность.

— Дойль, с вашего разрешения мне хотелось бы указать на два момента. Вы явно вообразили, будто велись какие-то систематические преследования, уходящие в прошлое на годы и годы, — письма, мистификации, располосовывания, добавочные угрозы. Далее, вы полагаете, будто полиция винит во всем этом вашего друга. Тогда как сами вините в этом преступников, известных или неизвестных, но одних и тех же. Где логика и в первом, и во втором? Мы обвинили Идалджи только в двух преступлениях, причем второе обвинение в любом случае в суде предъявлено не было. Я полагаю, что ко многому он никакого отношения не имел. Разгул преступлений вроде этого редко бывает делом рук кого-то одного. Он мог быть вожаком или всего лишь подражателем. Он мог столкнуться с действием какого-то анонимного письма и решить испробовать это самому. Мог столкнуться с результатами мистификации и решить попробовать себя в роли мистификатора. Услышать про шайку, по-

трошащую животных, и решить присоединиться к ней.

Во-вторых, я хотел бы указать на следующее. В свое время я видел, как людей, скорее всего виновных, оправдывали, а людей, скорее всего невиновных, признавали виновными. Я вижу, вы удивлены? Не стоит. Я мог бы назвать примеры несправедливых обвинений и несправедливых приговоров. Но в подобных случаях жертва редко бывает настолько чистой, насколько хотелось бы ее защитникам. Например, разрешите мне высказать предположение. Вы впервые встретились с Джорджем Идалджи в вестибюле отеля. Насколько я понял, к назначенному часу вы опоздали. И увидели его в позе, которая внушила вам, что он невиновен. Разрешите предположить следующее. Джордж Идалджи пришел туда раньше вас. Он ждал вас. Он понимал, что вы понаблюдаете за ним. И принял соответствующую позу.

Дойль ничего на это не ответил, только выставил подбородок и пыхнул сигарой. Энсон окончательно убедился в дьявольском упрямстве этого малого, этого шотландца, этого ирландца или кем еще он себя объявляет.

— А вы непременно хотите, чтобы он был абсолютно ни в чем не виновен, ведь так? Мой опыт

подсказывает мне, Дойль, абсолютно невиновным не бывает никто. Людей могут признать невиновными, но это ведь совсем другое, чем быть абсолютно чистым. Абсолютно чистых вообще практически не бывает.

— А Иисус Христос?

О, Бога ради, подумал Энсон. А я не Понтий Пилат.

— Ну, с чисто юридической точки зрения, — сказал он мягким послеобеденным тоном, — можно было бы указать, что Наш Господь поспособствовал тому, чтобы навлечь на Себя преследования.

Теперь настала очередь Дойля почувствовать, что они уклонились от темы.

— В таком случае разрешите спросить вас вот о чем: что же, по вашему мнению, произошло на самом деле?

Энсон рассмеялся, пожалуй, слишком уж откровенно.

— Это, боюсь, вопрос из детективной литературы. То, о чем молят ваши читатели и чем вы их так обаятельно ублажаете. «Скажите нам, что же произошло на самом деле?»

— Большинство преступлений, Дойль, собственно говоря, почти все преступления, происходят без свидетелей. Взломщик выжидает

момента, когда в доме никого нет. Убийца выжидает, пока его жертва не оказывается совсем одна. Человек, распарывающий брюхо лошади, ждет ночного мрака. А если свидетель и есть, то это чаще всего сообщник, другой преступник. Вы арестовываете преступника, он лжет. Всегда. Вы разлучаете двух сообщников, они сочиняют разную ложь. Вы добиваетесь, чтобы один из них стал свидетелем обвинения, он выкладывает новый вариант лжи. Можно привлечь к делу весь состав стаффордширской полиции, и все равно мы так и не узнаем, «что же произошло на самом деле», как вы выразились. И это не философские рассуждения, я говорю о практике. То, что мы знаем, что мы в конце концов узнаем, достаточно для того, чтобы добиться осуждения. Простите, что я прочел вам лекцию о реальном мире.

Дойль прикинул, прекратят ли его когда-нибудь карать за то, что он сочинил Шерлока Холмса. Поправки, советы, наставления, похлопывание по плечу — когда же это кончится? Тем не менее он должен наступать дальше. Он должен сдерживаться любым провокациям вопреки.

— Но оставим все это в стороне, Энсон, и признав, как, боюсь, нам придется признать, что к концу вечера мы не сдвинулись с места ни на

крупицу, ни на йоту, я спрашиваю вас вот о чем: вы верите, что респектабельный молодой солиситор, никогда прежде не проявлявший никаких признаков склонности к насилию, как-то ночью внезапно уходит из дома и нападает на шахтерского пони самым жестоким и яростным образом. Я спрашиваю вас просто: почему?

Энсон мысленно застонал. Мотив. Криминальное мышление. Вот опять мы заводимся. Он встал и наполнил их стаканчики.

— Из нас, Дойль, вы тот, чье воображение оплачивается.

— Тем не менее я считаю его невиновным. И я не способен совершить прыжок, который совершили вы. Сейчас вы не на скамье свидетелей. Мы, два английских джентльмена, сидим за превосходным коньяком и, если мне будет дозволено сказать, с еще более превосходными сигарами в прекрасном доме в середине этого расчудесного графства. Все, что вы скажете, останется в этих четырех стенах, даю вам слово. Я всего лишь спрашиваю: как вы считаете — почему?

— Ну хорошо. Начнем с известных фактов. Дело Элизабет Фостер, служанки. С него, как вы считаете, все и началось. Естественно, мы занялись этим делом, но для обвинения просто не было

достаточно улик.

Дойль растерянно уставился на главного констебля.

— Не понимаю. Было же расследование, и она призналась.

— Частное расследование, предпринятое священником. И адвокаты запугали девушку так, что она призналась. Не лучший способ заслужить любовь своих прихожан.

— Значит, полиция не поддержала семью даже тогда?

— Дойль, мы предъявляем обвинения, когда есть улики. Как в тот раз, когда сам солиситор стал жертвой нападения. А! Вижу, про это он вам не рассказал.

— Он не ищет жалости.

— Вот кстати. — Энсон достал лист из своей папки. — Ноябрь тысяча девятисотого года. Подвергся нападению двух уайрлийских парней. Пропихнули его через живую изгородь, и один к тому же попортил его зонт. Оба признали себя виновными. Оштрафованы с добавлением судебных издержек полицейским судом в Кэнноке. Вы не знали, что он уже побывал там раньше?

— Разрешите взглянуть?

— Боюсь, это невозможно. Полицейские про-

токолы.

— Ну, хотя бы назовите фамилии виновников. — Когда Энсон заколебался, он добавил: — Я всегда могу воспользоваться моими ищейками.

Энсон, к изумлению Дойля, шутливо гавкнул.

— Так вы тоже поклонник ищеек?

— Ну хорошо, Уокер и Глэдуин. — Он заметил, что Дойлю эти фамилии ничего не сказали. — И мы можем предположить, что это был не единственный случай. Вероятно, на него нападали и до, и после. Возможно, полегче. Без сомнения, оскорбляли словесно. Стаффордширская молодежь святостью не отличается.

— Возможно, вас удивит, что Джордж Идалджи категорически отрицает, что причиной его преследований могли быть расовые предрассудки.

— Тем лучше. Значит, мы можем спокойно это отбросить.

— Но, разумеется, — добавил Дойль, — я с его анализом не согласен.

— Ну, это ваше право, — невозмутимо ответил Энсон.

— А собственно, при чем тут это нападение?

— При том, Дойль, что нельзя понять конца, если не знать начала. — Энсон теперь наслаждался: его удары один за другим попадали в цель. — У

Джорджа Идалджи были достаточные основания ненавидеть Грейт-Уайрли и всю округу. Или, во всяком случае, он так считал.

— А потому мстил, убивая скотину? Где связь?

— Вижу, вы житель больших городов, Дойль. Корова, лошадь, овца, свинья — это не просто скотина. Это опора жизни. Назовите это… экономической местью.

— Можете вы продемонстрировать связь между напавшими на Джорджа в Лэндивуде и каким-либо из животных, впоследствии располосованных?

— Нет, не могу. Но не следует ждать логики от преступников.

— Даже умных и образованных?

— По моему опыту, от них даже еще меньше. В любом случае перед нами молодой человек, баловень родителей, все еще живущий с ними, когда его младший брат уже улетел из гнезда. Молодой человек, имеющий зуб на всю округу, считая ее ниже себя. Он оказывается в катастрофическом финансовом положении. Ростовщики угрожают ему судом, его ждет крах карьеры. Все, к чему он стремился, вот-вот исчезнет из его жизни…

— И поэтому?

— Поэтому… быть может, он помешался, как

ваш друг Оскар Уайльд.

— По моему мнению, Уайльда развратил его успех. Едва ли можно приравнять ежевечерние овации в Вест-Энде с критическим одобрением брошюры о железнодорожных законах.

— Вы сказали, что случай с Уайльдом имел патологическую подоплеку. А почему не случай с Идалджи? Я считаю, что солиситор сходил с ума от тревоги не один месяц, напряжение должно было быть огромным, даже непереносимым. Вы сами назвали его клянчащее письмо «отчаянным». И могли последовать какие-то патологические изменения, какая-то наклонность в крови ко злу могла неудержимо вырваться наружу.

— Половина его крови — шотландская.

— Бесспорно.

— А вторая половина — кровь парсов. Наиболее образованной и коммерчески преуспевающей из всех индийских сект.

— В этом я не сомневаюсь. Их недаром называют «бомбейскими евреями». И точно так же я не сомневаюсь, что именно смешение кровей отчасти стало причиной произошедшего.

— Моя собственная кровь — смесь шотландской и ирландской, — сказал Дойль. — Разве она понуждает меня резать скот?

— Вы предвосхищаете мои доводы. Какой англичанин, какой шотландец, какой шотландец наполовину поднимет нож на лошадь, корову, овцу?

— Вы забываете шахтера Фаррингтона, который проделал именно это, пока Джордж находился в тюрьме. Но я спрошу вас в ответ: какой индиец поступил бы так? Разве они не почитают скот как богов?

— Бесспорно. Но если кровь смешана, тут-то и происходит беда. Возникает непримиримое расхождение. Почему человеческое общество повсюду не терпит полукровок? Да потому что их души разрываются между порывами к цивилизации и нездоровой тягой к варварству.

— И в варварстве вы считаете ответственной кровь шотландцев или парсов?

— Вы шутите, Дойль. Вы сами верите в кровь. Вы верите в расу. За обедом вы рассказывали, как ваша мать с гордостью проследила свой род на пять веков назад. Простите, если я неточно вас процитирую, но, помнится, вы сказали, что на ветвях вашего фамильного древа разместилось немало великих мира сего.

— Нет, вы точны. Вы хотите сказать, что Джордж Идалджи располосовывал брюхо лошадям из-за

того, что его предки пять столетий назад проделывали это в Персии или где-то еще?

— Я понятия не имею, играют ли тут роль какие-то ритуалы или просто варварство. Вполне возможно, что и сам Идалджи не знал, что подстегивало его делать то, что он делал. Потребность из глубины веков, высвобожденная этим внезапным прискорбным стечением обстоятельств.

— Вы искренне верите, что все происходило именно так?

— Нечто в таком роде, да.

— Ну а Орас?

— Орас?

— Орас Идалджи. Рожденный с такой же смешанной кровью. В настоящий момент уважаемый служащий правительства его величества в налоговом управлении. Вы не предполагаете, что Орас входил в пресловутую шайку?

— Нет.

— Но почему? У него те же рекомендации.

— И опять вы шутите. Орас Идалджи живет в Манчестере, начать хотя бы с этого. И ведь я всего лишь указал, что смешанная кровь создает склонность, подверженность при определенных исключительных обстоятельствах возвращаться к варварству. Разумеется, многие полукровки

ведут вполне респектабельную жизнь.

— Если что-то не провоцирует их.

— Как, например, полная луна может спровоцировать безумие у некоторых цыган и ирландцев.

— На меня она никогда и никак не действовала.

— На ирландцев низших сословий, мой милый Дойль. Ничего личного.

— Так в чем разница между Джорджем и Орасом? Почему, согласно вашей гипотезе, один вернулся к варварству, а другой нет? Или пока нет?

— У вас есть брат, Дойль?

— О да. Моложе меня. Иннес. Он офицер.

— Почему он не пишет детективные рассказы?

— Сегодня вечером гипотезы строю не я.

— Потому что обстоятельства, даже когда речь идет о братьях, разнятся.

— И все-таки почему не Орас?

— Все улики были у вас перед глазами, Дойль. Все факты были представлены в суде самой его семьей. Меня удивляет, как вы могли их проглядеть.

Как жаль, подумал Дойль, что он не снял номер в отеле «Белый лев» по ту сторону дороги. Возможно, до конца вечера ему потребуется мебель,

чтобы ее пинать.

— Дела, подобные этому, ставящие в тупик посторонних, вызывающие отвращение, по моему опыту, чаще всего связаны с фактами, которые в судах не обсуждаются по очевидным причинам. Факты, которые обычно не выходят за пределы курительных. Однако вы, как указывают ваши рассказы о мистере Оскаре Уайльде, человек, знающий свет. И к тому же, помнится, получили медицинское образование. И вы, если не ошибаюсь, отправились в Южную Африку ради поддержки нашей армии в той войне.

— Все это верно. (Куда клонит этот молодчик?)

— Вашему другу мистеру Идалджи тридцать лет. Он не женат.

— Как многие молодые люди его возраста.

— И, вероятно, так и не женится.

— Особенно учитывая его тюремное заключение.

— Нет, Дойль, проблема не в этом. Всегда находятся неразборчивые женщины определенного типа, которых манит запах Портленда. Помеха тут другая. Помеха тут в том, что ваш протеже — пучеглазый полукровка. Не слишком привлекательная приманка. Во всяком случае, в Стаффордшире.

— И ваш вывод?

Однако Энсон словно бы не торопился с выводом.

— Обвиняемый, как было указано в суде квартальных сессий, не имел друзей.

— А я думал, он был членом знаменитой уайрлийской шайки…

Энсон проигнорировал этот выпад.

— Ни товарищей, ни, что важнее, приятельниц. Его ни разу не видели под руку с девушкой. Даже с горничной.

— Никак не предполагал, что вы уделяли ему столь пристальное внимание.

— И спортом он не занимается. Вы этого не заметили? Великолепные, мужественные английские игры — крикет, футбол, гольф, теннис, боксирование — для него абсолютно чужие. Стрельба из лука, — добавил главный констебль, а затем, после раздумья: — Гимнастика.

— Вы хотите, чтобы человек с близорукостью в восемь диоптрий выходил в перчатках на ринг, иначе вы отправите его в тюрьму?

— А! Его зрение — ответ на все вопросы. — Энсон чувствовал, как нарастает раздражение Дойля, и постарался распалить его еще больше. — Да, бедненький одинокий мальчик с выпученными

глазами, уткнувшийся в книги.

— И?..

— Вы, если не ошибаюсь, специализировались в офтальмологии.

— Некоторое время у меня была приемная в Девоншир-плейс.

— И много ли случаев экзофтальма[22] доводилось вам встречать?

— Не так уж много. Правду сказать, у меня вообще было немного пациентов. Они избегали меня в такой мере, что я мог посвящать время литературным занятиям. Так что их отсутствие обернулось неожиданным благом.

Энсон отметил про себя ритуальную дань самоудовлетворению, но продолжал наступать:

— И какое физическое состояние вы связываете с экзофтальмом?

— Иногда это следствие коклюша. Ну и конечно, побочное следствие удушения.

— Экзофтальм обычно связывают с нездоровой степенью сексуального желания.

— Чушь!

— Без сомнения, сэр Артур, ваши пациенты на Девоншир-плейс были все крайне отполиро-

---

[22] Примечания: 22
пучеглазие.

ванными.

— Абсурд. (Или они опустились до народных поверий и бабушкиных сказок. И это от главного констебля графства?)

— Разумеется, эта особенность не могла быть включена в улики. Но о ней постоянно сообщают те, кто имеет дело с преступниками определенного типа.

— И все-таки это чушь.

— Как угодно. Далее нам следует взвесить странность того, как размещались на ночь в доме священника.

— Абсолютное доказательство невиновности молодого человека.

— Мы согласились, что в этот вечер не изменим убежденность друг друга ни на крупицу, ни на йоту. Но тем не менее взвесим эти факты. Мальчику… сколько? десять?., когда его маленькая сестренка заболевает. С этого момента мать и дочь спят в одной комнате, а отец со старшим сыном также делят одну спальню. К счастью, у Ораса есть собственная комната.

— И вы предполагаете… вы предполагаете, что в той спальне происходили какие-то мерзости. (К чему, собственно, клонит Энсон? Он что, совсем спятил?)

— Нет, Дойль. Как раз наоборот. Я абсолютно уверен, что в этой спальне не происходило ровным счетом ничего. Ну, кроме сна и молитв. Ничего не происходило. Ничего. Ваша собака не лаяла, если вы меня извините.

— Следовательно…

— Как я уже сказал, все улики перед вами. С десяти лет мальчик спит в одной запертой комнате с отцом. В переходном возрасте и с начала возмужания — ночь за ночью, ночь за ночью. Его брат покидает дом. И что же? Спальня брата переходит к нему? Нет, этот необычайный распорядок сохраняется. Он одинокий мальчик, а затем одинокий молодой человек с гротескной внешностью. Его никогда не видят в обществе лиц противоположного пола. Однако мы можем предположить, что ему присущи нормальные потребности и позывы. И если вашему скепсису вопреки мы поверим в улику его экзофтальма, его мучат потребности и позывы более сильные, чем обычные. Мы мужчины, Дойль, и понимаем эту сторону жизни. Нам знакомы опасности подростковости и юности. Как часто выбор лежит между плотской распущенностью, которая ведет к нравственной и физической расслабленности и даже к преступному поведению, и здоровым

отвлечением от низменных потребностей с помощью активных занятий спортом. Особенности его положения, к счастью, воспрепятствовали Идалджи избрать первый путь, но он уклонился от второго. И хотя я согласен, что боксирование ему вряд ли подошло бы, оставались, например, гимнастика и физическая культура и эта новая американская наука — бодибилдинг.

— Вы предполагаете, что в ночь случившегося имелись… какие-то сексуальные цели или проявления?

— Прямо? Нет. Но вы спрашиваете, что, по-моему, произошло и почему. Давайте на минуту признаем многое из того, что, по-вашему, характеризует этого молодого человека. Он был прилежным учеником, сыном, почитающим своих родителей, молился в отцовской церкви, не курил и не пил, добросовестно занимался своей практикой. Тем не менее взамен вы должны принять вероятность другой его стороны. Как ей не быть, учитывая своеобразие его воспитания, его полнейшую изоляцию и замкнутость, особую силу таящихся в нем позывов? Днем он трудолюбивый член общества. А затем, ночью, он все чаще уступает чему-то варварскому, чему-то глубоко погребенному в его темной душе, чему-то,

чего, возможно, он и сам не понимает.

— Чистейшей воды предположения, — сказал Дойль, но Энсон заметил что-то в его голосе, какую-то тихость и меньшую уверенность.

— Вы сами предложили мне высказать предположения. Вы должны признать, что мне довелось видеть гораздо больше примеров преступного поведения и преступных намерений. И я строю свои предположения на этой основе. Вы настаивали на том, что Идалджи — образованный юрист. Что подразумевает вопрос, так ли уж часто образованные профессионалы совершают преступления? Гораздо чаще, чем вы можете поверить, был мой ответ. Однако я готов в свою очередь предложить вам этот же вопрос в несколько иной форме. Так ли часто, по-вашему, счастливо женатые мужчины, чье счастье, естественно, покоится на регулярном сексуальном удовлетворении, совершают преступления, связанные с насилием и извращениями? Поверим ли мы, что Джек Потрошитель был счастливым мужем?

Нет, не поверим. Я пойду дальше и предположу следующее: если нормальный здоровый мужчина будет постоянно лишен сексуального удовлетворения по любым причинам и при любых обстоятельствах, это может — я толь-

ко говорю «может» — начать воздействовать на самый склад его сознания. И я думаю, что с Идалджи произошло именно это. Он ощущал себя в страшной клетке за железными прутьями. Сможет ли он когда-нибудь спастись? Обретет ли он когда-либо сексуальное удовлетворение? С моей точки зрения, непрерывная сексуальная неудовлетворенность — год за годом, год за годом — способна изменить его сознание, Дойль. Он может кончить поклонением странным богам и совершением странных ритуалов.

Его знаменитый гость ничего не ответил. Собственно, лицо Дойля полиловело. Возможно, из-за коньяка. Возможно, при всей его внешней умудренности он ханжа, когда дело касается пола. Или же — и это казалось наиболее вероятным — он осознал подавляющую силу выдвинутых против него аргументов. В любом случае глаза его были устремлены на пепельницу, в которой он раздавил отнюдь не докуренный конец очень недурной сигары. Энсон выждал. Но его гость теперь перевел взгляд на огонь, не желая отвечать или не зная, что ответить. Ну, с этим как будто покончено.

— Надеюсь, вы будете спать крепко, Дойль. Но должен вас предостеречь: некоторые верят, что в

Грин-Холле водятся привидения.

— Неужели? — послышался ответ. Но Энсон заметил, что мысли Дойля блуждают где-то далеко.

— Предположительно, появляется безголовый всадник. Кроме того, колеса кареты скрипят по гравию подъездной аллеи, но никакой кареты там нет. И еще звонят таинственные колокола, хотя ни единого колокола найдено не было. Вздор, разумеется, чистейший вздор! — Энсон просто блаженствовал. — Но я сомневаюсь, чтобы вас тревожили фантомы, живые мертвецы и полтергейсты.

— Духи мертвых меня не беспокоят, — ответил Дойль бесцветным усталым голосом. — Наоборот, я был бы им рад.

— Завтрак в восемь, если вам удобно.

Когда Дойль удалился, потерпев, как считал Энсон, полное поражение, главный констебль выбросил окурки в камин и следил, как они ненадолго заполыхали. Когда он вошел в спальню, Бланш еще не спала, перечитывая миссис Брэддон. В боковой гардеробной ее муж бросил свой пиджак на вешалку и крикнул ей:

— Шерлок Холмс в тупике. Скотленд-Ярд раскрывает тайну.

— Джордж, не вопи так.

Капитан Энсон вышел в спальню в расшитом халате и с широчайшей ухмылкой на лице.

— Мне все равно, если Великий Сыщик на четвереньках прижимает ухо к скважине. Сегодня вечером я научил его кое-чему о реальном мире.

Бланш Энсон редко видела мужа в таком приподнятом настроении и решила до конца недели конфисковать ключ от подставки с тремя графинами.

Артур

Ярость Артура закипала все больше с той секунды, когда дверь Грин-Холла закрылась за ним. Первая часть его пути до Хайнхеда меньше всего годилась, чтобы утишить ее. Ветка Уолсолл — Кэннок — Раджли Лондонской северо-западной железной дороги слагалась из непрерывной цепи провокаций: от Стаффорда, где Джорджа приговорили, через Раджли, где он учился, Хеднесфорд, где он якобы угрожал прострелить голову сержанту Робинсону, через Кэннок, где эти дурни в полицейском суде признали его виновным, Уайрли и Чёрчбридж, где это все началось, а затем мимо лугов, где пасся скот, возможно, Блуитта, через Уолсолл, где, конечно же, можно найти зародыш заговора, и в Бирмингем, где Джорджа арестовали. Каждая станция на пути таила весть, одну и ту же весть, написанную Энсоном: я и мне подобные владеем тут землей, и людьми, и правосудием.

Джин никогда еще не видела Артура в таком бешенстве. Вторая половина дня, и он гремит сервизом, рассказывая о произошедшем.

— И знаешь, что он еще сказал? Он посмел за-

явить, что моей репутации не принесет пользы, если мои… мои дилетантские рассуждения станут достоянием гласности. С такой пренебрежительностью я не сталкивался с того времени, когда был бедствующим врачом в Саутси и пытался убедить богатого пациента, что он совершенно здоров, а он настаивал, что находится при смерти.

— И как ты поступил? В Саутси, имею я в виду.

— Как поступил? Повторил, что он совершенно здоров, а он ответил, что платит врачу не для того, чтобы услышать подобное. И тогда я посоветовал ему найти специалиста, который определит у него любую болезнь по выбору.

Джин смеется, представляя себе эту сцену, но к ее веселости примешивается легкое сожаление, что ее там не было и не могло быть. Впереди их ждет общее будущее, это святая истина, но внезапно она огорчается, что у нее с ним нет и капельки общего прошлого.

— Так что же ты будешь делать?

— Я совершенно точно знаю, что буду делать. Энсон вообразил, будто я подготовил свое заключение с намерением направить его в министерство внутренних дел, где оно покроется пылью и будет мимоходом упомянуто в отчете

о какой-нибудь внутренней проверке, когда мы все давно сойдем в могилу. В эту игру я играть не намерен. Я опубликую все, что мне удалось установить, настолько широко, насколько возможно. Я обдумал план в поезде. Я предложу мое заключение «Дейли телеграф», и они, надо полагать, будут счастливы его напечатать. Но на этом я не остановлюсь. Я попрошу их указать «без копирайта» так, чтобы другие газеты — и особенно мидлендские — могли его перепечатать *in extenso*[23] без гонорара.

— Великолепно. И так великодушно.

— Это между прочим. Вопрос в том, что окажется наиболее эффективным. А кроме того, я изложу теперь позицию капитана Энсона в этом деле со всей ясностью. Покажу, как он с самого начала следовал своим предрассудкам. Если ему требуются мои «дилетантские рассуждения» касательно его действий, он их получит. Они ему обеспечены и на суде, если он вздумает вчинить мне иск за клевету. И вполне возможно, он, когда я с ним разделаюсь, обнаружит, что его профессиональное будущее далеко не таково, как он воображает.

---

[23] Примечания: 23
полностью *(лат.).*

— Артур, если позволишь…

— Что, моя милая?

— Может быть, не стоит превращать это в личную вендетту против капитана Энсона.

— Не вижу почему. Значительнейшая часть первоначального зла исходила от него.

— Я о том, Артур, милый, что ты не должен допустить, чтобы капитан Энсон отвлек тебя от твоей главной цели. Ведь в таком случае капитан Энсон первым начнет потирать руки.

Артур глядит на нее не только с удовольствием, но и с гордостью. Не просто полезный совет, а и чертовски умный вдобавок.

— Ты совершенно права. И бичевать Энсона я буду не больше, чем того потребуют интересы Джорджа. Однако от бичевания его это не избавит. И я покрою стыдом и его, и всю его полицию, продолжив вторую часть моих расследований. Кое-что начинает выясняться об истинном виновнике, и если мне удастся продемонстрировать, что он с самого начала орудовал под носом у Энсона и что тот пальцем о палец не ударил, ему останется только одно: подать в отставку, верно? К тому времени, когда я покончу с этим делом, стаффордширскую полицию я реорганизую сверху донизу. Вперед на всех парах!

Он перехватывает улыбку Джин, которая кажется ему одновременно и восхищенной, и ласковой — действенная комбинация.

— И, кстати, милая моя, я думаю, нам пора назначить дату свадьбы. Иначе люди могут счесть тебя отчаянной кокеткой.

— Меня, Артур, меня?

Он смеется и берет ее руку. Вперед на всех парах, думает он, а не то котельный отсек взорвется.

Вернувшись в «Под сенью», Артур схватил свое перо и стер Энсона в порошок. Письмо к священнику: «…надеюсь обеспечить нарушителю дозу тюремного заключения» — можно ли вообразить более грубое априорное предупреждение со стороны официального лица? Артур почувствовал, что в нем закипает гнев, пока он переписывал эти слова, и еще почувствовал остужающую прохладу совета Джин. Он должен делать то, что наиболее полезно Джорджу; он должен избегать дифамации; и еще он должен сделать выносимый Энсону вердикт неопровержимым. С подобной пренебрежительностью он давно не сталкивался. Ну, Энсон почувствует, каково это.

Нет *(начал он)*, я не сомневаюсь, что капитан Энсон был искренне честен в

своей неприязни к Джорджу Идалджи и не сознавал своей предубежденности. Было бы нелепо думать иначе. Однако люди на подобных постах не имеют права на подобные чувства. Одни слишком могущественны, другие слишком слабы, а последствия слишком ужасны. По мере того как я прослеживаю ход событий, эта неприязнь их начальника просачивалась все ниже, пока не пропитала всех его подчиненных. И когда они схватили Джорджа Идалджи, то отказали ему в самой элементарной справедливости.

До возникновения дела, на протяжении его, а также и после высокомерие Энсона было столь же безгранично, как его предубежденность.

Я не знаю, какие последующие доклады капитана Энсона помешали министерству внутренних дел восстановить справедливость, однако я знаю, что после вынесения приговора сокрушенного человека не только не оставили в покое, но прилагались все возможные усилия, лишь бы очернить его, а также его отца, лишь бы отпугнуть всякого, кто был бы

склонен заняться этим делом. Не успел мистер Йелвертон взяться за него, как он получил письмо за подписью капитана Энсона, датированное 8 нояб. 1903 года и содержащее следующее: «Необходимо предупредить вас, что вы только впустую потратите время на попытку доказать, что Джордж Идалджи в силу своего положения в обществе и якобы достойного характера не мог быть виновным в авторстве оскорбительных и омерзительных писем. Как и я, его отец прекрасно осведомлен о его склонности рассылать анонимные письма, и несколько человек испытали это лично на себе».

Однако и Идалджи, и его отец заявили под присягой, что первый ни разу в жизни не написал анонимного письма, а запрос мистера Йелвертона о фамилиях этих «нескольких человек» остался без ответа. Взвесьте, что письмо это было написано непосредственно после приговора и что предназначалось оно для того, чтобы в корне пресечь движение за милосердие. Ничем не лучше, чем пинать человека, сбитого с ног.

Ну, если это не прикончит Энсона, подумал Артур, значит, его ничем не пронять.

«Дейли телеграф» публиковала результаты розысков Артура два дня подряд, 11 и 12 января. Редакция отлично расположила статьи, а наборщики были на высоте. Артур еще раз перечитал все свои слова до самого громового заключения.

> Дверь захлопнулась перед нашими лицами. Теперь мы взываем к последнему трибуналу, трибуналу, который никогда не ошибается, если все факты изложены ему честно. Мы спрашиваем общественность Великобритании, должно ли подобное продолжаться?

Отклик на статьи был колоссальным. Вскоре рассыльный с телеграммами мог бы находить дорогу в «Под сенью» с завязанными глазами. Поддержку выразили Барри, Мередит и другие писатели. Страницу читательских писем «Телеграф» заполнили дебаты о зрении Джорджа и недосмотре защиты, не указавшей на него. Мать Джорджа добавила собственные показания:

> Я все время говорила солиситору, зани-

мавшемуся защитой, о крайней близорукости моего сына, которой он страдал с детства. Я считала, что одна она была достаточным доказательством, даже если бы не имелось других, невозможности того, чтобы он дошел до луга по так называемой «дороге», непроходимой по ночам даже для людей с хорошим зрением. Я была так в этом уверена, что крайне расстроилась, когда, давая показания, не получила возможности рассказать про его плохое зрение. Мне дали очень короткое время, и полагаю, процесс всем надоел… Зрение моего сына всегда было настолько плохим, что он, когда писал, наклонялся к самому листу, а книгу или документы держал у самых глаз, а когда выходил гулять, лишь с трудом узнавал людей. Когда мне надо было где-нибудь с ним встретиться, я всегда помнила, что не он будет меня высматривать, а я его.

Другие письма содержали требования отыскать Элизабет Фостер, анатомировали характер капитана Энсона и подробно останавливались на обилии шаек в Стаффордшире. Один кор-

респондент разъяснил, как легко лошадиные волоски могли проникнуть наружу с изнанки пальто. Были письма от пассажира, ездившего в одном вагоне с Джорджем в уайрлийском поезде, а также от Наблюдающего из Хемпстеда, и еще от Друга парсов. Мистер Арун Чундер Датт, член Парламента (Кембридж), пожелал указать, что калеченье скота глубоко чуждо восточным натурам. Чоури Музу, член Парламента (Нью-Кавендиш-стрит), напомнил читателям, что вся Индия следит за этим делом и что на кон поставлены имя и честь Англии.

Три дня спустя после второй статьи в «Телеграф» Артур и мистер Йелвертон были приняты в министерстве внутренних дел мистером Гладстоном, сэром Маккензи Чэмберсом и мистером Блэкуэллом. Было заранее обговорено, что беседа будет носить неофициальный характер. Длилась она час. Потом сэр А. Конан Дойль указал, что ему и мистеру Йелвертону «был оказан любезный и сочувственный прием» и что, по его «твердому убеждению», министерство внутренних дел сделает все возможное, чтобы внести полную ясность в это дело.

Отказ от копирайта поспособствовал распространению этой истории не только в Англии, но

и по всему миру. Агентство, снабжавшее Артура вырезками упоминавших про него статей и заметок, еле справлялось, а он успел привыкнуть к повторявшемуся снова и снова заголовку, который научил его распознавать на разных языках входящий в заголовок глагол: «ШЕРЛОК ХОЛМС РАССЛЕДУЕТ». Выражения поддержки — а иногда и несогласия — приходили с каждой почтой. Предлагались самые фантастические истолкования этого дела. Например, что преследование Джорджа подстроили другие парсы в отместку Сапурджи за измену вере предков. Ну и разумеется, пришло еще одно письмо, почерк которого теперь стал таким знакомым:

> Я знаю от детектива из Скотленд-Ярда, что вас, если вы напишете Гладстону и скажете, что все-таки считаете Идалджи виновным, в следующем году произведут в лорды. Разве не лучше быть лордом, чем рисковать потерять почки и печень? Подумайте обо всех зверских убийствах, которые совершены, так почему вы должны стать исключением?

Артур заметил орфографические ошибки, пришел к выводу, что напугал писавшего, и пе-

ревернул лист.

> Доказательство того, о чем я вам толкую, в писанине, которую он тиснул в газеты, когда его выпустили из тюрьмы, где его следовало бы держать вместе с его папашей и всеми чернокожими и желтомордыми евреями. Никто не мог бы так ловко скопировать его писанину, слепой ты дурень.

Столь грубая провокация всего лишь подтверждала необходимость вести наступление на всех фронтах. Никакого ослабления усилий. Мистер Митчелл написал, подтверждая, что Мильтон был действительно в программе уолсоллской школы в период, интересующий сэра Артура; хотя и поспешил добавить, что старейшие учителя не помнят времени, когда бы в стаффордширских школах не преподавали великого поэта, как преподают и теперь. Гарри Чарльзуорт сообщил, что отыскал Фреда Уинна, когда-то одноклассника сына Брукса, а теперь маляра в Чеслин-Хей, и наведет у него справки насчет Спека. Три дня спустя пришла телеграмма с заранее согласованным кодом: ПРИГЛАШЕНЫ ОБЕДАТЬ ХЕДНЕС-ФОРД ВТОРНИК ЧАРЛЬЗУОРТ ТОЧКА.

Гарри Чарльзуорт встретил сэра Артура и мистера Вуда на станции в Хеднесфорде и проводил их в трактир «Восходящее солнце». В баре они познакомились с долговязым молодым человеком в целлулоидном воротничке и с обтрепанными манжетами. На рукаве его пиджака виднелись беловатые пятна, которые, подумал Артур, вряд ли были оставлены лошадиной слюной или даже хлебом с молоком.

— Расскажи им, что ты рассказывал мне, — сказал Гарри.

Уинн неторопливо поглядел на незнакомцев и постучал по своему стакану. Артур послал Вуда за необходимым подбодрением голосовых связок их осведомителя.

— Я учился в школе со Спеком, — начал он. — В классе он всегда был последним. И всегда что-нибудь вытворял. Поджег скирду как-то летом. Любил жевать табак. Как-то вечером я ехал в поезде с Бруксом, и тут в то же купе вбежал Спек, прямо в конце вагона сунул голову в окно и разбил стекло вдребезги. И давай хохотать над тем, что натворил. Ну, тут мы все перешли в другой вагон. А пару дней спустя явились из железнодорожной полиции и заявили, что мы разбили окно. Мы оба сказали, что его разбил Спек, так

пусть и платит за него, и они его поймали, когда он срезал петли с окна, так что пришлось ему и за них заплатить. Тут папаша Брукса начал получать письма, будто мы с Бруксом оплевали какую-то старуху на станции в Уолсолле. Он всегда всем пакостил, ну, Спек. Потом его забрали из школы. Не помню, исключили его или нет, ну да разницы никакой.

— И что с ним стало? — спросил Артур.

— Через год-другой, как я слышал, его вроде бы отправили в море.

— В море? Вы уверены? Абсолютно уверены?

— Ну, так говорили. Во всяком случае, он пропал.

— И когда это произошло?

— Я же сказал: через год-другой после того случая. Скирду он, наверное, поджог в девяносто втором.

— Значит, в море он отправился в конце девяносто пятого — начале девяносто шестого?

— Ну, точнее сказать не могу.

— Приблизительно?

— Точнее сказать, чем уже сказал, не могу.

— Вы не помните, из какого порта он отплыл?

Уинн покачал головой.

— Или когда он вернулся? Если он вернулся?

Уинн снова покачал головой.

— Чарльзуорт сказал, что вам будет интересно. — Он снова постучал по своему стакану, но на этот раз Артур проигнорировал намек.

— Мне интересно, мистер Уинн, но извините, если я скажу, что в вашем рассказе есть неувязка.

— Да неужто?

— Вы учились в уолсоллской школе?

— Да.

— Тогда как же объясните тот факт, что мистер Митчелл, нынешний директор, заверил меня, что в школе за последние двадцать лет не было ученика с такой фамилией?

— А-а! — сказал Уинн. — Так Спеком его прозвали мы, уж не помню почему. Может, оттого, что был он такой замухрышка. Нет, настоящая его фамилия была Остер.

— Остер?

— Ройдон Остер.

Артур взял стакан мистера Уинна и протянул его секретарю.

— Чего-нибудь вдобавок? Мистер Уинн? Глоток виски, может быть?

— Очень будет благородно с вашей стороны, сэр Артур. Очень благородно. А я все думал, могу ли я

взамен попросить вас об одолжении.

Он сунул руку в рюкзачок, и Артур покинул «Восходящее солнце» с полдесятком эссе из местной жизни (я думаю назвать их «Виньетки»), пообещав дать отзыв об их литературных достоинствах.

— Ройден Остер. Новое имя в деле. Как нам его отыскать? Какие-нибудь идеи, Гарри?

— Ну да, — сказал Гарри. — При Уинне я не хотел про это упоминать, не то бы он тут все пиво вылакал. Могу дать вам подсказку. Он был подопечным мистера Грейторекса.

— Грейторекса!

— Их двое было — братья Остер, Уолли и Ройден. Один из них учился в школе с Джорджем и со мной, хотя который, я за давностью не припомню. Но мистер Грейторекс сможет вам про них рассказать.

На поезде они проехали назад две станции до Уайрли и Чёрчбридж, а затем прошли пешком до фермы Литтлуорт. Мистер и миссис Грейторекс оказались добродушной, очень пожилой парой, гостеприимной и открытой. Ну, хотя бы на этот раз, почувствовал Артур, дело обойдется без пива и скребков для обуви, без необходимости высчитывать, стоит ли полученная информация

два шиллинга и три пенса или два шиллинга и четыре пенса.

— Уолли и Ройден Остеры были сыновьями моего арендатора Питера Остера, — начал мистер Грейторекс. — Довольно буйные шалуны. Нет, это, пожалуй, несправедливо, буйным был только Ройден. Помнится, его отцу как-то пришлось заплатить за скирду, которую он поджег. Уолли был скорее странным, чем буйным. Ройдена исключили из школы — в Уолсолле. Они оба учились там. Ройден был хулиганом и лентяем, насколько я понял, хотя подробностей я не знаю. Питер записал его в уисбечскую школу, но это не помогло. А потому он отдал его в ученики к мяснику по фамилии Мелдон, если не ошибаюсь. В Кэнноке. Затем, к концу девяносто третьего года, началось мое личное участие. Отец мальчиков умирал и попросил меня стать опекуном Ройдена. Самое меньшее, что я мог бы сделать, и, естественно, я обещал Питеру сделать все, что в моих силах. И я делал, что мог, но с Ройденом не было никакого сладу. Сплошные неприятности. Воровство, порча и битье вещей, постоянное вранье… Не удерживался ни на какой работе. В конце концов я предложил ему выбрать: либо я перестану давать ему деньги и сообщу о нем в

полицию, либо он отправится в море.

— Нам понятно, какой выбор он сделал.

— Так что я устроил его юнгой на «Генерала Робертса», принадлежавшего Льюису Дэвидсу и компании.

— И когда это произошло?

— В конце тысяча восемьсот девяносто пятого года. В самом конце. По-моему, отплыло судно тридцатого декабря.

— Из какого порта, мистер Грейторекс? — Артур уже знал ответ, но тем не менее нетерпеливо наклонился в предвкушении.

— Из Ливерпуля.

— И как долго он оставался на «Генерале Робертсе»?

— Ну, против обыкновения, он нашел для себя что-то. Примерно через четыре года получил лицензию третьего помощника. А затем вернулся домой.

— То есть мы оказываемся теперь в тысяча девятьсот третьем году?

— Нет-нет. Раньше. Еще в первом, я уверен. Но дома он тогда пробыл недолго и устроился на скотовоз, плавающий из Ливерпуля в Америку. Проплавал на нем десять месяцев. А уж потом вернулся домой навсегда. То есть в тысяча де-

вятьсот третьем.

— Плавал на скотовозе! А где он теперь?

— В том же доме, где жил его отец. Но он сильно изменился. Начать с того, что он женат.

— Вы когда-нибудь подозревали его или его брата в том, что они писали письма от имени вашего сына?

— Нет.

— Почему нет?

— Не было никаких оснований. И на мой взгляд, он слишком ленив, а возможно, и лишен достаточного воображения.

— И… разрешите мне догадаться. У них был младший брат, возможно, сыпавший грязными ругательствами, предположил бы я.

— Нет-нет, их было только двое.

— Или юный приятель с такими же привычками, часто бывавший с ними?

— Нет. Ничего подобного.

— Так-так. А Ройден Остер восставал против вашей опеки?

— Да, частенько. Не мог понять, почему я отказался отдать ему сразу все деньги, оставленные для него отцом. Не то чтобы сумма была велика. Обстоятельство, которое тем более укрепило меня в решении не допустить, чтобы он ее рас-

транжирил.

— А второй мальчик — Уолли, — он был старшим?

— Да, ему сейчас около тридцати.

— Так, значит, Гарри, в школе вы учились с ним?

Чарльзуорт кивнул.

— Вы сказали, что он был странным. В каком смысле?

— Странным. Не совсем здесь. Точнее я объяснить не могу.

— Какие-нибудь признаки религиозной мании?

— Я ничего такого не замечал. Он был умным, Уолли. Башковитым.

— Он изучал Мильтона в уолсоллской школе?

— Об этом я ничего не знаю.

— А по окончании школы?

— Некоторое время был учеником электромонтера.

— Что давало ему возможность ездить по окрестным городкам?

Вопрос этот как будто поставил мистера Грейторекса в тупик.

— Несомненно. Как и множеству других.

— И… братья все еще живут вместе?

— Нет. Уолли год-два назад уехал из страны.

— И куда же?

— В Южную Африку.

Артур обернулся к своему секретарю.

— Ну, почему все так внезапно принялись уезжать в Южную Африку? У вас случайно нет его тамошнего адреса, мистер Грейторекс?

— Вообще-то был. Да только мы слышали, что он умер. Недавно. В прошлом ноябре.

— А! Жаль-жаль. А дом, где они жили вместе, где Ройден живет теперь…

— Я могу проводить вас туда.

— Нет, не сейчас. Я имел в виду… дом стоит на отшибе?

— Как и многие другие дома.

— Так что можно приходить и уходить не на глазах у соседей?

— О да.

— И до сельской местности оттуда близко?

— Безусловно. Сразу же сзади начинаются луга. Но так расположены и многие другие дома.

— Сэр Артур! — Миссис Грейторекс в первый раз нарушила свое молчание. Обернувшись к ней, он заметил, что она покраснела и выглядела гораздо более взволнованной, чем в начале их встречи. — Вы ведь подозреваете его? Или их

обоих?

— Улики накапливаются, если выразиться помягче, сударыня.

Артур приготовился к возмущенному возражению миссис Грейторекс, к отказу дольше терпеть его подозрения и клевету.

— В таком случае мне следует рассказать вам то, что я знаю. Примерно три с половиной года назад — в июле, я помню, в июле перед тем, как арестовали Джорджа Идалджи, — как-то днем я проходила мимо дома Остеров и зашла к ним. Уолли отсутствовал, но Ройден был там. Мы заговорили о располосовываниях. Тогда все только о них и говорили. Через какое-то время Ройден подошел к шкафчику на кухне и показал мне… инструмент. Подержал передо мной и сказал: «Вот чем они убивают скот». Мне стало нехорошо от одного только взгляда, и я велела ему убрать его. Я сказала: «Ты ведь не хочешь, чтобы подумали на тебя, верно?» И он убрал его назад в шкафчик.

— Почему ты не рассказала мне? — спросил ее муж.

— Я подумала, что слухов ходит и так уже слишком много и незачем добавлять к ним новые. Мне просто хотелось поскорее забыть этот случай.

Артур скрыл свою реакцию и спросил невозмутимо:

— А вы не подумали обратиться в полицию?

— Нет. Когда я оправилась от шока, то пошла прогуляться и поразмышляла. И решила, что Ройден просто хвастал. Притворялся, будто знает что-то. Вряд ли он показал бы мне эту штуку, если бы сам ею пользовался. И ведь он мальчик, которого я знаю всю его жизнь. Ну, он был немного буйным шалуном, как сказал мой муж, но, покинув море, он угомонился. Обзавелся невестой, готовился к свадьбе. Ну а теперь женат. Однако у полиции он был на заметке, и я подумала, что, если пойду и расскажу, они заведут на него дело. С уликами или без.

Да, подумал Артур, и из-за вашего молчания они взамен завели дело на Джорджа.

— Я все-таки не понимаю, почему ты не рассказала мне, — сказал мистер Грейторекс.

— Потому что… потому что ты всегда относился к мальчику строже, чем я. И я знала, что ты сразу сделаешь скоропалительные выводы.

— Выводы, которые, пожалуй, были бы верными, — ответил он не без едкости.

Артур перешел в наступление. Свои супружеские разногласия они могли выяснить и потом.

— Миссис Грейторекс, а что это был за инструмент?

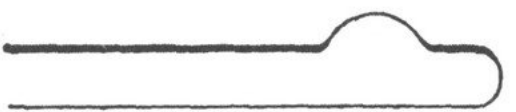
— Лезвие, что-то вроде такой длины. — Она отмерила примерно фут. — И оно загибалось в рукоятку, будто огромный перочинный нож. На фермах такие не употребляются. И такое ужасное лезвие. С изгибом.

— Как сабля или серп?

— Нет-нет, само лезвие было прямым, и край его был совсем не острым. Но к концу была выпуклость, которая выглядела крайне острой.

— Вы не могли бы нарисовать его для нас?

— Конечно. — Миссис Грейторекс выдвинула ящик кухонного стола и на листке линованной бумаги уверенно начертила абрис.



— Вот тут оно тупое и здесь, где прямое. А тут, где выпуклость, жутко острое.

Артур посмотрел на остальных. Мистер Грейторекс и Гарри покачали головами. Альфред Вуд повернул листок к себе и сказал:

— Два против одного, это конский ланцет. Из

больших. Полагаю, он украл его со скотовоза.

— Вот видите, — сказала миссис Грейторекс. — Ваш друг сразу же сделал скоропалительные выводы. Как сделала бы их и полиция.

На этот раз Артур не сумел сдержаться.

— Взамен они сделали скоропалительные выводы о Джордже Идалджи.

При этих словах лицо миссис Грейторекс снова покраснело.

— И простите мой вопрос, сударыня: вы не подумали о том, чтобы сообщить в полицию про этот инструмент… тогда, когда они обвинили Джорджа.

— Я об этом думала, да.

— Но ничего не сделали.

— Сэр Артур, — ответила миссис Грейторекс, — не припомню, чтобы вы были в наших местах, когда располосовывали скот. Всеобщая истерия. Слухи то про того, то про этого. Слухи про грейт-уайрлийскую шайку. Слухи, что от коров они перейдут к молодым женщинам. Разговоры про языческие жертвоприношения. Некоторые говорили, что причина в новолунии. Да, я сейчас вспомнила, как жена Ройдена мне говорила, что молодой месяц действует на него как-то странно.

— Это верно, — сказал ее муж задумчиво. — Я

это тоже замечал. В новолуние он хохотал, как сумасшедший. Сначала я думал, что он просто выламывается, но как-то застал его таким, когда он был совсем один.

— Но как вы не видите… — начал Артур.

— Смеяться — не преступление, — перебила его миссис Грейторекс. — Даже смеяться как сумасшедший.

— Но разве вам не кажется…

— Сэр Артур, я невысоко ставлю проницательность и компетентность стаффордширской полиции. Думаю, тут мы с вами сходимся. И если вас тревожит незаслуженное тюремное заключение вашего молодого друга, так меня тревожит, что подобное могло произойти с Ройденом. И, вероятно, вашему другу это не помогло бы избежать тюрьмы, скорее за решеткой оказались бы они оба как члены одной шайки, существовала она или нет.

Артур решил принять этот упрек.

— Но оружие? Вы посоветовали ему его уничтожить?

— Конечно, нет. Мы не упоминали про него с того дня по этот.

— В таком случае, миссис Грейторекс, могу ли я попросить вас хранить это молчание еще

несколько дней? И последний вопрос. Фамилии Уокер или Глэдуин говорят вам что-нибудь? В связи с Остерами?

Супруги покачали головами.

— Гарри?

— Глэдуина я вроде бы припоминаю. Работал у возчика. Но уже много лет его не видел.

Гарри было велено ждать новых инструкций, а Артур и его секретарь вернулись на ночь в Бирмингем. Конечно, было бы удобнее остановиться в Кэнноке, но Артур предпочитал быть уверенным в приличном бокале бургундского под конец тяжкого трудового дня. За обедом в отеле «Императорская фамилия» ему внезапно вспомнилась фраза в одном из писем. Его нож и вилка со стуком упали на тарелку.

— Когда потрошитель бахвалился, что никто не сумеет его поймать, он написал: «Я остер, так уж остер».

— «Я Остер, так уж Остер», — повторил Вуд.

— Вот именно.

— Но кем был ругающийся мальчишка?

— Не знаю. — Артур несколько расстроился, что данная интуиция не нашла подтверждения. — Может быть, соседский мальчишка. Или, возможно, тот или другой Остер его придумал.

— И что мы предпримем теперь?

— Будем продолжать.

— Но я думал, что мы… что вы все выяснили. Ройден Остер — потрошитель. Ройден Остер и Уилли Остер писали письма вместе.

— Я согласен, Вуди. А теперь объясните мне, почему им был Ройден Остер?

Вуд ответил, по очереди загибая пальцы:

— Потому что он показал миссис Грейторекс конский ланцет. Потому что нанесенные животным раны, рассечение кожи и мыши, но не проникавшие до кишок, могли быть нанесены только таким необычным инструментом. Потому что он работал мясником, а также на скотовозе, и потому знал, как обращаться с животными и как их резать. Потому что он мог украсть ланцет с судна. Потому что вспышки писем и рассечений соответствуют его присутствию в Уайрли и отсутствию; потому что он много раз был замечен в жестоких проделках. Потому что на него влияет новолуние.

— Превосходно, Вуди, превосходно. Исчерпывающее обвинительное заключение, отлично поданное и опирающееся на умозаключения и косвенные улики.

— А? — разочарованно сказал секретарь. — Я

что-то упустил?

— Нет. Ройден Остер — вот кого мы искали, в этом у меня ни малейших сомнений нет. Но нам требуется более конкретное доказательство. И в первую очередь нам нужен конский ланцет. Нам необходимо его заполучить. Остер знает, что мы здесь, и если у него есть хоть капля здравого смысла, ланцет уже выброшен в самое глубокое из здешних озер.

— А если нет?

— Если нет, то вам и Гарри Чарльзуорту придется обнаружить его и сберечь.

— Обнаружить?

— Обнаружить.

— И сберечь?

— Разумеется.

— Вы можете что-нибудь посоветовать относительно нашего модус операнди?

— Откровенно говоря, мне кажется, лучше, если я буду знать поменьше. Но, думается, в этих местах люди обычно свои двери не запирают. А если возникнет необходимость в финансовых улаживаниях, то мне представляется желательным, чтобы потребовавшаяся сумма появилась в расходной книге «Под сенью» в той графе, которую изберете вы.

Вуда заметно раздражила такая высокомерная небрежность.

— Остер вряд ли отдаст его нам, если мы постучим в дверь и скажем: «Извините, можем мы попросить вас продать нам ланцет, которым вы располосовывали животных, чтобы мы могли предъявить его полиции?»

— Нет, конечно, не спорю, — сказал Артур со смешком. — Так не годится. Вам потребуется побольше воображения, вам обоим. Больше тонкости. Или же, если на то пошло, так и чуть больше прямолинейности. Один из вас может увести его в пивную, а другой тем временем… Она упомянула кухонный шкафчик, не так ли? Но, право же, я должен предоставить все вам.

— А вы внесете за меня залог, если потребуется?

— Я даже дам вам наилучшую характеристику.

Вуд медленно покачал головой.

— Я все еще никак не могу опомниться. Вчера вечером в этот час мы не знали ничего. Вернее, у нас были только кое-какие подозрения. А теперь мы знаем все. Хватило одного дня. Уинн, Грейторекс, миссис Грейторекс — и вот, пожалуйста! Возможно, доказать нам не удастся, но мы знаем, как все происходило. И за один день!

— Это не должно было произойти таким образом, — сказал Артур. — Мне ли не знать. Сколько раз я писал про такое. Это не должно было раскрыться через цепь простых шагов. Это должно казаться абсолютно неразрешимым с начала и до самого конца. А тут вы распутываете узел с помощью одного блистательного примера дедукции, абсолютно логичного и все же абсолютно поразительного, и тогда ощущаешь великое торжество.

— Которое вы не ощущаете?

— Сейчас? Нет. Я испытываю почти разочарование. Более того: я действительно испытываю разочарование.

— Ну, — сказал Вуд, — душе попроще вы должны разрешить поторжествовать.

— Охотно.

Позднее, когда Артур докурил свою последнюю трубку и отправился на боковую, он лежал в постели и размышлял о произошедшем. Он поставил себе головоломную задачу, а сегодня справился с ней; и тем не менее не испытывал ликования. Пожалуй, гордость и ту теплоту, когда отдыхаешь от трудов, но не счастье, не говоря уж о торжестве.

Ему припомнился день, когда он женился на Туи. Он ее, разумеется, любил и на первых порах

надышаться на нее не мог, дожидаясь завершения брака. Но когда они сочетались браком в Торнтон-ин-Лонсдейл, а у его плеча стоял этот молодчик Уоллер, он ощутил… как бы это сформулировать, не выказав неуважения к ее памяти? Он был счастлив ровно настолько, насколько выглядела счастливой она. Вот что было правдой. Конечно, позднее, всего лишь день-другой спустя, он начал испытывать счастье, на которое надеялся. Но в самое мгновение — гораздо меньше, чем ожидал.

Вот, возможно, почему при каждом повороте своей жизни он всегда искал какую-то неразрешимую задачу. Новое дело для борьбы, новую кампанию — потому что предыдущий успех приносил лишь кратковременную радость. В подобные моменты он завидовал простоте Вуди, завидовал тем, кто способен почивать на лаврах. Но его путь всегда был другим.

Итак, что остается сделать теперь? Надо добыть ланцет. Надо получить образчик почерка Ройдена Остера — может быть, от мистера и миссис Грейторекс. Он должен выяснить, причастны ли к делу Уокер и Глэдуин. Вопрос о женщине и ребенке, подвергшимся нападению. Надо исследовать школьную карьеру Ройдена Остера. Надо

попытаться точнее связать поездки Уолли Остера с местами, откуда отправлялись письма. Он должен показать конский ланцет, едва его получит, ветеринарам, осматривавшим зарезанных животных, и попросить у них профессиональную оценку. Он должен спросить Джорджа, что он помнит об Остерах, если помнит.

Он должен написать Мам. Он должен написать Джин.

Теперь, когда его голова переполнилась всяческими «надо», он погрузился в безмятежный сон.

Вернувшись в «Под сенью», Артур чувствовал себя примерно так, словно завершал книгу: почти все на своих местах, творческая упоенность почти позади, и теперь остается только дорабатывать, обеспечивать полную герметичность. В последующие дни начали прибывать результаты его поручений, запросов и зондирования. Первый прибыл в форме пакета в оберточной бумаге, перевязанный шпагатом, точно покупка из лавки Брукса. Однако он понял, что находится под оберткой. Понял по лицу Вуда.

Он развернул пакет и медленно раскрыл конский ланцет во всю его длину. Зловещий инструмент, выглядящий особенно пугающим из-за тупости прямых его краев и отточенности смер-

тоносной выпуклости, где ланцет действительно был остер так уж остер.

— Омерзительная штука, — сказал Артур. — Могу я спросить…

Но его секретарь прервал вопрос, покачав головой. Сэр Артур не мог получить свое и так, и эдак, сначала не зная, а затем пожелав узнать.

Джордж Идалджи написал, что совершенно не помнит братьев Остер — ни в школе, ни после; не сумел он найти и причины, почему они могли бы питать вражду к нему или к его отцу.

Более удовлетворительным было письмо от мистера Митчелла, содержавшее школьную характеристику Ройдена Остера:

> *Рождество 1890.* Первый класс. Успеваемость — 23-й из 23-х. Очень умственно неразвит и физически слаб. Освобожден от французского и латыни.
>
> *Пасха 1891.* Первый класс. Успеваемость — 20-й из 20-ти. Туп, домашние задания не выполняются, некоторые успехи в рисовании.
>
> *24 июня 1891.* Первый класс. 18-й из 18-ти. Начинает делать некоторые успехи. Наказан тростью за дурное поведение в

классе, жевание табака, ложь и увиливания, придумывание кличек.

Рождество 1891. Первый класс. Успеваемость — 16-й из 16-ти. Неудовлетворителен, часто лжив. Постоянно жалуется или жалуются на него. Пойман на обманывании и часто отсутствует без разрешения. Успехи в рисовании.

Пасха 1892. Второй класс. Успеваемость — 8-й из 8-ми. Ленив и дурно себя ведет. Ежедневные наказания тростью, написано отцу, подделывал отметки одноклассников и сознательно лгал об этом. Наказан тростью 22 раза за этот триместр.

24 июня 1892. Прогуливал занятия, подделывал письма, подписи, забран отцом из школы.

Вот так, подумал Артур: подделка писем и подписей, обманывание, ложь, придумывание кличек, общее дурное поведение. И далее: заметьте дату, когда его исключили… или забрали из школы, как вам больше нравится: 24 июня 1892 года. То есть когда началась кампания против Идалджи, против Брукса и против уолсоллской

школы. Артур почувствовал нарастающее раздражение — он сумел установить все это путем нормального процесса, логичного наведения справок, тогда как эти болваны… Он был бы рад поставить к стене всю стаффордширскую полицию, начиная от главного констебля и суперинтендента Баррета, продолжая инспектором Кэмпбеллом и сержантами Парсоном и Аптоном вплоть до самого жалкого новичка, и задать им простой вопрос. В декабре 1892 года в уолсоллской школе был украден большой ключ и подкинут в Грейт-Уайрли. Кого было более логичным заподозрить: мальчика, который за несколько месяцев до того был с позором изгнан из школы после полутора лет тупости и хулиганства, или прилежного, успевающего в учебе сына священника, никогда не учившегося в уолсоллской школе, никогда в ней не бывавшего и не питавшего к этому учебному заведению ни малейшей вражды? Ответьте мне на это, старший констебль, суперинтендент, инспектор, сержанты и констебль Купер. Ответьте мне на это вы, двенадцать достойных и верных людей в суде квартальных сессий.

Гарри Чарльзуорт прислал сообщение о происшествии, имевшем место в Грейт-Уайрли

поздней осенью или в начале зимы 1903 года. Миссис Джервис Хендли возвращалась вечером со станции Уайрли, сходив туда купить газеты для продажи. С ней была ее маленькая дочка. На дороге их остановили двое мужчин. Один схватил девочку за горло, держа в руке что-то поблескивающее. И мать, и девочка закричали, и он бросился бежать, крикнув своему приятелю, который ушел вперед: «Ладно, Джек, я с тобой». Девочка заявила, что этот человек еще прежде нападал на ее мать. По описанию, лицо у него было круглое, без усов, рост примерно 5 ф. 8 д., темная одежда, блестящая фуражка с козырьком. Описание соответствовало описанию Ройдена Остера, который в то время носил костюм моряка, а затем сменил его. Далее предполагалось, что Джеком был Джек Харт, непутевый мясник, известный приятель Остера. В полицию было сообщено, но ареста не последовало.

В постскриптуме Гарри добавил, что Фред Уинн снова был у него и в обмен на пинту пива вспомнил еще кое-что. Когда он, Брукс и Спек учились в уолсоллской школе, про Ройдена Остера все знали одну вещь: стоило ему остаться в пустом купе поезда, как он переворачивал подушки сидений и ножом распарывал их снизу, чтобы

конский волос обивки вывалился наружу. Потом дико хохотал и укладывал подушки на место.

В пятницу 15 марта после шестинедельной задержки, возможно, предназначенной показать, что министр внутренних дел не поддается никакому нажиму, от кого бы он ни исходил, было объявлено о создании комиссии расследования. Ее задачей было рассмотреть различные аспекты в деле Идалджи, вызвавшие общественную тревогу. Министерство внутренних дел, однако, желало подчеркнуть, что расследование комиссии ни в коей мере не означает пересмотр дела. Свидетели вызываться не будут, как не потребуется и присутствие мистера Идалджи. Комиссия рассмотрит материалы, находящиеся в распоряжении министерства, и вынесет решение относительно некоторых моментов процедуры. Сэр Артур Уилсон, кавалер ордена Индийской империи 2-й степени, высокородный Джон Ллойд Уортон, председатель суда квартальных сессий графства Дарем, и сэр Альберт де Ратцен, председатель лондонского магистрата, приготовят доклад для мистера Гладстона с елико возможной поспешностью.

Артур решил не допустить, чтобы эти господа благодушно пережевывали вслух «некоторые мо-

менты процедуры» в обществе друг друга. К своим доработанным статьям в «Телеграф» — которые сами по себе доказывали невиновность Джорджа — он добавит личный меморандум, доказывающий виновность Ройдена Остера. Он опишет свое расследование, суммирует собранные улики и перечислит тех, кого следует расспросить для их пополнения: в первую очередь мясника Джека Харта из Бриджтауна и Гарри Грина, находящегося в данное время в Южной Африке. Кроме того, миссис Ройден Остер, которая может подтвердить воздействие новолуния на ее мужа.

Он пошлет Джорджу копию меморандума, не дополнит ли он что-либо. А Энсон у него попрыгает. Всякий раз, стоило ему вспомнить это долгое препирательство за коньяком и сигарами, как из горла у него вырывался неудержимый рык. Их стычка была шумной, но в целом бесполезной — будто два скандинавских лося сцепились рогами в лесу. И все-таки его шокировали самодовольство и предрассудки человека, которому следовало бы стоять выше них. И еще, в заключение, попытка Энсона напугать его историями о привидениях. Как мало главный констебль понимал своего противника! У себя в кабинете Артур достал конский ланцет, открыл его и обвел

лезвие карандашом, прижав его к листу кальки. Чертеж этот, помеченный «в натуральную величину», он отправит главному констеблю и попросит его высказать свое мнение.

— Ну, вы получили свою комиссию, — сказал Вуд, когда они вечером вытащили свои кии из стойки.

— Я бы сказал: они получили *свою* комиссию.

— Иными словами, вы не слишком удовлетворены?

— Я не теряю надежды, что даже эти господа должны будут признать факты, колющие им глаза..

— Но?

— Но… вы знаете, кто такой Альберт де Ратцен?

— Председатель лондонского магистрата, если верить моей газете.

— Да, конечно. Конечно. А кроме того, он родственник капитана Энсона.

Артур и Джордж

Джордж перечитал статьи в «Телеграф» несколько раз, прежде чем написать письмо с благодарностями сэру Артуру, и он перечитал их еще раз перед их второй встречей в «Гранд-Отеле» на Чаринг-Кросс. Крайне обескураживающим было увидеть, как тебя характеризует не какой-нибудь провинциальный грошовый писака, но самый знаменитый современный писатель. Он ощутил себя несколькими наложенными друг на друга людьми: одновременно и жертва, ищущая восстановления справедливости, и солиситор перед лицом самого высокого суда страны, и персонаж романа.

Вот сэр Артур объясняет, почему он, Джордж, никак не мог быть связан с предполагаемой шайкой уайрлийских хулиганов: «Во-первых, он убежденный трезвенник, что само по себе вряд ли может завоевать ему симпатии подобной шайки. Он не курит. Он очень застенчив и нервен. Он особо отличался в учебных занятиях». Все это было правдой, но одновременно и неправдой, лестным и нелестным, внушающим доверие и недоверие. В учебных занятиях он вовсе не отличался особо,

а просто был хорошим, прилежным учеником. Диплом с отличием он получил, но второй степени, а не первой; и медаль от Бирмингемского юридического общества получил, но бронзовую, а не серебряную и не золотую. Бесспорно, он был способным солиситором, получше, чем могли стать Гринуэй или Стентсон, но именитым он никогда не будет. Точно так же по собственной оценке он не был таким уж застенчивым. А если был сочтен нервным на основании их встречи в отеле, так тому есть смягчающие обстоятельства. Он сидел в вестибюле, читал газету и начинал тревожиться, не спутал ли назначенный час, а то и день, как вдруг заметил внушительнейшего человека в пальто, который пристально его рассматривал. Как бы кто угодно повел себя под пристальным взглядом великого романиста? Джордж подумал, что оценка его как застенчивого и нервного могла быть подкреплена, если не внушена, его родителями. Он не знал, как обстоит дело в других семьях, но в доме священника взгляд родителей на детей не изменялся с той быстротой, как сами дети. И Джордж имел в виду не только себя: его родители, казалось, не воспринимали перемены в Мод, то, как она становилась все более сильной и способной ко многому. И

теперь, подумав хорошенько, он усомнился, что был таким уж нервным с сэром Артуром. Ведь в момент, который должен был бы подействовать на нервы куда больше, он «с полной невозмутимостью повернулся лицом к переполненному залу суда» — разве не это бирмингемская «Дейли пост» сообщила тогда?

Он не курит. Это верно. Он считает курение никчемной, неприятной и дорогостоящей привычкой. Но никак не связанной с преступными наклонностями. Шерлок Холмс прославленно курит трубку — как и сэр Артур, насколько он понял, — но это не превращает ни того, ни другого в возможных кандидатов на членство в какой-либо шайке. Правда и то, что он убежденный трезвенник: результат его воспитания, а не принципиальный отказ от спиртного. Однако он признавал, что любой присяжный или любая комиссия могли истолковать этот факт по-разному. Воздержанность могла быть принята за доказательство либо умеренности, либо крайности. Она могла характеризовать личность, способную обуздывать свои естественные человеческие склонности, и точно так же субъекта, который не поддается пороку, сосредоточиваясь на других, более важных для него потребностях, — кого-то,

помеченного бесчеловечностью, даже фанатичностью.

Он ни с какой стороны не умалял ценность и качество пера сэра Артура. Статьи с редким искусством описывали «цепь обстоятельств, которые кажутся столь необычайными, что далеко превосходят выдумки беллетристического писателя». Джордж читал и перечитывал с гордостью и благодарностью такие заявления, как: «Пока каждый и все эти вопросы не получат ответа, темное пятно не сотрется с административных анналов нашей страны». Сэр Артур обещал поднять шум, и шум, который он поднял, прокатился далеко за пределы Стаффордшира, далеко за пределы Лондона, далеко за пределы самой Англии. Если бы сэр Артур не сотряс деревья, как он выразился, то министерство внутренних дел почти наверное не назначило бы комиссию. Хотя как сама комиссия воспримет шум и сотрясение деревьев — вопрос совсем другой. Джорджу казалось, что сэр Артур отнесся к тому, как министерство внутренних дел приняло записку мистера Йелвертона, слишком уж жестко, когда писал, что он «не способен вообразить чего-либо более нелепого и несправедливого даже и в духе восточного деспотизма». Обличение в деспотизме, вероятно, не лучший

способ убедить обличенных быть впредь не столь деспотичными. А затем шло формулирование улик против Ройдена Остера…

— Джордж! Прошу извинения, нас задержали.

Он стоит прямо напротив него, и не один. Рядом с ним красивая молодая женщина; она выглядит ослепительной и полностью уверенной в себе в платье зеленого цвета, оттенок которого Джордж понятия не имеет, как назвать. В этих цветовых нюансах разбираются только женщины. Она чуть улыбается и протягивает ему руку.

— Мисс Джин Леки. Мы… делали покупки. — В его тоне звучит неуверенность.

— Нет, Артур, вы разговаривали. — Ее тон благодушен, но тверд.

— Ну, я разговаривал с лавочником. Он служил в Южной Африке, и вежливость требовала спросить его…

— Тем не менее это значит разговаривать, а не делать покупки.

Джорджа этот обмен репликами ставит в тупик.

— Как вы могли заметить, Джордж, мы готовимся к свадьбе.

— Очень рада познакомиться с вами, — говорит мисс Джин Леки, улыбаясь более широко,

так что Джордж замечает, что передние зубы у нее крупноваты. — А теперь мне пора. — Она поддразнивающе покачивает головой в сторону Артура и упархивает.

— Брак, — говорит Артур, погружаясь в кресло комнаты для писания писем.

Вопросом это счесть нельзя. Однако Джордж отвечает:

— Положение, которое я надеюсь обрести.

— Ну, положению этому присуща загадочность, должен вас предостеречь. Блаженство, конечно, но частенько чертовски загадочное блаженство.

Джордж кивает. Он не согласен, хотя и признает, что не располагает фактами, достаточными для выводов. Безусловно, он не назвал бы брак своих родителей чертовски загадочным блаженством. Ни одно из этих слов ни с какой стороны не приложимо к жизни в доме священника.

— Ну так к делу.

Они обсуждают статьи в «Телеграф», вызванные статьями отклики, гладстоновскую комиссию, ее полномочия и членов. Артур прикидывает, следует ли ему лично разоблачить родство сэра Альберта де Ратцена, или намекнуть какому-нибудь газетному издателю у себя в клубе, или вообще не касаться этого обстоятельства. Он

смотрит на Джорджа, ожидая услышать незамедлительное мнение. Но незамедлительного мнения у Джорджа нет. Возможно, потому, что он «очень застенчив и нервен», или потому, что он солиситор, или же потому, что ему трудно преобразиться из символа кампании сэра Артура в его советника по тактике.

— Я думаю, посоветоваться тут нужно с мистером Йелвертоном.

— Но я советуюсь с вами, — отвечает Артур, будто Джордж непростительно мямлит.

Мнение Джорджа (если это вообще мнение, так как более походит на инстинкт) сводится к тому, что первый вариант будет слишком вызывающим, а третий — чересчур пассивным, а потому в целом он скорее склонен посоветовать средний курс действий. Разве что, разумеется… и, начиная взвешивать все заново, он ощущает нетерпение сэра Артура. А оно, нельзя отрицать, заставляет его немножко нервничать.

— Я позволю себе одно предсказание, Джордж. Они затеют игру с докладом комиссии.

Джордж не знает, все ли еще Артура интересует его точка зрения на предыдущую проблему. И решает, что нет.

— Но они же обязаны его опубликовать.

— Разумеется, должны, и опубликуют. Но я знаю, как действуют правительства, особенно оказавшись в неловком или постыдном положении. Они так или иначе его упрячут. Похоронят, если сумеют.

— Но каким образом?

— Ну, для начала они могут опубликовать его в пятницу к концу дня, когда все уже разъедутся на субботу-воскресенье. Или во время парламентских каникул. Есть множество всяких уловок.

— Но если доклад будет хорош, он же покажет их в благоприятном свете.

— Хорошим доклад быть не может, — твердо говорит Артур. — То есть с их точки зрения. Если они подтвердят вашу невиновность, а они должны ее подтвердить, это будет означать, что министерство внутренних дел три последних года сознательно препятствовало правосудию, невзирая на все представленные им сведения. А в крайне маловероятном, я бы сказал — невозможном случае, если они найдут вас все-таки виновным (а третьего выбора нет), поднимется такая вонь, что многие карьеры окажутся под угрозой.

— Да, понимаю.

Они говорят уже почти полчаса, и Артур недо-

умевает, что Джордж не упомянул про его «Формулирование улик против Ройдена Остера». Нет, не просто недоумевает, а преисполняется досадой и вот-вот почувствует себя оскорбленным. У него мелькает мысль, а не спросить ли Джорджа про клянчащее письмо, показанное ему в Грин-Холле. Но нет, это значило бы играть на руку Энсону. Быть может, Джордж просто предоставляет ему направлять ход беседы.

— Итак, — говорит он, — Ройден Остер.

— Да, — отвечает Джордж. — Я не был с ним знаком, как указал, когда писал вам. Видимо, я, когда был маленьким, учился с его братом. Хотя и его я совершенно не помню.

Артур кивает. Ну давай же, давай, вот что он думает. Я ведь не просто реабилитировал тебя, я предъявил связанного по рукам и ногам преступника, тепленького для ареста и суда. По самой меньшей мере это же для тебя новость? Но вопреки всей своей темпераментности он ждет.

— Меня удивляет, — наконец говорит Джордж, — почему он хотел навредить мне.

Артур не отвечает. Он уже изложил все свои ответы. Он полагает, что пришло время Джорджу самому поработать ради себя.

— Я знаю, сэр Артур, вы считаете расовые пред-

рассудки фактором в этом деле. Но я, как уже говорил, не могу тут с вами согласиться. Остер и я не знаем друг друга. Чтобы питать неприязнь к кому-нибудь, его надо знать. И тогда находится причина для неприязни. А затем, возможно, если вы не находите весомой причины, вы приписываете свою неприязнь какой-нибудь странности, например, цвету кожи. Но, как я сказал, Остер меня не знает. Я пытался припомнить какой-нибудь мой поступок, который он мог истолковать как нанесенную ему обиду или причиненный вред. Может быть, у него есть родственник, кому я мог дать профессиональный совет… — Артур ничего не говорит, он полагает, что есть предел наталкиваниям на очевидное. — И я не понимаю, почему ему хотелось резать коров и лошадей таким способом. Ему или кому-либо другому. А вы понимаете, сэр Артур?

— Как я указал в моем «Формулировании», — отвечает Артур, с каждой минутой раздражаясь все больше, — подозреваю, что на него странно влияет новолуние.

— Возможно, — отвечает Джордж. — Хотя не все случаи имели место в одну и ту же фазу Луны.

— Совершенно верно. Но за малым исключением.

— Да.

— Так разве невозможно сделать логический вывод, что цель этих исключений сводилась к тому, чтобы сознательно ввести в заблуждение следователей?

— Да, возможно.

— Мистер Идалджи, кажется, я вас не убедил.

— Простите, сэр Артур, не то чтобы я не был безмерно вам благодарен или хотел бы сделать вид, будто это не так. Возможно, что суть в том, что я солиситор.

— Справедливо. — Пожалуй, он излишне суров с молодчиком. Однако это крайне странно: словно он принес ему мешок золота с самого дальнего края земли и услышал в ответ: откровенно говоря, я предпочел бы серебро.

— Инструмент, — сказал Джордж. — Конский ланцет.

— Да?

— Могу ли я спросить, каким образом вы узнали, как он выглядит?

— Пожалуйста. Двумя способами. Во-первых, я попросил миссис Грейторекс нарисовать его для меня. И мистер Вуд опознал в нем конский ланцет. А во-вторых, — Артур делает паузу для пущего эффекта, — он теперь у меня.

— У вас?

Артур кивает. На лице Джорджа испуг.

— Не здесь. Не тревожьтесь. Я не захватил его с собой. Он в «Под сенью».

— Могу я спросить, как вы его получили?

Артур потирает пальцем нос сбоку. Затем он смягчается:

— Вуд и Гарри Чарльзуорт наткнулись на него.

— Наткнулись?

— Было очевидно, что инструмент следует обезопасить, прежде чем Остер успеет избавиться от него. Он знал, что я был там и нащупал его след. Он даже принялся посылать мне письма вроде тех, которые посылал вам. Угрожал удалением у меня жизненно важных органов. Если в голове у него есть два полушария, чтобы потереть их друг о друга, он бы запрятал ланцет так, что его и за сто лет не отыскали бы. А потому я проинструктировал Вуда и Гарри наткнуться на него.

— Понимаю. — Джорджа охватывает то ощущение, которое он испытывает, когда клиент начинает конфиденциально рассказывать ему такое, о чем клиент ни в коем случае не должен говорить солиситору, даже своему собственному — в первую очередь своему собственному! — И вы говорили с Остером?

— Нет. Я полагаю, это ясно из моего «Формулирования».

— Да, разумеется. Простите меня.

— Итак, если у вас нет возражений, я приложу мое «Формулирование» к моим заявлениям в министерство внутренних дел.

— Сэр Артур, я не в силах выразить благодарность, которую чувствую…

— И не надо. Я делал все это не ради вашей чертовой благодарности, которую вы уже в достаточной степени выразили. Я делал это потому, что вы невиновны, и мне стыдно из-за того, как действует в этой стране судебно-бюрократическая машина.

— Тем не менее никто, кроме вас, не смог бы сделать то, что сделали вы. И за такой сравнительно краткий срок.

Он просто-напросто говорит, что я все напортил, думает Артур. Нет, не сочиняй глупости. Просто его несравненно больше интересует собственное оправдание и полная его гарантированность, чем обвинение Остера. Что вполне понятно. Покончи с одним делом, прежде чем перейти ко второму, — чего еще ты мог ждать от юриста? Тогда как я атакую на всех фронтах одновременно. Он всего лишь тревожится, как

бы я не отвел взгляд от мяча.

Но позже, когда они попрощались и Артур в кебе ехал к Джин, у него появились сомнения. О чем гласит этот афоризм: «Люди простят тебе что угодно, но только не помощь, которую ты им окажешь»? Что-то вроде. И, возможно, в подобном случае такая реакция обостряется. Когда он читал про Дрейфуса, его поразило, что многие из тех, кто пришел на помощь французу, кто страстно боролся за него, кто видел в его деле не просто великую битву между Правдой и Ложью, между Справедливостью и Несправедливостью, но и объяснение и даже определение страны, в которой они жили, — что многие из них испытывали полнейшее равнодушие к полковнику Альфреду Дрейфусу. Они считали его сухарем, холодным, корректным и отнюдь не образчиком благодарности и симпатичности. Кто-то написал, что жертва обычно не дотягивает до ореола случившегося с ней. Конечно, сугубо французская максима, но вовсе не обязательно неверная.

А может быть, и это несправедливо. Когда он только познакомился с Джорджем Идалджи, его поразило, что молодой человек, такой беззащитный и хрупкий, сумел противостоять трем годам тюремного заключения. От изумления он, без

сомнения, не учел того, во что это не могло не обойтись Джорджу. Быть может, единственный способ выжить подразумевал полное сосредоточение от зари и до зари на подробностях своего дела и не допущение в свои мысли ничего другого. Ему требовалось держать все факты и доводы наготове, если вдруг они понадобятся. Только так можно было вынести чудовищную несправедливость и омерзительные изменения в привычном образе жизни. Так что, пожалуй, ожидать, чтобы Джордж Идалджи вел себя как свободный человек, значило требовать от него слишком многого. Пока он не будет оправдан и не получит компенсации, он не сможет вновь стать тем человеком, которым был.

Сбереги свое раздражение для других, думает Артур. Джордж отличный малый, ни в чем не виновный, но это еще не причина искать в нем святости. Желать от него большей благодарности равносильно желанию, чтобы каждый критик объявлял каждую твою книгу шедевром гения. Да, сбереги свое раздражение для других. Начиная с капитана Энсона, чье письмо сегодня утром содержало очередную наглость: категорический отказ признать, что орудием располосовываний мог быть конский ланцет. И в довершение уни-

чижительная строчка: «Нарисовали вы обычный ланцет». Да уж! Артур не стал беспокоить Джорджа этой последней провокацией.

А помимо Энсона, обнаружил он, все большее раздражение вызывал у него Уилли Хорнанг. Его шурин сочинил новую шутку, которую Конни сообщила ему за завтраком. «Что общего между Артуром Конан Дойлем и Джорджем Идалджи? Нет? Сдаешься? Заключения!» Артур зарычал про себя. Заключения — и он считает это остроумным? Объективно Артур видел, что кому-то это может прийтись по вкусу. Но право же… Разве что он начинает утрачивать чувство юмора. Говорят, такое случается с людьми среднего возраста. Нет — чушь! И теперь он начал сам себя раздражать. Еще одно свойство среднего возраста, надо полагать.

Джордж тем временем все еще оставался в комнате для писания писем в «Гранд-Отеле». Он был расстроен. Он вел себя с возмутительной невежливостью и неблагодарностью по отношению к сэру Артуру. И это — после месяцев и месяцев трудов, которые тот потратил на его дело. Джорджу было стыдно за себя. Надо написать письмо с извинениями. И все же… и все же… было бы нечестно сказать больше, чем он сказал. А

вернее: скажи он больше, ему пришлось бы быть нечестным.

Он прочел «Формулирование дела против Ройдена Остера», которое Артур намеревался отослать в министерство внутренних дел. Он, естественно, перечел его несколько раз. И с каждым разом его первое впечатление все более крепло. Вывод — неизбежный профессиональный вывод — был однозначен: его положению оно на пользу не пойдет. Далее, по его мнению (которое он ни за что бы не упомянул в разговоре с сэром Артуром), дело сэра Артура против Остера странным образом напоминало дело стаффордширской полиции против него, Джорджа.

Для начала оно опиралось, причем точно таким же образом, на письмо. Сэр Реджинальд Харди, суммируя, сказал в Стаффорде, что тот, кто писал эти письма, должен быть тем, кто располосовывал лошадей и коров. Такую связь исчерпывающе и совершенно верно опровергали мистер Йелвертон и другие, выступившие в его защиту. И вот сэр Артур вывел ту же связь. Письма послужили ему исходной точкой, и через них он проследил руку Ройдена Остера, его появления и исчезновения на каждом этапе. Письма эти инкриминировали Остера совсем также, как прежде Джорджа. И

хотя, согласно нынешнему выводу, письма эти Остер и его брат сознательно писали, чтобы повесить дело на Джорджа, разве они не могли быть написаны еще кем-то, чтобы повесить дело на Остера? Если они были подложными в первый раз, почему они стали подлинными во второй?

Точно так же все собранные сэром Артуром улики были косвенными и во многом сводились к слухам. На женщину с ребенком напал кто-то, кто мог быть Ройденом Остером, но только в то время его имя названо не было, и полиция никаких мер не приняла. Что-то было сказано миссис Грейторекс три года назад, если не больше, о чем она не сочла нужным сообщить полиции, но о чем заговорила сейчас при упоминании имени Ройдена Остера. Кроме того, она припомнила слова (если не сплетню за полосканием белья), услышанные от жены Остера. Ройден Остер на редкость скверно успевал в школе, но если бы это было достаточным доказательством преступных наклонностей, тюрьмы были бы набиты битком. Предположительно на Ройдена Остера странно воздействовала луна — за исключением тех случаев, когда она на него не воздействовала. Далее. Остер жил в доме, из которого было легко ускользнуть ночью — как из дома священника и

еще многих домов в округе.

А если всего этого было мало, чтобы налить сердце солиситора свинцом, имелось много худшего, гораздо худшего. Единственной весомой уликой сэра Артура был конский ланцет, которым он теперь завладел. А какую юридическую ценность имеет подобная улика, добытая таким способом? Третье лицо, а именно — сэр Артур, подбил четвертое лицо, а именно — мистера Вуда, противозаконно проникнуть в частные владения еще одного лица, а именно — Ройдена Остера, и украсть предмет, который он затем перевез через полстраны. Понятно, что он не вручил указанный предмет стаффордширской полиции, однако его следовало передать на хранение лицу, имеющему необходимый юридический статус. Старшему нотариусу, например. Действие же сэра Артура обесценило улику. Даже полицейские знают, что они, прежде чем войти в дом, должны получить либо ордер на обыск, либо прямое и недвусмысленное разрешение домовладельца. Джордж признавал, что уголовное право не его специальность, но ему казалось, что сэр Артур подстрекнул сообщника совершить кражу со взломом, в процессе которой полностью обесценилась важнейшая улика. И ему еще очень

повезет, если он избежит обвинения в сговоре для совершения кражи.

Вот куда завел сэра Артура избыток его энтузиазма. И во всем этом, решил Джордж, виноват Шерлок Холмс. На сэра Артура слишком уж влияет его собственное творение. Холмс делал свои блистательные дедуктивные выводы, а затем вручал блюстителям закона разоблаченных злодеев, чья вина была недвусмысленно на них написана. Но Холмсу ни разу не случилось быть свидетелем на процессе, где все его предположения, и интуиция, и безупречные теории были бы в течение нескольких часов стерты в порошок каким-нибудь мистером Дистерналом. Сделанное сэром Артуром было эквивалентно тому, чтобы выйти на луг, где могли обнаружиться следы преступника, и исходить его вдоль и поперек, несколько раз сменяя сапоги. Он в своем увлечении юридически уничтожил дело против Ройдена Остера благодаря стараниям создать это дело. И вина лежала целиком на мистере Шерлоке Холмсе.

Артур и Джордж

Держа в руке экземпляр доклада комиссии Гладстона, Артур ощущает облегчение, что его дважды не избрали в Парламент. Во всяком случае, прямого стыда можно не испытывать. Вот как они все подстраивают, вот как они хоронят неприятные новости. Доклад они без малейшего предупреждения опубликовали в пятницу перед каникулами Духова Дня. Кому захочется читать о судебной ошибке, сидя в вагоне поезда, везущего тебя к морю? Кого можно будет отыскать для весомых истолкований? Кого это заинтересует к тому времени, когда Духово Воскресенье и Духов Понедельник минуют и вновь возобновится работа? Дело Идалджи? Да разве с ним не было покончено несколько месяцев назад?

Джордж также держит в руке экземпляр доклада. Он смотрит на титульную страницу:

ДОКУМЕНТЫ,

имеющие отношение

К ДЕЛУ ДЖОРДЖА ИДАЛДЖИ

представлены обеим палатам Парла-

мента

по приказу Его Величества.

а затем внизу:

Лондон: напечатано для издательства Его Величества

Эйром и Споттисвудом

Печатниками Его Августейшего Величества Короля

(Заказ 3503) Цена 1,5 п. 1907

Звучит внушительно, но цена словно бы ставит точку над полтора пенса, чтобы узнать правду о его деле, его жизни… Он опасливо открывает брошюру. Четыре страницы доклада: затем два кратких приложения. Пенни, полпенни. Его дыхание становится прерывистым. Вновь для него суммируется его жизнь. И на этот раз не для читателей «Кэннок чейз курьер», бирмингемской «Дейли газетт», или бирмингемской «Дейли телеграф», или «Тайме», но для обеих палат Парламента и Его Августейшего Величества Короля.

Артур захватил доклад с собой к Джин непрочитанным. И это правильно. Как сам доклад представляется Парламенту, так последствие его

дерзаний следует представить ей. Она приняла в этом деле участие, далеко превзошедшее его ожидания. Сказать правду, никаких ожиданий у него вообще не было. Она всегда была с ним, если не буквально, то метафорически. Следовательно, она должна присутствовать и при развязке.

Джордж берет стакан воды и садится в кресло. Его мать вернулась в Уайрли, и в настоящее время он один в комнатах, которые снимает у миссис Гуд. Адрес зарегистрирован в Скотленд-Ярде. Он кладет записную книжку на ручку кресла, так как не хочет делать пометок на докладе. Возможно, он еще не излечился от правил, регулирующих пользование библиотечными книгами в Льюисе и Портленде.

Артур стоит спиной к камину, а Джин шьет, уже наклонив голову, чтобы лучше слышать отрывки, которые ей будет читать Артур. Он задумывается: не следовало бы им сегодня обойтись с Джорджем Идалджи любезнее, например, пригласить его на бокал шампанского. Но ведь он не пьет; и вообще они только сегодня утром услышали, что доклад опубликуют…

«Джордж Идалджи был судим по обвинению в преступном нанесении ран…»

— Ха! — говорит Артур, не успевая дочитать

до середины абзаца. — Только послушай: *«Заместитель председателя суда квартальных сессий, председательствовавший на процессе, сообщил, что он и его коллеги твердо считали, что осуждение было справедливым».* Дилетанты. Чистой воды дилетанты. Ни единого юриста среди них. Иногда у меня возникает чувство, моя милая Джин, что страной управляют одни дилетанты. Только послушай их. *«Эти обстоятельства заставили нас очень серьезно колебаться, прежде чем высказать несогласие с осуждением, обоснованным подобным образом и подобным образом одобренным».*

Джорджа мало занимает вступление: он достаточно опытный юрист, чтобы предугадывать скрывающееся за углом «однако». И вот оно — причем не одно, а целых три. Однако в Уайрли и округе в то время нарастало значительное возмущение; однако полиция, столь долго находившаяся в растерянности, была *«естественно, страшно озабочена»* тем, чтобы кого-нибудь арестовать; однако полиция предприняла и продолжила расследования «с *целью найти улики против Идалджи».* Вот! Это сказано совершенно открыто, а теперь и совершенно официально. Полиция была предубеждена против него с са-

мого начала.

Оба — и Артур, и Джордж — читают: *«Делу этому также присуща крайняя трудность, поскольку нет такого взгляда на него, который не включал бы крайние неправдоподобности».* Чушь, думает Артур. Какая крайняя неправдоподобность заключается в том, что Джордж невиновен? Джордж думает: это просто сложно подобранные слова, а подразумевают они, что среднего решения нет. И это верно, потому что либо я абсолютно невиновен, либо абсолютно виновен. А поскольку *«крайние неправдоподобности»* имеются в обвинительном заключении, следовательно, оно должно быть — и будет — аннулировано.

«Недостатки» процесса… в течение него предъявленные обвинения изменялись в двух существенных моментах. Еще бы! Во-первых, в вопросе о том, когда предположительно было совершено преступление. Полицейские улики *«непоследовательны и даже противоречивы».* Такие же противоречия относительно бритвы… Отпечатки следов. *«Мы полагаем, что в качестве улик следы рассматриваться не могут».* Бритва как орудие. *«Трудно согласовать с заключением ветеринара».* Кровь не свежая. Волоски. *«Доктор Батлер, кто как свидетель стоит выше всяких*

подозрений».

Доктор Батлер все время был камнем преткновения, думает Джордж. Но до сих пор все очень объективно. Затем письма. Письма Грейторекса — вот ключ, и присяжные изучали их долго. *«Они обсуждали свой вердикт значительное время, и мы полагаем, видимо, заключили, что автором этих писем был Идалджи. Мы сами тщательно исследовали эти письма и сравнили их с заведомыми образчиками почерка Идалджи, и мы не готовы оспорить заключение, к которому пришли присяжные».*

Джорджу становится дурно. Он испытывает облегчение, что его родители сейчас не с ним. Он перечитывает эти слова: *«мы не готовы оспорить».* Они думают, что эти письма писал он! Комиссия объявляет всему свету, что он писал письма Грейторекса! Он отпивает из стакана. Он кладет доклад себе на колено, чтобы прийти в себя.

Артур меж тем читает дальше, и его гнев возрастает. Однако тот факт, что письма писал Идалджи, не означает, что располосовывал тоже он.

— Ах как благородно с их стороны! — восклицает Артур.

Это не письма виновного, пытающегося бро-

сить подозрение на других. Да и как, во имя всего святого и несвятого, могли бы они быть такими, рычит про себя Артур, раз человек, на которого они бросают подозрение, это сам Джордж. *«Мы считаем весьма вероятным, что это письма невиновного человека, но заблуждающегося и злокозненного человека, позволившего себе дурную шутку, притворившегося, будто он знает то, чего, возможно, не знает, для того, чтобы сбить полицию с толку и усугубить трудности крайне трудного расследования».*

— Чепуха! — кричит Артур. — Че-пу-ха!

— Артур!

— Чепуха, чепуха! — повторяет он. — Я в жизни не встречал более трезвомыслящего и прямого человека, чем Джордж Идалджи. *«Дурная шутка»* — или болваны не читали ни одного из свидетельств о его характере, собранных Йелвертоном? *«Заблуждающийся и злокозненный человек».* Эта, эта… небылица (он хлещет ею о каминную полку) защищена парламентскими привилегиями? Если нет, я привлеку их к суду за клевету. Всех до единого. И сам оплачу.

Джорджу кажется, что у него галлюцинации. Ему кажется, что мир сошел с ума. Он снова в Портленде и терпит сухую баню. Они приказали

ему раздеться до рубашки, они заставили его поднимать ноги и открыть рот. Они вытащили наружу его язык и… что это такое, С462, должен тебя предупредить. Вот чего стоят твои сказочки, будто ты последний заключенный в этой тюрьме, кто задумал бы сбежать. Ты, и твоя святость, и твои библиотечные книги. Нам известно, кто ты такой, Джордж Идалджи, ты номер С462.

Он снова замирает. Артур продолжает. Второй недостаток обвинения упирается в вопрос, действовал ли Идалджи в одиночку или нет; и выводы об этом менялись в зависимости от выдвигаемых улик. Ну, во всяком случае, официально назначенные болваны не упустили хотя бы этого. Ключевой вопрос о зрении. Он *«сильно подчеркивался в некоторых из обращений к министру внутренних дел».* Еще бы! Подчеркивался ведущими медицинскими светилами Харли-стрит и Манчестер-сквер. *«Мы тщательно ознакомились с заключением именитого специалиста, который осматривал Идалджи в тюрьме, и представленными мнениями окулистов; и собранные материалы кажутся нам абсолютно недостаточными для установления предположенной невозможности».*

— Идиоты! *«Абсолютно недостаточными».*

Олухи и идиоты!

Джин держит голову опущенной. Зрение, вспоминает она, было исходным толчком кампании Артура — причиной, по которой он не просто считал Джорджа Идалджи невиновным, но знал это. До какого же неуважения способны они дойти, с такой небрежностью отнесясь к исследованиям и суждениям Артура!

Но он читает дальше, торопясь вперед, будто стараясь забыть этот вывод.

— *«По нашему мнению, осуждение было недостаточно обоснованным, и... мы не можем согласиться с вердиктом присяжных».* Ха!

— Это значит, что ты победил, Артур: они восстановили его доброе имя.

— Ха! — Артур словно не замечает ее отклик. — Нет, ты послушай! *«Наша точка зрения на это дело подразумевает, что у министерства внутренних дел прежде не было оснований для вмешательства».* Лицемеры! Лжецы! Оптовые поставщики белил.

— Что это означает, Артур?

— Это означает, любимейшая моя Джин, что никто никакой ошибки не допустил. Это означает, что в ход была пущена великая британская панацея от всего и вся. Произошло что-то ужас-

ное, но никто никакой ошибки не допустил. Следовало бы задним числом внести это в «Билль о правах». Ничто не будет ничьей виной, а особенно нашей.

— Но они же признали, что вердикт был неверен.

— Они объявили, что Джордж был невиновен, но в том, что ему пришлось три года наслаждаться пребыванием в тюрьме, не виноват никто. Раз за разом министерству внутренних дел указывалось на несуразицы, и раз за разом министерство внутренних дел отказывало в пересмотре. Никто никакой ошибки не допустил. Ура! Ура!

— Артур, пожалуйста, чуть-чуть успокойся. Выпей коньяку с содовой или еще чего-нибудь. Можешь даже выкурить трубку.

— В присутствии дамы? Ни в коем случае.

— Ну, я с радостью готова сделать для тебя исключение. Но все-таки успокойся хотя бы немного. А тогда посмотрим, как они оправдывают такое утверждение.

Однако Джордж добирается до этого первым. *«Рекомендации… прерогатива милосердия… дарование полного оправдания. С одной стороны, мы считаем, что осуждение не должно было иметь места, по причинам, которые мы изложили…*

полная утрата профессионального положения и дальнейших перспектив… полицейский надзор… трудно, если не невозможно в какой-то мере вернуть положение, которое он потерял». Тут Джордж отрывается и отпивает воды. Он знает, что за «с одной стороны» всегда следует «с другой стороны».

— *«С другой стороны»,* — рычит Артур. — Бог мой, у министерства внутренних дел сторон больше, чем рук у этого индийского бога, как его там…

— Шива, дорогой.

— У Шивы, когда им требуется найти объяснение, почему их вины ни в чем не было. *«С другой стороны, не имея оснований не согласиться с видимым выводом присяжных, что Идалджи был автором писем 1903 года, мы не можем не признать, что и при его невиновности он в известной мере сам навлек свои беды на себя».* Нет, нет, нет. НЕТ.

— Артур, ну пожалуйста, не то могут подумать, будто мы ссоримся.

— Извини. Просто… а-а, *«Приложение Первое»,* да-да, петиции, причины, почему министерство внутренних дел никогда ничего не делает. *«Приложение Второе»,* поглядим, как Соломон

министерства внутренних дел благодарит Комиссию. *«Обоснованный и исчерпывающий доклад».* Исчерпывающий! Четыре полные страницы, и ни единого упоминания об Энсоне или Ройдене Остере! Блеяние… *«навлек свои беды на себя»*… бе-бе-бе и бе-бе-бе… *«принять выводы… однако… исключительный случай»*… Еще бы… *«полная дисквалификация»*… А, понятно. Чего они больше всего боятся, так это практикующих юристов, которые все до единого знают, что это величайшее надругательство над правосудием с тех пор… с тех пор… так что, если они допустят, чтобы его восстановили… бе-бе-бе и бе-бе-бе… *«всеобъемлющее и тщательнейшее рассмотрение… полное оправдание».*

— Полное оправдание, — повторяет Джин, поднимая голову. Значит, победа за нами.

— *«Полное оправдание»,* — читает Джордж, замечая, что остается еще одна заключительная строка Доклада.

— *«Полное оправдание»,* — повторяет Артур. Последнюю фразу они с Джорджем читают вместе. — *«Но кроме того, я пришел к заключению, что это дело не принадлежит к требующим возмещения или компенсации».*

Джордж кладет доклад и сжимает голову в

ладонях. Артур сардонически похоронным тоном читает последние слова: *«Остаюсь искренне ваш Г. Д. Гладстон».*

— Артур, милый, к концу ты был слишком стремителен. — Она никогда еще не видела его в подобном настроении и встревожена. Ей бы не хотелось, чтобы когда-нибудь подобные чувства обернулись против нее.

— Им следует повесить на здании министерства внутренних дел новые таблички. Вместо «вход» и «выход» — «с одной стороны» и «с другой стороны».

— Артур, не мог бы ты не темнить так, а просто объяснить мне, что все это конкретно означает.

— Это означает, это означает, моя милая Джин, что это министерство внутренних дел, это правительство, эта страна, эта наша Англия открыли новое юридическое понятие. В старину человек был либо невиновен, либо виноват. Если он не был невиновен, то был виноват, а если он не был виноват, то был невиновен. Достаточно простая система, испытанная и проверенная на протяжении многих веков, понятная судьям, присяжным и всему населению вообще. С нынешнего дня в английских законах появилось новое понятие — виновен и невиновен. В этом смысле Джордж

Идалджи — первопроходец. Единственный человек, полностью оправданный в преступлении, которого не совершал, и в то же время извещенный, что трехлетний тюремный срок он отбыл заслуженно.

— То есть это компромисс?

— Компромисс! Нет, это лицемерие. То, что у этой страны получается лучше всего. Бюрократы и политики отшлифовывали это века и века. Это называется Правительственным Докладом, это называется Блеянием, это называется…

— Артур, закури трубку.

— Никогда. Однажды я поймал субъекта, курившего в присутствии дамы. Я выхватил трубку у него изо рта, переломил пополам и бросил ему под ноги.

— Но мистер Идалджи сможет вернуться к своей профессии солиситора.

— Сможет. И каждый потенциальный клиент, способный читать газеты, будет думать, что консультируется у человека настолько сумасшедшего, что он был способен писать анонимные письма, изобличая себя в гнусном преступлении, к которому, как признают даже министр внутренних дел и родственник Энсона, да благословит его Бог, он ни малейшего отношения не имел.

— Но, может быть, про это забудут. Ты же сказал, что они хоронят неприятные новости, публикуя их в канун Духова Дня. Так что, возможно, люди запомнят только, что мистер Идалджи был полностью оправдан.

— Ну нет, насколько это зависит от меня.

— Ты хочешь сказать, что намерен продолжать?

— Они еще не увидели мою спину. Я не собираюсь допустить, чтобы *такое* сошло им с рук. Я дал слово Джорджу, я дал слово тебе.

— Нет, Артур. Ты просто объяснил, что намеревался сделать, и сделал, и добился полного оправдания, и Джордж может вернуться к своей работе, а только этого он, по словам его матери, и хотел. Ты добился замечательного успеха.

— Джин, пожалуйста, перестань быть со мной такой рассудительной.

— Ты предпочтешь, чтобы я была с тобой нерассудительной?

— Я кровь пролью, лишь бы избежать этого.

— С другой стороны? — поддразнивающе спрашивает Джин.

— С тобой, — говорит Артур, — другой стороны нет. Есть только одна сторона. Все очень просто. Единственное в моей жизни, что когда-либо

казалось простым. Наконец-то. После столького времени.

Джорджа некому утешить, некому его поддразнить, некому помешать, чтобы эти слова вновь и вновь не прокатывались в голове: *«Заблуждающийся и злокозненный человек, позволивший себе дурную шутку, притворившийся, будто он знает то, чего, возможно, не знает, для того, чтобы сбить полицию с толку и усугубить трудности крайне трудного расследования. Заключение, представленное обеим Палатам Парламента и Его Августейшему Величеству Королю».*

В этот же вечер представитель прессы осведомился у Джорджа, как он воспринял доклад. Он заявил, что *«глубоко неудовлетворен результатами».* Он назвал доклад *«всего лишь шагом в верном направлении»,* однако голословное утверждение, будто письма Грейторекса писал он, представляет собой *«клевету — оскорбление… необоснованную инсинуацию, и я не успокоюсь, пока она не будет взята обратно и извинение не принесено».* Далее — *«не было предложено никакой компенсации».* Они признали, что осужден он был ошибочно, *«так что было бы только справедливо, чтобы мне компенсировали три года тюремного заключения, которые мне пришлось*

выстрадать. Я не допущу, чтобы все завершилось на этом. Я хочу компенсации за причиненное мне зло».

Артур написал письмо в «Дейли телеграф», называя позицию комиссии *«абсолютно нелогичной и недопустимой».* Он задал вопрос, можно ли вообразить что-либо *«более подлое и неанглийское»,* чем полное оправдание без возмещения. Он предложил продемонстрировать *«за полчаса»,* что Джордж Идалджи никак не мог написать эти анонимные письма. Он указал, что, поскольку было бы несправедливо просить налогоплательщиков обеспечить компенсацию Джорджу Идалджи, *«ее можно было бы взыскать в равных долях со стаффордширской полиции, суда квартальных сессий и министерства внутренних дел, так как эти три группы людей вместе и равно виновны в подобном фиаско».*

Священник Грейт-Уайрли также написал в «Дейли телеграф», подчеркивая, что присяжные никак не упомянули про авторство писем, и любые ложные выводы были виной сэра Реджинальда Харди, который слишком *«поспешно и нелогично»* указал присяжным, что *«тот, кто написал письмо, также совершил и само преступление».* Именитый адвокат, присутствовавший

на процессе, назвал суммирование судьи *«прискорбным»*. Священник назвал отношение к его сыну — как полиции, так и министерства внутренних дел — *«в высшей степени шокирующим и бессердечным»*. А что до поведения и выводов министра внутренних дел и его комиссии, то: *«Возможно, это дипломатия, государственная мудрость, но так бы они не поступили, будь он сыном английского сквайра или английского аристократа»*.

Недоволен докладом остался и капитан Энсон. В интервью стаффордширской «На страже» он ответил на критику, задевшую *«честь полиции»*. Комиссия, выявляя так называемые *«противоречия»* в уликах, просто не поняла сути дела, представленного полицией. *«Неправда»* и то, будто полиция с самого начала исходила из убеждения виновности Идалджи и выискивала доказательства его вины. Напротив, Идалджи стал подозреваемым *«только несколько месяцев спустя после»* начала располосовываний. *«Разные лица казались, возможно, причастными к этим преступлениям»*, но постепенно исключались. Подозрения же *«против Идалджи возникли в конце концов из-за его всеми упоминавшейся привычки бродить по окрестностям глубокой*

ночью».

Это интервью было воспроизведено «Дейли телеграф», и Джордж прислал туда опровержение. *«Зыбкость оснований»,* на которых строилось дело против него, теперь стала совершенно явной. *«Фактически он ни единого раза не бродил по ночам»,* и, если только не задерживался в Бирмингеме или на каком-либо развлекательном мероприятии в окрестностях, *«я неизменно бывал дома уже около 9:30».* И *«менее кого-либо в округе я был бы способен покинуть дом ночью»* и, видимо, *«полиция приняла всерьез»* слова, бывшие *«шуткой».* Далее, если бы он имел привычку выходить из дома поздно, этот факт был бы с самого начала известен *«большому числу полицейских, патрулировавших там».*

Духов День выдался не по сезону холодным. Сын Миллионера Погиб В Трагедии Мотогонок За Рулем Своего Автомобиля в 200 Л.С. В Мадрид На Королевское Крещение Прибыли Иностранные Владетельные Особы. Виноделы Устроили Беспорядки в Безье, Где Крестьяне Разграбили И Сожгли Ратушу. Но ничего — как уже много лет, — ничего о мисс Хикмен, даме-хирурге.

Сэр Артур предложил субсидировать любой иск о клевете, какой Джордж пожелает предъявить

капитану Энсону, министру внутренних дел или членам гладстоновской комиссии — либо раздельно, либо всем совокупно. Джордж, хотя и возобновил выражения благодарности, вежливо отказался. То оправдание, которое он только что получил, было получено благодаря упорству сэра Артура, его самоотверженным действиям, логике и любви поднимать шум. Но шум, считал Джордж, не лучшее средство против всего и вся. «Дейли телеграф» теперь призывала к публичному рассмотрению каждого аспекта дела, и с точки зрения Джорджа этого им теперь и следовало добиваться. Газета также обратилась с призывом оказать ему финансовую поддержку.

Артур тем временем продолжал свою кампанию. Никто не принял его вызов продемонстрировать *«за полчаса»,* что Джордж Идалджи не мог писать эти письма, — даже Гладстон, который публично настаивал на обратном. А потому Артур продемонстрирует свои доказательства Гладстону, его комиссии, Энсону, Геррину и всем читателям «Дейли телеграф». Этому он посвятил три длинные статьи с обильными графическими иллюстрациями. Он продемонстрировал, что письма были написаны кем-то, принадлежащим *«к совершенно другому классу»,* чем Идалджи,

«непристойному грубияну, негодяю, не могущему похвастать ни грамматикой, ни порядочностью». Далее он объявлял, что лично оскорблен гладстоновской комиссией, поскольку в ее докладе *«нет ни единого слова, указывающего на рассмотрение моих улик».* В вопросе о зрении Идалджи комиссия процитировала мнение *«неназванного тюремного врача»,* проигнорировав заключения пятнадцати специалистов, *«в том числе первых окулистов страны»,* которые он представил. Члены комиссии просто добавили себя *«к той длинной веренице полицейских, официальных лиц и политиков»,* которым следует принести *«самые униженные извинения этому безвинно пострадавшему человеку».* Но пока такое извинение не будет предложено и не осуществлена компенсация, *«никакое взаимное обменивание лестными белилами не очистит их».*

На протяжении мая и июня в Парламенте постоянно задавались вопросы. Сэр Гилбер Паркер спросил, есть ли прецеденты невыплаты компенсации безвинно осужденному, а затем полностью оправданному. Мистер Гладстон: «Аналогичный случай мне неизвестен». Мистер Эшли спросил, считает ли министр внутренних дел Джорджа

Идалджи невиновным. Мистер Гладстон: «Я не думаю, что это вопрос, который уместно задавать мне. Речь идет о личном мнении». Мистер Пайк Пиз спросил, каким было поведение мистера Идалджи в тюрьме. Мистер Гладстон: «Его поведение в тюрьме было хорошим». Мистер Митчелл Томпсон попросил министра внутренних дел начать новое расследование, касающееся почерков. Мистер Гладстон ответил отказом. Капитан Крейг попросил, чтобы какие-либо заметки, сделанные во время процесса для использования в суде, были предъявлены Парламенту. Мистер Гладстон ответил отказом. Мистер Ф. Э. Смит спросил, не оказался ли вопрос о компенсации мистеру Идалджи под вопросом из-за сомнений, что автором писем был он. Мистер Гладстон: «Боюсь, я не могу ответить на этот вопрос». Мистер Эшли спросил, почему этот человек был освобожден, если его невиновность не была полностью доказана. Мистер Гладстон: «В сущности, этот вопрос меня не касается. Освобождение было следствием решения моего предшественника, с которым, однако, я согласен». Мистер Харвуд-Бэннер спросил о подробностях подобных располосований скота на фермах, которые продолжались, пока Джордж Идалджи находился в тюрьме. Мистер Гладстон

ответил, что в окрестностях Грейт-Уайрли их произошло три: в сентябре 1903 года, в ноябре 1903 года и в марте 1904 года. Мистер Ф. Э. Смит спросил, сколько раз компенсации выплачивались за последние двадцать лет после того, как было доказано, что осуждение было неоправданным, и какие суммы выплачивались. Мистер Гладстон ответил, что за предыдущие двадцать лет таких случаев было двенадцать, и два потребовали значительных сумм. «В одном случае была выплачена сумма в пять тысяч фунтов, а в другом — сумма в одну тысячу фунтов была разделена между двумя лицами. В остальных десяти случаях компенсация колебалась между одним и сорока фунтами». Мистер Пайк Пиз спросил, во всех ли этих случаях оправдание было полным.

Мистер Гладстон: «Я не уверен». Капитан Фейбер попросил, чтобы все полицейские доклады и справки, адресованные министерству внутренних дел в связи с делом Идалджи, были опубликованы. Мистер Гладстон ответил отказом. И, наконец, 27 июня мистер Винсент Кеннеди спросил: «Обошлись ли с Идалджи так, потому что он не англичанин?» Словами «Хансарда»: «Ответ дан не был».

Артур продолжал получать анонимные письма

и открытки с руганью, письма в дешевых желтых конвертах, заклеенные полями марочных листов. На них были штемпеля «Лондон НЗ», но сгибы на листах подсказывали ему, что сначала их везли в чем-то или, возможно, в чьих-то карманах — например, железнодорожного проводника, — в Лондон для почтового отправления. Он предложил награду в 20 фунтов тому, кто поможет проследить их до автора.

Артур потребовал дальнейших интервью с министром внутренних дел и его заместителем мистером Блэкуэллом. В «Дейли телеграф» он сообщил, что обошлись с ним *«любезно»,* но также и с *«леденящим отсутствием симпатии».* Далее они *«с очевидностью встали на сторону затронутых официальных лиц»* и заставили его почувствовать *«враждебность»* окружающей атмосферы. Ни температура не поднялась, ни атмосфера не изменилась; официальные лица выразили сожаление, что впредь они будут слишком заняты государственными делами и более не смогут уделять часть своего времени сэру Артуру Конан Дойлю.

Объединенное юридическое общество проголосовало восстановить Джорджа Идалджи в своих списках.

«Дейли телеграф» выплатила собранные ею суммы, сложившиеся примерно в 300 фунтов.

А потом ни новых событий, ни споров, ни исков о клевете, ни правительственных действий, ни дальнейших вопросов в Парламенте, ни публичного расследования, ни извинения, ни компенсации, так что прессе не находилось, о чем сообщать.

Джин говорит Артуру:

— Есть еще одно, что мы можем сделать для твоего друга.

— Что именно, моя дорогая?

— Мы можем пригласить его на нашу свадьбу.

Артур заметно сбит с толку этим предложением.

— Но я думал, мы решили пригласить только наши семьи и самых близких друзей.

— На церемонию, Артур. Но потом ведь будет прием.

Неофициальный англичанин смотрит на свою неофициальную невесту.

— Тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, ты не только самая обворожительная из женщин, а еще и удивительно мудрая и куда более способная видеть то, что правильно и необходимо, чем бедный пентюх, которого ты возьмешь в мужья?

— Я буду рядом с тобой, Артур, всегда рядом с тобой. А потому и смотреть в том же направлении. Каким это направление ни оказалось бы.

Джордж и Артур

Когда лето начало приближаться к концу, когда разговоры сосредоточились на крикете или индийском кризисе, когда Скотленд-Ярд перестал ежемесячно требовать подтверждения адреса Джорджа, когда министерство внутренних дел продолжало хранить молчание, когда даже неутомимый мистер Йелвертон не возник с новой стратагемой, когда Джорджа известили, что его ожидает контора по адресу Мекленбург-стрит, 2, до тех пор, пока он не подыщет собственного помещения, когда послания сэра Артура сократились до кратких записок ободрения или ярости, когда его отец вновь сосредоточился на своих обязанностях в приходе, когда его мать сочла, что может спокойно оставить своего старшего сына и единственную дочь под присмотром друг друга, когда капитан, высокородный Джордж Энсон, так и не объявил о возобновлении расследования возмутительных зверств в Грейт-Уайрли, хотя теперь официального виновника в их совершении не было, когда Джордж вновь научился читать газеты, не выискивая краем глаза свою фамилию, когда еще одно животное было располосовано в

округе Уайрли, когда тем не менее интерес мало-помалу угас и даже автор анонимных писем устал от своих поношений, Джордж понял: заключительный официальный вердикт по его делу вынесен и вряд ли когда-либо будет изменен.

Невиновен и все же виновен, так было сказано гладстоновской комиссией, и так было сказано британским правительством устами министра внутренних дел. Невиновен и все же виновен. Невиновен и все же заблуждающийся и злокозненный. Невиновен и все же позволивший себе дурную шутку. Невиновен и все же сознательно пытавшийся мешать добросовестным расследованиям полиции. Невиновен и все же сам навлек на себя свои беды. Невиновен и все же не заслуживает компенсации. Невиновен и все же не заслуживает извинения. Невиновен и все же сполна заслужил три года тюремного заключения.

Однако это был не единственный вердикт. Значительная часть прессы была на его стороне. «Дейли телеграф» назвала позицию комиссии и министра внутренних дел *«слабой, нелогичной и неубедительной».* Мнение публики, насколько он мог судить, подразумевало, что *«ему ни разу не предоставили честной возможности».*

Юристы в большинстве поддержали его. И в заключение один из величайших писателей века во всеуслышание и постоянно провозглашал его невиновность. Не перевесят ли со временем эти вердикты официальный?

Джордж, кроме того, пытался шире взглянуть на собственное дело и уроки, в нем содержащиеся. Если нельзя ждать от полиции большей компетенции, а от свидетелей большей честности, то по меньшей мере необходимо улучшить суды, где их слова проходят проверку. Дела такие, как его, ни в коем случае не должны рассматриваться под председательством человека, не имеющего юридического образования. Необходимо повысить квалификацию судей. Но даже если суды квартальных сессий и выездные суды присяжных удастся улучшить, все равно должна быть возможность обратиться к более тонким и мудрым юридическим умам, иными словами, к апелляционному суду. Полный абсурд, что об отмене несправедливого осуждения, как было с ним, можно ходатайствовать только перед министром внутренних дел, а ходатайство это будет получено вместе с сотнями, нет, тысячами поступающих каждый год, причем в большинстве они — от заведомо виновных обитателей тюрем Его Вели-

чества, которым нечем занять время, кроме как стряпая воззвания к министерству внутренних дел. Совершенно очевидно, безосновательные и пустопорожние апелляции к любому новому суду будут отсеиваться заранее, но в случаях серьезных противоречий в законах, или фактах, или же предубежденности или некомпетентности суда низшей инстанции пересмотреть дело должен суд более высокой инстанции.

Отец Джорджа неоднократно намекал ему по разным поводам, что его страдания имели особую, более высокую цель. Джордж никогда не хотел быть мучеником и все еще не находил христианского объяснения своим испытаниям. Но «Дело Бека» и «Дело Идалджи» вместе вызвали большое бурление в его профессии, и вполне возможно, он все-таки окажется своего рода мучеником, пусть более простого и практического рода, — юридическим мучеником, чьи страдания способствовали прогрессу в осуществлении правосудия. Ничто, по мнению Джорджа, не могло возместить годы, украденные у него в Льюисе и Портленде, а также год подвешенного состояния после освобождения, и все же не найдется ли некоторое утешение в том, что страшное крушение его жизни в конечном результате обернется

некоторым благом для его профессии?

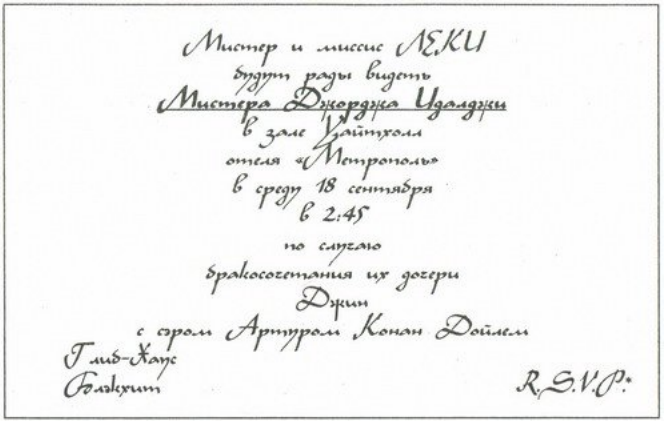
Опасливо, будто памятуя о грехе гордыни, Джордж начал рисовать в воображении юридический учебник, который будет написан через сто лет. «Апелляционный суд был первоначально учрежден в результате многочисленных судебных ошибок, вызвавших общественное негодование. Не самой меньшей из них было „Дело Идалджи“, подробности которого для нас интереса не представляют, однако следует упомянуть, что жертвой являлся автор Железнодорожного закона для „Человека в Поезде“, одного из первых справочников, прояснивших этот часто туманный предмет, а также книги, все еще используемой…» Бывают судьбы и похуже, решил Джордж, чем стать примечанием в истории юриспруденции.

Как-то утром он получил длинную прямоугольную карточку с текстом, набранным изящными, прямо-таки каллиграфическими шрифтами:[24]

---

[24] Примечания: 24

Répondez s'il vous plait *(фр.)* — ответьте, пожалуйста.


Мистер и миссис ЛЕКИ
будут рады видеть
Мистера Джорджа Идалджи
в зале Уайтхолл
отеля «Метрополь»
в среду 18 сентября
в 2:45
по случаю
бракосочетания их дочери
Джин
с сэром Артуром Конан Дойлем
Глиб-Хаус
Болдхит
R.S.V.P.

Джордж был растроган сверх всякой меры. Он водворил карточку на каминную полку и ответил немедленно. Объединенное юридическое общество восстановило его в своих списках, а теперь сэр Артур возвратил его в человеческое общество. Не то чтобы у него были такие светские устремления — в любом случае не в столь высокие сферы, однако он оценил приглашение как благородный и символический жест в отношении того, кто год назад спасался от безумия с помощью романов Тобайса Смоллета. Джордж долго раздумывал о подобающем свадебном подарке и в конце концов остановился на красиво переплетенных однотомниках Шекспира и Теннисона.

Артур твердо решил сбить чертовых репортеров со следа. Никакого упоминания, где состоится бракосочетание его и Джин; его мальчишник — обед в «Гейете» — конфиденциален, а полосатый тент у церкви Святой Маргариты в Вестминстере натягивается в последнюю минуту. Лишь несколько прохожих собираются в этом сонном, опаленном солнцем уголке рядом с Вестминстерским аббатством посмотреть, кто это решил сыграть свадьбу в укромную среду вместо показной субботы.

Артур одет в сюртук и белый жилет, а в петлице большая белая гардения. Его брат Иннес, получивший специальный отпуск в дни осенних маневров, нервничает в роли шафера. Сирил Анджел, супруг Додо, младшей сестры Артура, совершит обряд. Мам, чей семидесятый день рождения был недавно отпразднован, одета в серую парчу. Конни и Уилли тоже тут, и Лотти, и Ида, и Кингсли, и Мэри. Мечта Артура собрать свою семью вокруг себя под одной крышей так и не сбылась, но тут, на краткие часы, они собрались все. А мистера Уоллера в их числе против обыкновения нет.

Церковь украшена высокими пальмами, у их оснований сгруппированы белые цветы. Служба

будет состоять только из пения, и Артур, чье предпочтение воскресного гольфа церкви было уважено, позволил Джин выбрать гимны: «Хвалите Господа, восславьте Его вы, Небеса» и «О Совершенная Любовь, для мысли человечьей непостижная». Он стоит у передней скамьи, вспоминая ее последние слова ему: «Я не заставлю тебя ждать, Артур. Я твердо предупредила отца». Он знает, что ее слово железно. Конечно, многие могут сказать, что раз уж они ждали друг друга десять лет, лишние десять — двадцать минут никакой разницы не составят и даже поспособствуют драматичности события. Однако Джин, к его восхищению, абсолютно лишена этого так называемого кокетства невесты. Они должны соединиться в браке без четверти два. Значит, в церковь она войдет без четверти два. Надежнейшая основа для брака, думает он. И пока он стоит, глядя на алтарь, он размышляет о том, что не всегда понимает женщин, однако отличает тех, кто посылает мяч точно, от тех, кто бьет вкривь и вкось.

Джин Леки появляется в церкви, опираясь на руку отца, в час сорок пять минут секунда в секунду. Подружки невесты встречают ее у дверей — Лили Лодер-Симондс, склонная к спи-

ритуализму, и Лесли Роуз. Паж Джин — юный Брэнсфорд Анджел, сын Сирила и Додо, одетый в кремово-голубой шелковый придворный костюм. Платье Джин покроя «принцесса» из испанских шелковых кружев цвета слоновой кости расшито жемчужинами. Чехол из серебряной ткани; шлейф, подбитый китайским крепдешином, ниспадает от «узла любящих», охваченного подковой из белой кожи, фата надета поверх венка из флёрдоранжа.

Артур почти ничего этого не замечает, пока Джин приближается к нему. Он не большой знаток женских платьев, а потому его совершенно не трогает поверье, что подвенечное платье жених не должен видеть до тех пор, пока оно не прибудет в церковь на невесте. Он думает, что Джин выглядит чертовски красивой, а в остальном его впечатление слагается из крепа, жемчужин и длинного шлейфа. Дело в том, что он был бы счастлив точно так же, если бы на ней была амазонка. Свои ответы он произносит сочно, ее — еле слышны.

В отеле «Метрополь» величественная лестница ведет в зал Уайтхолл. Шлейф оказывается чертовской помехой, подружки невесты и маленький Брэнсфорд без конца с ним путаются. И тут Артур

теряет терпение. Он подхватывает новобрачную на руки и без малейших усилий несет ее вверх по ступенькам. Он вдыхает аромат апельсиновых цветков, чувствует вдавливающиеся в щеку жемчужины и в первый раз за этот день слышит тихий смех своей молодой жены. Снизу доносятся приветственные крики сопровождающих их из церкви и сливаются с более громкими ответными приветствиями сверху, где собрались приглашенные на прием.

Джордж остро ощущает, что ни с кем тут не знаком, кроме сэра Артура, с которым виделся всего два раза, и с недавней мисс Джин Леки, которая кратко пожала ему руку в «Гранд-Отеле» на Чаринг-Кросс. Он сильно сомневается, что был приглашен мистер Йелвертон, не говоря уж о Гарри Чарльзуорте. Он вручил свои подарки и отказался от алкогольных напитков, бокалы с которыми в руках у всех вокруг. Он оглядывает зал Уайтхолла: шеф-повара хлопочут у длинного стола, уставляя его закусками, оркестр «Метрополя» настраивает инструменты, и повсюду — высокие пальмы с группами белых цветов у их подножия. Другие белые цветы украшают столики, расставленные вдоль стен.

К изумлению Джорджа и значительному облег-

чению, к нему подходят люди и заговаривают с ним; они как будто знают, кто он такой, и здороваются с ним, будто добрые знакомые. Альфред Вуд называет себя и говорит о своем посещении Грейт-Уайрли и о том, что он имел большое удовольствие познакомиться с близкими Джорджа. Мистер Джером, писатель-юморист, поздравляет его с успешным боем за справедливость, знакомит его с миссис Джером и указывает на других знаменитостей: вон там Д. М. Барри, Брэм Стокер и Макс Пембертон. Сэр Гилберт Паркер, который несколько раз допекал министра внутренних дел в палате общин, подходит, чтобы пожать Джорджу руку. Джордж осознает, что все они обходятся с ним как с человеком, пострадавшим от величайшей несправедливости, и никто не смотрит на него, будто на тайного автора серии сумасшедших и грубо непристойных писем. Прямо ничего не говорится, а просто подразумевается, что он принадлежит к тем людям, которые в целом понимают все так, как и они в целом понимают все.

Под тихую музыку оркестра в зал вносятся три корзины телеграмм и каблограмм, которые вскрывает и читает брат сэра Артура. Затем еда и снова шампанское — никогда еще Джордж не ви-

дел, чтобы оно разливалось в таком обилии, — и спичи, и тосты, а когда новобрачный произносит свою речь, в ней есть слова вполне равносильные шампанскому, так как они проникают в мозг Джорджа, будто искрящиеся брызги, и кружат волнением его голову.

— …и сегодня днем я в восторге приветствовать среди нас моего молодого друга Джорджа Идалджи. Я горд увидеть его тут, как никого…

И к Джорджу оборачиваются лица, и цветут улыбки, и полуприподнимаются бокалы, и он не знает, куда девать глаза, но понимает, что это ни малейшего значения не имеет.

Новобрачные совершают традиционный тур вальса под множество радостных воплей, а затем начинают обходить своих гостей, сначала вместе, а затем по отдельности. Джордж оказывается возле мистера Вуда, который почти вжат в ствол пальмы, по колено утопая в папоротниках.

— Счастливый день, — говорит Джордж.

— И завершение очень длинной дороги, — отвечает мистер Вуд. Джордж не знает, как понять его слова, а потому удовлетворяется согласным кивком.

— Вы служите у сэра Артура много лет?

— Саутси, Норвуд, Хайнхед. Следующая стан-

ция, возможно, Тимбукту.

— Неужели? — говорит Джордж. — Медовый месяц предполагается там?

Мистер Вуд сдвигает брови, словно сбитый с толку этим вопросом. Он снова отпивает из своего бокала.

— Насколько я понял, вы, в общем, хотели бы жениться. Сэр Артур думает, что вам следует жениться кон-крет-но. — Заключительное слово он произносит стаккато, что по какой-то причине его забавляет. — Или это утверждение очевидного?

Такой оборот разговора немного пугает Джорджа, а также несколько смущает. Мистер Вуд водит указательным пальцем вверх-вниз по носу.

— Ваша сестрица — зануда, — добавляет он. — Не сумела выстоять против пары сыщиков-консультантов на досуге.

— Мод?

— Да, это ее имя. Приятная барышня. Молчаливая, но это не порок. Не то чтобы я намеревался жениться и в общем, и кон-крет-но. — Он улыбается чему-то своему. Джордж решает, что мистер Вуд скорее любезен, чем ехиден. Однако он подозревает, что тот слегка пьян. — Много болтовни,

если хотите знать мое мнение. Не говоря уж о расходах. — Мистер Вуд машет бокалом в сторону оркестра, цветов и официантов. Кто-то из последних принимает этот жест за распоряжение и наполняет его бокал.

Джордж начинает опасаться дальнейшего течения этого разговора и тут видит через плечо мистера Вуда, что к ним направляется леди Конан Дойль.

— Вуди, — говорит она, и Джорджу кажется, что выражение его собеседника странно меняется. Но прежде чем он успевает что-то понять, секретарь каким-то образом исчезает.

— Мистер Идалджи! — Леди Конан Дойль произносит его фамилию с надлежащим ударением и кладет руку в перчатке на его локоть. — Я так рада, что вы смогли прийти.

Джордж растерян: не то чтобы он был вынужден отклонить множество приглашений, чтобы оказаться здесь.

— Желаю вам всяческого счастья, — отвечает он. И смотрит на ее платье. Ничего подобного он никогда в жизни не видел. Ни одна из жительниц Грейт-Уайрли, которых его отец сочетал браком, не носила ничего, хотя бы отдаленно похожего. Он думает, что ему следует сделать комплимент

этому платью, но не знает как. Впрочем, это не важно, так как она снова заговорила:

— Мистер Идалджи, я хочу вас поблагодарить.

Вновь он теряется. Разве они уже осматривали свадебные подарки? Конечно же, нет. Но что еще может она иметь в виду?

— Ну, я не был уверен, что могло бы вам понравиться…

— Нет, — говорит она. — Я не подразумеваю это, чем бы оно ни было. — Она улыбается ему. Глаза у нее серо-зеленые, думает он, волосы золотистые. Он невежливо уставился на нее? — Я подразумевала, что отчасти благодаря вам этот счастливый день наступил когда наступил и как наступил.

Теперь Джордж в полнейшем недоумении. И да, он на нее уставился, он знает, что уставился.

— Полагаю, нас в любую секунду прервут, и в любом случае я ничего объяснять не собиралась. Возможно, вы так никогда и не узнаете, что я подразумевала. Но я благодарна вам, как вы даже не догадываетесь. И потому так уместно, что вы здесь.

Джордж все еще ломает голову над этими словами, когда водоворот шума увлекает новую леди Конан Дойль прочь. «Я благодарна вам, как вы даже не догадываетесь». Несколько минут спустя

сэр Артур трясет его руку, говорит, что каждое слово его речи было искренним, хлопает его по плечу и переходит к следующему своему гостю. Новобрачная исчезает, а затем появляется в другом платье. Последний тост произнесен, бокалы осушены, звучат веселые возгласы, пара удаляется. Джорджу остается только попрощаться со своими кратковременными друзьями.

На следующий день он купил «Таймс» и «Дейли телеграф». В одной газете его фамилия значится между мистером Фрэнком Булленом и мистером Картером, другая поместила его между мистером Булленом и мистером Кессом. Он узнал, что неизвестные ему белые цветы называются *lillium Harissii.* А еще, что сэр Артур и леди Конан Дойль затем отбыли в Париж на пути в Дрезден и Венецию. «Новобрачная, — прочел он, — путешествовала в шелковом костюме цвета слоновой кости, отделанном белым галуном Буташ, с корсажем и рукавами из кружев, с шелковыми верхними рукавами. Сзади на талии — золотые узорчатые застежки. Спереди волны шелка мягко ниспадали по сторонам кружевной шемизетки. Костюмы Мезон Дюпре, Ли, английского производства».

Он практически не понял ни единого слова.

Они остались для него такой же тайной, как и слова, произнесенные накануне той, на ком был этот костюм.

Он задумался, а женится ли он сам когда-нибудь? В прошлом, когда он от нечего делать воображал такую возможность, местом действия всегда была церковь Святого Марка — его отец совершает обряд, его мать с гордостью смотрит на него. Ему никогда не удавалось вообразить лицо своей невесты, но это его не тревожило. Однако после всего им перенесенного место уже не казалось ему вероятным, а это словно бы подрывало возможность самого события. Он подумал, а вступит ли Мод в брак когда-нибудь? А Орас? Он почти ничего не знал о нынешней жизни своего брата. Орас отказался присутствовать на процессе и ни разу не навестил его в тюрьме. Иногда он посылал неуместные открытки. Орас за несколько лет ни разу не посетил родной дом. Возможно, он уже был женат.

Джордж прикинул, увидит ли он еще когда-нибудь сэра Артура и новую леди Конан Дойль. Ближайшие месяцы и годы он проведет в Лондоне, пытаясь наладить жизнь, которую раньше начал было в Бирмингеме, а они предадутся тому существованию, которое предназначено всемир-

но знаменитым авторам и их молодым женам. Он не представлял, что может быть между ними при отсутствии общего дела. Возможно, с его стороны это излишняя чуткость или робость. Но он попытался вообразить свой визит к ним в Сассекс, или обед с сэром Артуром в его лондонском клубе, или приглашение их в свое скромное жилище, каким он сможет обзавестись. Нет, это была еще одна неправдоподобная сцена из жизни, которую он не будет вести. По всей вероятности, они никогда больше не встретятся. Тем не менее на три четверти года их пути скрестились, а если вчерашний вечер знаменовал конец этого скрещения, то, возможно, Джордж ничего особенного против не имел. Собственно говоря, какая-то его часть — и значительная — предпочитала такой вариант.

Часть четвертая
КОНЦЫ

Джордж

Во вторник Мод молча протянула через стол с завтраком свой экземпляр «Дейли геральд». Сэр Артур скончался в 9:15 накануне утром в Уинделсхеме, в своем доме в Сассексе. **УМИРАЕТ, ВОСХВАЛЯЯ СВОЮ ЖЕНУ**, возвестил заголовок, а затем: **ТЫ УДИВИТЕЛЬНА, ГОВОРИТ ТВОРЕЦ ШЕРЛОКА ХОЛМСА,** а затем: **НИКАКОГО ТРАУРА.** Джордж читает, что в доме в Кроборо не было «намека на мрачность», занавески заботливо не были задернуты, и только Мэри, дочь сэра Артура от первого брака, «проявляла признаки горя».

Мистер Денис Конан Дойль откровенно беседовал со специальным корреспондентом «Геральд», и «не приглушенным голосом, а нормальным, с радостью и гордостью». «Он был самым чудесным мужем и отцом, когда-либо жившим на свете, — сказал он, — и одним из величайших людей. Более великим, чем известно большинству людей, так как был на редкость скромен». Затем следовали два абзаца надлежащей сыновней хвалы. Но следующий абзац смутил Джорджа, ему даже захотелось спрятать газету от Мод. Прилично ли сыну так говорить о своих родителях — и

тем более для газеты? «Он и моя мать оставались влюбленными до самого конца. Когда она слышала его шаги в прихожей, она подпрыгивала, как девочка, приглаживала волосы и бежала встретить его. Не было более великих любовников, чем эти двое». Не говоря уж о неприличности, Джордж не одобрил бахвальства, тем более потому, что оно последовало почти сразу же за упоминанием скромности самого сэра Артура. Уж конечно, он никогда бы не заявил ничего подобного. А сын продолжал: «Если бы не наша абсолютная уверенность, что мы его не лишились, я уверен, моя мать скончалась бы еще до истечения часа».

Младший брат Дениса, Адриан, подтвердил продолжающееся присутствие его отца в их жизни. «Я твердо знаю, что буду разговаривать с ним. Мой отец верил абсолютно, что после перехода он будет поддерживать связь с нами. Вся его семья также верит в это. Без всякого сомнения, мой отец будет часто говорить с нами так, как было до его перехода». Впрочем, все оказывается не так просто. «Мы всегда будем знать, если говорит с нами он, однако необходима осторожность, поскольку на той стороне имеются такие же шутники и мистификаторы, как на нашей. Не исключено, что они попытаются выдать себя за него. Однако

существуют проверки, известные моей матери, а также особые обороты речи, которые невозможно воссоздать».

Джордж был в замешательстве. Мгновенная скорбь, которую он испытал при этом известии — он будто каким-то образом потерял второго отца, — объявлена недопустимой: **НИКАКОГО ТРАУРА.** Сэр Артур умер счастливым; его семья (за одним исключением) не проявила горя. Занавески не были задернуты, не было намека на мрачность. Так кто он такой, чтобы претендовать на утрату? Он прикинул, не обратиться ли с этой затруднительной дилеммой к Мод, она ведь яснее разбирается в подобных вещах, но побоялся показаться эгоистом. Собственная скромность покойного, пожалуй, требовала скромности горя у тех, кто его знал.

Сэру Артуру исполнился семьдесят один год. Некрологи были обстоятельными и полными любви. Джордж следил за новостями всю неделю и был несколько обескуражен, обнаружив, что «Геральд» Мод предлагает ему заметно больше информации, чем его собственная «Телеграф». Предстояли **САДОВЫЕ ПОХОРОНЫ,** которые будут **ТОЛЬКО СЕМЕЙНЫМ ПРОЩАНИЕМ.** Джордж подумал, а не будет ли и он приглашен; он поду-

мал, что те, что праздновали свадьбу сэра Артура, могут получить и разрешение стать свидетелями его… он собирался сказать «смерти», но это слово в Кроборо не употреблялось. Его перехода, или его возвышения, как формулировали некоторые. Нет, такая надежда была неоправданной, он ведь ни в каком смысле не был членом семьи. Разрешив про себя этот вопрос, Джордж испытал некоторую досаду, обнаружив на следующий день в газете, что в похоронах принимала участие толпа из трехсот человек.

Зять сэра Артура, преподобный Сирил Анджел, который похоронил первую леди Дойль и бракосочетал вторую, служил в розарии Уиндлсхема. В службе участвовал также преподобный С. Дрейтон Томас. В одежде собравшихся почти не было ничего черного. Вдова была в пестром летнем платье. Сэр Артур упокоился поблизости от садовой беседки, которая так долго служила ему кабинетом. Телеграммы пришли со всего света, и пришлось заказать специальный поезд, чтобы привезти все цветы. Когда они были уложены на погребальном лугу, то, по словам одного очевидца, напоминали голландский цветник в рост взрослого мужчины. Вдова заказала доску из британского дуба с надписью: «ПРЯМОЙ КЛИНОК,

ВЕРНАЯ СТАЛЬ». Спортсмен и благородный рыцарь до самого конца.

Джордж чувствовал, что все было сделано надлежащим образом, хотя и нетрадиционно. Его благодетеля почтили так, что он, Джордж, не мог бы пожелать ничего лучшего. Однако «Дейли геральд» возвестила, что рассказ еще не кончен. **ПУСТОЕ КРЕСЛО КОНАН ДОЙЛЯ** гласила шапка над четырьмя столбцами, а внизу помешалось объяснение, прыгавшее из одного шрифта в другой. **ЯСНОВИДЯЩАЯ будет присутствовать на КОЛОССАЛЬНОМ СОБРАНИИ. 600 спиритуалистов на Мемориальном Собрании. ЖЕЛАНИЕ СУПРУГИ. Медиум, Которая Будет Совершенно Откровенной.**

Это публичное прощание будет иметь место в Альберт-Холле в воскресенье 10 июля 1930-го в 7 часов пополудни. Службу организует мистер Фрэнк Хокен, секретарь Марилбонской ассоциации спиритуалистов. Леди Конан Дойль, которая будет присутствовать там с другими членами семьи, сказала, что для нее это последняя публичная демонстрация, на которой она будет присутствовать со своим мужем. На сцене поставят пустое кресло, символ присутствия сэра Артура, а она сядет слева — место, которое без

устали занимала два последних десятилетия.

Но более того. Леди Конан Дойль попросила, чтобы собрание сопровождалось демонстрацией ясновидения. С участием миссис Эстеллы Робертс — медиума, особо ценимой сэром Артуром. Мистер Хокен любезно одолжил «Геральд» интервью. «Способен ли сэр Артур Конан Дойль в настоящее время продемонстрировать себя настолько ясно, чтобы медиумы могли его описать, сказать пока еще проблематично, — заявил он. — Однако предположу, что он уже достаточно готов для демонстрирования. Он же полностью подготовился к своему переходу». И далее: «Если он действительно явит себя, весьма сомнительно, чтобы скептики это признали, однако мы, хорошо знакомые с миссис Робертс как с медиумом, не усомнимся ни на йоту. Мы знаем, что в случае, если она не будет способна увидеть его, то скажет об этом прямо». Джордж отметил отсутствие какого-либо намека на шутников и мистификаторов.

Мод смотрела, как ее брат дочитывает статью.

— Тебе следует поехать, — сказала она.

— Ты так считаешь?

— Разумеется. Он называл тебя своим другом. Ты должен попрощаться с ним, пусть даже об-

стоятельства и необычны. Лучше побывай в Марилбонской ассоциации и запасись билетом. Сегодня днем или завтра, иначе ты будешь волноваться.

Странно, но и приятно, какой решительной бывает Мод. За рабочим столом или нет, Джордж всегда взвешивал один аргумент за другим, прежде чем принять решение. Мод не считала нужным тратить столько времени, она видела яснее — или, во всяком случае, быстрее, — и он предоставлял ей все решения по дому, как и все деньги, кроме тех, которые были нужны ему на одежду и деловые расходы. Она оплачивала все, что им требовалось, вносила определенную сумму на счет в сберегательном банке, а остальное жертвовала на благотворительность.

— Тебе не кажется, что отец не одобрил бы… такое?

— Отец умер двенадцать лет назад, — ответила Мод. — И я всегда предпочитала думать, что те, кто пребывает в присутствии Бога, становятся несколько иными, чем были на земле.

Его все еще поражало, насколько Мод способна быть прямолинейной: ее утверждение граничило с критикой. Джордж решил больше этого не обсуждать, а поразмыслить потом наедине с собой.

Он снова взял газету. Его сведения о спиритуализме в основном ограничивались несколькими страницами, написанными сэром Артуром, и он не мог бы сказать, что читал их с полной сосредоточенностью. Мысль о том, что шесть тысяч человек будут ждать, чтобы их духовный вождь, ушедший от них, обратился к ним через посредство медиума, внушала ему тревогу.

Скопления людей в одном месте пугали его. Он вспоминал про толпы в Кэнноке и Стаффорде, про грубых зевак, осаждавших после его ареста дом священника. Он вспоминал людей, бешено барабанивших в дверцы кеба и размахивавших палками; он вспоминал людскую тесноту в Льюисе и Портленде и как это обостряло удовольствие от одиночного заключения. При определенных обстоятельствах он мог посетить публичную лекцию или большое собрание солиситоров, но в целом смотрел на тенденцию людей скапливаться в одном и том же месте как на первоначальный признак утраты разума. Правда, живет он в Лондоне, городе с огромным населением, но в основном ему удавалось регулировать свои соприкосновения с людьми обоего пола. Он предпочитал, чтобы они приходили в его приемную поочередно; его письменный стол

и знание законов служили ему там защитой. Тут была безопасность, здесь, в доме 79 по Боро-Хай-стрит, — приемная внизу, а наверху комнаты, которые он делит с Мод.

Такая превосходная идея — им поселиться вместе, хотя он уже не помнил, от кого она исходила. Когда сэр Артур помог ему добиться полного оправдания, мать некоторое время гостила у него в комнатах миссис Гуд на Мекленбург-сквер. Но, конечно, ей следовало вернуться в Уайрли, и идея обмена женщинами-хозяйками выглядела логичной. Мод, к великому удивлению их родителей, хотя отнюдь не к его собственному, оказалась чрезвычайно практичной. Она наладила его хозяйство, стряпала, заменяла его секретаршу, когда та отсутствовала, и выслушивала его рассказы о клиентах с тем же увлечением, как прежде в их старой классной комнате. После переезда в Лондон она стала менее скованной, обзавелась своим мнением, а также научилась его поддразнивать, доставляя ему редкое удовольствие.

— Но что я надену?

Мгновенность ее ответа означала, что она предвидела этот вопрос.

— Синий деловой костюм. Это не похороны, и в любом случае они противники черного. А вот

выразить уважение необходимо.

— Видимо, помещение огромное. Сомневаюсь, что мне удастся получить билет вблизи сцены.

Это уже часть их совместной жизни: Джордж начинает выискивать возражения против планов, уже решенных. А Мод в ответ снисходительно смотрит на эти оттяжки. Теперь она вышла, и он услышал, как на чердаке у него над головой двигаются какие-то предметы. Спустя несколько минут она положила перед ним что-то, вызвавшее внезапную дрожь, — его бинокль в пропыленном футляре. Она взяла тряпку и стерла пыль. Кожа, давно не полированная, тускло заблестела от влаги.

В одно мгновение брат и сестра уже снова стоят в Садах-На-Обрыве в Аберистуите в последний всецело счастливый день в его жизни. Прохожий указывает на вершину Сноудона; но Джордж способен видеть только восторг на лице сестры. Она оборачивается и обещает купить ему бинокль. Две недели спустя начались его испытания, а потом, когда он освободился и они переехали на Боро-Хай-стрит, в первое их Рождество вместе она вручила ему этот подарок, и он чуть не расплакался от жалости к себе.

Он был благодарен и недоумевал, ведь Сноудон

был отсюда далеко, а он сомневался, что они когда-либо вновь посетят Аберистуит. Мод предвосхитила эту реакцию и предложила, чтобы он занялся наблюдением птиц. Этот совет, как и все предложения Мод, поразил его своей крайней разумностью, и потому несколько воскресений подряд он отправлялся на болота среди рощ в окрестностях Лондона. Она думала, что ему нужно хобби; он думал, что ей время от времени нужно, чтобы он уходил из дома. Несколько месяцев он покорно предавался этому занятию, но, сказать правду, ему было трудно следить за птицей в полете, а сидящие на ветках словно бы находили удовольствие в том, чтобы маскироваться. Вдобавок — и кроме того — в большинстве места, считающиеся наиболее удобными для наблюдения за птицами, показались ему чересчур холодными и сырыми. Если проведешь три года в тюрьме, тебе больше не потребуются холод и сырость в твоей жизни, пока тебя не уложат в гроб и не опустят в самое холодное и сырое место из всех. Таков был взвешенный взгляд Джорджа на наблюдения за птицами.

— Я так жалела тебя в тот день.

Джордж поднял голову, и образ в его голове — образ девушки двадцати одного года возле

разочаровывающих развалин уэльского замка — вытеснила седеющая женщина средних лет с чайничком в руке. Она заметила пылинки на футляре и еще раз его протерла. Джордж не спускал взгляда с сестры. Иногда он не мог бы сказать, кто из них о ком заботится.

— Это был счастливый день, — говорит он твердо, держась за воспоминание, которое превратил в уверенность, вновь и вновь думая именно так. — Отель «Бель-Вью». Трамвай. Жареная курица. Отказ искать камешки. Поездка по железной дороге. Это был счастливый день.

— Я по большей части притворялась.

Джордж не уверен, что хочет, чтобы его воспоминания были нарушены.

— Я никогда не мог понять, сколько тебе было известно, — сказал он.

— Джордж, я ведь не была ребенком. То есть была, когда все это началось, но не тогда. Что еще мне оставалось, как не разобраться в происходящем? Невозможно ничего скрыть от девушки двадцати одного года, которая редко выходит из дома. Ты только отстраняешься, притворяешься перед собой и надеешься, что она тебе подыграет.

Джордж начал вспоминать, отталкиваясь от

Мод, которую знал теперь, и понял, что в той девушке было куда больше от этой женщины, чем он сознавал тогда. Но у него нет желания разбираться в этих осложнениях. Он давным-давно решил, что именно происходило; он знает свою собственную историю. Он, возможно, готов принять общую поправку вроде той, что услышал сейчас, но меньше всего он хочет выслушивать новые подробности.

Мод почувствовала это. И если тогда он что-то скрывал от нее, то ведь и она что-то скрывала от него. И никогда не расскажет ему про то утро, когда их отец позвал ее к себе в кабинет и объявил, что очень тревожится за душевное состояние ее брата. Он сказал, что Джордж находится в крайне большом напряжении и отказывается отдохнуть хоть немного. А потому он предложит за обедом, чтобы брат и сестра съездили в Аберистуит, и хочет она того или нет, она должна поддержать его и настоять, что им следует, ну, непременно следует поехать. Так и произошло. Джордж вежливо, но упорно отказывал отцу, а затем уступил просьбам сестры.

Уловки — такие нетипичные для дома священника. Но куда больше Мод потрясла оценка состояния Джорджа, которую она услышала от

отца. Для нее он всегда был надежным заботливым братом, а вот Орас — легкомысленным шалопаем, который подчинял свою жизнь капризам, которому не хватало солидности. И, как показало дальнейшее, она была права, а их отец ошибался. Как сумел бы Джордж вынести свои испытания, если бы не обладал куда большей крепостью духа, чем казалось их отцу? Но такие мысли Мод держала при себе.

— В одном сэр Артур глубоко ошибался, — внезапно объявил Джордж. — Он был противником права голоса для женщин.

Поскольку ее брат все время поддерживал суфражизм, когда тот был на повестке дня, эти слова Мод не удивили. Непонятным скорее был яростный тон. Джордж теперь смущенно отвел взгляд от сестры. Цепочка воспоминаний и все, что она повлекла за собой, пробудила в нем особо нежное чувство к Мод, а также осознание, что оно было и останется самым сильным чувством в его жизни. Но Джордж не обладает умением выражать подобные мысли, смущается их, и даже самое опосредствованное их признание выбило его из колеи. Поэтому он встал, совершенно ненужно сложил «Геральд», вернул сестре и спустился вниз в свою приемную.

Его ждала работа, но он просто сидел за столом и думал о сэре Артуре. В последний раз они виделись двадцать три года назад; и все-таки соединившее их звено оставалось целым. Он следил за произведениями и действиями сэра Артура, его путешествиями и кампаниями, его вмешательствами в общественную жизнь нации. Джордж часто соглашался с его заявлениями — о реформе разводов, угрозе со стороны Германии, потребности в туннеле под Ла-Маншем, нравственной необходимости вернуть Гибралтар Испании. Однако Джордж позволил себе откровенные сомнения касательно менее известных вкладов сэра Артура в тюремную реформу — предложение, чтобы закоренелые рецидивисты из тюрем Его Величества были бы все вывезены на шотландский остров Тайри. Джордж вырезал статьи, следил за продолжавшимися подвигами Шерлока Холмса в «Стрэнд мэгэзин» и брал очередные книги сэра Артура из библиотеки. Дважды он водил Мод в кино — посмотреть замечательную игру мистера Эйли Норвуда в роли сыщика-консультанта.

Он вспомнил, как в год их переезда на Боро-Хай-стрит он купил «Дейли мейл» исключительно, чтобы прочесть специальный репортаж сэра

Артура о марафонском беге в дни лондонской Олимпиады. Джорджа меньше всего интересовали спортивные достижения, но он был вознагражден дополнительным прозрением — хотя и не нуждался в нем — относительно характера своего благодетеля. Описание, сделанное сэром Артуром, было настолько живым, что Джордж перечитывал и перечитывал его, пока происходившее не замелькало перед его мысленным взором будто киножурнал. Огромный стадион… полные ожидания зрители… Появляется щуплая фигурка, обогнавшая всех остальных… итальянец в состоянии, близком к коллапсу… он падает, он встает, он снова падает, он снова встает, он пошатывается… тут на стадионе появляется американец и начинает его нагонять… мужественному итальянцу остается двадцать ярдов до ленточки… толпа заворожена… он снова падает… ему помогают встать… дружеские руки протаскивают его к ленточке прежде, чем американец его нагоняет. Но, разумеется, приняв помощь, итальянец нарушил правила, и победителем объявляется американец.

Любой другой писатель остановился бы на этом, удовлетворенный своим воссозданием столь драматического момента. Но сэр Артур

не был любым другим писателем, и мужество итальянца его так растрогало, что он объявил подписку в его пользу. Было собрано триста фунтов, которые позволили бегуну открыть пекарню в своей родной деревне — чего золотая медаль никак ему бы не обеспечила. Так типично для сэра Артура: душевная щедрость и практичность в равных долях.

После своего успеха с делом Идалджи сэр Артур принимал участие в других юридических протестах. Джорджу было стыдно признаться, что его чувства к последующим жертвам опирались на зависть, иногда граничившую с неодобрением. Вот, например, Оскар Слейтер, чье дело заняло годы и годы жизни сэра Артура. Человек этот действительно был неправильно обвинен в убийстве и чуть было не казнен, и вмешательство сэра Артура избавило его от виселицы, а со временем привело к его освобождению; однако Слейтер был крайне низким человеком, профессиональным преступником, который не выказал ни грана благодарности тем, кто ему помог.

Сэр Артур, кроме того, продолжал играть в сыщика. Всего три-четыре года назад было любопытное дело женщины-писательницы, которая исчезла. Кристи — ее так звали. Видимо, вос-

ходящая звезда детективной литературы, хотя Джорджа восходящие звезды совершенно не интересовали, пока Шерлок Холмс все еще пополнял свою записную книжку. Миссис Кристи исчезла из своего дома в Беркшире, и ее машину обнаружили примерно в пяти милях от Гилфорда. Когда три отряда полицейских не нашли никаких ее следов, главный констебль Суррея обратился к сэру Артуру, который тогда был заместителем лорда-лейтенанта этого графства. Дальнейшее изумило многих людей. Допрашивал ли сэр Артур свидетелей, разыскивал ли следы на истоптанной земле или наводил справки у полиции, как в знаменитом деле Идалджи? Ничего подобного. Он связался с мужем Кристи, заимствовал одну из ее перчаток и отвез ее медиуму, который прижал перчатку ко лбу в попытке определить, где находится женщина. Ну, одно дело — как Джордж предложил стаффордширской полиции — использовать настоящих ищеек для вынюхивания следа, и совсем другое — прибегать к спиритическим, которые остаются дома и нюхают перчатки. Джордж, прочитав о новых сыскных методах сэра Артура, испытал немалое облегчение, что в его собственном деле применялись более ортодоксальные приемы.

Однако потребовалось бы куда больше горстки таких эксцентричностей, чтобы в абсолютном уважении Джорджа к сэру Артуру появилась прореха. Он проникся им, когда был молодым тридцатилетним человеком, освобожденным из тюрьмы, и хранил его и теперь — пятидесятичетырехлетним солиситором с совершенно седыми усами и волосами. Единственная причина, благодаря которой он сейчас сидит здесь за своим столом утром в пятницу, заключалась в высоких принципах сэра Артура и готовности претворять их в действия. Жизнь Джорджа была ему возвращена. Он обладал полным собранием свода законов, вполне удовлетворительной практикой, набором шляп на выбор и великолепной (некоторые могли бы даже сказать — броской) часовой цепочкой с брелоками поперек жилета, который с каждым годом становился чуть более тесным. Он был домовладельцем и человеком, имеющим свое мнение о злободневных событиях. У него, правда, не было жены, а также и долгих завтраков с коллегами, которые восклицали бы: «Молодец, старина Джордж!», когда он протягивал бы руку за счетом. Взамен он обладал своеобразной славой, или полуславой, или — с течением времени — четвертьславой. Он хотел

приобрести известность как юрист, а кончил известностью жертвы судебной ошибки. Его дело привело к созданию уголовного апелляционного суда, решения которого за последние два десятилетия уточнили уголовные законы до степени, воспринимавшейся как революционная. Джордж гордился своей связью (пусть и совершенно непреднамеренной) с этим институтом. Но кто знал про нее? Горстка людей на упоминание его фамилии откликнулась бы теплым пожатием руки, обошлась бы как с человеком, который когда-то давным-давно претерпел знаменитую несправедливость; другие поглядели бы на него глазами фермерских мальчиков или специальных констеблей с проселков, но в настоящем подавляющее большинство никогда про него не слышало.

По временам он досадовал на это и стыдился своей досады. Он помнил, что в течение всех лет его страданий он больше всего жаждал анонимности. Капеллан в Льюисе спросил, чего ему не хватает больше всего, а он ответил, что ему не хватает его жизни. Теперь она ему возвращена; у него есть работа, деньги в достатке, люди, которым можно кивнуть при встрече на улице. Но иногда его локтем в бок толкала мысль, что

он заслуживает большего, что его испытания должны были бы увенчаться большей наградой. Из злодея в мученики, а затем практически в никого — разве это справедливо? Его сторонники заверяли, что его дело не менее значительно, чем дело Дрейфуса, что оно раскрыло об Англии не меньше, чем дело Дрейфуса о Франции, и точно так же, как были дрейфусары и антидрейфусары, были люди за и против Идалджи. Далее они настаивали, что в сэре Артуре Конан Дойле он обрел столь же великого защитника и заметно лучшего писателя, чем француз Эмиль Золя, чьи книги как будто отличались вульгарностью и кто сбежал в Англию, когда ему пригрозили тюрьмой. Вообразить только, что сэр Артур дает стрекача в Париж, чтобы избежать прихоти какого-нибудь политика или прокурора! Он бы остался, и вступил в бой, и поднял бы огромный шум, и тряс бы решетку своей камеры, пока тюрьма не обрушилась бы.

И тем не менее вопреки всему слава имени Дрейфуса непрерывно возрастала и обрела известность по всему земному шару, тогда как имя Идалджи еле-еле узнавали в Уолверхемптоне. Отчасти это было следствием его собственной инициативы — или, точнее, отсутствия инициативы. После освобождения его часто приглашали

выступить на собрании, написать статью в газету, дать интервью. Он неизменно отвечал отказом. Он не хотел стать оратором или борцом за что-либо; он не обладал темпераментом для вещания с трибун; и один раз, рассказав про свои страдания «Арбитру», считал нескромным возвращаться к ним снова, когда его об этом просили. Он тогда взвесил, не подготовить ли дополненное издание своей книги о железнодорожном праве, но почувствовал, что и это тоже может оказаться эксплуатацией его известности.

Однако он подозревал, что в гораздо большей мере его безвестность имела отношение к самой Англии. Франция, как он ее понимал, была страной крайностей, бешеных мнений, бешеных принципов и долгой памяти. Англия была много спокойней, столь же принципиальной, но менее охочей поднимать шумиху из-за своих принципов; местом, где общее право вызывало больше доверия, чем правительственные постановления; где люди занимались своим делом и не искали случая вмешиваться в чужое; где большие общественные взрывы происходили от времени до времени — взрывы чувств, которые могли бы даже перейти в насилие и несправедливости, но которые скоро изглаживались из памяти и редко

встраивались в историю страны. Ну, случилось, а теперь давайте забудем и продолжим жить как жили прежде — такова английская традиция. Что-то было плохо, что-то было сломано, но теперь исправлено, так что сделаем вид, что ничего особенно плохого не было с самого начала. Дело Идалджи не возникло бы, если бы существовал апелляционный суд? Прекрасно, в таком случае оправдайте Идалджи, учредите апелляционный суд до истечения года — и что еще останется сказать? Это была Англия, и Джордж мог понять точку зрения Англии, потому что Джордж сам был англичанином.

После бракосочетания он писал сэру Артуру дважды. В последний год войны умер его отец; в знобкое майское утро он был погребен вблизи дяди Компсона, в дюжине ярдов от церкви, где служил более сорока лет. Джордж чувствовал, что сэру Артуру — знакомому с его отцом — хотелось бы узнать про это; в ответ он получил краткое выражение соболезнования. Но затем, несколько месяцев спустя, он прочел в газете, что сын сэра Артура, Кингсли, раненный на Сомме и не оправившийся после ранения, умер, как и многие другие, от инфлюэнцы. Всего за две недели до подписания перемирия. Он снова написал — сын,

потерявший отца, отцу, потерявшему сына. На этот раз ответ пришел более длинный. Имя Кингсли было последним в скорбной перекличке. Супруга сэра Артура потеряла брата Малькольма в первую неделю войны. Его племянник, Оскар Хорнанг, был убит под Ипром вместе с еще одним из его племянников. Муж его сестры Лотти умер в первый же свой день в окопах. И так далее. И так далее. Сэр Артур перечислил всех известных ему и его жене. Но в заключение он выразил уверенность, что они не потеряны, а просто ждут по ту сторону.

Джордж больше не считал себя религиозным. Если он еще и оставался в какой-то мере христианином, то не из сыновнего почитания, а из братской любви. Он ходил в церковь, потому что Мод радовало, что он туда ходит. А что до загробной жизни, он остановился на том, что подождет и увидит. Всякая ревностность внушала ему подозрение. Он немножко перепугался в «Гранд-Отеле», когда сэр Артур с таким неистовством заговорил о своих религиозных чувствах, которые никакого касательства к их встрече не имели. Но все-таки это подготовило Джорджа к последующим новостям, к тому, что его благодетель стал убежденным спиритуалистом и

планирует посвятить свои остающиеся годы и энергию этому движению. Многих здравомыслящих людей это заявление крайне шокировало. Если бы сэр Артур, истинный идеал английского джентльмена, ограничил бы себя благопристойным столоверчением в воскресные дни в кругу друзей, возможно, они ничего против не имели бы. Но это было абсолютно не в духе сэра Артура. Если он во что-то верил, то хотел, чтобы его веру разделяли все. В этом была его сила, а иногда и слабость. И потому со всех сторон посыпались насмешки, наглые газетные шапки вопрошали: «ШЕРЛОК ХОЛМС СОШЕЛ С УМА?» Где бы сэр Артур ни читал лекции, тут же следовали антилекции оппонентов всех мастей: иезуиты, плимутские братья, сердитые материалисты. Не далее как на той неделе бирмингемский епископ Барнс обрушился на «фантастические верования», растущие последнее время как грибы. «Христианская наука» и спиритуализм представляют собой лжеверы, которые «толкают простодушных воскрешать сходящие на нет идеи», — прочел Джордж. Но ни насмешкам, ни клерикальным выговорам было не остановить сэра Артура.

Хотя Джордж относился к спиритуализму с инстинктивным скепсисом, он воздержался

присоединиться к нападкам. Несмотря на то что он не считал себя компетентным в таких вопросах, он знал, на чью сторону встать в споре бирмингемского епископа Барнса и сэра Артура Конан Дойля. Он вспоминал — и это было одним из самых замечательных его воспоминаний, и он всегда воображал, как поделится им со своей женой, — завершение той первой встречи в «Гранд-Отеле». Они встали, чтобы попрощаться, и сэр Артур, естественно, высился над ним, и вот этот крупный, властный, добрый человек поглядел ему в глаза и сказал: «Нет, я *не* думаю, что вы невиновны. Нет, я *не* верю, что вы невиновны. Я *ЗНАЮ,* что вы невиновны». Эти слова были более чем стихи, более чем молитва, они были выражением правды, о которую разобьется всякая ложь. Если сэр Артур сказал, что знает что-то, тогда обязанность приводить доказательства, на юридический взгляд Джорджа, переходила к его противнику.

Он взял с полки «Воспоминания и приключения», автобиографию сэра Артура, плотный полуночно-синий том, опубликованный шесть лет назад. Он открылся, как всегда открывался, на странице 215-й. «В 1906 году, — прочел он снова, — моя жена скончалась после долгой бо-

лезни… Некоторое время после этих дней мрака я был не способен заняться чем-либо, пока внезапно дело Идалджи не повернуло мою энергию в совершенно непредвиденное русло». Начало это всегда немного смущало Джорджа. Оно как бы подразумевало, что его дело подвернулось в удобную минуту, и его особенности оказались как раз тем, что требовалось, чтобы извлечь сэра Артура из трясины уныния; и он мог бы отнестись к его делу по-другому, вернее, вовсе никак, не умри первая леди Конан Дойль незадолго перед тем. Или это несправедливо? Не слишком ли въедливо он анализирует простую фразу? Но ведь именно этим он занимался каждый день своей профессиональной жизни: въедливо читал. А сэр Артур предположительно писал для внимательных читателей.

Было много других фраз, которые Джордж прежде подчеркнул карандашом и аннотировал на полях. Вот, для начала, о его отце: «Как приходской священник оказался парсом или как парс оказался приходским священником, я понятия не имею». Ну, когда-то сэр Артур имел это понятие, очень правильное и точное, потому что в «Гранд-Отеле» на Чаринг-Кросс Джордж подробно описал путь своего отца. А затем

вот это: «Быть может, какой-нибудь широких взглядов патрон пожелал продемонстрировать вселенский характер Англиканской Церкви. Надеюсь, эксперимент повторен не будет, так как, хотя священник был приятным и глубоко верующим человеком, появление цветного служителя Церкви с сыном-полукровкой в грубом невежественном приходе не могло не привести к прискорбному положению вещей». Джордж нашел это несправедливым: практически вина за все случившееся возлагалась на семью его матери, поскольку приход был в ее распоряжении. Не понравилось ему и что сам он именовался сыном-полукровкой. Несомненно, в техническом смысле это отвечало истине, но он не думал о себе так, или о Мод как о своей сестре-полукровке, или об Орасе как о своем брате-полукровке. Неужели не было способа выразить это лучше? Пожалуй, его отец, веровавший, что будущее мира зависит от гармонического сосуществования рас, нашел бы более удачное выражение.

«Возбудила мое негодование и дала мне силу и упорство довести начатое до конца в первую очередь полная беспомощность этой беззащитной маленькой группы людей: цветного священника в его необычном положении, мужественной

синеглазой седовласой матери, юной дочери, затравленных распоясавшимися неотесанными мужланами». «Полная беспомощность»? Из этих слов не понять, что его отец опубликовал собственный анализ дела до того, как сэр Артур вообще появился на сцене; или что его мать и Мод все время писали письма, заручались поддержкой и собирали свидетельства в его пользу. Джорджу казалось, что сэр Артур, заслуживая всяческой благодарности и признания всего, чего он добился, слишком уж был полон решимости присвоить себе всю благодарность и всю честь совершенного. Он, бесспорно, принизил долгую кампанию мистера Вулеса в «Истине», не говоря уж о мистере Йелвертоне и петициях и сборах множества подписей. Даже рассказ сэра Артура о том, как он вообще узнал о деле, был крайне недостоверен. «На исходе 1906 года мне случайно в руки попала неизвестная газетка под названием „Арбитр“, и мой взгляд упал на статью, представлявшую его собственное изложение своего дела». Но сэру Артуру «неизвестная газетка» «случайно попала в руки» только потому, что Джордж послал ему все свои статьи с длинным сопроводительным письмом. Как сэру Артуру должно было быть известно, и притом прекрасно.

Нет, подумал Джордж, это недостойно с его стороны. Сэр Артур, несомненно, писал по памяти, исходя из версии событий, которую на протяжении многих лет неоднократно рассказывал и пересказывал. Профессионально имея дело со свидетельскими показаниями, Джордж знал, как постоянные повторения заглаживали первоначальное изложение событий, внушали говорящему сознание собственной важности, делали обстоятельства более убедительными, чем они представлялись в момент самих событий. Его взгляд теперь быстрее заскользил по изложению сэра Артура, избегая выискивать дополнительные искажения. За словами «насмешка над правосудием» следовало: «Подписка, открытая в его пользу „Дейли телеграф“, собрала для него что-то около 300 фунтов». Джордж позволил себе чуть улыбнуться: та самая сумма, которую год спустя собрал призыв сэра Артура в пользу итальянского бегуна-марафонца. Два события растрогали сердце британской публики в точно той же измеримой степени: три года безвинного тюремного заключения и падение в конце спортивного состязания. Ну разумеется, только полезно, когда твое дело предстает перед тобой в истинной перспективе.

Но двумя строчками ниже следовала фраза, которую Джордж перечитывал чаще всего в этой книге, возмещавшая все неточности и неверные подчеркивания, дарящая целительный бальзам тому, чьи страдания были так унизительно квалифицированы. Вот она: «Он пришел на мой свадебный прием, и не было гостя, которого я был так горд увидеть». Да. Джордж решил взять «Воспоминания и приключения» с собой на церемонию — а вдруг кто-нибудь станет возражать против его присутствия? Он не знал, как выглядят спиритуалисты — не говоря уж о шести тысячах их, — но сомневался, что похож на спиритуалиста. Книга явится его пропуском в случае затруднений. Видите, вот тут на странице 215-й, это про меня. Я пришел попрощаться с ним. Я горд, что еще раз буду его гостем.

В воскресенье вскоре после четырех часов он вышел из номера 79, Боро-Хай-стрит, и направился к Лондонскому мосту — маленький смуглый человек в синем деловом костюме с темно-синей книгой под левой мышкой и биноклем на ремешке через правое плечо. Случайный наблюдатель мог бы подумать, что он направляется на скачки — да только их по воскресеньям не бывает. Или у него под мышкой руководство по наблюдениям

за птицами — но кто отправляется для наблюдения за птицами в синем деловом костюме? В Стаффордшире он бросался бы в глаза, и даже в Бирмингеме его могли бы счесть чудаком, но не в Лондоне, где уже имелся переизбыток чудаков.

Когда он только переехал сюда, его мучили опасения. О его будущей жизни, разумеется; о том, как они с Мод устроятся тут; из-за колоссальности города, его толп и шума; а главное — как будут к нему относиться люди. Будут ли его подстерегать хулиганы вроде тех, которые протолкнули его сквозь живую изгородь в Лэндивуде и сломали его зонтик, или сумасшедшие полицейские вроде Антона, угрожающие разделаться с ним; столкнется ли он с расовыми предрассудками, которые, по убеждению сэра Артура, были корнем всех бед. Но, переходя Лондонский мост, как он делал уже двадцать лет, он чувствовал себя совершенно уверенно. Люди обычно оставляют тебя в покое либо из вежливости, либо из равнодушия, и Джордж был равно рад и тому, и другому.

Бесспорно, неверные заключения выводились постоянно: что он и его сестра приехали в страну совсем недавно; что он индус; что он торгует пряностями. И, конечно, его все еще спрашивали, откуда он. Однако когда он отвечал — чтобы

избежать уточнений в географии, — что он из Бирмингема, вопрошавшие в большинстве умудренно кивали, словно всегда считали, что жители Бирмингема выглядят точно как Джордж Идалджи. Естественно, были юмористические намеки вроде излюбленных Гринуэем и Стентсоном — хотя и не о Бечуаноленде, — но он воспринимал это как неизбежную нормальность вроде дождя и тумана. А некоторые так даже, узнав, что ты из Бирмингема, выражали разочарование, потому что надеялись узнать новости о дальних странах, про которые ты ничего сказать не мог.

Он проехал на метро от Банка до Хай-стрит, Кенсингтон, а затем пошел на восток, пока впереди не возник Альберт-Холл. Его пунктуальность — по поводу которой Мод любила его поддразнивать — привела к тому, что он оказался на месте почти за два часа до начала церемонии. И он решил погулять по парку. Парк был полон семей, туристов, солдат — однако они нигде не сгущались в толпу, так что Джордж не испытывал тревоги. И он не глядел на юные флиртующие парочки и на заботливых родителей, выгуливающих детей, с той завистью, которую испытывал когда-то. Когда только обосновался в Лондоне и еще не оставил надежду жениться и даже волно-

вался из-за того, поладят ли его будущая жена и Мод. Ведь было ясно, что он не может покинуть Мод, да он и не хотел этого. Но затем прошло несколько лет, и он понял, что доброе мнение Мод о его будущей жене значит для него больше, чем наоборот. А затем прошло еще несколько лет, и общие неудобства обзаведения женой стали даже еще более явными. Жена могла выглядеть приятной, но оказаться скандалисткой; жена могла не понимать бережливости; жена, конечно, захочет детей, и Джордж подумал, что, вероятно, не вынесет шума или помех, которые могут в результате возникнуть для его работы. Ну а кроме того, разумеется, вопрос о супружеских отношениях, которые часто препятствуют гармонии. Джордж не вел дел о разводе, но как юрист он видел достаточно доказательств бедствий, к которым способен привести брак. Сэр Артур вел долгую кампанию против тирании законов о разводе и был председателем союза за реформы, прежде чем передать этот пост лорду Баркенхеду. От одного имени в списке чести к другому: именно лорд Баркенхед, тогда Ф. Э. Смит, задавал Гладстону в палате общин въедливые вопросы о деле Идалджи.

Но это между прочим. Ему пятьдесят четыре

года, он живет в достаточном комфорте и к своей неженатости относится вполне философски. Его брат Орас был для семьи потерян: он женился, переехал в Ирландию и сменил фамилию. В каком, собственно, порядке произошли эти три действия, Джордж толком не знал, но они были четко связаны между собой, и нежелательность каждого действия переходила на остальные. Ну, существуют разные образы жизни, и, сказать правду, брак никогда не светил ни ему, ни Мод. Они были сходны в своей застенчивости и в том, как оборонялись от тех, кто к ним приближался. Но в мире вполне хватает браков, и малонаселенность ему явно не угрожает. Брат и сестра могут жить в такой же гармонии, что муж и жена, а в некоторых случаях так и в заметно большей.

Первоначально они с Мод наведывались в Уайрли два-три раза в год, но эти посещения редко оказывались счастливыми. В Джордже они пробуждали слишком много специфических воспоминаний. Стук дверного молотка все еще заставлял его вздрагивать; по вечерам, глядя в темный сад, он часто замечал между деревьями скользящие силуэты, понимал, что их там нет, но все равно испытывал страх. С Мод происходило другое. Как ни дороги ей были отец и мать, она,

когда переступала порог дома, замыкалась в себе, словно робела; не высказывала никаких мнений, и ее смех никогда там не раздавался. Джордж был готов поклясться, что она заболевала. Но он знал средство исцеления: оно называлось станция Нью-Стрит и поезд в Лондон.

Вначале, когда они с Мод выходили куда-нибудь вместе, люди иногда принимали их за мужа и жену, и Джордж, который не хотел, чтобы кто-либо подумал, будто он не способен вступить в брак, говорил довольно педантично: «Нет, это моя дорогая сестра Мод». Но с течением времени он иногда не трудился поправлять, и Мод брала его под руку и посмеивалась. Скоро, предположил он, когда ее волосы станут такими же седыми, как у него, их начнут принимать за супружескую пару стариков, и у него вряд ли будет возникать желание объяснять.

Он бродил туда-сюда и теперь заметил, что подходит к памятнику Альберту. Принц сидел в своем золоченом сверкающем окружении, и все знаменитые люди мира оказывали ему дань уважения. Джордж достал бинокль из футляра и начал тренироваться. Он медленно поднимал бинокль выше уровней, на которых искусство, и наука, и промышленность возвышались над

сидящей фигурой задумчивого принца-консорта, все выше. Ребристое колесико поворачивалось с трудом, и иногда окуляры заполняла масса несфокусированной листвы. Но в конце концов он добрался до четко видимого короткого и толстого христианского креста. Оттуда он начал медленно спускаться вниз по шпилю, который выглядел столь же густонаселенным, как и нижние части монумента. Ярусы ангелов, а затем — чуть пониже ангелов — гроздь других человеческих фигур в классических одеяниях. Он, часто теряя фокус, обошел монумент, пытаясь отгадать, кого изображают фигуры: женщина с книгой в одной руке и змеей в другой, мужчина в медвежьей шкуре с большой дубиной, женщина с якорем, фигура в капюшоне с длинной свечой в руке… Святые, может быть? Или символы? А! Наконец-то одна, которую он узнал, стоящая на одном из углов пьедестала: в одной руке меч, в другой — весы. Джордж с удовольствием заметил, что скульптор не снабдил ее повязкой на глазах. Эта деталь часто вызывала его неодобрение: не потому, что он не понимал назначения повязки, но потому, что его не понимали другие. Повязка на глазах позволяла невеждам отпускать шпильки по адресу его профессии. Этого Джордж извинить не мог.

Он убрал бинокль в футляр и перевел взгляд с одноцветных застывших фигур на цветные, движущиеся всюду вокруг него, — со скульптурного фриза на живой. И в этот момент Джорджа поразило осознание, что все умрут. Иногда он размышлял о собственной смерти; он горевал о своих родителях — об отце двенадцать лет назад, о матери — шесть; он читал некрологи в газетах и бывал на похоронах коллег; и здесь он находился ради великого прощания с сэром Артуром. Но никогда прежде он не понимал — хотя было это скорее нутряным осознанием, а не умственным, — что все будут мертвы. Конечно же, ему сообщили про это еще в детстве, хотя в том контексте, что все — вот как дядя Компсон — продолжают жить за гробом, либо в объятиях Христа, либо, если они были нехорошими, в другом месте. Но теперь он огляделся по сторонам. Принц Альберт был, разумеется, уже давно мертв, как и Виндзорская Вдова, оплакивавшая его; но умрет вот и эта женщина с солнечным зонтиком, а ее мать рядом с ней умрет еще раньше, а вот эти детишки — позднее, хотя, если будет другая война, мальчики могут умереть и раньше, и эти две собаки с ними тоже умрут, и дальние оркестранты, и младенец в коляске… да, даже младенец

в коляске, даже он, если доживет до возраста самого старого жителя планеты, до ста пяти лет, до ста десяти — сколько там? — этот младенец тоже умрет.

И хотя Джордж теперь почти достиг пределов своего воображения, он продолжил. Если вы были знакомы с тем, кто умер, думать о нем вы могли либо так, либо эдак: как о мертвом, полностью исчезнувшем вместе со смертью тела, проверкой и доказательством того, что его личность, его «Я», его индивидуальность более не существует; или вы могли верить, что где-то, как-то, согласно с вашей религией, они еще живы — либо так, как предсказано в священных книгах, либо таким образом, какой нам еще предстоит постичь. Либо так, либо эдак, места для компромисса нет, и про себя Джордж скорее полагал, что исчезновение более вероятно. Но когда стоишь в Гайд-парке в теплый летний день среди тысяч других людей, которые навряд ли сейчас вспоминают про смерть, было не так легко поверить, что напряженная сложность, именуемая жизнью, всего лишь случайно возникла на неведомой планете, краткий миг света между двумя вечностями тьмы. В такой момент возможно почувствовать, что вся эта жизненная энергия должна про-

должаться как-то, где-то. Джордж знал, что не поддастся приливу религиозного чувства — он не собирался попросить у Марилбонской ассоциации спиритуалистов книги и брошюры, которые ему предлагали при покупке билета. Кроме того, он знал, что, несомненно, будет продолжать жить как живет, соблюдая, как и вся страна (и главным образом ради Мод), положенные ритуалы Англиканской Церкви, соблюдая их полунехотя, с неясной надеждой до времени своей смерти, когда он узнает всю правду или же — и более вероятно — не узнает ничего. Но вот сегодня — когда этот всадник прорысил мимо него на коне (и всадник, и конь обречены, как был обречен принц Альберт) — ему показалось, что он увидел крупицу того, что узрел сэр Артур.

От всего этого у него перехватило дыхание в приливе паники; он сел на скамью, чтобы успокоиться. Он смотрел на проходящих мимо, но видел только идущих мимо мертвецов — заключенных, освобожденных условно, но в любую секунду подлежащих возвращению. Он открыл «Воспоминания и приключения» и начал листать страницы в попытке отвлечься. И мгновенно перед его глазами возникли два слова. Набранные обычным шрифтом, но ему буквы почудились за-

главными. «Альберт-Холл». Более суеверный или доверчивый ум мог бы счесть эту секунду значимой, но Джордж отказался признать что-либо, кроме совпадения. Но все равно начал читать и отвлекся. Он читал, как почти тридцать лет назад сэр Артур был приглашен судить состязание за звание силача в Альберт-Холле; и как после ужина с шампанским он вышел в безлюдную ночь и оказался в нескольких шагах позади победителя, простецкого парня, который намеревался бродить по улицам Лондона до первого утреннего поезда в его родной Ланкашир. Джордж внезапно ощущает себя в нежданной яркой стране снов. Туман, дыхание людей белеет в холодном воздухе, и силач с золотой статуэткой подмышкой, не имеющий денег на ночлег. Он видит парня сзади, как его видел сэр Артур, он видит нахлобученную под углом шляпу, материю пиджака, натянутую на могучих плечах, статуэтку, небрежно зажатую под мышкой. Заблудился в тумане, но крупный добрый спаситель с шотландским голосом нагоняет сзади и, как всегда, не боится действовать. Что произойдет с ними со всеми — с несправедливо осужденным юристом, рухнувшим на дорожку стадиона бегуном-марафонцем, заблудившимся силачом — теперь, когда сэр Артур их покинул?

Оставался еще час, но люди уже потянулись к Альберт-Холлу, и он последовал за ними, чтобы избежать толчеи. Его билет был в ложу второго яруса. Ему указали на лестницу в глубине, и он поднялся в изгибающийся коридор. Открылась дверь, и он очутился в узкой воронке ложи. Там было пять сидений, пока еще пустых. Одно сзади, два рядом и еще пара впереди у латунного поручня. Джордж секунду поколебался, затем перевел дух и шагнул вперед.

Люстры слепят его со всех сторон этого раззолоченного и красно-плюшевого Колизея. Это не столько здание, сколько овальный каньон: Джордж глядит далеко вниз, далеко вверх, далеко напротив. Сколько людей вмещается здесь — восемь тысяч, десять тысяч? Голова у него кружится, и он занимает сиденье спереди. Он рад, что Мод посоветовала ему взять бинокль: он рассматривает партер и скат бенуара, три яруса лож, огромный орган за сценой, затем самые высокие пределы круга, ряд арок, поддерживаемых колоннами из коричневого мрамора, а еще выше — основание парящего купола, но его скрывает от взглядов подвешенное полотнище, будто облачная гряда над их головами. Он рассматривает людей, входящих внизу, — многие

в смокингах, однако большинство исполнили желание сэра Артура, чтобы по нему не надевали траура. Джордж снова переводит бинокль на сцену, обрамленную, как он полагает, гортензиями и большими папоротниками. Для семьи поставлены в ряд кресла с квадратными спинками. На том, что в середине, — картонный овал. Джордж фокусирует бинокль на этом кресле. И читает надпись: СЭР АРТУР КОНАН ДОЙЛЬ.

Зал наполняется, и Джордж убирает бинокль в футляр. В ложу слева от него входят соседи. От них его отделяет только обитый плюшем барьер. Они дружески здороваются с ним, словно собрание это важное, но не официальное. Он спрашивает себя, не единственный ли он здесь не спиритуалист. Семья из четырех человек входит в его ложу: он намерен пересесть на одинокое сиденье сзади, но они и слышать об этом не хотят. Ему они кажутся обычными лондонцами: супружеская пара с двумя взрослеющими детьми. Жена непринужденно занимает сиденье рядом с ним: женщина под сорок, прикидывает он. Темно-синее платье, широкое ясное лицо и пышные каштановые волосы.

— Мы тут уже на полпути к Небесам, на такой высоте, правда? — говорит она приветливо. Он

вежливо кивает. — А вы откуда?

Против обыкновения Джордж решает ответить точно.

— Грейт-Уайрли, — говорит он. — Это вблизи Кэннока в Стаффордшире.

Он почти ждет, что она скажет, как когда-то Гринуэй со Стентсоном: «Да нет, откуда ты действительно взялся?» Но она просто ждет, возможно, полагая, что он назовет, к какой спиритуалистической ассоциации он принадлежит. Джордж испытывает искушение сказать: «Сэр Артур был моим другом. — И добавить: — Да, я был гостем на его свадьбе». А затем, если она ему не поверит, доказать это с помощью своего экземпляра «Воспоминаний и приключений». Но он думает, что может показаться развязным. Кроме того, она ведь может удивиться, почему он, если был другом сэра Артура, сидит так далеко от сцены среди обыкновенных людей, которым не выпало такого счастья.

Зал полон, люстры меркнут, и на сцену выходят те, кому там предназначены места. Джордж не знает, не следует ли им всем встать и, может быть, даже зааплодировать; он так привык к ритуалам Церкви, к твердому распорядку, когда стоять, опускаться на колени, оставаться сидеть,

что испытывает растерянность. Будь это театр и заиграй оркестр государственный гимн, это положило бы конец проблеме. Он чувствует, что всем следовало бы стоять, воздавая честь сэру Артуру и из уважения к его вдове; но никакого знака не подается, и все остаются сидеть. Костюм на леди Конан Дойль серый, а не траурно-черный; два ее высоких сына, Денис и Адриан, в смокингах и держат в руках цилиндры; за ними следуют их сестра Джин и их единокровная сестра Мэри, единственное уцелевшее дитя сэра Артура от первого брака. Леди Конан Дойль занимает свое место слева от пустого кресла. Один сын садится рядом с ней, другой — по ту сторону картонного овала; оба молодых человека с некоторой неловкостью опускают свои цилиндры на пол. Джордж нечетко различает их лица и хочет достать бинокль, но сомневается, будет ли это прилично? Вместо этого он смотрит вниз на свои часы. Ровно семь часов. Такая пунктуальность производит на него впечатление; почему-то он ожидал, что спиритуалисты времени особо не соблюдают.

Мистер Джордж Крейз, представитель Марилбонской ассоциации спиритуалистов, представляет себя как председателя этого собрания. Он начинает с чтения от имени леди Конан Дойль

ее заявления.

> На каждом собрании по всему миру я сидела рядом с моим возлюбленным мужем, и на этом великом собрании, на которое люди пришли с уважением и любовью в сердцах, чтобы воздать ему честь, его кресло поставлено рядом с моим, и я знаю, что спиритуально он будет вблизи меня. Хотя наши земные глаза не способны видеть сквозь вибрации Земли, те, кто обладает дарованным Богом экстра зрением, которое называют ясновидением, смогут увидеть любимый образ здесь с нами.
>
> Я хочу от имени моих детей, моего собственного и от имени моего возлюбленного мужа от всего сердца поблагодарить вас всех за любовь к нему, собравшую вас здесь в этот вечер.

По залу проносится шумок. Джордж не в состоянии решить, то ли он свидетельствует об уважении к вдове, то ли о разочаровании, что сэр Артур чудесным образом не возникнет перед ними на сцене. Мистер Крейз подтверждает это: вопреки наиболее глупым предположениям в

прессе никогда не вставало вопроса о какой-либо физической манифестации сэра Артура, возникнувшей бы на сцене будто по мановению волшебной палочки. Для тех, кто не знаком с истинами спиритуализма, и особенно для присутствующих в зале журналистов он объясняет, что после перехода дух часто испытывает смятение и некоторое время предположительно не в состоянии вступать в контакт немедленно. Сэр Артур, однако, был полностью подготовлен к переходу, которого ожидал с безмятежной улыбкой, расставаясь со своими близкими, как человек, отправляющийся в долгое путешествие, однако уверенный, что все они вновь скоро встретятся. В таких условиях можно ожидать, что такой дух обретет свое место и силу быстрее всех прочих.

Джордж вспомнил что-то сказанное Адрианом, сыном сэра Артура, в интервью «Дейли геральд». Семье, сказал он, будет недоставать звука шагов патриарха, его физического присутствия, но это все. «В остальном он бы просто мог уехать в Австралию». Джордж знал, что его спаситель однажды посетил далекий континент, потому что несколько лет назад он взял в библиотеке «Странствования спиритуалиста». Правду сказать, сведения о путешествии показались ему

много интереснее теологических рассуждений. Но он помнил, что, когда сэр Артур и его семья — вместе с неутомимым мистером Вудом — вели пропаганду в Австралии, их окрестили Пилигримами. И теперь сэр Артур находится там — или в спиритуалистическом ее эквиваленте, чем бы он ни был.

Читается телеграмма от сэра Оливера Лоджа. «Наш доблестный воин будет все так же продолжать свою кампанию на Той Стороне с еще большей мудростью и знанием. *Sursum corda!*[25]» Затем миссис Ст. Клэр Стобарт читает из «Послания к Коринфянам» и объявляет, что слова апостола Павла соответствуют случаю, ибо при жизни сэра Артура часто называли апостолом Павлом спиритуализма. Мисс Глэдис Рипли поет соло Лиддла «Пребудь со мной». Преподобный Г. Вейл Оуэн говорит о литературных трудах сэра Артура и соглашается с мнением самого автора, что «Белый отряд» с продолжением «Сэр Найджел» — его лучшие произведения; более того: он считает, что описание во второй книге христианского рыцаря, глубоко преданного своему долгу, более чем приложимо к самому сэру Арту-

---

[25] Примечания: 25
Здесь: Выше сердца! *(лат.)*

ру. Преподобный С. Дрейтон Томас, служивший на похоронах в Кроборо, восхваляет неутомимую деятельность сэра Артура как глашатая спиритуализма.

Затем они все встают, и раздается любимый гимн движения «Веди, о Свет Благой». Джордж замечает в пении что-то иное, чего сначала не может определить. «Ногам дай силы, не молю узреть далекий край, довольно шага мне». На секунду слова сбивают его с толку: они как-то не вяжутся со спиритуализмом. Ведь, насколько известно Джорджу, сторонники движения все время устремляют глаза на что-то дальнее. Затем он переключает внимание с сути на исполнение. Да, пение совсем иное. В церкви люди поют гимны, будто заново знакомясь со строками, известными им уже месяцы и годы, — со строками, содержащими истины настолько установленные, что они не требуют доказательств или размышлений. А здесь в голосах звучат взыскательность и свежесть, а также что-то вроде веселой бодрости, граничащей со страстностью, которая встревожила бы большинство приходских священников. Каждое слово подчеркивается, будто оно содержит совершенно новую истину, которую необходимо восхвалить и тут же сообщить

другим. Все это кажется Джорджу крайне неанглийским. Осторожно он находит это достойным восхищения: «Пока не сгинет ночь / и лица ангелов с зарей мне улыбнутся / Что я любил давно и потерял на время».

Когда гимн допет и они снова садятся, Джордж позволяет себе сделать в сторону соседки легонький неопределенный знак одобрения — достаточно скромный, и тем не менее в церкви он ничего подобного не допустил бы. Она отвечает улыбкой, которая заполняет все ее лицо. В улыбке этой нет ничего фамильярного, ничего миссионерского. И никакого заметного самодовольства. Ее улыбка просто говорит: да, это так, это верно, это полно радости.

Джорджа это впечатляет, но и чуть-чуть шокирует: к радости он относится с подозрением. Он ее практически никогда не знавал. В детстве было что-то, именуемое «удовольствием», обычно сопровождаемое эпитетами «грешное», «тайное» или «не подобающее». Единственными допустимыми удовольствиями были определяемые словом «простые». Ну а радость? Что-то, ассоциирующееся с трубящими в трубы ангелами, и место ей было на Небесах, а не на Земле. Пусть радость будет безграничной — так ведь говорили

люди, ведь верно? Но по опыту Джорджа радость всегда была строго ограниченной. Что до удовольствия, то он испытывал его, выполняя свой долг — по-отношению к семье, к клиентам и, порой, к Богу. Но он практически никогда не делал того, что считают удовольствием его компатриоты: пить пиво, танцевать, играть в футбол и в крикет, не говоря уж о том, что должна была принести женитьба, женись он. Он никогда не познакомится с женщиной, которая подпрыгивала бы, как девочка, приглаживала бы волосы и бежала бы встретить его.

Мистер Э. У. Оуэн, который однажды был с гордостью председателем первого большого собрания, на котором сэр Артур объяснял спиритуализм, говорит, что никто настолько не объединял в себе все достоинства, какие мы ассоциируем с британским характером: мужество, оптимизм, верность, участливость, великодушие, любовь к правде и преданность Богу. Затем мистер Ханнен Суоффер вспоминает, что менее двух недель назад сэр Артур, смертельно больной, поднялся по лестнице министерства внутренних дел, чтобы настаивать на отмене закона о колдовстве, который недоброжелатели пытаются применить против медиумов. Это был его

последний долг, а в своей преданности долгу он не отступал никогда. Она проявлялась во всех аспектах его жизни. Многие знали Дойля-писателя, Дойля-драматурга, Дойля-путешественника, Дойля-боксера, Дойля-крикетиста, который однажды выбил великого У. Г. Грейса. Но более великим, чем все они, был Дойль, искавший правосудия, когда страдали безвинные. Именно благодаря его усилиям был принят закон об апелляции в уголовных делах. Это Дойль с таким триумфом выступил в защиту Идалджи и Слейтера.

При упоминании своего имени Джордж инстинктивно опускает взгляд, затем гордо поднимает его, затем украдкой косится по сторонам. Жаль, что его снова объединили с этим низким и неблагодарным преступником. Однако, думается ему, он вправе испытать достойное удовольствие, потому что его имя было названо на таком торжественном собрании. Мод тоже будет довольна. Теперь он открыто посматривает на своих соседей, но его момент уже миновал. Их взгляды сосредоточены на мистере Суоффере, который переходит к тому, чтобы восславить еще одного Дойля, и даже еще более великого, чем Дойль — восстановитель справедливости. Этот величайший из всех Дойлей был и остается человеком,

который в часы военной скорби принес женщинам страны утешительное доказательство, что те, кого они любили, не мертвы.

Теперь их просят молча простоять две минуты, чтобы почтить память их доблестного рыцаря. Леди Конан Дойль, поднимаясь, бросает краткий взгляд на пустое кресло рядом с собой, а потом стоит между двумя своими высокими сыновьями и глядит в зал. Шесть — восемь? — десять? — тысяч глядят в ответ с галереи, с балкона, из ярусов лож, с огромного бенуара и из партера. В церкви люди опустили бы головы и закрыли бы глаза, чтобы помянуть усопшего. Здесь нет и такой сдержанности и замкнутости в себе — искреннее сочувствие передается открытым взглядом. И еще Джорджу кажется, что это молчание не похоже на все известные ему прежде. Официальные молчания почтительны, торжественны, часто нарочито удручающие; это молчание активно, исполнено предвкушения и даже страстности. Если молчание может походить на сдерживаемый шум, то тогда это именно такое молчание. Когда оно завершается, Джордж осознает, что подпал под такую его странную власть, что почти забыл про сэра Артура. Мистер Крейз вновь у микрофона.

— Сегодня вечером, — объявляет он, пока многие тысячи опять садятся, — мы намерены провести крайне смелый эксперимент с мужеством, внушенным нам нашим отошедшим вождем. С нами тут духовидец-сенситив, и она намерена попытаться проецировать впечатления с этой сцены. Одна из причин, почему мы колебались осуществить это в таком гигантском собрании, заключается в страшном напряжении, которому подвергается сенситив. В скоплении десяти тысяч людей медиум оказывается в фокусе непомерной силы. Сегодня вечером миссис Робертс попытается описать несколько отдельных друзей, но впервые подобная попытка будет предпринята в столь колоссальном собрании. Вы можете помочь своими вибрациями, пока будете петь следующий гимн «Отверзни мои глаза и Проблеск Истины увидеть дай».

Джордж еще ни разу не присутствовал на сеансах. Он, если на то пошло, ни разу не посеребрил руку цыганки и не уплачивал два пенса, чтобы посидеть на ярмарке перед хрустальным шаром. Все это он считает ловкими фокусами-покусами. Только дурак или дремучий дикарь поверит, будто линии на ладони или чаинки на дне чашки о чем-то вешают. Он готов отнестись с уважением

к убеждению сэра Артура, что дух не подвластен смерти; и пожалуй, что при некоторых обстоятельствах такой дух может оказаться способным вступить в общение с живыми. Он также готов признать, что в телепатических экспериментах, которые сэр Артур описал в своей автобиографии, что-то было. Но наступает момент, когда Джордж ставит точку. Например, он ставит ее, когда люди заставляют мебель подпрыгивать, когда таинственно звенят колокольчики, и из мрака возникают фосфоресцирующие лица покойных, когда руки духа оставляют предположительные отпечатки на размягченном воске. Джордж видит за всем этим слишком очевидные фокусы. Разве не подозрительно, что наилучшие условия для общения с духами — задернутые занавески, погашенные лампы, люди, которые держатся за руки и не могут встать и проверить, что именно происходит, — представляют собой наилучшие же условия шарлатанских подтасовок? С сожалением он приходит к выводу, что сэру Артуру была присуща излишняя доверчивость. Он читал, что американский фокусник мистер Гарри Гудини — с ним сэр Артур познакомился в Соединенных Штатах — вызвался воссоздать все до единого эффекты, известные профессиональным меди-

умам. Не раз и не два достойные доверия люди надежно его связывали, но едва свет гасили, как он умудрялся высвободиться настолько, чтобы звонить в колокольчики, производить всяческие шумы, передвигать мебель с места на место и даже исторгать эктоплазму. Сэр Артур отказался принять вызов Гудини. Он не отрицал, что фокусник способен создавать эти эффекты, но предпочитал собственное истолкование этой способности: мистер Гудини в реальности обладает спиритическим даром, существование которого он с необъяснимым упрямством находит нужным отрицать.

Когда пение «Отверзни мои глаза» завершается, вперед к микрофону подходит тоненькая женщина с черными коротко остриженными волосами, одетая в черный струящийся атлас. Это миссис Эстелла Робертс, любимый медиум сэра Артура. Атмосфера в зале напряжена даже больше, чем на протяжении двухминутного молчания. Миссис Робертс стоит, чуть покачиваясь, сплетя пальцы, склонив голову. Все глаза устремлены на нее. Медленно, очень медленно она начинает поднимать голову, затем ее пальцы расплетаются, и руки начинают раскидываться, а покачивание продолжается. Наконец она произносит первое

слово.

— Здесь с нами великое множество духов, — начинает она. — Они прямо-таки толкаются позади меня.

И действительно, впечатление такое, будто она выстаивает вопреки огромному нажиму с разных сторон.

Некоторое время ничего не происходит, только покачивание и невидимые толкания. Женщина справа от Джорджа шепчет:

— Она ждет Красное Облако.

Джордж кивает.

— Это ее дух-водитель, — добавляет соседка.

Джордж не знает, что сказать. Это совершенно не его мир.

— Многие водители — индейцы. — Она умолкает, затем улыбается и добавляет без малейшего смущения: — То есть не индийцы, а краснокожие индейцы, имела я в виду.

Ожидание столь же активно, как было молчание, будто все люди в зале, как и невидимые духи, жмут на тоненькую фигурку миссис Робертс.

— Они толкаются, они толкаются, многие из них несчастливы, зал, свет, мир, который они предпочитают… молодой человек, темные волосы зачесаны назад, портупея, у него есть весть…

женщина, мать, трое детей, один перешел и теперь с ней… пожилой джентльмен лысая голова был врачом неподалеку отсюда серый костюм перешел внезапно после ужасного несчастного случая… малютка, да, девочка унесенная инфлюэнцей она тоскует по двум братикам один из них Боб а ее родители… Прекратите! Прекратите! — внезапно кричит миссис Робертс и раскинутыми руками словно отталкивает напирающих сзади духов. — Их слишком много, их голоса смешиваются, пожилой мужчина в пальто, который провел большую часть жизни в Африке… у него есть весть… седовласая бабушка разделяет вашу тревогу и хочет, чтобы вы узнали…

Джордж слушает, как толпа духов снабжается краткими описаниями. Такое впечатление, будто все они кричат, требуя внимания, дерутся, чтобы передать свои вести. В уме Джорджа возникает юмористический, но логичный вопрос, неизвестно откуда взявшийся, возможно, реакция на необычное напряжение. Если это действительно духи англичан и англичанок, которые перешли в мир иной, так, конечно же, они встали бы в нормальную очередь? Если они вознесены на более высокий уровень, почему они низведены в такую беспардонную чернь? Он не думает поде-

литься этой мыслью с соседями, которые теперь наклонились вперед, вцепившись в латунный поручень.

— …мужчина в двубортном костюме лет двадцати пяти — тридцати, у которого есть весть… девушка, нет, сестры, которые внезапно перешли… пожилой джентльмен лет за семьдесят, который жил в Хертвордшире…

Перекличка продолжается, и иногда краткое описание вызывает громкий вскрик в дальней части зала. Ощущение предвкушения вокруг него перенапряжено и лихорадочно; в нем есть что-то почти пугающее. Джордж прикидывает, каково это — в присутствии тысяч оказаться найденным скончавшимся членом вашей семьи. Он предполагает, что некоторые предпочли бы, чтобы это произошло в уединенности темной занавешенной комнаты во время сеанса, а возможно, и вообще никогда.

Миссис Робертс снова затихает. Так, будто конкурирующие голоса вокруг нее тоже на момент замолкли. Затем медиум внезапно вскидывает правую руку и указывает в глубину бенуара, в противоположную от Джорджа сторону.

— Да, вон он там! Я его вижу! Я вижу форму духа молодого солдата. Он ищет кого-то. Он ищет

джентльмена почти безволосого.

Джордж, как и все, кому видна та сторона зала, напряженно всматривается, отчасти ожидая, что форма духа окажется видимой, отчасти стараясь распознать джентльмена почти безволосого.

— На вид ему двадцать четыре. В форме цвета хаки. Стройный, хорошо сложенный, небольшие усики. Уголки рта слегка опущены. Перешел он внезапно.

Миссис Робертс умолкает и наклоняет голову вниз, примерно как адвокат, когда берет записку солиситора рядом с собой.

— Он называет тысяча девятьсот шестнадцатый как год своего перехода. Он четко называет вас «дядя». Да. «Дядя Фред».

Лысый мужчина в глубине бенуара поднимается на ноги, кивает и столь же внезапно садится, словно не уверенный в требованиях этикета.

— Он говорит о брате Чарльзе, — продолжает медиум. — Это верно? Он хочет знать, с вами ли тетя Лилиен. Вы понимаете?

Мужчина на этот раз не встает, но усердно кивает.

— Он говорит мне, что была годовщина, день рождения брата. Некоторая тревога дома. И напрасная. Весть продолжается… — И тут миссис

Робертс внезапно почти прыгает вперед, словно ее изо всех сил толкнули сзади. Она стремительно оборачивается и кричит: — Ну ЛАДНО! — Ее как будто толкают назад. — ЛАДНО, говорят же вам!

Но когда она поворачивается лицом к партеру, уже ясно, что контакт с солдатом разорван. Медиум прячет лицо в ладонях. Пальцы, кроме больших, прижаты ко лбу, большие заложены за уши. Она словно старается обрести необходимое равновесие. Наконец она отнимает ладони от лица и раскидывает руки.

Теперь это дух женщины в возрасте между двадцатью пятью и тридцатью годами, чье имя начинается с Дж. Она была вознесена, когда рожала дочку, которая перешла вместе с ней. Миссис Робертс ведет глазами вдоль партера, следуя взглядом за духом-матерью с духом-младенцем, пока та пытается найти своего покинутого мужа.

— Да, она говорит, что ее имя Джун, и она ищет… Р. Да, Р… может быть, Ричард?

Тут со своего сиденья вскакивает мужчина и кричит:

— Где она? Где ты, Джун? Джун, поговори со мной. Покажи мне наше дитя!

Он в полном расстройстве и смотрит вокруг, но тут пожилая пара со смущенным видом насиль-

ственно его усаживает.

Миссис Робертс, столь сосредоточена она была на голосе духа, говорит, как будто ее не перебивали:

— Ее весть, что она и дитя смотрят на вас и оберегают в ваших нынешних бедах. Они ждут вас на дальней стороне. Они счастливы и желают, чтобы вы были счастливы, пока вы не воссоединитесь все вместе.

Духи, как кажется, становятся теперь более организованными. Личности устанавливаются, вести передаются. Мужчина ищет свою дочь. Она занимается музыкой. Миссис Робертс передает весть: дух одного из великих музыкантов помогает дочери этого человека; если она и дальше будет заниматься прилежно, дух продолжит свое покровительство.

Джордж начинает различать определенную систему. Передаваемые вести — утешительные, ободряющие или утешительно-ободряющие — носят очень общий характер. Как и большинство опознаний, во всяком случае — в начале. Но затем следует какая-нибудь завершающая подробность, которую медиум отыскивает не сразу. По мнению Джорджа, очень маловероятно, что эти духи, если они существуют, настолько до удивления не спо-

собны определить свою личность без длительной игры в догадки со стороны миссис Робертс. Или предлагаемая проблема передачи между двумя мирами не более чем прием для доведения драматичности — а вернее, мелодраматичности, — до кульминационного момента, когда кто-нибудь в зале не закивает, или не вскинет руку, или не встанет, будто откликаясь на зов, либо не прижмет ладонь к лицу от недоверчивого изумления и радости?

Это может быть просто игра в умные догадки: несомненно, существует статистическая вероятность, что в таком многочисленном собрании окажется кто-то с соответствующим инициалом, а медиум может с такой ловкостью подбирать слова, что они наводят ее на подходящего кандидата. Или же все это может быть прямым обманом: среди зрителей рассажены сообщники, чтобы произвести впечатление на доверчивых, полностью их убедить. А кроме того, есть и третья возможность: те в зале, что кивают, и вскидывают руку, и встают, и восклицают, искренне изумлены и искренне верят в установление контакта; но потому лишь, что кто-то в кругу их знакомых, возможно, фанатичных спиритуалистов, исполненный жажды распространять

свою веру даже самыми циничными способами, сообщил организаторам необходимые сведения. Вот так, заключает Джордж, это, возможно, и проделывается. Наиболее действенной, как и сложными показаниями, оказывается умелая смесь правды с вымыслом.

— А теперь весть от джентльмена, очень достойного и корректного джентльмена, который перешел десять лет назад, двенадцать лет назад. Да, я поняла, он перешел в восемнадцатом году, говорит он мне.

В том году умер отец, думает Джордж.

— Ему около семидесяти пяти лет.

Странно, отцу было семьдесят шесть. Долгая пауза, а затем:

— Он был очень духовным человеком.

И тут Джордж чувствует, как по коже у него поползли мурашки — по рукам, плечам и шее. Нет, нет, конечно же, нет! Он чувствует, что приморожен к сиденью; его плечи скованы; он неподвижно глядит на сцену, ожидая следующих слов медиума.

Она поднимает голову и вглядывается в верхнюю часть зала между последними ложами и галереей.

— Он говорит, что первые свои годы провел

в Индии.

Джордж вне себя от ужаса. Никто не знал, что он будет здесь, кроме Мод. Может быть, это взятая с потолка догадка или, вернее, абсолютно точная догадка кого-то, кто сообразил, что разные люди, так или иначе связанные с сэром Артуром, по всей вероятности, будут здесь. Но нет, ведь многие из самых знаменитых и респектабельных вроде сэра Оливера Лоджа ограничились телеграммами. Мог ли кто-то узнать его, когда он входил? Ну, это на грани возможного, но как они успели выяснить год смерти его отца?

Миссис Робертс теперь простерла руку вперед и указывает на верхний ярус лож на другой стороне зала. Тело Джорджа зудит все, будто его голым бросили в заросли крапивы. Он думает: я этого не вынесу, это надвигается на меня, и мне не спастись. Взгляд и простертая рука медленно обводят амфитеатр, оставаясь на одном уровне, будто наблюдая, как образ духа вопрошающе следует от ложи к ложе. Все логичные заключения минутной давности ничего не стоят. Его отец вот-вот заговорит с ним. Его отец, который всю жизнь провел священником Англиканской Церкви, вот-вот заговорит с ним посредством этой… неестественной женщины. Чего он может

хотеть? Какая весть может быть столь настоятельной? Что-то о Мод? Отеческий упрек сыну за угасание его веры? Ему вот-вот будет вынесен какой-то ужасный приговор? Почти в панике Джордж жалеет, что рядом с ним нет его матери. Но его мать уже шесть лет как умерла.

Пока голова медиума продолжает медленно поворачиваться, пока ее рука все еще указывает на том же уровне, Джордж испытывает даже больший ужас, чем в тот день, когда он сидел в своей приемной, зная, что вот-вот раздастся стук и полицейский арестует его за преступление, которого он не совершал. И теперь он вновь подозреваемый и вот-вот будет обличен на глазах десяти тысяч свидетелей. Он думает, не лучше ли просто встать на ноги и положить конец этому нечеловеческому напряжению, закричав: «Это мой отец!» Возможно, он потеряет сознание и без чувств упадет через поручень в бенуар внизу. Возможно, с ним случится припадок.

— Его имя… он говорит мне свое имя… Оно начинается с «С»…

И все еще голова поворачивается, поворачивается, ожидая увидеть нужное лицо в верхнем ярусе лож, ожидая чудесный миг узнавания. Джордж абсолютно уверен, что все смотрят на

него и скоро поймут точно, кто он такой. Но теперь он боится признания, которого желал прежде. Он хочет спрятаться в самой глубокой подземной темнице, в самой гнусной тюремной камере. Он думает: это не может быть правдой, мой отец никогда не повел бы себя так, может быть, я обмараюсь, как тогда, мальчиком по дороге из школы, может быть, он и возвращается для того, чтобы напомнить мне, что я — ребенок, показать мне, что его воздействие продолжается даже и после его смерти, да, это не было уж так не похоже на него.

— Я знаю его имя…

Джордж чувствует, что завизжит. Он потеряет сознание. Он упадет и ударится головой о…

— Это Стюарт.

И тут мужчина, примерно ровесник Джорджа, в нескольких ярдах слева от него, встает и машет в сторону сцены, признавая этого семидесятипятилетнего старика, который вырос в Индии и перешел в 1918 году, и прямо-таки хватая его, будто трофей. Джордж чувствует, что на него пала тень ангела смерти; он оледенел до костей, весь потный, измученный, угрожаемый, полный безграничного облегчения и жгучего стыда. И в то же время какая-то его часть поражена, про-

никлась любопытством, пугливо прикидывает, а вдруг…

— Теперь со мной дама, ей лет сорок пять — пятьдесят. Она перешла в тринадцатом году. Она упоминает Морпет. Она никогда не была замужем, но у нее весть для джентльмена. — Миссис Робертс переводит взгляд вниз на партер. — Она говорит что-то о лошади.

Пауза. Миссис Робертс снова опускает голову, поворачивает ее вбок, принимает пояснение.

— Теперь я знаю ее имя. Эмили. Да. Она сообщила свое имя как Эмили Уайлдинг Дэвисон. У нее есть весть. Она устроила так, чтобы появиться здесь и передать весть джентльмену. Я думаю, она сообщила вам с помощью планшетки, что будет присутствовать здесь.

Мужчина в рубашке с открытым воротом, сидящий вблизи сцены, поднимается на ноги и, словно сознавая, что он обращается ко всему залу, говорит далеко разносящимся голосом:

— Верно. Она сказала мне, что войдет в контакт сегодня. Эмили — суфражистка, которая бросилась под лошадь короля и умерла от полученных травм. Как дух она мне хорошо известна.

Зал словно испустил общий вздох. Миссис Робертс начинает излагать весть, но Джордж не

трудится слушать. Его здравый смысл внезапно восстановился, чистый пронизывающий ветер логики обдувает его мозг. Фокусы-покусы, как он всегда и подозревал. Эмили Дэвисон, только подумать! Эмили Дэвисон, которая била окна, швыряла камни, поджигала почтовые ящики, которая отказывалась подчиняться тюремным правилам, а потому часто подвергалась насильственному кормлению. Глупая истеричка, по мнению Джорджа, которая сознательно искала смерти, лишь бы продвинуть свое дело; впрочем, поговаривали, что она просто намеревалась прицепить к лошади флаг и не рассчитала скорость ее движения. То есть если так, то вдобавок не только истеричка, но еще и не компетентная. Нельзя нарушать закон, чтобы изменить закон. Для этого есть петиции, дебаты, демонстрации, если уж необходимо, но в пределах разумного. Те, кто нарушал закон в качестве довода за получение права голоса, тем самым демонстрировали, что не годятся для его получения.

Тем не менее суть не в том, была ли Эмили Дэвисон глупой истеричкой или же ее поступок привел к тому, что Мод получила право голоса, а это Джордж всецело одобрял. Нет, суть в том, что сэр Артур был широко известен как противник

права голоса для женщин, и самая идея, будто подобный дух посетил собрание его памяти, выглядела нелепой. Разве что духи усопших нелогичны не менее, чем буйны. Быть может, Эмили Дэвисон хотела сорвать это собрание, как однажды сорвала Дерби. Но в таком случае ее весть следовало адресовать сэру Артуру или его вдове, а не сочувствующему другу.

Прекрати, говорит себе Джордж. Прекрати думать логично о подобных вещах. А вернее, прекрати находить сомнения в пользу этих людей. Ты претерпел неприятный шок из-за ложной, но ловко подстроенной тревоги, однако это еще не повод позволять слабости твоих нервов воздействовать на твой рассудок. А затем он думает: уж если я так напугался, если уж я так запаниковал, уж если я поверил, что сейчас умру, так вообрази-те, каково потенциальное воздействие подобного на более слабые сознания и меньшие рассудки. Джордж прикидывает, а не лучше ли Закон о колдовстве — который ему, бесспорно, не знаком — сохранить в действии?

Миссис Робертс передавала вести около получаса. Джордж замечает, что люди в партере поднимаются с сидений. Но теперь они не претендуют на ушедшего родственника и не встают

все разом приветствовать духовные образы былых любимых. Они выходят из зала. Может быть, появление Эмили Уайлдинг Дэвисон и для них оказалось последней соломинкой. Быть может, они пришли сюда как поклонники жизни и творчества сэра Артура, но отказываются и дальше принимать участие в этом публичном фокусе-покусе. Тридцать, сорок, пятьдесят человек встали и решительно направляются к выходам.

— Я не могу продолжать, когда все эти люди уходят, — объявляет миссис Робертс. Тон у нее обиженный, но также и нервничающий. Она делает несколько шагов назад. Кто-то где-то подает сигнал, и огромный орган за сценой внезапно испускает оглушающий трубный звук. Должен ли он замаскировать шаги уходящих скептиков или означает конец собрания? Джордж смотрит на женщину справа в поисках руководства. Она хмурится, возмущенная тем, как помешали медиуму. Что до самой миссис Робертс, она опустила голову, обхватила себя руками, игнорируя эти помехи, нарушающие хрупкую линию связи с миром духов, которую ей удалось установить.

И затем произошло то, чего Джордж уж никак не ожидал. Орган внезапно замолкает в середине гимна, миссис Робертс раскидывает руки,

поднимает голову, уверенно идет к микрофону и звенящим полным страстности голосом восклицает:

— Он здесь! — И снова: — Он здесь!

Идущие к выходам останавливаются, некоторые возвращаются на свои места. Но в любом случае они уже забыты. Все сосредоточенно смотрят на сцену, на миссис Робертс, на пустое кресло с надписью на картоне поперек его. Взрыв органной музыки мог быть призывом ко вниманию, прелюдией именно этого мгновения. Весь зал безмолвен, смотрит, ждет.

— Сначала я увидела его, — говорит она, — во время двух минут молчания.

— Он был здесь, сначала стоял позади меня, хотя и в стороне от других духов.

— Я видела его четко. Он был в смокинге.

— Он выглядел так, как выглядел все последние годы.

— Нет никаких сомнений. Он был вполне готов к переходу.

Пока она делает паузы между этими краткими драматическими утверждениями, Джордж всматривается в семью сэра Артура на сцене. Все они за одним исключением смотрят на миссис Робертс, зачарованные ее сообщениями. Только

леди Конан Дойль не повернулась. С такого расстояния Джордж не видит выражения ее лица, но ее руки скрещены на коленях, ее плечи развернуты, ее осанка прямая, голова гордо поднята — она глядит над присутствующими в дальнюю даль.

— Он наш великий защитник и здесь, и на той стороне.

— Он уже совершенно способен к демонстрации. Его переход был мирным, и он был вполне к нему готов. Не было ни боли, ни смятения его духа. Он уже начинает трудиться для нас там.

— Когда я только увидела его в те две минуты молчания, это был лишь проблеск.

— Ясно и четко я его увидела, когда передавала вести.

— Он подошел и встал позади меня и ободрял, пока я выполняла свою работу.

— Я снова узнала этот чудесный ясный его голос, в котором нельзя ошибиться. Он держался как джентльмен, каким был всегда.

— Он с нами все время, и барьер между двумя мирами не более чем временный.

— В переходе нет ничего страшного, и наш великий защитник доказал это, появившись здесь среди нас сегодня.

Женщина слева от Джорджа наклоняется через

плюшевую ручку кресла и шепчет:

— Он здесь.

Несколько человек теперь на ногах, словно чтобы лучше видеть сцену. Все сосредоточенно смотрят на пустое кресло, на миссис Робертс, на семью Дойлей. Джордж чувствует, что снова захлестнут каким-то массовым чувством, которое превосходит, превозмогает молчание. Он больше не испытывает страха, который пережил, когда думал, что его отец пришел за ним, или скепсиса, вызванного явлением Эмили Дэвисон. Вопреки себе он чувствует своего рода осторожное благоговение. Ведь в конце-то концов, речь идет о сэре Артуре, о том, кто охотно применил свои детективные способности ради Джорджа, о том, кто рисковал своей репутацией, чтобы спасти репутацию Джорджа, о том, кто помог вернуть ему отнятую у него жизнь. Сэр Артур, человек высочайшей честности и ума, верил в явления того рода, свидетелем каких только что был Джордж; в такой момент со стороны Джорджа было бы бессовестно отречься от своего спасителя.

Джордж не думает, что теряет рассудок или здравый смысл. Он спрашивает себя: а что, если в происходившем была та смесь правды и лжи, которую он определил раньше? Что, если

мелодраматичная миссис Робертс помимо собственной воли действительно приносила вести из далеких краев? Что, если сэр Артур в какой-либо форме и в каком-либо месте, где бы он ни находился, вынужден, чтобы войти в контакт с материальным миром, использовать в качестве передатчиков тех, кто частично прибегает к шарлатанству? Не будет ли это объяснением?

— Он здесь, — повторяет женщина слева от него тоном нормального разговора.

Затем эти слова подхватывает мужчина в десятке кресел от них.

— Он здесь.

Два слова, сказанные обычным тоном, слышные лишь в нескольких футах. Но воздух в зале настолько заряжен, что они будто магически усиливаются.

— Он здесь, — повторяет кто-то на галерее.

— Он здесь, — откликается женщина внизу в партере.

Затем мужчина в заднем ряду бенуара внезапно гремит голосом проповедника-сектанта:

— ОН ЗДЕСЬ!

Джордж инстинктивно опускает руку к своим ступням и вытаскивает бинокль из футляра. Прижимает окуляры к очкам и пытается настроить

его на сцену. Большой и указательный пальцы нервно покручивают за нужный фокус то туда, то сюда, а затем все-таки находят золотую середину. Он рассматривает медиума в экстазе, пустое кресло и семью Дойлей. Леди Конан Дойль с момента объявления о присутствии сэра Артура хранит все ту же позу — прямая спина, расправленные плечи, поднятая голова — и смотрит куда-то с — замечает теперь Джордж — чем-то вроде улыбки на губах. Золотоволосая кокетливая молодая женщина их краткого знакомства стала более темноволосой с осанкой матроны; он ее видел только рядом с сэром Артуром, как и сейчас утверждает она. Он двигает биноклем взад-вперед — на кресло, на медиума, на вдову. Он замечает, что дышит часто и хрипло.

Прикосновение к его правому плечу. Он опускает бинокль. Соседка покачивает головой и говорит мягко:

— Так вы его не увидите.

Она его не упрекает, а просто объясняет положение вещей.

— Увидеть его вы можете только глазами веры.

Глаза веры. Глаза сэра Артура, когда они встретились в «Гранд-Отеле» на Чаринг-Кросс. Он

поверил в Джорджа, так не должен ли сейчас Джордж поверить в сэра Артура? Слова его защитника: «Я не думаю, я не верю, я ЗНАЮ». От сэра Артура исходило завидное утешающее чувство уверенности. Он знал то, что знал. А что он, Джордж, знает? Знает ли он, в конце концов, хоть что-то? Какую сумму знаний он обрел в свои пятьдесят четыре года? По большей части он прожил жизнь, учась и ожидая объяснений. Чужой авторитет для него всегда был важен. Есть ли у него собственный авторитет? В пятьдесят четыре года он думает о многих вещах, верит в кое-какие, но может ли он претендовать, что действительно что-то знает?

Крики, свидетельствующие о присутствии сэра Артура, теперь замерли, возможно, потому, что со сцены не последовало ответного подтверждения. О чем говорилось в заявлении леди Конан Дойль в начале собрания? Что наши земные глаза не способны видеть сквозь вибрации Земли; что лишь те, кто обладает дарованным Богом экстра-зрением, которое называют ясновидением, смогут увидеть любимый образ здесь с нами. Было бы поистине чудом, если бы сэр Артур сумел наделить даром ясновидения самых разных людей, которые все еще стоят по всему залу. А

теперь снова говорит миссис Робертс.

— У меня для вас весть, дорогая, от сэра Артура.

И снова леди Конан Дойль не поворачивает головы.

Миссис Робертс в медленном колыхании черного атласа идет налево к семье Дойлей и пустому креслу. Она подходит к леди Конан Дойль и останавливается рядом с ней, но чуть сзади, лицом к той части зала, где сидит Джордж. Несмотря на расстояние, слова ее слышны четко.

— Сэр Артур сказал мне, что кто-то из вас сегодня утром заходил в беседку. — Она ждет, а когда вдова не отвечает, настаивает: — Это верно?

— Ну, — отвечает леди Конан Дойль, — я заходила туда.

Миссис Робертс кивает и продолжает:

— Вот весть: скажи Мэри…

И тут вновь гремит орган. Миссис Робертс наклоняется ниже и продолжает говорить под прикрытием трубных звуков. Леди Конан Дойль иногда кивает. Затем она взглядывает на крупного, одетого в вечерний костюм сына слева, точно что-то у него спрашивая. Он в свою очередь смотрит на миссис Робертс, которая теперь обращается к ним обоим. Затем встает второй сын и присоединяется к их группе. Орган гремит

беспощадно.

Джордж не знает, заглушается ли весть из уважения к чувствам семьи, или же это сценический эффект. Он не знает, был ли он свидетелем правды или лжи или их смеси. Он не знает, была ли такая очевидная, неожиданная не английская пылкость тех, кто окружает его в этот вечер, доказательством шарлатанства или веры? А если веры, то истинной или ложной?

Миссис Робертс кончила передавать весть и оборачивается к мистеру Крейзу. Орган продолжает греметь, хотя заглушать нечего. Члены семьи Дойлей переглядываются. Как будет продолжаться поминовение? Гимны все пропеты, дань уважения воздана. Крайне смелый эксперимент был проведен, сэр Артур побыл среди них, его весть была передана.

Орган все играет. Но теперь он словно бы переходит к ритмам, которые выдворяют из церкви собравшихся на свадьбу или похороны: настойчиво и неутомимо вышвыривает их назад в будничный, угрюмый, немагический подлунный мир. Семья Дойлей покидает сцену, за ними следуют представители Марилбонской ассоциации спиритуалистов, ораторы и миссис Робертс. Люди встают, женщины нагибаются за сумочками под

креслами, мужчины в смокингах вспоминают про цилиндры, затем — шарканье подошв, голоса — здороваются друзья и знакомые, — и по всем проходам движутся чинные неторопливые потоки. Соседи Джорджа собирают свои вещи, встают, кивают и одаряют его исчерпывающими уверенными улыбками. Джордж отвечает им улыбкой, не идущей ни в какое сравнение с подаренными ему, и не встает. Когда почти весь его сектор пустеет, он снова опускает руки и прижимает бинокль к очкам. Он снова фокусирует его на сцену, на гортензии, на ряд пустых кресел и особенно на одно пустое кресло с надписью на картоне, на то место, где сэр Артур все-таки, возможно, недавно был. Он смотрит сквозь наборы своих линз в воздух и дальше.

Что он видит?

Что он видел?

Что он увидит?

Послесловие автора

Артур продолжал являться на сеансах повсюду в мире в течение еще нескольких лет, хотя его семья подтвердила его присутствие только на единственном из частных сеансов миссис Осборн Леонард в 1937 году, на котором он предупредил, что в Англии произойдут «самые огромные перемены». Джин, ставшая убежденной спиритуалисткой после гибели брата в битве под Монсом, хранила эту веру до своей смерти в 1940 году. Мам покинула Мейсонгилл в 1917 году. Прихожане Торнтон-ин-Лонсдейла преподнесли ей «большие часы со светящимся циферблатом в кожаном футляре». Хотя в конце жизни она перебралась на юг Англии, но в доме сына не поселилась и скончалась в своем вест-гринстедском коттедже в 1920 году, когда Артур проповедовал спиритуализм в Австралии. Брайан Уоллер пережил Артура на два года.

Уилли Хорнанг умер в Сен-Жан-де-Люз в марте 1921 года; четыре месяца спустя он явился на одном из сеансов семьи Дойлей, извинился за свои прежние сомнения, касавшиеся спиритуа-

лизма, и объявил, что «Моя жуткая старая астма больше меня не мучает». Конни умерла от рака в 1924 году. Высокородный Джордж Огестес Энсон оставался на посту главного констебля Стаффордшира сорок один год, уйдя в конце концов в отставку в 1929 году. По коронационному списку 1937 года он получил титул рыцаря и умер в Бате в 1947 году. Его жена Бланш погибла во время налета вражеской авиации в 1941 году. Шарлотта Идалджи после смерти Сапурджи вернулась в Шропшир. Она умерла в Атчеме в 1924 году в возрасте восьмидесяти одного года, завещав, чтобы ее похоронили там, а не рядом с покойным мужем.

Джордж Идалджи пережил их всех. Он продолжал жить и практиковать в доме 79 на Боро-Хай-стрит до 1941 года, затем с 1942 года по 1953 год у него была приемная на Арджайл-сквер. Умер он в доме 9 в Брокен-Клоуз, Уэлуин-Гарден-Сити 17 июня 1953 года. Причиной смерти был указан тромбоз венечных артерий. Мод все еще жила с ним и зарегистрировала его смерть. В последний раз она посетила Грейт-Уайрли в 1962 году, когда подарила церкви фотографии отца и брата. Они теперь висят в ризнице Святого Марка.

Четыре года спустя после кончины сэра Артура

Конан Дойля работник с фермы Энох Ноулз пятидесяти семи лет в Коронном суде Стаффордшира признал себя виновным в рассылке угрожающих и непристойных писем на протяжении тридцати лет. Ноулз сознался, что начал это в 1903 году, когда присоединился к кампании преследований, рассылая письма, подписанные «Г. Х. Дарби, Капитан уайрлийской шайки». После осуждения Ноулза Джордж Идалджи написал статью для «Дейли экспресс». В этом последнем публичном заявлении о его деле, датированном 7 ноября 1934 года, Джордж не упоминает братьев Остер, а также расовые предрассудки в качестве мотива. Он заканчивает:

> Великая тайна, однако, остается неразгаданной. Выдвигались всевозможные теории. Согласно одной, располосовывания были делом рук сумасшедшего в припадке кровожадности. Согласно другой — их целью было опозорить приход и полицию; или же, возможно, это проделывал какой-то уволенный полицейский. Одну любопытную теорию мне изложил некий стаффордширец: в распарываниях был виноват не человек, а кабан

или кабаны. Он предположил, что этих животных выпускали по ночам, предварительно опоив чем-то, что пробуждало в них свирепость. Он сказал, что видел одного из этих кабанов. Теория с кабанами показалась мне тогда — и кажется теперь — слишком фантастичной, чтобы отнестись к ней серьезно.

Мэри Конан Дойль, старший ребенок Артура, умерла в 1976 году. Она навсегда сохранила от отца один секрет. Туи на смертном одре не только предупредила дочь, что Артур снова женится; она также назвала его будущую жену как мисс Джин Леки.

Д. Б. Январь 2005.

Кроме письма Джин Артуру, все цитируемые письма, подписанные или анонимные, являются подлинными; так же, как цитаты из газет, правительственных докладов, выступлений в Парламенте и произведений сэра Артура Конан Дойля. Мне хотелось бы поблагодарить: сержанта стаффордширской полиции Аллана Уокера, городские архивы Бирмингемской центральной библиотеки; Службу недвижимости графства Стаффордшир; преподобного Пола Оукли; Дэни-

эла Стэшоуэра; Дугласа Джонсона; Джеффри Робертсона и Сумайю Партнер.